

*К 125-летию
со дня рождения
писателя*



*Дэвид
Герберт
Лоуренс*

*Меня
никто
не
любит*

Москва
ВГБИЛ им. М.И. Рудомино
2011

УДК 821.111-8
ББК 84(4Вел)-44
Л 78

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Ответственный редактор А.Г.Николаевская
Дизайн – Т.Н.Костерина
В оформлении использованы
фрагменты картин Д.Г. Лоуренса

Лоуренс Д.Г.

Л78 Меня никто не любит / Д.Г. Лоуренс [перев. с англ.;
предисл.Николая Пальцева, сост., коммент. Аллы Николаевской,
Николая Пальцева]. – М.: ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2011 – 560 с.

ISBN 978-5-7380-0370-7

Сборник повестей, рассказов, стихотворений, путевых очерков и эссе одного из самых ярких и новаторских писателей прошлого столетия – Дэвида Герберта Лоуренса – приурочен к 125-летию со дня его рождения. Творчество Д.Г. Лоуренса, «посмеявшего» восстать против ханжеской викторианской морали, давно является средоточием жарких споров западных и отечественных критиков. Но авторитет и популярность этого классика английской литературы среди читателей столь же очевидны.

УДК 821.111-8
ББК 84(4Вел)-44

Запрещается полное или частичное использование
и воспроизведение текста и иллюстраций в любых формах
без письменного разрешения праволадельца

ISBN 978-5-7380-0370-7

© Пальцев Н.М., составление, перевод, предисловие,
комментарии, 2011
© Николаевская А.Г., составление, перевод, комментарии, 2011
© Атарова К.Н., Британишский В.Л., Грибанов А.А., Жукова Ю.И.,
Кан М.И., Комов Ю.А., Коренева М.М., Минушин В.Г., Стенич В.С.,
Сухарев С.Л., Фокина Ю.В., перевод, 2011
© Издание на русском языке, оформление.
ВГБИЛ им. М.И.Рудомино, 2011

Многоликий Лоуренс

(вместо предисловия)

Меньше года назад в Англии и за ее пределами (точнее сказать, во всем англоязычном – и не только англоязычном – мире) отмечалось 125-летие со дня рождения одного из самых крупных и самобытных мастеров литературы первой трети XX столетия – прозаика, поэта и эссеиста, прожившего не слишком долгую, но на редкость интенсивную и насыщенную, исполненную непрерывных поисков и озарений, взлетов и падений, дерзких экспериментов и головокружительных прорывов в неведомое творческую жизнь. Восемьдесят лет, прошедших с момента безвременной кончины писателя, внесли принципиальные коррективы в его прижизненную репутацию, одним из современников казавшуюся надуманной и сомнительной, другим – обнадеживающей и бесспорной, с безоговорочной ясностью подтвердив, сколь близоруки были первые и сколь прозорливы вторые.

Подобно многим настоящим новаторам в искусстве, науке, общественной мысли, Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930) все двадцать лет непрерывной работы в литературе оставался не то что непризнанным – преследуемым: косной моралью соотечественников, унаследовавших представления долгого века викторианства о приличном и неприличном; охранительной критикой, упорно отказывавшей писателю в правомерности его экспериментов над формой и содержанием; жесткой литературной цензурой, преследовавшей распространение лучших его книг на родине автора. Однако преследуемый, запрещаемый, по сути изгнанный из родной страны сын шахтера из Средней Англии, не получивший сколько-нибудь систематического образования, но нескончаемый ненасытным интересом к жизни во всех ее проявлениях, неуклонно продолжал творить, видя в литературе и, прежде всего, в главном ее жанре – романе – животворный путь к духовному обновлению каждого человека и человечества в целом. Но лишь спустя двадцать-тридцать лет после смерти, на гребне грандиозных социально-политических

перемен, не обошедших стороной и Британию, оказался в числе ее литературных классиков, чьи произведения заслуженно вошли в программу колледжей и университетов, а посвященные ему литературоведческие исследования на многих языках мира на исходе минувшего века исчислялись цифрой с тремя нулями.

Громкая популярность его романов: «Сыновей и любовников» (1913), «Радуги» (1915), «Влюбленных женщин» (1920) и, пожалуй, самого заветного, самого выстраданного – «Любовника леди Чаттерли» (1928) – не снимает животрепещущего вопроса о том, что лежит в основе неувядающего интереса к лоуренсовскому творчеству многих поколений читателей, не исключая и отечественных, чей путь к его творческому наследию, в силу известных общественно-политических причин, оказался особенно долгим и тернистым, хотя, нелишне отметить, первые переводы ряда его произведений на русский язык, пусть не вполне совершенные, начали выходить еще при жизни автора. Позже, однако, наступила затянувшаяся на полвека томительная пауза. И лишь в ходе перестройки, затронувшей все стороны общественного и культурного бытия в нашей стране, стало возможно подлинно объективное и непредвзятое осмысление всего идейно-эстетического богатства того необыкновенного цельного и в то же время разнообразного художественного феномена, каким явилось творчество Дэвида Герберта Лоуренса. Важным этапом этого постижения стало вышедшее в Москве в 2006–2008 годах семитомное Собрание сочинений писателя; его продолжением призвана стать лежащая сейчас перед читателем книга.

Она, разумеется, не исчерпывает всего яркого и самобытного, что привнесло перо Д.Г.Лоуренса в сокровищницу англоязычной литературы XX века. Однако, демонстрируя уверенное мастерство автора, бесстрашно и увлеченно штурмовавшего цитадели овечьих вековыми традициями жанров: новеллистики, поэзии, эссеистики, – эта книга, думается, может хотя бы отчасти раскрыть секрет необыкновенной притягательности музыки Д.Г.Лоуренса для читателей разных жизненных устремлений, художественных интересов и эстетических вкусов. Он, как можно догадываться, не в последнюю очередь заключается в той мировоззренческой цельности, которая дает безошибочно себя почувствовать в любой из литературных форм, осваиваемых писателем, будь то жанровая

зарисовка из хорошо знакомого по опыту шахтерского быта («Запах хризантем») или старая, как мир, и неизменно волнующая любовная история («Дочь лошадиника»), запечатленная в крушении одного супружеского союза драма «потерянного поколения» («Англия, моя Англия») или даже тяготеющая к стихотворению в прозе история постепенного «пробуждения», возвращения к живительным истокам бытия женщины, казалось бы необратимо поработанной мертворожденными условиями буржуазной респектабельности («Солнце»). Так – в новеллах и отмеченных пронзительным психологизмом повестях, анализируя которые один из самых авторитетных британских литературоведов Фрэнк Реймонд Ливис имел все основания сказать: «Что касается малых форм прозы – рассказа и повести, то в них Лоуренс с уверенностью заявил о себе как о непревзойденном мастере»^{*}.

Но если вдуматься, столь же неистощимо изобретательным, столь же восприимчивым к неувлимаемо меняющейся атмосфере времени, столь же внимательным к неповторимому «духу местности», идет ли речь о родной его Англии, об Италии, Мексике или Австралии, предстает Д.Г.Лоуренс-поэт – с тою лишь разницей, что его художественская индивидуальность являет в них себя более непосредственно (что, разумеется, не исключает ни открытой, в духе его американского учителя Уолта Уитмена, публицистической остроты, ни образно-философской обобщенности поздних апокалиптических картин, восходящих к окрашенным в библейские тона мистическим озарениям Уильяма Блейка («Корабль смерти»).

Пожалуй, полнее и откровеннее всего эстетико-мировоззренческая программа Д.Г.Лоуренса, не чуждая определенных противоречий, раскрывается в его необыкновенно обширном эссеистическом наследии, поначалу рассеянном по страницам периодических изданий, а впоследствии собранном в два больших тома, носящих символические названия «Феникс» (1936) и «Феникс-II» (1968)^{**}. Вчитываясь в них, поражаешься не только широте охвата многообразных явлений общества и культуры, мо-

^{*} Leavis F.R. D.H.Lawrence / Novelist. Harmondsworth, Middlesex, 1968, p. 75.

^{**} Phoenix. The posthumous papers of D.H.Lawrence. London, 1936; Phoenix II. Uncollected, unpublished and other prose works by D.H. Lawrence. London, 1968

рали и быта, настоящего и прошедшего, но, прежде всего, неподдельной самостоятельности мышления художника, его органической способности высветить общее – а порой и невидимое, глубинное – в частном и конкретном, не опасаясь вызвать на себя огонь именитых оппонентов. Особое место в его напряженных раздумьях о пороках современной ему цивилизации (главным проклятием ее он считает индустриализм) принадлежит искусству и художнику («Почему важен роман» и «Мораль и роман»). Смыкаясь в критике буржуазного социума с романтиками, он, однако, чужд односторонней идеализации прошлого, что находит емкое выражение в путевых очерках о разных, зачастую экзотических, точках земного шара, куда приводила его мечта о заветном рае («Сумерки Италии», «Утро Мексики»).

Жанровое разнообразие и образное богатство, явившиеся итогом необыкновенной щедрости таланта писателя, вряд ли скроют от читателя главный «стержень» сложившейся в сознании прозаика, поэта и эссеиста (он был еще незаурядным живописцем и графиком, драматургом, наконец, оставил значительное эпистолярное наследие) концепции личности и ее места под солнцем. С.Д.Г.Лоуренсом – критиком индустриального миропорядка – по многим пунктам можно было бы, а возможно, и следует поспорить. Однако нелепо отрицать, что в основе его страстного неприятия нравственных и политических основ общества лежит гуманизм. «Главное, к чему мы стремимся, – писал он в посмертно опубликованном эссе «Апокалипсис» (1931), – это отрешиться от наших фальшивых, неорганических связей... и восстановить живые, органические связи – связи с космосом, солнцем, землей, с человечеством, нацией, семьей. Начнем с солнца – остальное постепенно, постепенно само собой придет в норму».*

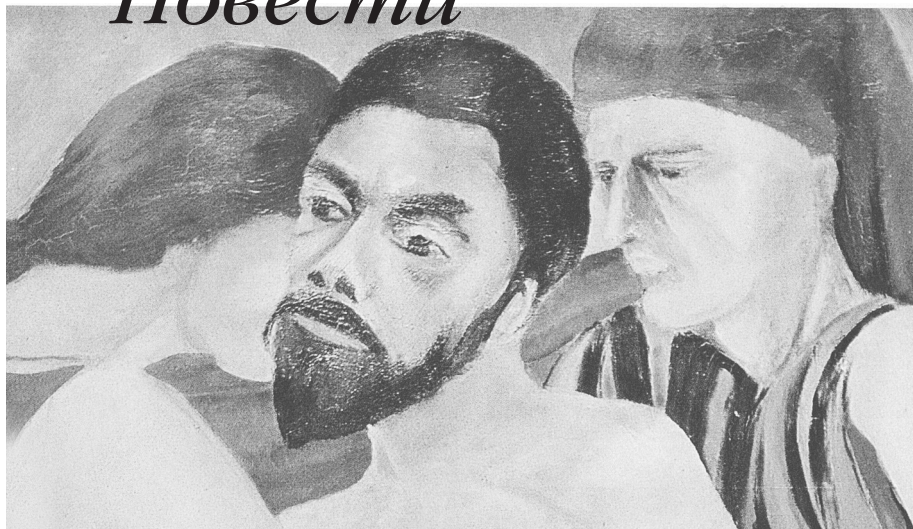
Это кажется мечтой, неосуществимой утопией. Но не о том же ли заставляет нас задуматься нарушенное экологическое равновесие между естественной средой и нами самими? Что есть экология духа, как не проекция того или иного экологического баланса – а, говоря сегодняшним языком, – дисбаланса – внутри каждого из нас?

Произведения Дэвида Герберта Лоуренса, в числе прочих вещей, побуждают задуматься и об этом.

Николай Пальцев

* Lawrence D.H. Apocalypse. Harmondsworth, Middlesex, 1981, p.126.

Повести





Лис

Обычно обеих девушек звали по фамилии – Бэнфорд и Марч. Они вместе обзавелись фермой, намереваясь самостоятельно вести хозяйство: собирались зарабатывать на жизнь разведением кур, а для пополнения доходов держать корову и немного молодняка, одно–два животных. К сожалению, дело у них не заладилось.

Бэнфорд была маленьким, худеньким, деликатным созданием в очках. Однако она и была главным инвестором, так как у Марч денег было мало, а то и вовсе не было. Отец Бэнфорд, торговец из Излингтона, заботясь о здоровье дочери, а также потому что любил ее и потому что замужество ей, по-видимому, не светило, помогал ей встать на ноги. Марч была гораздо крепче ее. На вечерних курсах в Излингтоне она освоила плотницкое и столярное дело. На ферме ей предстояло быть мужчиной. К тому же поначалу с ними жил престарелый дед Бэнфорд. Он был фермер. Но, к несчастью, прожив на Бэйли-фарм год, старик умер. Тогда девушки остались одни.

Обе были немолоды: то есть, им было под тридцать. Но они определенно не были стары. Довольно отважно они принялись за осуществление своего предприятия. Завели множество кур: черных леггорнов, белых леггорнов, плимутов и виандоток; в некотором количестве имелись также утки, а на выгоне еще и две телки. К несчастью, одна телка совершенно не желала соблюдать границы Бэйли-фарм. Как Марч ни заделывала ограду, телка из нее выбиралась, бродила на воле по лесам или же отправлялась на соседское пастбище, а Марч и Бэнфорд летели за ней вдогонку, добиваясь в результате больше беготни, нежели успеха. Так что они в отчаянии

продали эту телку. Потом, как раз перед тем, как вторая ожидала своего первого отела, умер старик, и девушки, страшась предстоящего события, с испугу продали и ее, ограничив свои заботы курами и утками.

Несмотря на некоторые сожаления, то, что у них больше не было скота, было для девушек облегчением. Жизнь создана не затем, чтобы просто провести ее в рабских трудах. С этим обе девушки были согласны. Птица доставляла им достаточно хлопот. В конце открытого навеса Марч установила свой верстак. Здесь она работала, сооружая клетки для кур, дверцы и прочую утварь. Птицу разместили в большом строении, служившем в прежние времена хлевом и коровником. Помещение они получили отличное, и им надлежало быть совершенно довольными. Вид у них и в самом деле был достаточно хорош, но девушек возмущала их склонность к странным болезням, их обременительный образ жизни и то, что они не желали, упорно не желали нестись.

Марч выполняла большую часть работ по двору. Когда она ходила там в своих портянках и бриджах, в своем подпоясанном жакете и бесформенной шапке, она очень походила на грациозного, гибкого, юного паренька, потому что плечи у нее были прямые, а ее движения, легкие и уверенные, даже были окрашены некоторым безразличием и иронией. Но лицо ее не было лицом мужчины, нет, никогда и ни за что. Легкие пряди ее кудрявых темных волос развевались вокруг ее склоненного лица, когда же она снова распрямлялась, ее большие, темные глаза, ее странные, встревоженные глаза, одновременно застенчивые и насмешливые, были широко открыты. Губы вдобавок чуть не морщились, словно от боли или иронии. В ней было нечто необычное, непонятное. Она имела обыкновение стоять, выставив бедро, глядя на птиц, толкущихся в отвратительной мелкой пыли в расположенном на склоне дворе, и подзывать свою любимицу, белую курочку, которая являлась, отзываясь на свое имя. Но когда она смотрела на свое трехпалое стадо, слоняющееся под ее взглядом, в ее больших, темных

глазах вспыхивал чуть ли не саркастический огонек, и та же зловещая насмешка слышалась в ее голосе, когда она обращалась к своей любимице Пэтти, которая, демонстрируя дружбу, клевала башмак Марч.

Но что ни делала Марч, птица на Бэйли-фарм не процветала. Когда девушка по утрам согласно правилам задавала ей горячий корм, она замечала, что они часами пребывали от этого в оступевшем, осовелом состоянии. Она ожидала увидеть, что они вот-вот привалятся к подпорам навеса, погрузившись в вялый процесс пищеварения. А она прекрасно знала, что для того, чтобы с ними было все в порядке, им следовало деловито рыться в земле и кормиться. А потому она решила задавать им горячий корм на ночь, пусть себе потом спят. И так и сделала. Но никаких изменений не последовало.

Опять же военное время не благоприятствовало разведению птицы. Корм был плохой, да и его не доставало. А после введения указа о сбережении электроэнергии куры в летнее время упорно не желали укладываться к девяти часам, как обычно. Что, право, достаточно поздно, так как покуда их не загонишь и они не заснут, пока нет никакого. Теперь они жизнерадостно разгуливали по двору до десяти, а то и позже, даже не поглядывая в сторону хлева. И Бэнфорд, и Марч были убеждены, что нельзя жить только ради работы. Им хотелось по вечерам читать и совершать велосипедные прогулки, а у Марч, возможно, было также желание рисовать на фарфоре лебедей – сплошь изогнутые линии на зеленом фоне – или, применяя тонкие приемы краснодеревщика, сделать дивный экран для камина. Она была существом с причинами и нереализованными свойствами. Но осуществиться всем этим вещам не давали глупые птицы.

Но одна беда затмевала все остальные. Бэйли-фарм, небольшая усадьба со старинным хлевом и домом с низким фронтоном, стояла на краю леса, от которого ее отделяло всего одно поле. С началом войны житья не стало от лиса. Он уносил кур прямо из-под носа Марч и Бэнфорд. Когда у нее за спиной в который раз поднималось

кудахтанье и хлопанье крыльев, Бэнфорд вздрагивала и глядела застывшим взглядом сквозь свои большие очки. Слишком поздно! Лишились еще одного белого леггорна. Это удручало.

Они делали все, что было в их силах, чтобы исправить положение. Пришло разрешение стрелять лис – и обе они с ружьями поджидали его в его излюбленное время. Но все без толку. Лис орудовал чересчур быстро для них. Так прошел еще год, и еще один, и, как выражалась Бэнфорд, они жили на свои убытки. Однажды они сдали дом внаем, а сами перебрались в железнодорожный вагон, поставленный на краю поля в качестве некоего подобия сарая. Это их позабавило и пополнило финансы. Положение, тем не менее, выглядело мрачно.

Хотя обычно они были лучшими подругами, поскольку Бэнфорд, пусть даже нервная и слабая, была человеку теплым, человеком щедрой души, а Марч, при всех своих причудах и замкнутости, отличалась странным великодушием, – от длительного одиночества они несколько раздражали, утомляли друг друга. На Марч приходилось четыре пятых работы, и, хотя она была не против, облегчения, казалось, не предвиделось, и оттого подчас в ее глазах вспыхивал странный огонек. Тогда Бэнфорд, еще более обыкновенного страдающая от взвинченных нервов, впадала в уныние, а Марч говорила с ней резким тоном. Тянулись месяцы, один за другим, и девушки, казалось, как-то теряли почву под ногами, теряли надежду. Одни среди полей на краю леса, где вокруг далеко-далеко, до округлых холмов Уайт-Хорс, распростерлась земля, уходя в низину и смутно расплываясь вдаль, они, казалось, живут чересчур за счет своих собственных сил. Не было ничего, что могло бы их поддержать, – и никакой надежды.

Лис и впрямь извел их обеих. Стоило им летом рано поутру выпустить птицу, как приходилось тут же хвататься за ружье и сторожить. Затем, когда начинал исстивать вечер, все это приходилось проделывать вновь. Он был такой хитрющий. Скользил в высокой траве,

и увидеть его было трудно, как змею. Он как будто нарочно старался перехитрить девушек. Пару раз Марч заметила белый кончик его хвоста или рыжеватую тень в высокой траве и выстрелила. Но он не обратил на это никакого внимания.

Как-то вечером Марч стояла спиной к закату, зажав под мышкой ружье, подоткнув волосы под шапку. Наполовину сторожила, наполовину предавалась мечтаньям. У нее был острый, наблюдательный глаз, но своим внутренним взором она не замечала ничего. Она вечно впадала в такое странное, отвлеченное состояние и довольно сильно кривила при этом рот. Вопрос в том, пребывала ли она там действительно, всем своим сознанием, или же нет.

Стоял конец августа – в ярком свете солнца на опушке леса поднимались деревья в своем темноватом, буровато-зеленом уборе. За ними, в воздухе, сверкали голые, отливающие медью стволы сосен. Ближе к ней, в залитой солнцем жесткой траве светились буроватые былинки. Птица разгуливала по двору, утки все еще плавали в пруду под соснами. Марч смотрела на все это – и ничего не видела. Она слышала, как в отдалении Бэнфорд беседует с курами, – и не слышала. О чем она думала? Бог ее знает. Ее сознание в этом, так сказать, не участвовало.

Она опустила глаза и вдруг увидела лиса. Он смотрел вверх, на нее. Она уперлась подбородком в грудь, а он смотрел вверх. Их глаза встретились. И он ее узнал. Она смотрела как завороченная – она знала, что он ее узнал. Вот он глянул ей в глаза, и душа ее дрогнула. Он узнал ее и не уstraшил.

В ней шла борьба, она ошарашенно пришла в себя и увидела, как он удаляется медленными прыжками через опавшие сучья, нахальными, медленными прыжками. Затем он глянул через плечо и ровной рысцой победил прочь. Она видела его гладкий, вытянутый, как перышко, хвост, видела, как сверкнул его белый зад. И он бесшумно исчез, бесшумный, как ветер.

Она вскинула ружье на плечо, но даже и тогда поджала губы, зная, что глупо даже притворяться, будто стреляешь. Она медленно пошла за ним, в том направлении, где он исчез, медленно, неуловимо. Она ожидала увидеть его. В душе она была твердо намерена найти лиса. Что она станет делать, когда снова увидит его, об этом она не задумывалась. Но она была твердо намерена найти его. Так что она безотчетно брела вдоль опушки леса, широко раскрыв живые, темные глаза, ее щеки окрасил слабый румянец. Она не думала. Брела наугад в этом странном бездумии.

Наконец до нее дошло, что ее зовет Бэнфорд. Сделав над собой усилие, она внимательно прислушалась, повернулась и издала в ответ некое подобие крика. Затем вновь пустилась в путь – в сторону усадьбы. Красное солнце садилось, птицы удалялись в сторону курятника. Она наблюдала за ними – белыми, черными созданиями, сбившимися около хлева. Она наблюдала за ними, как завороженная, не видя их. Но ее ум машинально подсказал ей, когда пришла пора закрыть дверь.

Она вернулась домой к ужину, который Бэнфорд уже поставила на стол. Бэнфорд болтала какую-то чепуху. Марч как будто слушала в своей отвлеченной, мужской манере. Время от времени она вставляла в ответ слово – другое. Но все это время она была как завороженная. И как только кончился ужин, встала, собираясь вновь уйти, не говоря зачем.

Взяв ружье, она вновь отправилась на поиски лиса. Подняв глаза, он посмотрел на нее, и его понимающий взгляд пронзил ее мозг. Она не столько думала о нем, сколько была захвачена им. Она видела его темный, умный, беззастенчивый взгляд, проникший в ее нутро, понимающий ее. Она чувствовала, что он незримо подчинил ее дух. Она знала, как он опустил нос, подняв вверх глаза, знала его золотисто-коричневую с серовато-белым морду. И она видела, как он, обернувшись, вновь посмотрел на нее через плечо, наполовину призывно, наполовину презрительно и хитро. Так что она с горя-

щами, огромными от удивления глазами и ружьем под мышкой отправилась вдоль опушки. Тем временем настала ночь, и над соснами поднялась огромная луна. И ее опять звала Бэнфорд.

Так что она вернулась домой. Она была молчалива и занялась делом. Обследовала и смазала ружье, предаваясь при свете лампы отвлеченным мыслям. Затем снова вышла – посмотреть при огромной луне, все ли в порядке. Когда на фоне кроваво-красного неба она увидела вершины сосен, ее сердце вновь забилося при мысли о лисе, о лисе. Ей хотелось преследовать его, с ружьем.

Прошло несколько дней прежде, чем она упомянула об этом происшествии при Бэнфорде. Как-то вечером она вдруг сказала:

– В субботу вечером лис был прямо у меня под ногами.

– Где? – сказала Бэнфорд, широко открыв под очками глаза.

– Когда стояла чуть повыше пруда.

– Ты выстрелила? – воскликнула Бэнфорд.

– Нет.

– Почему?

– Ну, слишком была удивлена, думаю.

Все в той же старой, медленной, лаконичной манере, в какой Марч говорила всегда. Несколько мгновений Бэнфорд пристально смотрела на подругу.

– Ты его видела? – воскликнула она.

– О, да. Он глядел на меня с полным хладнокровием.

– Ну и наглость, – воскликнула Бэнфорд, – скажу я тебе! Они не боятся нас, Нелли.

– О, нет, – сказала Марч.

– Жаль, что ты не выстрелила в него! – сказала Бэнфорд.

– Еще бы не жаль! Я ищу его с тех самых пор. Но не думаю, чтобы он опять подошел так близко.

– Думаю, нет, – сказала Бэнфорд.

И она стала забывать об этом, за исключением того, что нахальство этого негодника вызывало у нее еще

больше возмущения, чем прежде. Сознательно Марч тоже не думала о лисе. Но стоило ей погрузиться в полумечтательное состояние, когда она наполовину пребывала в грезах, наполовину здраво отдавала себе отчет в том, что происходит у нее перед глазами, как лис каким-то образом подчинял себе ее подсознание, властвовал над безотчетной половиной ее мечтаний. И так продолжалось неделями, месяцами. Лезла ли она на дерево за яблоками, принималась ли стряхивать последние терносливы, рыла ли канаву от утинового пруда или чистила хлев, но по окончании дела или же распрямившись и вновь откинув со лба пряди волос и вновь поджав рот, не по годам странно скривив его на старушечий манер, – тут душа ее непременно подпадала под старые чары лиса, как это было, когда он посмотрел на нее. В такое время она почти что слышала его запах. И это всегда возвращалось в неожиданный момент: ночью, прямо перед тем, как она засыпала, или же в тот самый миг, когда она наливала в чайник воду, чтобы заварить чай, – являлся лис и действовал на нее, словно чары.

Так проходили месяцы. Направляясь в лес, она все еще подсознательно искала его. Он превратился в привычную принадлежность ее духа, в вечно присущее ему состояние, не постоянное, но неизменно возвращающееся. Она не знала, что она думает или чувствует, – это состояние просто накатывалось, как тогда, когда он посмотрел на нее.

Прошло много месяцев, пришли темные вечера, тяжелый, темный ноябрь, когда Марч ходила в сапогах, по щиколотку в грязи, когда ночь наступала в четыре часа, а день так по-настоящему и не успевал разойтись. Обе девушки страшились этой поры. Страшились почти постоянной темноты, которая окутывала их на одинокой маленькой ферме на краю леса. Бэнфорд охватывал физический страх. Она боялась бродяг, боялась, что кто-то, крадучись, проберется сюда. Марч не столько боялась, сколько испытывала тревогу, ей было не по себе. Она чувствовала эту тревогу и мрачность во всем своем теле.

Обычно девушки пили чай в гостиной. В сумерках Марч разжигала камин, подкладывая в него поленья, которые напилела и наколола днем. Их ожидал тогда долгий вечер, темный, промозглый, черный за порогом, одинокий и довольно гнетущий в доме, немного жутковатый. Марч устраивало молчание, но Бэнфорд не могла утомиться. Просто слушать, как за окном шумит ветер в соснах или капает вода, было выше ее сил.

Однажды вечером девушки вымыли в кухне чашки, и Марч, надев комнатные туфли, достала вязание, за которое бралась время от времени, медленно продвигаясь вперед. Бэнфорд уставилась на красное пламя, нуждавшаяся в постоянном присмотре, поскольку поддерживалось дровами. Она боялась слишком рано приняться за чтение – ее глаза не вынесли бы такого напряжения. Поэтому она сидела, уставясь в огонь, слушая далекие звуки, мычание коров, вой сильного, глухого, влажного ветра, громыхание вечернего поезда на проходившей неподалеку маленькой железнодорожной ветке. Красный отсвет пламени почти заворожил ее.

Неожиданно девушки встрепенулись и подняли головы. Они услышали звук шагов – отчетливый звук шагов. Бэнфорд в ужасе съежилась. Марч стояла, прислушиваясь. Затем быстро приблизилась к двери, ведущей в кухню. В то же самое время они услышали звук шагов, приближающихся ко входу со двора. Они выждали секунду. Дверь со двора тихо отворилась. Бэнфорд громко вскрикнула. Мужской голос тихо произнес:

– Привет!

Марч отпрянула и взяла в углу ружье.

– Что вам нужно? – резко выкрикнула она.

Мягкий, мягко вибрирующий мужской голос вновь произнес:

– Привет! Что стряслось?

– Я буду стрелять! – крикнула Марч. – Что вам нужно?

– Да что стряслось? Что стряслось? – раздался тихий, недоуменный, довольно испуганный голос – и в полосу

неяркого света вошел молодой солдат с тяжелым вещмешком на спине. – Да что, – проговорил он, – кто тут живет?

– Мы тут живем, – сказала Марч. – Что вам нужно?

– О, – произнес молодой солдат, в его протяжном мелодичном тоне слышалось удивление. – Тогда Уильям Гренфел не живет здесь?

– Нет – сами знаете, что не живет.

– Знаю? Знаю? Не знаю я, понимаете. Он жил здесь, потому что он мой дед, и сам я жил здесь пять лет назад. Что с ним случилось тогда?

Молодой человек – или парнишка, потому что ему было не больше двадцати, – прошел теперь вперед и стоял в дверях кухни. Марч, уже подпавшая под воздействие его странного, тихого голоса с модуляциями, уставилась на него как завороженная. У него было кругловатое, румяное лицо со светлыми, довольно длинными волосами, прилипшими от пота ко лбу. Голубые глаза, очень яркие и зоркие. Упругая румяная кожа его щек была покрыта тонкими светлыми волосками, похожими на пух, только жестче. Отчего казалось, что она слегка лоснится. Под тяжестью висевшего на плече вещмешка он ссутулился, выставив голову вперед. В одной руке болталась шапка. Ясным, пристальным взглядом он смотрел на девушек, переводя глаза с одной на другую, в особенности на Марч, которая в своем подпоясанном жакете и портянках – кудрявые волосы стянуты сзади в большой узел – стояла бледная, с огромными, широко распахнутыми глазами. В руке она все еще сжимала ружье. За нею, вцепившись в подлокотник софы и наполнину отвернувшись, съежилась Бэнфорд.

– Я думал, мой дед все еще живет здесь. Интересно, не умер ли он?

– Мы здесь уже три года, – сказала Бэнфорд, к которой при виде его по-мальчишески круглой головы с довольно длинными, мокрыми от пота волосами, начало возвращаться соображение.

– Три года! Что вы говорите! И вы не знаете, кто жил здесь до вас?

– Знаю, что это был старик, он жил совершенно один.

– А-а! Да, это он! И что с ним стало потом?

– Умер. Я знаю, что он умер.

Парень смотрел на них, не меняясь в лице – тот же цвет, то же выражение. Если у него и было какое-то выражение, помимо легкой озадаченности, вызванной удивлением, это было любопытство относительно девушек; острое любопытство, лишенное чего бы то ни было личного, любопытство молодой круглой головы.

Но для Марч он был лисом. Было ли это из-за выставленной вперед головы, или блеска тонких, белесых волосков на румяных скулах, или же ярких, пронзительных глаз – сказать невозможно, но парень был для нее лисом, и видеть его по-другому она не могла.

– А как это вы не знали, жив ваш дед или умер? – спросила Бэнфорд, обретая присущую ей проницательность.

– А-а, вот то-то и оно, – отвечал парнишка, дыхание у него было совсем тихое. – Понимаете, я вступил в армию в Канаде и года три-четыре не получал писем. Я удрал в Канаду.

– А сейчас вы только что прибыли из Франции?

– Ну... на самом деле из Салоник.

Последовало молчание – никто не знал, что, собственно, сказать.

– Значит, вам теперь некуда идти? – спросила Бэнфорд весьма неуверенно.

– О, я кое-кого знаю в деревне. В любом случае я могу остановиться в «Лебеде».

– Вы, полагаю, прибыли на поезде. Не хотели бы вы ненадолго присесть?

– Ну... я не прочь.

Он скинул вещмешок, издав легкий стон. Бэнфорд посмотрела на Марч.

– Убери ружье, – сказала она. – Будем готовить чай.

– А, – сказал парнишка. – Мы порядком насмотрелись на ружья.

Он с довольно усталым видом сел на софу, наклонившись вперед. Вновь обретя способность соображать, Марч направилась на кухню. Оттуда она слышала тихий, юный, раздумчивый голос.

– Ну и ну, подумать только, вернуться и обнаружить такое! – он не казался печальным, вовсе нет, просто удивленным и заинтересованным.

– И какая разница, как тут все переменялось, а? – продолжал он, обводя комнату взглядом.

– Вы заметили разницу, правда? – сказала Бэнфорд.

– Да... еще бы!

Глаза у него были неестественно ясные и яркие, хотя этой яркостью он был обязан отменному здоровью.

Марч хлопотала на кухне, готовя новую трапезу. Было около семи часов. Все то время, что она этим занималась, она не забывала о парнишке в гостиной, не столько прислушиваясь к тому, что он говорил, сколько ощущая тихое звучание его голоса. Стараясь сохранить главенство собственной воли, она все сильнее морщила рот, туже и туже сжимала его, точно зашивала. Однако несмотря на ее усилия, ее глаза были широко раскрыты и сверкали; она утратила власть над собой. Быстро и небрежно она приготовила ужин, нарезав хлеб с маргарином – масла не было. Она ломала голову, пытаясь придумать, что бы еще положить на поднос: у нее в распоряжении были лишь хлеб, маргарин и джем, – кладовка была пуста. Не в силах избрести больше ничего, она пошла с подносом в гостиную.

Ей не хотелось, чтобы на нее обращали внимание. Больше всего ей не хотелось, чтобы он смотрел на нее. Но когда она вошла и принялась накрывать на стол прямо у него за спиной, он, сидевший до того развалясь, весь подобрался и, повернувшись, посмотрел через плечо. Она побледнела, у нее сделался болезненный вид.

Парень наблюдал за тем, как она склонилась над столом, посмотрел на ее стройные, красивые ноги, на подпоясанный жакет, ниспадающий на бедра, на узел темных волос, и вызванное ею живое, острое любопытство вновь охватило его.

Свет от лампы, покрытой темно-зеленым абажуром, падал вниз, так что верхняя часть комнаты была погружена в полумрак. В свете лампы двигалось его яркое лицо, а Марч тенью маячила в отдалении.

Отведя глаза в сторону, она повернулась, поднимая и опуская ресницы. Разжав рот, она спросила Бэнфорд:

– Разольешь?

Затем снова направилась на кухню.

– Будете пить чай, где сидите, а? – спросила парня Бэнфорд, – или предпочли бы за столом?

– Ну, – сказал он, – мне здесь хорошо и удобно, правда? Если вы не возражаете, я буду пить здесь.

– Есть только хлеб и джем, – сказала она. И поставила его тарелку на стоявший рядом с ним табурет. Сейчас, когда она подавала ему, она была очень счастлива. Она любила общество. И теперь боялась его не больше, чем если бы он был ее младшим братом. Он был совсем мальчишка.

– Нелли, – позвала она. – Я тебе налила.

Марч появилась в дверях, взяла свою чашку и села в углу, как можно дальше от света. Она очень смущалась своих коленей. Страдала от отсутствия прикрывавшей их юбки, из-за чего была вынуждена сидеть, дерзко выставив их напоказ. Она все больше и больше съеживалась, стараясь, чтобы ее не видели. Парень же, распластавшись на диване, посматривал на нее снизу вверх долгим, пристальным, пронизательным взглядом, так что она была готова чуть ли не провалиться на месте. Тем не менее она крепко сжимала чашку, пила чай, кривила рот и сидела, не поворачивая к ним лица. Ее сильное желание остаться незамеченной совершенно ставило парня в тупик. Он чувствовал, что не может разглядеть ее как следует. Она казалась тенью, окутанной тенью. И его взгляд, испытующий, неотступный, все время возвращался к ней с бессознательным, неослабным вниманием.

Он между тем вел тихий, спокойный разговор с Бэнфорд, которая больше всего любила сплетни и была преисполнена бойкой любознательности, как птица.

К тому же он ел быстро, с жадностью, большими кусками, и Марч пришлось подрезать еще ломтей хлеба с маргарином, и Бэнфорд извинилась за то, что они так неаккуратно накромсаны.

– А, да что там, – сказала появившаяся вдруг Марч, – если нет масла, чтобы намазать на хлеб, что толку резать его тоненькими ломтиками.

Парень снова посмотрел на нее и внезапно закатился быстрым смешком, обнажив зубы и наморщив лоб.

– Никакого, а, – ответил он своим тихим, задушевым голосом.

Как выяснилось, родился и вырос он в Корнуолле. В двенадцать лет приехал на Бэйли-фарм вместе с дедом, с которым вечно был не в ладах. Так что сбежал в Канаду и работал там далеко на Западе. Теперь вот он здесь – на том и конец.

Девушки его очень заинтересовали, хотелось узнать, что они, собственно, делают. Он задавал вопросы, как деревенский парень: точные, практические, слегка насмешливые. Его очень позабавило их отношение к убиткам: они презанятно излагали истории телушек и кур.

– А, что там, – вставила Марч, – мы не считаем, что жизнь дается только для работы.

– Не считаете? – сказал он в ответ. И быстрый, юный смех вновь разлился по его лицу. Он не сводил глаз с женщины, сидевшей в полумраке в углу.

– Но что вы станете делать, когда выйдет весь ваш капитал? – сказал он.

– О, не знаю, – лаконично ответила Марч. – Наймемся сельскими работницами, думаю.

– Да, но теперь, когда война кончилась, в работах никакой надобности не будет, – сказал парень.

– О, посмотрим. Мы еще немного подержимся, – сказала Марч с тягучим, наполовину грустным, наполовину ироничным равнодушием.

– На ферме нужен мужчина, – тихо произнес парень.

Бэнфорд рассмеялась.

– Поостерегитесь, не бросайтесь словами, – перебила его она. – Мы считаем, что вполне справляемся с делом.

– О, – раздался неспешный, тягучий голос Марч, – боюсь, дело не в том, что справляемся. Если собираешься фермерствовать, нужно заниматься этим с утра до ночи, а также самому превратиться в скотину.

– Да, вот именно, – сказал парень. – Вы не желаете вкладывать в это себя.

– Не желаем, – сказала Марч, – и знаем это.

– Мы хотим, чтобы у нас оставалось время и для себя, – сказала Бэнфорд.

Парень на софе откинулся назад с напряженным от смеха лицом – он смеялся беззвучно, но властью. Спокойное презрение девушек неизменно забавляло его.

– Да, – сказал он, – но тогда зачем вы за это взялись?

– О, – сказала Марч, – тогда мы были лучшего мнения о птичьей природе, чем теперь.

– И, боюсь, вообще о Природе, – сказала Бэнфорд. – Не говорите мне о Природе.

Лицо парня вновь напряглось от довольного смеха.

– Вы не очень-то высокого мнения о птице и рогатом скоте, правда? – сказал он.

– О да, совсем низкого, – сказала Бэнфорд.

Он громко рассмеялся.

– И о птицах, и о телушках, – сказала Бэнфорд, – и о козах, и о погоде.

Парень в восторге закатился резким, лающим смехом. Девушки тоже рассмеялись. Марч отвернулась, сморщив от удовольствия губы.

– А, ладно, – произнесла Бэнфорд, – мы не возражаем, правда, Нелли?

– Да, – сказала Марч, – мы не возражаем.

Парень был очень доволен. Он напился и наелся досыта. Бэнфорд принялась расспрашивать его. Его имя – Генри Гренфел, – нет, его зовут не Гарри, всегда только Генри. Он продолжал отвечать с учтивой простотой, серьезной и очаровательной. Не принимавшая в этом участия Марч бросала на него из своего укрытия долгие,

неспешные взгляды; он сидел на софе, обхватив руками колени, лицо его, яркое и живое в свете лампы, было обращено к Бэнфорд. Марч наконец почти успокоилась. Она признала в нем лиса, и лис этот был здесь, всем своим существом. Больше ей не нужно гоняться за ним. Здесь, в тени, в углу, она отдалась во власть теплого, умиротворенного покоя, почти что сна, покоряясь чарам, околдовавшим ее. Но ей хотелось остаться невидимой. Она пребывала в полном покое, лишь когда он забывал о ней, беседуя с Бэнфорд. Здесь, в углу, в укрытии, в тени, ей не было необходимости в раздвоении, в стремлении удержаться на двух плоскостях сознания. Она могла наконец погрузиться в запах лиса.

От сидевшего перед камином парня в форме исходил наполнявший комнату слабый, но особый, не поддающийся определению запах, напоминавший запах дикого животного. Марч больше и не пыталась уберечься от него. Неподвижная, размякшая, сидела она в своем углу, словно притаившийся в логове зверь.

Разговор затухал. Парень разжал обхватившие колени руки, слегка собрался с духом и обвел комнату взглядом. И вновь он ощутил присутствие молчаливой, наполнину невидимой женщины в углу.

– Ну, – произнес он с неохотой, – думаю, мне пора отправляться, а то они там в «Лебеде» залягут спать.

– Боюсь, они уже залегли, – сказала Бэнфорд. – Всех их свалил грипп.

– Да, всех! – воскликнул он и задумался. – Ну что ж, – продолжал он, – найду где-нибудь себе пристанище.

– Я предложила бы вам остаться здесь, только... – начала Бэнфорд.

Он повернулся и посмотрел на нее, выдвинув голову вперед.

– Что? – спросил он.

– О, да вот, – проговорила она, – приличия, полагаю. – Она была довольно смущена.

– Это было бы неприлично, так, что ли? – спросил он с легким удивлением.

– Что касается нас, нет, – сказала Бэнфорд.

– Что касается меня, то и вовсе нет, – сказал он с серьезной наивностью. – В конце концов, это некоторым образом мой дом.

Бэнфорд улыбнулась при этих словах.

– Это вот деревне придется признать, – сказала она. На миг наступило глухое молчание.

– Что ты скажешь, Нелли? – спросила Бэнфорд.

– Я не возражаю, – произнесла Марч своим по обыкновению отчетливым тоном. – Так или иначе деревня ничего для меня не значит.

– Да, – быстро, тихим голосом сказал парень. – Да и почему она должна что-то значить? Я хочу сказать, что они могут говорить?

– Да что там, – раздался тягучий, лаконичный голос Марч, – они без труда найдут, что сказать. Но какая разница, что они станут говорить. Мы можем сами позаботиться о себе.

– Конечно, можете, – сказал парень.

– Что ж, тогда оставайтесь, если угодно, – сказала Бэнфорд. – Свободная комната полностью готова.

Его лицо просияло от удовольствия.

– Если вы уверены, что это не причинит вам много беспокойства, – произнес он с присущей ему мягкой учтивостью.

– О, никакого беспокойства, – ответили обе.

Улыбаясь от восторга, он смотрел на них, переводя взгляд с одной на другую.

– Ужасно мило, что не нужно опять выдворяться, правда? – сказал он с благодарностью.

– Полагаю, что так, – ответила Бэнфорд.

Марч исчезла, чтобы заняться комнатой. Бэнфорд была довольна и заботлива, как будто принимала своего младшего брата, приехавшего на побывку из Франции. Ей доставляло не меньше удовольствия ухаживать за ним, готовить для него ванну и все прочее. Теперь ее природная доброта и тепло получили выход, и парень наслаждался ее сестринским вниманием. Но его слегка

смущало, что Марч – он это знал – тоже, молча, работает на него. Она была так странно молчалива, неприметна. Ему казалось, что он по-настоящему не видел ее. Случись ему встретиться с ней на дороге, подумал он, он ее не узнает.

В эту ночь Марч – очень четко – привиделся сон. Ей снилось, будто она слышит доносящееся снаружи пение, которого она не могла понять, пение, проносившееся по дому, по полям, сквозь тьму. Оно так ее тронуло, что ей казалось, будто она вот-вот расплачется. Она вышла из дома и вдруг поняла, что это поет лис. Он был желтый, очень яркий, как пшеница. Она пошла к нему, но он убежал и перестал петь. Казалось, он где-то близко, и ей хотелось прикоснуться к нему. Она протянула руку, но он внезапно укусил ее в запястье, и в тот самый момент, когда она отпрянула от него, лис повернулся, чтобы умчаться прочь, и провел хвостом по ее лицу – казалось, его хвост пылал огнем, потому что он очень сильно обжег и опалил ей рот. От этой боли она прснулась и лежала, вся содрогаясь, словно ее действительно обожгло.

Однако утром это вспоминалось ей лишь как память о чем-то далеком. Поднявшись, она занялась уборкой дома и уходом за птицей. Бэнфорд на своем велосипеде полетела в деревню купить съестного. Она была гостеприимная душа. Но, увы, в год 1918-й из съестного мало что можно было купить. Парень спустился вниз. Он был молод и полон сил, но ходил, выставив голову вперед, отчего казалось, что плечи у него приподняты и сутулятся, как будто у него чуть горбатится позвоночник. Должно быть, он просто держался таким манером, потому что был молод и заряжен энергией. Он умылся и вышел из дома, оставив женщин готовить завтрак.

Он все осмотрел и все проверил. Его живое любопытство было ненасытно. Он сравнивал положение вещей с тем, как он помнил их по прежним временам, и прикидывал в уме воздействие перемен. Наблюдал за курами и утками, чтобы понять, в каком они состоянии, отметил, что в вышине во множестве летают лесные голуби,

увидел высоко на деревьях несколько яблок, которых не сумела достать Марч, заметил, что они взяли напрокат насос, очевидно, чтобы откачивать воду из большого резервуара для пресной воды, находившегося с северной стороны дома.

– Смешное место, старое, уже штукатурка сыплется, – сказал он девушкам, усаживаясь завтракать.

Он думал обо всех этих вещах, и глаза у него были детские и мудрые. Говорил он мало, зато ел презрительно. Марч сидела, отвернувшись в сторону. К тому же еще спозаранку она была также не в состоянии осознать его присутствие, хотя блеск его формы цвета хаки напоминал, как блестел лис из того сна.

Днем девушки занимались своими делами. Он с утра подхватил ружья, подстрелил кролика и дикую утку, летевшую высоко в небе в сторону леса. Это сильно пополнило их пустую кладовку. Девушки сочили, что он уже заплатил за постой. Однако о том, что он собирается уходить, он не говорил ничего. После полудня он отправился в деревню. Вернулся к чаю. На его кругловатом лице было написано все то же настороженное, предусмотрительное выражение. Несколько размашистым движением он повесил шляпу на крючок. О чем-то думал.

– Ну, – сказал он девушкам за столом. – И что мне делать?

– В каком смысле... что вам делать? – спросила Бэнфорд.

– Где мне найти в деревне пристанище, чтоб остановиться? – сказал он.

– Я не знаю, – сказала Бэнфорд. – Где вы думаете остановиться?

– Ну, – неуверенно проговорил он, – в «Лебеде» у них этот грипп, а в «Плуге и бороне» разместили солдат, которые убирают сено для армии, да к тому же, мне сказали, на постое в деревне в частных домах еще десять солдат с капралом. Не знаю, где я найду себе угол переночевать.

Он предоставил им решать этот вопрос. На сей счет он особо не беспокоился. Марч сидела, положив локти

на стол, опершись на руки подбородком, безотчетно глядя на него. Неожиданно он поднял свои помрачневшие голубые глаза и безо всякой мысли посмотрел прямо в глаза Марч. Он был так же поражен, как и она. И тоже слегка отпрянул прочь. Когда он отворачивался, Марч почувствовала, как из его глаз полыхнула и запала ей в душу та же самая коварная, дразнящая, вещая искра, что и из темных глаз лиса. Она сжала рот, словно от боли, но также и словно во сне.

– Ну, не знаю, – проговорила Бэнфорд. Она как будто противилась, словно опасаясь, что ее проведут. Она посмотрела на Марч. Но своими слабыми, полными тревоги глазами различила на лице подруги лишь все то же обычное, полуотвлеченное выражение. – Почему ты ничего не говоришь, Нелли? – сказала она.

Но, сидя с широко раскрытыми глазами, Марч молчала, и парень, не сводя глаз, смотрел на нее как замороженный.

– Ну же... скажи что-нибудь, – говорила Бэнфорд. Но Марч, словно приходя – или пытаясь прийти – в себя, лишь чуточку отвернулась в сторону.

– И что я, по-твоему, должна сказать? – машинально спросила она.

– Скажи, что ты думаешь, – проговорила Бэнфорд.

– Мне все равно, – сказала Марч.

Снова последовало молчание. Казалось, в глазах парня плясал острый язычок пламени, вонзавшийся, как игла.

– Мне тоже, – сказала Бэнфорд. – Можете остаться здесь, если угодно.

Подобно коварному пламени, улыбка, помимо его воли, внезапно разлилась по его лицу. Он быстро опустил голову, чтобы скрыть ее, и так и сидел с низко опущенной головой, пряча лицо.

– Можете остаться здесь, если угодно. Сделайте одолжение, Генри, – заключила Бэнфорд.

Он по-прежнему не ответил, продолжая сидеть с опущенной головой. Затем поднял лицо. Его озарял стран-

ный, словно исполненный восторга свет, и он смотрел на Марч неимоверно ясными глазами. Она отвернулась с болезненным ощущением, словно от раны во рту, и с помутненным сознанием.

Бэнфорд была слегка озадачена. Она наблюдала за тем, как парень не отрываясь смотрит на Марч прозрачным взглядом и на его лице сияет незримая улыбка. Она не понимала этой улыбки, потому что ни одна черта его лица не дрогнула. Казалось, улыбка заключалась лишь в блеске, чуть ли не сиянии тонких, светлых волосков на его щеках. Затем он посмотрел на Бэнфорд; его взгляд совершенно изменился.

– Вы, конечно, ужасно добры, – произнес он своим тихим, учтивым голосом. – Уверен, вам ни к чему беспокойство, которое я вам причиняю.

– Подрежь хлеба, Нелли, – сказала она с некоторой неловкостью. И добавила: – Никакого беспокойства, если останетесь. Все равно как если бы тут несколько дней прожил мой родной брат. Такой же мальчишка, как вы.

– Это ужасно мило с вашей стороны, знаю, – повторишь парень. – Мне бы так хотелось остаться, если вы уверены, что я не причиню вам беспокойства.

– Разумеется, какое нам от вас беспокойство. Говорю вам, приятно, когда в доме, кроме нас, есть кто-то еще, – сказала добросердечная Бэнфорд.

– Но мисс Марч? – произнес он своим тихим голосом, глядя на нее.

– Что касается меня, то все в порядке, – неопределенно ответила та.

Лицо его просияло, он чуть ли не потирал руки от удовольствия.

– Что ж, ладно, – сказал он, – это было бы прекрасно, если бы вы позволили мне платить за стол и помогать в работе.

– Вам нет необходимости толковать о столе, – сказала Бэнфорд.

Прошел день, другой, парень все еще оставался на ферме. Бэнфорд была совершенно очарована им. Гово-

рил он так тихо, так учтиво и не хотел сам много говорить, предпочитая слушать ее, заливаясь быстрым, полуироничным смехом. Помогал он в работе охотно – но особо не перетруждался. Любил бродить в одиночестве с ружьем, наблюдать, видеть. Его любопытство, в котором не было ничего личного, было ненасытным; в полном одиночестве он чувствовал себя совершенно свободно и присматривался, будучи сам наполовину невидим, скрыт.

В особенности он присматривался к Марч. Для него она была странной особой. Его дразнила ее фигура, напоминавшая фигуру грациозного юноши. Когда он заглядывал в ее темные глаза, что-то вздымалось в его душе, охваченной странным, ликующим волнением, волнением столь острым и таинственным, что он боялся выдать его. А потом, ее чудные, пронизательные замечания откровенно смешили его. Он чувствовал, что должен пойти дальше, его с неизбежностью влекло к этому. Но, отогнав мысль о ней, он отправился с ружьем к лесной опушке.

Домой он вернулся с наступлением сумерек, а с сумерками зарядил мелкий дождик, какие идут в конце ноября. В окне гостиной он увидел полыхающее в камине пламя, полыхающий огонек среди маленького скопления темных строений. И про себя подумал, что было бы недурно владеть этой фермой. И тут ему пришла здравая мысль: отчего не жениться на Марч? Пораженный этой мыслью, он несколько мгновений неподвижно стоял посреди поля, по-прежнему держа в руке мертвого кролика. Его мозг выжидал, занятый, казалось, какими-то подсчетами, – затем парень забавно улыбнулся сам себе в знак немого согласия. Почему нет? И впрямь, почему нет? Хорошая мысль. Пусть немного смехотворная, что с того? Какое это имеет значение? Что, если она старше него? Это ничего не значит. Когда он подумал о ее темных, испуганных, таких болезненно чутких глазах, он неумовимо улыбнулся про себя. На самом деле он был старше нее. Он был ее господином.

Он и самому себе едва ли признавался в своем намерении. Даже от себя хранил в тайне. Все было еще слиш-

ком неопределенно. Надо посмотреть, как пойдет дело. Если действовать неосторожно, она просто высмеет саму идею. Сообразительный и хитрый, он знал, что, подойди он к ней в открытую и скажи: «Я люблю вас, мисс Марч, и хочу на вас жениться», – ее ответом неизбежно будет: «Убирайтесь. Я не потерплю никаких глупостей». Так она относилась к мужчинам и их «глупостям». Если действовать неосторожно, она обрушит на него град жестоких, ядовитых насмешек и вышвырнет его с фермы и из головы навсегда. Тут надо действовать мягко. Надо подстерегать, как, отправляясь на охоту, подстерегают оленя или вальдшнепа. Никакого толку идти в лес и говорить оленю: «Подставься мне под ружье». Нет, это сражение медленное, тонкое. Когда действительно идешь на охоту, ты весь собираешься, внутренне сжимаешься, как пружина, тайно до рассвета пробираешься в горы. Когда отправляешься на охоту, дело не столько в том, что ты делаешь, сколько в том, как ты себя ощущаешь. Надо проявлять тонкость и хитрость и быть совершенно, фатально готовым. Это подобно судьбе. Твоя собственная судьба настаивает и решает судьбу оленя, на которого ты охотишься. Во-первых, даже еще до того, как ты увидишь свою добычу, между вами идет странная битва, что-то вроде месмеризма. Твоя душа, как охотник, выходит и прилепляется к душе оленя еще до того, как ты увидел какого-нибудь оленя. А душа оленя борется, пытаясь спастись бегством. Это так даже еще до того, как олень почует тебя. Тонкая, глубинная битва, которая происходит незримо. И битва эта не кончится, пока твоя пуля не поразит цель. Когда ты действительно достигнешь истинного накала и приблизишься наконец на расстояние выстрела, ты будешь целиться не так, как целился бы, стреляя в бутылку. Это твоя воля стремится пулю в сердце твоей добычи. Полет пули, попавшей в цель, – это чистая траектория твоей судьбы, спроецированной на судьбу оленя. Он совершается не как хитроумная уловка – как верховная воля, как верховный акт волеизъявления.

По духу он был охотник, а не фермер и не солдат, приписанный к полку. И это молодой охотник, что жил

в нем, хотел подстрелить Марч, как добычу, сделать ее своей женой. Так что он незаметно внутренне собрался, сделавшись в некотором роде словно бы невидимым. Он не вполне был уверен в том, как ему действовать дальше. А Марч была чуткая, как заяц. Так что с виду он оставался просто милым, чудаковатым парнем, незнакомцем, на пару недель задержавшимся на ферме.

После полудня он пилил дрова для камина. Темнота наступала очень рано. Все еще стоял холодный, сырой туман. Было почти ничего не видно. Рядом с козлами высились груды распиленных поленьев. Когда он допиливал последнее бревно, пришла Марч, чтобы отнести их в дом или под навес. Он работал в рубашке и ее приближения не видел; она подошла нехотя, словно стесняясь. Он увидел, как она нагнулась над яркими с торца поленьями, и перестал пилить. По его ногам, как молния, пробежал огонь.

– Марч? – произнес он своим спокойным, юным голосом.

Она подняла взгляд над поленьями, которые набирали в охапку.

– Да? – сказала она.

В сумерках он смотрел на нее сверху вниз. Он видел ее не очень отчетливо.

– Я хотел кое о чем спросить вас, – сказал он.

– Да? О чем же? – сказала она. В ее голосе уже слышался страх. Но она слишком хорошо владела собой.

– Ну, – его голос, тихий и вкрадчивый, как будто разматывался, проникая в ее нервы, – ну а как вы думаете? О чем?

Она выпрямилась, поставила руки на бедра и стояла, в ошеломлении глядя на него, ничего не отвечая. Его опять обжег неожиданный прилив сил.

– Ну, – произнес он, и его голос звучал так тихо, что, казалось, скорее напоминал легкое касание, еле слышное касание кошачьей лапки, не столько звук, сколько ощущение. – Ну... я хотел просить вас выйти за меня замуж.

Марч скорее чувствовала, чем слышала его. Она тщетно пыталась отвернуться. Казалось, она вся совершенно размякла. Она стояла молча, чуть склонив голову набок. Казалось, он, незримо улыбаясь, тянется, чтобы склониться над ней. Ей казалось, будто из него вылетают крошечные искры.

Потом она совершенно неожиданно сказала:

– Оставьте ваши глупости.

Дрожь пробежала по его нервам. Прوماх. Он мгновение переждал, чтобы собраться снова. Затем, вложив в голос всю свою странную мягкость, словно незаметно гладил ее, сказал:

– Да это не глупости. Не глупости. Это на самом деле. На самом деле. Отчего вы не верите мне?

Голос звучал обиженно. Он имел над ней такую странную власть; от этого голоса она чувствовала себя разомлевшей, размякшей. Где-то она боролась, отстаивая собственную силу. На миг ей почудилось, что она пропала – пропала – пропала. Казалось, это слово колыхалось в ней, как будто она умирала. Внезапно она заговорила снова.

– Вы не соображаете, о чем говорите, – произнесла она в быстротечном приступе презрения. – Какая чушь! Я вам в матери гожусь.

– Нет, я соображаю, о чем говорю. Да, соображаю, – упорствовал он, но мягко, как будто впрыскивал свой голос ей в кровь. – Я очень хорошо соображаю, о чем говорю. Вы не годитесь мне в матери – вы недостаточно стары. Это не правда. Да если бы и правда, какое это имеет значение. Вы можете выйти за меня, независимо от нашего возраста. Что мне до возраста? И что до него вам? Возраст ничто.

Когда он закончил, она впала в оцепенение. Говорил он быстро, как говорят в Корнуолле, – и, казалось, его голос звучал там, где она была бессильна против него. «Возраст ничто». От его мягкой, упорной настойчивости ее начало смутно кружить в темноте. Она не могла ответить.

Великий восторг огнем пробежал по его телу. Он чувствовал, что победил.

– Я хочу жениться на вас, понимаете? Почему я не должен этого делать? – быстро и мягко продолжал он. Он ждал, что она ответит. В сумраке он видел ее почти что в фосфорическом сиянии. Веки опущены, на повернутом вполборота лице ни единого признака сознания. Казалось, она была в его власти. Но он наблюдал, выжидая. Он еще не смел прикоснуться к ней.

– Скажите тогда, – проговорил он, – скажите, что вы выйдете за меня замуж. Скажите... скажите! – мягко настаивал он.

– Что? – спросила она слабым голосом, издавек, как человек, страдающий от боли. Теперь его голос раздавался немислимо близко и мягко. Он подошел к ней совсем близко.

– Скажите «да».

– О, я не могу, – беспомощно простонала она, полувнятно, словно в полубессознательном состоянии, словно страдающая от боли, словно умирающий. – Как я могу?

– Можете, – мягко произнес он и нежно положил руку ей на плечо, а она, ошеломленная, стояла, отвернувшись, с поникшей головой. – Вы можете. Да, можете. Что заставляет вас говорить, будто вы не можете? Вы можете. Можете. – И с ужасной мягкостью он наклонился вперед и едва коснулся губами и подбородком ее шеи.

– Не надо! – воскликнула она, издав слабый, безумный, похожий на истерический крик, отпрянув и поворачиваясь лицом к нему. – Что вы хотите сказать? – Но ей не хватало воздуха, чтобы говорить. Она была как убитая.

– Я хочу сказать то, что говорю, – мягко и жестоко настаивал он. – Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж. Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж. Теперь вы это знаете, правда? Вы знаете это теперь? Разве нет? Разве нет?

– Что? – сказала она.

– Знаете, – ответил он.

– Да, – сказала она. – Знаю, что вы так говорите.

– Вы мне верите? – спросил он.

Некоторое время она молчала. Затем поджала губы.

– Не знаю, чему я верю, – сказала она.

– Где вы там? – донесся до них из дома голос Бэнфорд.

– Да. Сейчас принесем поленья, – отозвался он.

– Я думала, вы пропали, – убитым голосом сказала Бэнфорд. – Поторопитесь, да-да, и приходите, будем пить чай. Чайник уже кипит.

Он сразу же нагнулся и набрал целую охапку коротких кругляков, собираясь отнести на кухню, где их складывали в углу. Марч тоже помогала, набрав поленьев, которые она несла на груди, словно тяжелого ребенка. Ночь выдалась холодная.

Внеся все поленья, они с шумом отчистили башмаки о скребок за дверью, затем вытерли о коврик. Марч затворила дверь и сняла старую фетровую шляпу – шляпу работницы на ферме. Ее густые, кудрявые черные волосы рассыпались, бледное лицо натянулось от напряжения. Она безотчетно отвела волосы назад и вымыла руки. В тускло освещенную кухню поспешно вошла Бэнфорд, чтобы снять с плиты булочки, которые она сохраняла теплыми.

– Что вы делали все это время? – спросила она с раздражением. – Я думала, вы уже никогда не придете. И вы давным-давно перестали пилить. Что вы там такое делали?

– Ну, – сказал Генри, – нам пришлось задержаться – заделывали в хлеву дыру, чтобы туда не залезали крысы.

– Как же, мне было видно, как вы стояли под навесом. Я видела вашу рубашку, – с вызовом сказала Бэнфорд.

– Да, я только убрал пилу.

Они вошли в комнату, где пили чай. Марч хранила полное молчание. Вид у нее был бледный, напряженный, отсутствующий. Парень, на румяном лице которого всегда было написано одно и то же сдержанное выражение, явился к чаю без мундира, словно у себя дома. Он ел, наклонясь над тарелкой.

– Неужели вам не холодно? – злорадно спросила Бэнфорд. – В одной рубашке.

Его подбородок едва не касался тарелки; он посмотрел на нее, подняв глаза вверх, и пока он глядел на нее, его немигающий взгляд был ясен и прозрачен.

– Нет, мне не холодно, – сказал он со своей обычной мягкой учтивостью. – Видите ли, здесь гораздо теплее, чем на дворе.

– Надеюсь, что так, – сказала Бэнфорд, чувствуя себя уязвленной. В этот вечер его странная, обходительная уверенность и яркий взгляд широко открытых глаз действовали ей на нервы.

– Но, быть может, – произнес он мягко и учтиво, – вам не нравится, что я являюсь к чаю в одной рубашке? Об этом я забыл.

– О, я не возражаю, – сказала Бэнфорд, хотя она именно возражала.

– Я пойду и надену, хорошо? – сказал он.

Марч медленно перевела на него свои темные глаза.

– Нет, не стоит беспокоиться, – произнесла она странным, звенящим тоном. – Если вы чувствуете себя нормально в таком виде, так вот и оставайтесь. – Говорила она с резкой безапелляционностью.

– Да, – сказал он, – я чувствую себя нормально, если только я не допускаю грубости.

– Вообще это считается грубостью, – сказала Бэнфорд. – Но мы не возражаем.

– Скажешь тоже, «считается грубостью», – воскликнула Марч. – Кто считает это грубостью?

– Да хотя бы и ты, Нелли, когда это делают другие, – сказала Бэнфорд, слегка раскипятившись за стеклами очков и чувствуя, что еда застряла у нее в горле.

Но Марч опять погрузилась в свое отсутствующее, рассеянное состояние и жевала с таким видом, будто вообще не сознавала, что ест. А парень переводил свои яркие, наблюдательные глаза с одной на другую.

Бэнфорд была оскорблена. При всей его обходительности и учтивости, при всей мягкости его голоса, парень казался ей наглецом. Ей было неприятно смотреть на него. Неприятно встречаться с его яркими, наблюда-

тельными глазами. Неприятно видеть разлитое по его лицу сияние, его щеки с тонкими, мягкими волосками, его румяную кожу, совсем матовую и, однако, пышущую, казалось, странным жаром жизни. Когда она смотрела на него, ей делалось немного дурно: воздействие его физического присутствия было чересчур сильным, всепроникающим, чересчур жарким.

После чая вечер прошел очень тихо. Парень редко ходил в деревню. Как правило, читал: временами он был великий книголюб. То есть, стоило ему начать, чтение захватывало его. Но он не очень жаждал начать. Зачастую в одиночестве бродил в ночной тьме по полям и вдоль живых изгородей, ведомый странным ночным чутьем, крадучись, прислушиваясь к диким звукам.

Однако в этот вечер он снял с полки Бэнфорд книгу капитана Майн Рида, сел, широко расставив колени, и с головой погрузился в повествование. Его длинные светло-каштановые волосы, густой шапкой покрывавшие голову, были зачесаны на косою прибор. Он все еще был без мундира, и то, как он склонился под лампой, с книгой в руке, широко расставив колени, и все его тело было захвачено требующим немалых усилий чтением, придавало гостиной Бэнфорд сходство с лагерем лесорубов. Это ее возмущало. Потому что темный пол гостиной был устлан красным турецким ковром, камин отделан модной зеленой плиткой, на открытом пианино стояли открытые ноты последних танцев – она очень недурно играла, а на стенах висели лебеди и водяные лилии, нарисованные рукой Марч. Более того, когда на решетке ярко, с треском горели поленья, плотные шторы задернуты, все двери закрыты, а за окном, дрожа под ветром, шумели сосны, здесь было уютно, здесь было изысканно и мило. Ее возмущал большой, длинноногий, неотесанный парень, сидевший тут, выставив колени в хаки, в солдатской гимнастерке с манжетами на пуговицах, застегнутыми на его толстых, красных запястьях. Время от времени он переворачивал страницу, время от времени бросал острый взгляд на пламя и подправлял поленья.

Затем опять читал, погружаясь в свое напряженное, уединенное занятие.

У дальней стороны стола судорожно вязала Марч. Она чудно поджала рот, как когда ей приснилось, что его опалил лисий хвост; ее красивые кудрявые черные волосы разметались тонкими прядями. Но сама поза всей ее фигуры выглядела отрешенной, как будто она находилась за много миль отсюда. Словно в полудреме, она слышала, как на ветру у дома поет лис, поет дико, сладостно и безумно. Красными, но красивыми руками она медленно вязала что-то из хлопчатобумажных ниток, очень медленно и неуклюже.

Бэнфорд пыталась читать, сидя в своем низком кресле. Но рядом с ними ею владело беспокойство. Она все время ерзала, оглядывалась по сторонам, прислушивалась к ветру и поочередно исподтишка приглядывалась к своим сотоварищам. Сидевшая на стуле с прямой спинкой в своих обтягивающих бриджах, положив ногу на ногу, и медленно, старательно ковырявшая крючком Марч тоже была для нее пыткой.

– О Боже! – сказала Бэнфорд. – Сегодня мои глаза никуда не годятся. – И она прижала пальцы к глазам.

Парень поднял на нее свой ясный, яркий взор, но не сказал ничего.

– Да, Джилл? – с отсутствующим видом спросила Марч.

Затем парень вновь принялся за чтение, и Бэнфорд поневоле вернулась к своей книге. Но она не могла усидеть спокойно. Немного погодя она посмотрела на Марч, и странная, почти злобная улыбка появилась на ее худом лице.

– О чем ты задумалась, Нелл, – даю пенни, – вдруг сказала она.

Марч обвела комнату своими большими, черными, испуганными глазами и побледнела, словно от ужаса. Она с такой нежностью вслушивалась в песнь лиса, бродившего вокруг дома, с такой нежностью.

– Что? – безотчетно спросила она.

– Пенни за твои мысли, – с сарказмом сказала Бэнфорд. – Или два – если это что-то уж очень глубокомысленное.

Сидя под лампой, парень наблюдал своими яркими, ясными глазами.

– Ну что ты? – раздался рассеянный голос Марч, – с чего тебе вздумалось попусту тратить деньги?

– Я думала, это будет не пустая трата, – сказала Бэнфорд.

– Я думала только о том, как воеет ветер, – сказала Марч.

– О Боже! – ответила Бэнфорд, – до такой оригинальной мысли я могла додуматься сама. Боюсь, на этот раз я и впрямь потратила деньги попусту.

– Ну, можешь не платить, – сказала Марч.

Парень вдруг расхохотался. Обе женщины посмотрели на него – Марч с довольно удивленным видом, как будто она и не подозревала, что он здесь.

– Вы что же, платите в таких случаях? – спросил он.

– О, да, – ответила Бэнфорд. – Всегда. Иногда в зимнее время я отдаю Нелли шиллинг в неделю. Летом это обходится дешевле.

– Что, платить друг другу за мысли? – хохотал он.

– Да, когда исчерпаем все остальное.

Хохотал он быстро, сильно наморщив нос, как щенок, хохотал с явным удовольствием; его глаза блестели.

– Первый раз про такое слышу, – сказал он.

– Думаю, если бы вы остались на Бэйли-фарм на зиму, вы бы слышали об этом достаточно часто, – жалобно произнесла Бэнфорд.

– Вы, значит, так сильно устаете? – спросил он.

– Нам так скучно, – ответила Бэнфорд.

– О, – сказал он серьезно. – Но почему вам скучно?

– Кому бы не стало скучно? – сказала Бэнфорд.

– Мне жаль это слышать, – сказал он серьезно.

– Должно быть, если вы надеялись весело проводить тут время, – сказала Бэнфорд.

Он посмотрел на нее долгим, серьезным взглядом.

– Ну, – сказал он со странной юношеской серьезностью, – для меня тут достаточно весело.

– Рада это слышать, – сказала Бэнфорд.

И она вернулась к своей книге. Хотя ей не было тридцати, в ее жидких, ломких волосах мелькало уже немало седых нитей. Не опуская глаз, парень перевел их на Марч, которая сидела, поджав рот, и упорно вязала; ее глаза с отсутствующим взглядом были широко открыты. У нее была дивная, бледная, теплая кожа и изящный нос. Поджатый рот выглядел немного сварливым. Но эту сварливость отрицала необычайно высокая дуга ее темных бровей и широко открытые глаза; удивленно-испуганный, отсутствующий вид. Она вновь прислушивалась, надеясь услышать лиса, который, казалось, откочевал в ночи подальше от дома.

Парень сидел и из-под лампы смотрел на нее снизу вверх, молча наблюдая за ней своими круглыми, очень ясными и сосредоточенными глазами. Бэнфорд сквозь волосы глядела на него, кусая от раздражения ногти. Он сидел совершенно неподвижно, на грани света и сумрака, приподняв румяное лицо над падавшим вниз кругом света, и наблюдал с совершенно отвлеченной сосредоточенностью. Внезапно Марч подняла свои огромные темные глаза, оторвав их от вязания, и увидела его. Она вздрогнула, издав легкий крик.

– Вот он! – невольно воскликнула она, словно в жутком испуге.

Бэнфорд в изумлении обернулась и, сидя на месте, вытянулась в струнку.

– Что на тебя напало, Нелли? – крикнула она.

Но Марч смотрела в сторону двери, ее лицо заливал нежно-розовый румянец.

– Ничего! Ничего! – сердито сказала она. – Нельзя, что ли, ничего сказать?

– Можно, если говоришь разумно, – сказала Бэнфорд. – Что ты имела в виду?

– Не знаю, что я имела в виду, – запальчиво крикнула она.

– О Нелли, надеюсь, нервы у тебя не расшатались в конец и ты не станешь бросаться на всех. Я чувствую,

что больше не вынесу! Что ты, собственно, имела в виду? Ты имела в виду Генри? – крикнула бедная испуганная Бэнфорд.

– Да. Полагаю, да, – лаконично сказала Марч. Она ни за что не призналась бы, что имела в виду лиса.

– О Боже, сегодня мои нервы совсем сдали, – причитала Бэнфорд.

В девять часов Марч принесла на подносе хлеб, сыр и чай – Генри признался, что любит выпить чашку чая. Бэнфорд выпила стакан молока и съела немножко хлеба. И вскоре сказала:

– Я отправляюсь в постель, Нелли, я вся изнервничалась сегодня. Ты идешь?

– Да, приду, как только уберу поднос, – сказала Марч.

– Тогда не тяни, – с раздражением сказала Бэнфорд, – Спокойной ночи, Генри. Если вы останетесь последним, присмотрите за камином, хорошо?

– Да, мисс Бэнфорд. Присмотрю, – ответил он успокаивающим тоном.

Марч стала зажигать свечу, чтобы идти на кухню. Бэнфорд взяла свою свечу и отправилась наверх. Вернувшись к камину, Марч сказала ему:

– Полагаю, вам можно доверить камин и прочее? – Она стояла, упершись рукой в бок, расслабив одно колено, застенчиво отвернувшись в сторону, как будто не могла смотреть на него. Приподняв лицо, он наблюдал за ней.

– Присядьте здесь на минутку, – мягко произнес он.

– Нет, пойду. Джилл будет ждать и расстроится, если я задержусь.

– Отчего вы так дергались нынче вечером? – спросил он.

– Когда это я дергалась? – возразила она, глядя на него.

– Да только что, – сказал он. – Когда вскрикнули.

– А! – сказала она. – Тогда!.. Ну, я подумала, что вы лис! – И ее лицо скривилось в странной ироничной улыбке.

– Лис? Почему лис? – мягко спросил он.

– Ну, прошлым летом я как-то вечером бродила с ружьем и увидела в траве лиса, чуть ли не у себя под ногами, который смотрел прямо на меня. Не знаю... – он, должно быть, произвел на меня впечатление. – Она снова отвернулась и от стеснения водила по полу ногой.

– И вы не застрелили его? – спросил парнишка.

– Нет, он так меня поразил тем, что смотрел прямо на меня, а потом остановился, оглянулся со смеющейся мордой и посмотрел на меня через плечо.

– Смеющейся мордой! – повторил Генри, тоже заливаясь смехом. – Он вас напугал, да?

– Нет, он меня не напугал. Он произвел на меня впечатление, вот и все.

– И вы подумали, что я лис, да? – он засмеялся тем же странным, быстрым смешком, наморщив нос, как щенок.

– Да, на какой-то миг, – сказала она. – Может, он сидел у меня в голове, а я и не знала.

– Может, вы думаете, я пришел воровать кур или еще что, – сказал он с тем же юношеским смешком.

Но она только с отсутствующим видом поглядела на него широко открытыми, темными глазами.

– Первый раз, – сказал он, – меня принимают за лиса. Не присядете ли на минутку? – Его голос звучал очень тихо и вкрадчиво.

– Нет, – сказала она. – Джилл будет ждать. – Но она по-прежнему не уходила, а стояла, отвернувшись, прямо за чертой светового круга, и вода по полу ногой.

– Но не ответите ли вы на мой вопрос? – сказал он еще более тихим голосом.

– Не знаю, о каком вопросе вы говорите.

– Нет, знаете. Конечно, знаете. Я о том вопросе говорю – выйдете ли вы за меня замуж.

– Нет, я не буду отвечать на этот вопрос, – отрезала она.

– Не будете? – Странный мальчишеский смешок вновь заплясал у него на носу. – Это потому, что я похож на лиса? Поэтому? – Он все еще смеялся.

Она повернулась и посмотрела на него долгим, медленным взглядом.

– Я не позволю, чтобы это настраивало вас против меня, – сказал он. – Дайте я приверну фитиль лампы, идите сюда, присядьте на минутку.

Он протянул свою красную руку в световой круг лампы, и она вдруг стала светить очень тускло. Марч стояла в полумраке, очень похожая на тень, но неподвижная. Он молча поднялся на ноги, на свои длинные ноги. И теперь его голос, необычайно тихий и вкрадчивый, был едва слышен.

– Оставайтесь на минутку, – сказал он. – Только на минутку. – И он положил руку ей на плечо. Она отвернулась от него. – Уверен, что на самом деле вы не думаете, будто я лис, – так же произнес он, и в его тоне слышалось предвестие смеха, тонкая насмешка. – Вы думаете так сейчас? – И он нежно притянул ее к себе и ласково поцеловал в шею. Она тихонько задрожала и отпрянула назад. Но его сильная рука удержала ее, и он опять ласково поцеловал ее, опять в шею, потому что ее лицо было все еще повернуто прочь.

– Вы так и не ответите на мой вопрос? Вот сейчас? – раздался его тихий, медлительный голос. Он попытался притянуть ее ближе, чтобы поцеловать в лицо. И ласково поцеловал ее в щеку, около уха.

В этот момент сверху донесся раздраженный голос Бэнфорд, призывавший ее.

– Это Джилл! – воскликнула Марч и, вздрогнув, выпрямилась.

И за то время, что это продолжалось, он с быстротой молнии поцеловал ее в губы быстрым, беглым поцелуем. Казалось, он прожег насквозь все ее тело. Она вскрикнула, издав странный, короткий крик.

– Ответите, правда? Ответите! – мягко настаивал он.

– Нелли! Нелли! Чего ты там медлишь? – доносился из темноты слабый крик Бэнфорд.

Но он крепко держал ее, шепча с мягкой настойчивостью:

– Ответите, правда? Скажите «да»! Скажите «да»!

Чувствуя себя так, словно по всему ее телу пробежал огонь и опалил его и что она ничего больше сделать не может, она прошептала:

– Да! Да! Все, что вам угодно! Все, что вам угодно! Только пустите! Джилл зовет.

– Помните, что вы обещали, – сказал он коварно.

– А! Да! Помню! – Внезапно ее голос взмыл до пронзительного крика. – Хорошо, Джилл, иду.

Испугавшись, он отпустил ее; она сразу пошла наверх.

Утром, за завтраком, после того как он осмотрел ферму и позаботился о живности, решив про себя, что здесь довольно легко прожить, он сказал Бэнфорд:

– Знаете что, мисс Бэнфорд?

– Ну что? – сказала добродушная, нервная Бэнфорд.

Он посмотрел на Марч, которая намазывала джемом свой хлеб.

– Сказать? – спросил он ее.

Она подняла на него глаза, и густой пунцовый румянец залил ее лицо.

– Если вы говорите о Джилл, – сказала она. – Надеюсь, вы не отправитесь в деревню и не станете сообщать всем подряд, вот и все. – И она с трудом проглотила сухой хлеб.

– Что происходит? – спросила Бэнфорд, подняв широко открытые, усталые, чуть покрасневшие глаза. Она была маленьким, худощавым, хрупким созданием, и ее стриженные светло-каштановые с сединой волосы, такие же тонкие и жидкие, мягко свисали вокруг ее изможденного лица.

– Ну что, по-вашему? – произнес он, как человек, у которого есть секрет.

– Откуда мне знать! – сказала Бэнфорд.

– Неужели вы не можете догадаться? – произнес он, ярко сверкнув глазами и улыбнувшись, довольный собой.

– Уверена, что не могу. Более того, и не собираюсь.

– Мы с Нелли собираемся пожениться.

Бэнфорд выпустила нож из тонких худых пальцев так, словно никогда уже не собиралась брать его за едой в руки. Она уставилась на парня пустыми, покрасневшими глазами.

– Вы – что? – воскликнула она.

– Мы с Нелли собираемся пожениться. Правда, Нелли? – и он повернулся к Марч.

– Так, во всяком случае, вы говорите, – лаконично сказала Марч. Но вновь залилась мучительным румянцем.

Бэнфорд смотрела на нее, как подстреленная птица, бедная, больная птичка. Она глядела на густо покрасневшую Марч всей своей раненой душой, которая была написана на ее лице.

– Никогда! – бессильно воскликнула она.

– Все в полном порядке, – сказал парень, сияющий и злорадный.

Бэнфорд отвернулась, как будто ее тошнило от одного вида пищи. Какое-то время она сидела так, словно ее тошнит. Затем, опираясь одной рукой о край стола, поднялась на ноги.

– Я никогда этому не поверю, Нелли, – крикнула она. – Это абсолютно невозможно.

В ее жалобном, раздраженном голосе сквозили яростный гнев и отчаяние.

– Почему? Почему не поверите? – произнес парень со всей своей мягкой, бархатной наглостью в голосе.

Бэнфорд посмотрела на него широко открытыми, незрячими глазами, как будто он был одним из тех существ, что показывают в музеях.

– О, – безжизненным голосом сказала она, – да потому, что не может она быть такой дурой. Не может до такой степени потерять уважение к себе. – Ее голос улетучивался, жалобный и холодный.

– Каким образом она потеряет уважение к себе? – спросил парень.

Сквозь очки Бэнфорд посмотрела на него отсутствующим, немигающим взглядом.

– Если она уже не потеряла его.

Под этим медленным, отсутствующим взглядом сквозь очки он покраснел, побагровел.

– Я совсем не вижу этого, – сказал он.

– Вы, вероятно, не видите. Я бы и не ожидала, что вы увидите, – произнесла Бэнфорд тоном той ускользающей, кроткой отстраненности, от которой ее слова звучали еще оскорбительнее.

Напряженно застыв на стуле, он, не отрываясь, смотрел своими голубыми глазами, жарко горевшими на его зардевшемся лице. Безобразное выражение проступило на нем.

– Поверьте моему слову, она не понимает, во что она позволяет себя втянуть, – произнесла Бэнфорд своим жалобным, улетучивающимся, оскорбительным тоном.

– Так или иначе, какое это имеет отношение к вам? – спросил парень, распаляясь.

– Вероятно, побольше, чем к вам, – ответила она жалобно и злобно.

– А, да! Я так совсем не считаю, – выпалил он.

– Да, вам нечего так считать, – ответила она улетучивающимся тоном.

– Во всяком случае, – сказала Марч, отбросив волосы назад и неловко поднимаясь на ноги, – без толку спорить об этом. – И, схватив хлеб и чайник, прошествовала в кухню.

Подобно человеку, пребывающему в трансе, Бэнфорд водила пальцами по лбу и волосам. Потом повернулась и удалилась наверх.

Генри сидел, напряженно застыв на стуле, угрюмый, с горящим лицом и глазами. Марч приходила и уходила, убирая со стола. Но Генри продолжал сидеть, напряженно застыв от гнева. Он не обращал на нее никакого внимания. К ней вернулось самообладание и мягкий, ровный, бархатистый цвет лица. Но ее рот был поджат. Каждый раз, как она приходила, чтобы забрать со стола вещи, она смотрела на него, смотрела своими большими, любопытными глазами, более из любопытства,

нежели по какой-то иной причине. Такой долговязый, угрюмый мальчишка с красным лицом! Вот и все, что он собой представляет. Казалось, он был так же далек от нее, как если бы его лицо было красной головкой на дымоходной трубе на крыше хижины через поле от них, и она смотрела на него так же беспристрастно, так же отчужденно.

Наконец, он встал и, прихватив ружье, зашагал по полям. Он пришел только к обеду, на его лице все еще была написана ярость, но в манерах он соблюдал абсолютную вежливость. Никто ничего особенно не говорил; каждый сидел на своем острие треугольника, упрямо держась отчужденно. После полудня он опять сразу же вышел с ружьем. Явился к ночи, принесся кролика и голубя. Весь вечер он не выходил, но едва ли открывал рот за все это время. Он был чертовски зол, чувствуя себя оскорбленным.

Глаза у Бэнфорд были красные; очевидно, она плакала. Но держалась она еще отчужденнее и надменнее, чем всегда; стоило ему вообще заговорить, и оттого, как она поворачивала голову, словно он какой-то бродяга или подобный пришелец низшего сорта, его голубые глаза становились от ярости почти черными. Его лицо сделалось еще угрюмее. Но открывая рот, чтобы заговорить, он ни разу не забыл о вежливой интонации.

Казалось, Марч расцвела в этой атмосфере. Сидя с легкой насмешливой улыбкой между двумя противниками, она, казалось, наслаждалась этим. В том, как усердно она вязала в этот вечер, чувствовалось даже своего рода самодовольство.

Улегшись в постель, парень слышал, как женщины говорят и спорят у себя в комнате. Не слезая с кровати, он сел и напряг слух, силясь разобрать, что они говорят, но ничего не расслышал – было чересчур далеко. Но он смог разобрать тихую, жалобную слезливую ноту голоса Бэнфорд и более глубокие ноты Марч.

Ночь была спокойная, морозная. На дворе, за вершинами сосен, протянувшимися кряжистой цепью, сияли

крупные звезды. Он вслушивался и вслушивался. Услышал вдали тьяканье лиса и ответный лай собак на фермах. Но ему не это хотелось услышать – хотелось услышать, что говорят женщины.

Он, крадучись, выбрался из постели и стал у двери. Но слышно было не больше прежнего. Очень, очень осторожно он начал приподнимать на двери крючок. Прошло порядочно времени прежде, чем ему удалось открыть дверь. Затем он, крадучись, ступил в коридор. Старые дубовые половицы были очень холодные и чудовищно скрипели у него под ногами. Ступая очень, очень легко, он прокрался на один пролет лестницы вверх, затем вдоль стены, пока не очутился у их двери. Здесь он затаил дыхание и прислушался. Это был голос Бэнфорд:

– Нет, я просто не смогла бы этого вынести. Я бы через месяц уже умерла. Что, конечно, и было бы его целью. Что ему как раз и требуется – свести меня в могилу. Нет, Нелли, если ты это сделаешь, если ты выйдешь за него замуж, ты не можешь оставаться здесь. Я не могу, не могу жить с ним под одной крышей. О!.. О!.. Мне делается просто дурно от запаха его одежды. А от его красного лица меня просто с души воротит. Я не могу есть, когда он сидит за столом. Какая же я дура, что позволила ему остаться. Никогда не следует совершать добрые дела. Это непременно возвратится к тебе, как бумеранг, – и прямо в лицо.

– Что же, осталось всего два дня, – сказала Марч.

– Да, слава Богу. И когда он уедет, он уж больше никогда не войдет в этот дом. Мне так плохо, когда он здесь. И я знаю, знаю, он тем только и занят, что подсчитывает, что он может извлечь из тебя. Знаю, в этом все дело. Он просто бездельник, который не желает работать и думает прожить за наш счет. Но за мой счет он жить не будет. Если ты так глупа, это твоя печаль. Миссис Бёрджесс была с ним знакома, когда он тут жил, – все то время. Старику так и не удалось заставить его исполнять какую-нибудь постоянную работу. При первой возможности он удалялся со своим ружьем, точно так же, как сейчас. Ничего,

кроме ружья. О, мне противно, противно все это. Ты не соображаешь, что делаешь, Нелли, нет. Если ты за него выйдешь, он просто облапошит тебя. Уедет, а ты останешься, связанная по рукам. Я знаю, что уедет, если не сможет заполучить от нас Бэйли-фарм – а пока я жива, ноги его здесь никогда больше не будет. Я знаю, как все это пойдет. Вскоре он возомнил бы себя господином над нами – над обеими, как он уже возомнил себя твоим господином.

– Но он не мой господин, – сказала Марч.

– Во всяком случае, он так думает. И это все, чего он хочет: прийти и быть здесь господином. Да, представь себе! Для этого вот мы взяли ферму, – чтобы нами распорядился и командовал мерзкий работник, противный мальчишка с красным лицом. О, мы действительно совершили ошибку, разрешив ему остаться. Нам не следовало опускаться так низко. А ведь мне пришлось вести такую борьбу со всеми местными, чтобы не дать затянуть себя, не опуститься до их уровня. Нет, сюда ему хода нет. И тогда ты увидишь – если он не сможет заполучить ферму, он сбежит в Канаду или куда-то еще, как будто он с тобой никогда и не знался. А ты будешь сидеть тут, облапошенная, с совершенно загубленной жизнью. Я знаю, что мне никогда уже не обрести душевного покоя.

– Скажем ему, что он не может сюда вернуться. Это мы ему скажем, – произнесла Марч.

– О, об этом не беспокойся, я собираюсь сказать ему это и кое-что еще до его отъезда. Пока мне хватает сил говорить, не все будет по его воле. О Нелли, если ты уступишь ему, он будет презирать тебя, как ужасный звереныш, каковым он и является. Я доверяю ему не больше, чем тому, что кошка не станет красть. Он хитер, и любит командовать, и он законченный эгоист, холодный, как лед. Он хочет просто использовать тебя. А когда ты станешь ему бесполезна, вот тогда мне жаль тебя.

– Не думаю, чтобы он был так плох, – сказала Марч.

– Да, потому что он тебе подыгрывает. Но когда ты понаблюдаешь за ним подольше, ты это обнаружишь. О Нелли, мне невыносимо думать об этом.

– Ну что же, Джилл, тебе-то это не причинит вреда, дорогая.

– Не причинит! Не причинит! Да пока я жива, мне не знать ни минуты покоя, ни мгновения счастья. Нет, Нелли... – и Бэнфорд горько расплакалась.

Стоя под дверью, парень услышал сдавленные женские рыдания и тихий, нежный, грудной голос Марч, которая с дивной мягкостью и нежностью успокаивала плачущую женщину.

Его круглые глаза были открыты так широко, что, казалось, они объяли всю ночь, а уши чуть вовсе не отваливались. Он продрог насквозь. Он пробрался назад, к себе в постель, но ему казалось, будто у него поехали мозги. Он не мог уснуть. Не мог улежать спокойно. Тихонько поднялся, оделся и снова выскользнул на лестничную площадку. У женщин было тихо. Он бесшумно спустился вниз и прошел в кухню.

Затем надел башмаки и шинель, взял ружье. Он не думал уходить с фермы. Нет, просто взял ружье. По возможности тихо отпер дверь и вышел в морозную, декабрьскую ночь. Воздух был недвижим, звезды ярко горели, казалось, было слышно, как в воздухе скрипят сосны.

Он, крадучись, пошел вдоль ограды, высматривая, что бы подстрелить. В то же время он помнил, что стрелять нельзя – напугаешь женщин.

И он побрел по краю зарослей дрока, прошел через рощу старых, высоких падубов к лесу. Здесь он обогнул ограду, всматриваясь в темноту широко открытыми глазами, которые, казалось, во тьме обрели способность видеть, как у кошки, и становиться черными. У большого дуба медленно и скорбно ухала сова. Он, крадучись, ступал со своим ружьем, вслушиваясь, всматриваясь, вслушиваясь.

Стоя на опушке под дубами, он услышал, как выше на холме, у соседней хижины, вдруг залились оглушительным лаем собаки, и в ответ им залаяли пробудившиеся собаки с окрестных ферм. И внезапно Англия показалась ему такой маленькой и тесной, что ему почудилось, буд-

то ландшафт сдавлен даже во тьме и что в ночи слишком много собак, шум которых походил на звуковую ограду, подобную сети английских живых изгородей, сковывающих взгляд. У лиса нет никаких шансов, подумал он. Потому что, наверное, вся эта суматоха поднялась из-за лиса.

Раз так, отчего бы не поискать его? Он, все обнюхивая, несомненно заявится сюда. Парень начал спускаться с холма туда, где черным пятном лепилась ферма с несколькими соснами. В углу длинного навеса, в черной тьме, присел. Он знал, что лис придет. Ему казалось, что это будет последний лис во всей этой громколающей, зычноголосой Англии, где тесно от бесчисленного числа маленьких домиков.

Он долго сидел, устремив неотрывный взгляд на открытые ворота, куда, казалось, падает немного света – от звезд ли, от горизонта ль, кто его знает. Сидел в темном углу, на бревне, положив поперек колен ружье. Сосны трещали. Один раз в хлеву свалилась с насеста курица, подняв громким квохтанием и кудахтанием суматоху, которая встревожила его, и он встал, глядя во все глаза, и подумал, что, быть может, это крысы. Но он чувствовал, что это ерунда. Так что он снова сел, положив ружье на колени и засунув руки в карманы, чтобы не замерзли, устремив немигающий взгляд на бледную полоску открытых ворот. Он чувствовал в холодном воздухе сильный, жаркий, дурмящий запах живых кур.

А потом... тень. Скользящая тень в воротах. Напрягая все свое зрение, он собрал его в единую вспышку и увидел тень лиса, на брюхе проползавшего под воротами. Вот он, ползет на брюхе, как змея. Парень улыбнулся про себя и поднял ружье к плечу. Он отлично знал, что прозойдет. Знал, что лис пойдет к двери курятника, забитой досками, и станет там нюхать. Знал, что лис немножко повалится там, принюхиваясь к птицам внутри. А потом станет вновь рыскать близ старого хлева, готовый забраться туда.

Дверь птичника находилась над небольшим уступом. Бесшумной тенью скользил лис вверх по уступу,

бесшумно, припав к земле, прижимаясь носом к доскам. В этот самый момент среди старых строений прогремел страшный выстрел, словно вдребезги разлетелась ночь. Парень внимательно наблюдал. Пока умирающий зверь сучил лапами, он видел даже белое брюхо лиса. Так что он двинулся туда.

Подняв всеобщий гвалт, куры с кудахтаньем налетали друг на друга, утки кричали, пони с диким топотом вскочил на ноги. А лис, лежа на боку, бился, сотрясаясь от последних содроганий. Парень склонился над ним и услышал его лисий запах.

Раздался звук отворяемого наверху окна, и голос Марч позвал:

– Кто там?

– Это я, – сказал Генри, – я подстрелил лиса.

– О Боже! Вы нас чуть не до смерти напугали.

– Да? Ужасно жаль.

– Отчего вы встали?

– Услышал, как он тут рыщет.

– И вы его подстрелили?

– Да, вот он, – и парень встал во дворе, подняв вверх теплого, мертвого зверя. – Вам его видно, да? Погодите минутку. – И, достав из кармана фонарик, он навел его на мертвое животное. Он держал лиса за хвост. В провале темноты Марч различила лишь рыжеватую шкуру, белое брюхо с белым пухом под вытянутой пастью и странно свесившиеся вниз лапы. Она не знала, что сказать.

– Красавец, – сказал парень. – Из него выйдет для вас прекрасный воротник.

– Вы не дождетесь, чтобы я носила лису, – ответила она.

– О! – произнес он и выключил фонарик.

– Ну, по-моему, вам надо пойти и снова лечь спать.

– Ну, наверное, так я и сделаю. Сколько времени?

– Сколько времени, Джилл? – раздался голос Марч.

Было без четверти час.

В ту ночь Марч привиделся еще один сон. Ей приснилось, что Бэнфорд умерла, а она, Марч, горько рыдала.

Потом ей нужно было уложить Бэнфорд в гроб. А гробом был грубо сколоченный ящик, куда на кухне, у печки, складывали наколотые дрова. Такой вот был гроб, и другого не было, и Марч была в отчаянии, от потрясения она оцепенела, пытаясь найти что-то, чтобы постелить в ящике, чтобы там было помягче, чтобы укрыть покойницу, свою дорогую бедняжку. Потому что не могла она положить ее в этот жуткий ящик для дров просто в одной тонкой, белой ночной сорочке. Так что она все искала и искала, брала то одну вещь, то другую и отбрасывала в муках снившегося ей отчаяния. И в этом снившемся ей отчаянии единственное, что могло бы подойти из того, что попадалось ей под руку, это лисья шкура. Она знала, что это неприемлемо, что ей нужно что-то другое. Но она ничего не могла найти. Так что она свернула хвост лиса и подложила под голову дорогой Джилл и, перевернув шкуру лиса, накрыла ею тело, так что, казалось, из нее получилось целое красновато-огненное покрывало, а сама она все плакала и плакала и, проснувшись, обнаружила, что по ее лицу текут слезы.

Утром первое, что они с Бэнфорд сделали, это отправились смотреть лиса. Генри повесил его под навесом за задние ноги, так что его несчастный хвост свисал в обратном направлении. Это был красивый самец во цвете лет в красивой, пушистой зимней шубе – красивой, золотисто-рыжей, чуть сероватой на переходе к брюху, абсолютно белому брюху, – с огромным пышным хвостом, украшенным изящным кончиком черного, серого и чисто-белого цвета.

– Бедняга! – сказала Бэнфорд. – Не будь он таким вояром и разбойником, его можно было бы пожалеть.

Марч ничего не сказала, просто стояла, вода одной ногой по земле, выставив бедро; лицо у нее было бледное, глаза, большие и черные, смотрели на животное, висевшее вниз головой. На белое и мягкое, как снег, брюхо, белое и мягкое, как снег. Она легонько провела по нему рукой. А его дивный, отливающий черным хвост, густой, ершистый, дивный хвост! Она и по нему

провела рукой и задрожала. Раз за разом, зарывшись пальцами в густой мех пушистого хвоста, она медленно вела руку вниз. Дивное, острое, пушистое великолепие хвоста! И он мертв! Она поджала губы, и глаза ее сделались черными и отсутствующими. Затем она взяла в руку его голову.

Генри не спеша приближался к ним, и Бэнфорд довольно демонстративно удалилась. Марч стояла в оцепенении, держа в руке голову лиса. Она любовалась, любовалась, любовалась его дивной длинной мордой. Почему-то она напоминала ей ложку или лопаточку. Непонятно почему. Зверь казался ей странным, непостижимым, находился за пределами ее понимания. Чудные серебристые усы, словно ниточки изо льда. И заостренные уши, покрытые внутри волосками. Но этот длинный-длинный, тонкий нос в виде ложки!.. И под ним чудные, белые зубы! Он предназначен для того, чтобы, выставившись вперед, вонзаться, глубоко, глубоко, глубоко вонзаться в живую добычу – вонзаться так, чтобы хлестала кровь.

– Красавец, правда? – сказал Генри, вставая рядом.

– О, да, отличный, огромный лис. Интересно, сколько кур на его счету.

– Немало. Как вы думаете, это тот же лис, которого вы видели прошлым летом?

– Я бы сказала, весьма вероятно, – ответила она.

Он наблюдал за ней, но никак не мог понять, что она такое. Отчасти такая застенчивая и девственная, а отчасти такая мрачная, приземленная, сварливая. Казалось, то, что она говорила, совершенно расходилось с выражением ее странных, больших, темных глаз.

– Собираетесь снять с него шкуру? – спросила она.

– Да, вот позавтракаю и приготовлю доску, чтобы ее натянуть.

– Батюшки, ну и несет же от него! Фу! Долго же придется отмывать руки. Не знаю, с какого ума я тут возилась с ним. – И она посмотрела на свою правую руку, которой водила по его хвосту и брюху, на ней оказалось даже кро-

шечное пятнышко крови – от единственного места на шкуре, где мех потемнел.

– Вы видели кур, когда они учуют лиса, как они пугаются? – спросил он.

– Да, еще бы, правда!

– Осторожно, не подцепите блох.

– А, блох! – ответила она небрежно.

Позже, днем, она увидела натянутую на доску, прибитую гвоздями, словно распятую, шкуру. У нее было неприятное чувство.

Парень был возмущен. Он ходил, не раскрывая рта, точно язык проглотил. Но держался вежливо и любезно. О своих намерениях он не говорил ничего. Он ушел, оставив Марч в одиночестве.

В тот вечер они сидели в столовой. Бэнфорд больше не желала видеть его в своей гостиной. В камине пылало огромное полено. Все были заняты делом. Бэнфорд писала письма. Марч шила платье, а он возился с каким-то хитрым приспособлением.

Время от времени, оторвавшись от писания писем, Бэнфорд оглядывалась по сторонам, давая отдых глазам. Парень сидел, опустив голову; его склоненного над работой лица не было видно.

– Посмотрим, – сказала Бэнфорд. – Каким поездом вы едете, Генри?

Он посмотрел ей прямо в лицо.

– Утренним поездом. Утром, – сказал он.

– Каким, в восемь десять или одиннадцать двадцать?

– В одиннадцать двадцать, думаю, – сказал он.

– И это будет послезавтра? – спросила Бэнфорд.

– Да, послезавтра.

– Мм! – шепотом произнесла Бэнфорд и вернулась к своим письмам. Но когда она облизывала конверт, она спросила:

– Могу я поинтересоваться, каковы же ваши планы на будущее?

– Планы? – переспросил он, лицо его было очень ярким и сердитым.

– Я имею в виду насчет вас и Нелли, если вы намерены это продолжать. Когда, вы полагаете, будет свадьба? – Она говорила глумливым тоном.

– А, свадьба! – ответил он. – Я не знаю.

– Вы, что ли, вообще ничего не знаете? – сказала Бэнфорд. – Вы собираетесь в пятницу удалиться, оставив все в таком нерешенном состоянии, как теперь?

– Ну а почему бы и нет? Мы всегда можем писать письма.

– Да, можете, конечно. Но я хотела бы знать, поскольку это касается фермы. Если Нелли собирается так скоропалительно выйти замуж, мне придется искать нового партнера.

– А разве она не может остаться здесь, когда выйдет замуж? – сказал он. Он отлично знал, что предстоит.

– О, – сказала Бэнфорд, – это не место для замужней пары. Во-первых, для мужчины здесь недостаточно работы. И здесь ничего не зарабатываешь. Совершенно бесполезно думать, что вы и дальше останетесь здесь, если поженитесь. Абсолютно!

– Да, но я и не думал оставаться здесь, – сказал он.

– Что же, это вот мне и нужно знать. А что в таком случае Нелли? Как долго она пробудет тогда здесь со мной? Два противника посмотрели друг на друга.

– Этого я не могу сказать, – ответил он.

– О, довольно, что вы мелете, – воскликнула она нетерпеливо. – Вам следует иметь какое-то представление о том, что вы собираетесь делать, когда вы предлагаете женщине выйти за вас замуж. Если только все это не обман.

– Почему это должно быть обманом? Я собираюсь вернуться в Канаду.

– И заберете ее с собой?

– Да, конечно.

– Ты это слышишь, Нелли? – сказала Бэнфорд.

Сидевшая, склонив голову над шитьем, Марч подняла глаза вверх – густой пунцовый румянец заливал ее лицо, странная язвительная усмешка играла в ее глазах и на ее искривленных губах.

– Первый раз слышу о том, что я отправляюсь в Канаду, – сказала она.

– Что ж, надо и про это услышать в первый раз, правда? – сказал парень.

– Да, полагаю, надо, – беззаботно сказала она.

– И ты вполне готова отправиться в Канаду, не так ли? Готова, Нелли? – спросила Бэнфорд.

Марч снова подняла глаза вверх. Плечи ее обмякли, так что рука с иглой свободно легла ей на колени.

– Это зависит от того, как я поеду, – сказала она. – Не думаю, чтобы мне захотелось ехать в битком набитом четвертом классе, как солдатской жене. Боюсь, я к такому не привыкла.

Парень следил за ней яркими глазами.

– Вы предпочли бы, чтобы я отправился первым, а вы бы остались здесь? – спросил он.

– Да, если это единственный выход, – ответила она.

– Это гораздо разумнее и не накладывает никаких обязательств, – сказала Бэнфорд. – И ты свободно можешь ехать или не ехать после того, как он приедет туда и найдет для тебя место, Нелли. Все остальное – безумие, безумие.

– Вы не думаете, – произнес парень, – что нам следует пожениться до того, как я поеду... и тогда ехать вместе или отдельно, как получится?

– По-моему, это ужасная идея, – воскликнула Бэнфорд.

Но парень смотрел на Марч.

– А как по-вашему? – спросил он ее.

Ее отсутствующий взгляд блуждал в пространстве.

– Ну, я не знаю, – сказала она. – Мне надо подумать.

– Почему? – резонно спросил он.

– Почему? – Она с насмешкой повторила его вопрос и, засмеявшись, посмотрела на него, хотя ее лицо вновь сделалось пунцовым. – Найдется, думаю, немало причин, почему.

Он молча смотрел на нее. Она, казалось, ускользнула от него. Стакнулась против него с Бэнфорд. Опять у нее

этот чудной, язвительный вид; она будет стоически высмеивать все, что ни скажет он или предложит жизнь.

– Конечно, – сказал он. – Я не хочу вас неволить, принося вам делать то, что вам не хочется.

– Да уж, в самом деле, – возмущенно воскликнула Бэнфорд.

Когда пришло время укладываться спать, Бэнфорд жалобно сказала Марч:

– Тыхватишь мою грелку, Нелли, да?

– Да, непременно, – сказала Марч с той неохотной готовностью, которую она так часто проявляла в отношении любимой, но привередливой Джилл.

Женщины отправились наверх. Немного погодя, Марч крикнула сверху:

– Спокойной ночи, Генри. Я уже не буду спускаться. Вы присмотрите за камином и лампой, да?

На следующий день Генри бродил с мрачным видом; его молодое, щенячье лицо было непроницаемо. Он все время был погружен в раздумье. Ему хотелось, чтобы Марч вышла за него замуж и поехала с ним в Канаду. И он был уверен, что так она и сделает. Почему она была ему нужна, он не знал. Но она была ему нужна. Он прилепился к ней душой. И молодая ярость душила его из-за преград, мешавших осуществлению его желаний. Мешавших, мешавших! В нем кипела такая ярость, что он не знал, что делать с собой. Но держал себя в руках. Потому, что даже теперь все могло повернуться иначе. Она могла перевернуться на его сторону. Разумеется, могла. Это-то ей и надлежало сделать.

К вечеру положение вновь сделалось натянутым. Они с Бэнфорд весь день избегали друг друга. На самом деле Бэнфорд отправилась поездом в 11.30 в маленький соседний город. Был базарный день. Вернулась поездом в 4.25. Как раз начало смеркаться, когда он увидел, как ее маленькая фигурка в темно-синем пальто и темно-синей шотландской шапочке с помпоном пересекает ближний к станции луг. Он стоял под дикой грушей, вокруг его ног валялись старые мертвые листья. Он на-

блюдал за маленькой синей фигуркой, продвигавшейся вперед по неровной, устланной зимним ковром лугови-не. В руках она несла множество свертков и по причине своей хрупкости продвигалась медленно, с той дьяволь-ской целеустремленностью, которая была ему так отвра-тительна в ней. Невидимый, он стоял под грушей, следя за каждым ее шагом. И если бы на нее могли действовать взгляды, она в своем продвижении ощутила бы на обеих ногах у щиколоток железные кандалы.

– Маленькая мерзавка, вот что ты такое, – тихо про-говорил он через все разделявшее их расстояние. – Ты маленькая мерзавка. Надеюсь, ты заплатишься за то зло, которое ни за что причинила мне. Надеюсь, что запла-тишься... маленькая мерзавка. Надеюсь, тебе придется заплатиться. И ты заплатишься, если желания чего-нибудь стоят. Мерзкая тварь, вот ты кто.

Она медленно, с трудом взбиралась по склону. Если бы на каждом шагу она скользила назад, скатываясь в Без-донную Бездну, он и тогда бы не пришел на помощь ей со всеми ее свертками. Ага, туда двинулась Марч, шагая ши-роким, размашистым шагом, в своих бриджах и коротком жакете. С огромной скоростью, размашисто шагая вниз по склону холма и даже время от времени пробегая не-сколько шагов в великом стремлении прийти на помощь малышке Бэнфорд. Парень с яростью в сердце наблюдал за ней. Видел, как она перемахнула через канаву и побе-жала, побежала так, как будто горит дом, просто затем, чтобы спуститься туда, к этому темному, маленькому пол-зучему созданию! Так что эта Бэнфорд просто-напросто остановилась и ждала. А Марч подлетела к ней и взяла у нее все свертки, кроме букета желтых хризантем. Их по-прежнему несла Бэнфорд – желтые хризантемы!

– Да, выглядишь ты неплохо, правда? – тихо в сумер-ках проговорил он в воздух. – Неплохо выглядишь, про-хлаждаешься себе, налегке идешь, с букетом хризантем, да, да. Если уж ты обняла их так крепко, я заставил бы тебя съесть их за чаем. И дал бы их тебе снова на завтрак, дал бы. Я бы кормил тебя только цветами. Только цветами.

Он наблюдал за продвижением женщин. Ему были слышны их голоса: неизменно чистосердечный и нежный, хотя и довольно сварливый, у Марч, довольно невнятное бормотание Бэнфорд. Но пока они не подошли к ограде, через которую требовалось перелезть, было неслышно, что они говорят. Он увидел затем, как нагруженная всеми свертками Марч мужественно перелезла через перекладины, и в неподвижном воздухе услышал капризные слова Бэнфорд:

– Отчего ты не позволишь мне помочь тебе с этими свертками? – Ее голос цеплял слух странным, жалобным призывком. Затем раздалась дерзкие, исполненные здоровья слова Марч:

– О, я-то справлюсь. Обо мне не беспокойся. Все, что от тебя требуется, это перелезть самой – и довольно.

– Да, все это прекрасно, – капризно сказала Бэнфорд. – «Обо мне не беспокойся», а потом все время обижаешься, что никто о тебе не думает.

– Когда это я обижаюсь? – сказала Марч.

– Всегда. Ты всегда обижаешься. Сейчас ты обижаешься, что я не разрешаю этому парню поселиться на ферме.

– Совсем я не обижаюсь, – сказала Марч.

– Я знаю, что обижаешься. Когда он уедет, ты захандришь. Знаю, что захандришь.

– Да? – сказала Марч. – Увидим.

– Да, увидим, к несчастью. Не могу понять, как ты можешь настолько потерять свое достоинство. Не могу вообразить, как ты можешь опускаться так низко.

– Я не опускалась, – сказала Марч.

– Не знаю, как ты тогда это называешь. Позволить такому парню заявиться сюда так дерзко, так нагло и так заморочить тебе голову. Не знаю, что ты о себе думаешь. Как ты думаешь, с каким уважением он будет потом к тебе относиться. Честное слово, не хотела бы я очутиться в твоих башмаках, если ты выйдешь за него замуж.

– Разумеется, не хотела бы. Мои башмаки чересчур велики для тебя и куда как неизящны, – произнесла Марч с сарказмом, который не попал в цель.

– Я считала тебя страшной гордячкой, в самом деле. Женщине нужно держать себя высоко, особенно с такими молодцами, как этот. Ведь он наглец. Взять хотя бы то, как он навязался к нам вначале.

– Мы предложили ему остаться, – сказала Марч.

– После того как он почти что вынудил нас к этому. И потом он такой самоуверенный, столько самомнения. Просто зло берет, честное слово. Я просто не могу вообразить, как ты можешь позволить ему обращаться с тобой так, словно он тебя ни в грош не ставит.

– Я не позволяю ему обращаться со мной так, словно он меня ни в грош не ставит, – сказала Марч. – Не беспокойся, я никому не позволю обращаться со мной так, словно тот меня ни в грош не ставит. Даже тебе. – В ее голосе, прозвучавшем с определенным жаром, слышался мягкий вызов.

– Да, все неизбежно должно вернуться ко мне, – с горечью произнесла Бэнфорд. – Этим кончается всегда. Уверена, ты делаешь это только, чтобы меня разозлить.

Теперь они молча шли вверх по крутому, поросшему травой склону, по уступу, сквозь заросли дрока. По другую сторону живой изгороди, в сумерках, держась на некотором расстоянии, за ними следовал парень. Время от времени сквозь старинную, высокую изгородь из боярышника, сильно разросшегося и превратившегося в деревья, он видел две темные фигуры, ползущие вверх по склону холма. Поднявшись на вершину, он увидел темневший в сумерках дом с громадной старой согнутой грушей, вытянувшейся прочь от ближайшего конька, и желтый огонек, мерцавший сбоку в маленьких окнах кухни. Он услышал, как брякнул засов, и увидел, как отворилась дверь в кухню, открыв освещенное пространство, когда женщины вошли в дом. Итак, они дома.

И значит! – вот что они о нем думают. Слушать было в его природе, так что его совсем не удивляло, что бы ему ни довелось услышать. То, что люди говорили о нем, никогда не задевало его лично. Но его порядком удивило, как женщины держались между собой. И он невзлюбил

Бэнфорд сильной нелюбовью. И вновь почувствовал, как его тянет к Марч. Он чувствовал, что существует скрытая связь, тайная нить, связующая его и ее, что-то совершенно исключительное, куда для всех остальных вход был закрыт, нечто, позволявшее ему и ей втайне обладать друг другом.

У него вновь появилась надежда, что она примет его сторону. Он надеялся всей своей внезапно вскипевшей кровью, что она довольно скоро согласится выйти за него замуж – на Рождество, очень даже возможно. Рождество было совсем близко. Что бы еще ни случилось, он хотел поймать ее заключением брака и вступлением его в полную силу. Тогда о будущем они могли бы договориться позже. Но он надеялся, что это произойдет так, как ему хочется. Надеялся, что нынче вечером она ненадолго задержится с ним после того, как Бэнфорд удалится наверх. Надеялся, что сможет прикоснуться к ее мягкой, бархатистой щеке, к ее странному, испуганному лицу. Надеялся заглянуть в ее широко раскрытые, испуганные темные глаза, которые будут совсем рядом. Надеялся, что сможет даже положить руку ей на грудь и ощутить под жакетом ее мягкие груди. Когда он про это подумал, его сердце мощно забило в своих глубинах. Ему очень хотелось сделать все это. Хотелось убедиться в мягкости ее женских грудей под жакетом. Она всегда ходила в этом льняном жакете, наглухо застегнув его до самой шеи. Ему казалось какой-то опасной тайной то, что ее мягкие женские груди должны быть скрыты под этой наглухо застегнутой униформой. Больше того, ему казалось, что, запертые в этом жакете, они были куда мягче, нежнее, красивее и достойнее любви, чем груди Бэнфорд под ее мягкими блузками и шифоновыми платьями. У этой Бэнфорд должны быть маленькие железные груди, говорил он сам себе. При всей ее хрупкости, капризности и нежности, у нее должны быть крошечные железные груди. Зато у Марч под грубой, жесткой работницкой робой будут мягкие белые груди, белые и недоступные взору. Так говорил он себе, и кровь у него горела.

Когда он явился к чаю, его ждал сюрприз. Он появился у двери с сильно покрасневшимся, оживленным лицом, с горящими голубыми глазами, по своему обыкновению выставив голову вперед, когда он входил и задержался в дверях, чтобы пристально и осторожно осмотреть комнату перед тем, как войти. На нем был камзол с длинными рукавами. Его лицо необычайно походило на некую частицу природы, перенесенную в жилое помещение, вроде ягод остролиста. В это секундное промедление в дверях он увидел обеих женщин, сидевших у противоположных концов стола, увидел их совершенно отчетливо. К его изумлению, Марч была в зеленом платье из матового шелкового крепа. От удивления он разинул рот. Он меньше удивился бы, если бы она вдруг отрастила усы.

– Вот те на, – сказал он, – вы, значит, носите платья?

Она взглянула на него снизу вверх, заливаясь густым розовым румянцем, и, скривив рот в улыбке, сказала:

– Конечно, ношу. Что, по-вашему, должна я носить, как не платья?

– Спецодежду для работниц, конечно, – сказал он.

– А, – воскликнула она бесшабашно, – она годится только для здешней грязной и вонючей работы.

– Тогда такая одежда вам не подходит? – сказал он.

– Да, в доме не подходит, – сказала она. Но все время, пока она наливала ему чай, краска не сходила с ее лица. Он сел за стол на свой стул, не в силах отвести от нее глаза. Платье из синевато-зеленого крепа было совершенно простого покроя, с золотой строчкой у ворота и по краям рукавов, доходивших до локтя. Сверху его довершал простой круглый вырез, открывавший мягкую, белую шею. Он знал, какие у нее руки, сильные, с крепкими мышцами, потому что видел ее с закатанными рукавами. Но он осматривал ее сверху донизу, сверху донизу.

На другом конце стола Бэнфорд, поглощенная сардиной на своей тарелке, не проронила ни слова. Он забыл о ее существовании. Только, не отрываясь, смотрел

на Марч, уминая огромные куски хлеба с маргарином, забыв даже про чай.

– Ну, я и не представлял себе, чтобы какая-то вещь могла произвести такую разницу! – пробормотал он с набитым ртом.

– О Боже! – воскликнула она, еще сильнее заливаясь краской. – Я с таким же успехом могла бы быть розовой мартышкой.

И она быстро встала, взяла заварочный чайник и пошла с ним к камину, где стоял чайник. Когда она в своем простом зеленом платье опустилась у камина на корточки, он уставился на нее широко – шире чем когда-либо – открытыми глазами. Сквозь покровы крепа ее женские формы казались мягкими и женственными. А когда она встала и пошла, он увидел, как мягко движутся ее ноги в короткой – по-современному – юбке. На ней были черные шелковые чулки и открытые туфельки с маленькими золотыми пряжками.

Нет, это было другое существо. Что-то совершенно необычное. Он всегда видел ее в бриджах из домотканого сукна, просторных в бедрах, застегивающихся на пуговицы у колена, прочных, как панцирь, в бурых портянках и тяжелых башмаках; ему и в голову не приходило, что у нее женские ноги и ступни. Теперь до него дошло. Юбка покрывает мягкие женские ноги, и к ней можно подступиться. Он покраснел до корней волос, уткнулся носом в чайную чашку и выпил чай с легким шумом, от которого Бэнфорд просто передернуло, и – странное дело – он вдруг почувствовал себя не мальчиком, а мужчиной. Почувствовал себя мужчиной со всем грузом серьезной мужской ответственности. Странное спокойствие и серьезность наполнили его душу. Он чувствовал себя мужчиной, спокойным мужчиной, принявшим на себя малую толику тяжелой мужской судьбы.

В платье она казалась мягкой и доступной. Эта мысль укоренилась в нем, подобно вечной ответственности.

– О, ради Бога, скажите кто-нибудь хоть слово, – раздраженно воскликнула Бэнфорд. – Словно на похоро-

нах. – Парень взглянул на нее, и его лицо было для нее невыносимо.

– На похоронах! – отозвалась Марч с кривой усмешкой. – Они разрушают мою мечту.

Неожиданно она вдруг подумала о Бэнфорд, лежавшей вместо гроба в деревянном ящике.

– Что, о свадьбе размечталась? – язвительно заметила Бэнфорд.

– Должно быть, – сказала Марч.

– Чьей свадьбе? – спросил парень.

– Не помню, – сказала Марч.

В этот вечер она была застенчива и довольно неуклюжа, несмотря на то, что в платье у нее была гораздо более мягкая осанка, чем в спецовке. Она чувствовала себя так, словно с нее содрали кожу и в таком виде выставили на обозрение. Она чувствовала себя почти непристойно.

Они беспорядочно потолковали о завтрашнем отъезде Генри поутру и договорились по поводу всякой ерунды. Но о том, что было у них на уме, не заводил речи ни один. В тот вечер они держались довольно мирно, по-дружески. Бэнфорд было практически нечего сказать. Но на душе у нее было, казалось, спокойно, быть может, благостно.

В девять Марч принесла поднос с неизменным чаем и немного холодного мяса, которое удалось достать Бэнфорд. За этим последним ужином Бэнфорд не хотелось произвести неприятное впечатление. Ей было немного жаль парня, и она чувствовала, что должна держаться с ним как можно любезнее.

Он хотел, чтобы она отправилась спать. Обычно она удалялась первой. Но она все сидела и сидела в своем кресле под лампой, время от времени заглядывая в свою книгу или уставясь в камин. В комнате воцарилось глубое молчание. Его нарушила Марч, спросив довольно слабым голосом:

– Который час, Джилл?

– Пять минут одиннадцатого, – сказала Бэнфорд, поглядев на запястье.

После этого – ни звука. Оторвав взгляд от книги, которую он держал между колен, парень посмотрел вверх. На его довольно широком лице, напоминавшем по форме кошачье, застыло обычное упрямое выражение; глаза неустанно следили.

– Как насчет того, чтобы пойти спать? – сказала наконец Марч.

– Я готова, как только будешь готова ты, – сказала Бэнфорд.

– А, очень хорошо, – сказала Марч. – Я налью тебе твою грелку.

За словом дело не стало. Когда грелка была готова, она зажгла свечу и пошла с ней наверх. Бэнфорд осталась сидеть в своем кресле, прислушиваясь наивнимательнейшим образом. Марч снова спустилась вниз.

– Ну вот, готово, – сказала она. – Ты идешь?

– Да, через минуту, – сказала Бэнфорд. Но минута прошла, а она все сидела в своем кресле под лампой.

Теперь для своего пробного броска поднялся Генри; глаза у него блестели, как у кошки, когда он исподлобья наблюдал за происходящим, а лицо казалось еще шире, более приплюснутым, похожим на кошачье от неизменного упрямства.

– Думаю пойти посмотреть, не удастся ли увидеть лисицу, – сказал он. – Может, она крадется где-то поблизости. Не выйдете ли и вы на минутку, Нелли, посмотреть, если будет на что смотреть?

– Я?! – воскликнула Марч с испуганным, удивленным лицом, глянув вверх.

– Да. Пошли, – сказал он. Просто удивительно, как мягко, тепло и проникновенно мог звучать его голос, как близко. От одного его звука у Бэнфорд вскипела кровь. – Пошли, на минутку, – сказал он, глядя вниз, в ее поднятое вверх испуганное, неуверенное лицо.

И она поднялась на ноги, как будто ее притягивало его молодое, румяное лицо, смотревшее на нее сверху вниз.

– Думаю, тебе ни в коем случае не следовало бы выходить ночью из дому в такое время, Нелли! – крикнула Бэнфорд.

– Да всего на минутку, – обернувшись и глядя на нее, сказал парень со странным, резким повизгиванием.

Марч переводила взгляд с него на Бэнфорд, словно была ошарашена, сбита с толку. Бэнфорд встала, принимая бой.

– Да это смехотворно. Там жуткий холод. В этом легком платье ты подхватишь простуду и умрешь. Да еще в туфельках. Ты не сделаешь этого.

На мгновение наступило молчание. Бэнфорд нахилилась и вытянула шею, точно маленький бойцовый петушок, стоя лицом к лицу с Марч и парнем.

– О, не думаю, что вам следует беспокоиться, – ответил он. – Один миг под звездами никому не повредит. Я сниму ковер с софы в столовой. Идемте, Нелли.

Когда он говорил с Бэнфорд, в его голосе звучало такое возмущение, презрение и ярость, но когда он заговорил с Марч, в нем было столько нежности и гордой уверенности, что последняя ответила:

– Да, иду.

И она повернулась с ним к двери.

Стоявшая посреди комнаты Бэнфорд издала вдруг протяжный вопль и разразилась слезами. Она закрыла лицо своими несчастными, худыми руками, ее худые плечи сотрясались от мучительных рыданий. Марч оглянулась, уже от двери.

– Джилл! – неистово воскликнула она, как будто только что пробудившись ото сна. И, казалось, двинулась к своей любимице.

Но парень крепко сжимал ее руку, и Марч не могла двинуться с места. Почему она не может двинуться, она не знала. Это было похоже на сон, когда сердце надрывается, а тело не в силах пошелохнуться.

– Не обращайтесь внимания, – тихо сказал парень. – Пусть плачет. Пусть плачет. Рано или поздно ей придется плакать. Слезы облегчат ей душу. Они пойдут ей на пользу.

Так что он медленно потянул Марч к двери. Но ее последний взгляд был обращен к несчастной фигурке посреди комнаты, которая стояла, закрыв лицо руками, ее плечи тряслись от горького плача.

Он снял с софы в столовой ковер и сказал:

– Завернитесь.

Она послушалась – они дошли до двери в кухню; он крепко, но мягко держал ее руку, хотя она этого и не знавала. Увидев на дворе ночь, она отпрянула назад.

– Я должна вернуться к Джилл, – сказала она. – Должна! О да, должна.

Тон был категорический. Парень отпустил ее, и она повернулась, собираясь войти в дом. Но он снова схватил и остановил ее.

– Погодите минутку, – сказал он. – Погодите минутку. Даже если вы уйдете, то не сейчас.

– Отпустите! Отпустите! – крикнула она. – Мое место – рядом с Джилл. Бедняжка, ее сердце изойдет в рыданиях.

– Да, – произнес парень с горечью. – А также ваше, а заодно и мое.

– Ваше сердце? – сказала Марч. Он все еще сжимал и удерживал ее.

– Чем оно хуже ее сердца? – спросил он. – Или оно, по-вашему, хуже?

– Ваше сердце? – повторила она, не веря своим ушам.

– Да, мое! Мое! По-вашему, у меня нет сердца? – и он сжал ее руку в своей и прижал к груди с левой стороны. – Вот мое сердце, – сказал он, – даже если вы и не верите, что оно есть.

Это было чудо, заставившее ее прислушаться. И тогда она почувствовала глубокий, тяжелый, мощный стук его сердца, ужасный, как нечто, находившееся за пределами их самих. Это походило на нечто, находившееся за пределом, нечто запредельное, жуткое, подающее ей сигнал из внешнего мира. И этот сигнал парализовал ее. Он бил ей прямо в душу, делая ее беспомощной. Она забыла о Джилл. Не могла больше думать о Джилл. Эти ужасные сигналы из внешнего мира!

Парень обнял ее одной рукой за талию.

– Пойдемте со мной, – сказал он. – Пойдемте и скажем то, что нам нужно сказать.

И он вытянул ее во двор, закрыл дверь. И она незряче пошла с ним по садовой дорожке. Чтобы у него было сердце, которое бьется! И эта рука, обнимающая ее по-верх покрывала! Она была чересчур сбита с толку, чтобы думать о том, кто он и что он.

Он привел ее в темный угол навеса, где стоял ящик для инструментов, с крышкой, низкий и длинный.

– Посидим здесь немножко, – сказал он.

Она покорно села рядом с ним.

– Дайте мне руку, – сказал он.

Она протянула ему обе, и он держал их, зажав между своими. Он был молод и задрожал от этого.

– Вы выйдете за меня замуж? Вы выйдете за меня до моего отъезда, да? – спросил он умоляющим голосом.

– Ну не пара ли мы глупцов? – сказала она.

Он посадил ее в угол, чтобы, когда она посмотрит из-под навеса, ей через сад не было видно освещенных окон дома. Он старался удержать ее с собой, под навесом, всю целиком.

– В каком смысле «пара глупцов»? – сказал он. – Если вы вернетесь со мной в Канаду, там меня ждет работа и хороший заработок; почему вам не выйти за меня; место приятное, неподалеку горы. Почему вам не выйти за меня замуж? Почему нам не пожениться? Мне бы хотелось, чтобы вы были там со мной. Хотелось бы чувствовать, что есть кто-то, кто стоит у меня за спиной, всю жизнь.

– Вы бы легко нашли себе кого-то еще, кто бы лучше подошел вам, – сказала она.

– Да, я бы легко мог найти другую девушку. Знаю, что мог бы. Но не такую, какая мне действительно нужна. Я никогда не встречал такой, какая мне нужна навсегда, ни одной. Понимаете, я думаю обо всей своей жизни, я хочу чувствовать, что это на всю жизнь. Другие девушки – что ж, они просто девушки, достаточно милые, чтобы как-нибудь пойти с ними прогуляться. Достаточно милые, чтобы немного позабавиться с ними. Но когда я думаю о своей жизни, тогда мне было бы

очень жаль, если бы я женился на одной из них, честное слово, жаль.

– Вы хотите сказать, что из них не вышло бы для вас хорошей жены?

– Да, это я и хочу сказать. Но я не хочу сказать, что они не выполняли бы своих обязанностей передо мной. Я хочу сказать... не знаю, что я хочу сказать. Но когда я думаю о своей жизни и о вас, тогда две эти вещи сходятся.

– А, что если бы они не сошлись? – произнесла она с чудной, язвительной ноткой.

– Ну, думаю, сошлись бы.

Какое-то время они просидели в молчании. Он сжимал ее руки в своих, но не ухаживал за ней. С того момента, как он осознал, что она женщина, уязвимая и доступная, на душе у него было как-то тяжело. Он не хотел ухаживать за ней. Чуть не со страхом он избегал всяких подобных действий. Она женщина и потому уязвима и, в конце концов, доступна ему, и он воздерживался от того, что ждало его впереди, чуть не с ужасом. Он знал, в конце концов он погрузится в некую тьму, о которой пока что не желал даже и думать. Она женщина, и на нем лежала ответственность за эту странную уязвимость, которую он внезапно осознал в ней.

– Нет, – сказала она наконец. – Я дура. Знаю, что дура.

– Отчего? – спросил он.

– Что продолжаю с этим делом.

– Вы обо мне говорите?

– Нет, о себе. Выставляю себя душой, большой душой.

– Почему – потому что на самом деле не хотите выходить за меня замуж?

– О, по правде говоря, не знаю, настроена ли я против или нет. В том-то и загвоздка. Не знаю.

Он в замешательстве посмотрел на нее в темноте. Хоть убей, он не мог сообразить, что она имеет в виду, даже и в малой степени.

– И не знаете, нравится вам сидеть здесь в эту минуту со мной или нет? – спросил он.

– Нет, на самом деле не знаю. Не знаю, хочется мне быть где-то еще или здесь. В самом деле не знаю.

– Вы бы хотели быть с мисс Бэнфорд? Хотели бы лечь спать вместе с ней? – спросил он с вызовом.

Она долго выжидала, прежде чем ответить.

– Нет, – сказала она наконец. – Этого я не хочу.

– И вы думаете, что провели бы с ней всю жизнь... когда постареете и у вас поседеют волосы? – сказал он.

– Нет, – ответила она без больших колебаний. – Не представляю себя с Джилл, когда мы состаримся.

– И вы не думаете, что, когда я стану стариком, а вы старухой, мы по-прежнему могли бы быть вместе, как сейчас? – сказал он.

– Ну не «как сейчас», – ответила она. – Но я могу себе представить... нет, не могу. Не могу представить вас стариком. К тому же это ужасно!

– Что, быть стариком?

– Да, конечно.

– Не тогда, когда придет срок, – сказал он. – Но он еще не пришел. Он только придет. И когда он придет, мне хотелось бы думать, что вы тоже будете рядом.

– Вроде пенсии по старости, – сказала она сухо.

Ее юмор без тени остроумия всегда пугал его. Он никогда не знал, что она имеет в виду. Вероятно, она и сама не очень-то знала.

– Нет, – сказал он, уязвленный.

– Не знаю, для чего вы завели про старость, – сказала она. – Мне не девяносто лет.

– А кто говорил, что вам девяносто? – спросил он, чувствуя себя оскорбленным.

Некоторое время они молчали, каждый в молчании тянул в свою сторону.

– Я не хочу, чтобы вы строили надо мной насмешки, – сказал он.

– Не хотите? – загадочно ответила она.

– Нет, потому что как раз сейчас я настроен серьезно. А когда я серьезен, я не считаю, что над этим надо строить насмешки.

– Вы имеете в виду, что никто другой не должен строить над вами насмешки, – ответила она.

– Да, это. И я имею в виду, что не считаю, что сам я должен строить над этим насмешки. Когда случается, что я настроен серьезно, тогда... я не хочу, чтобы над этим смеялись, вот что.

Какое-то время она молчала, потом произнесла отвлеченным, почти исполненным боли голосом:

– Нет, я не смеюсь над вами.

Горячая волна поднялась в его сердце.

– Вы мне верите, да? – спросил он.

– Да, я вам верю, – ответила она с налетом своей прежней выдохшейся бесшабашности, как будто она сдалась потому, что сама выдохлась. Но ему было все равно. Сердце его горело и грохотало.

– Значит, вы согласны выйти за меня замуж до моего отъезда?.. Скажем, на Рождество?

– Да, согласна.

– Ну вот! – воскликнул он. – Решено.

Он сидел безмолвный, ничего не соображая, а кровь жарко горела во всех его жилах, словно пламя плескалось во всех его ветвях и сучочках. Он, сам того не сознавая, лишь прижал ее руки к своей груди. Когда эта странная страсть начала стихать, он как будто пробудился и увидел реальный мир.

– Пойдемте в дом, а? – сказал он, словно до него дошло, что на дворе холодно.

Она встала, ничего не ответив.

– Поцелуйте меня перед тем, как пойдем, раз уж вы это сказали, – произнес он.

И он ласково поцеловал ее в губы молодым, испуганным поцелуем. От этого она тоже почувствовала себя такой молодой, испуганной и исполненной любопытства, а еще усталой, усталой, словно она погрузилась в сон.

Они вошли в дом. И там, в гостиной, скрючившись у камина, подобно странной маленькой ведьме, сидела Бэнфорд. Когда они вошли, она обернулась и посмотрела покрасневшими глазами, но не встала. Когда она, вся

скрюченная, обернулась к ним, он подумал, что она выглядит ужасающе, неестественно. Он подумал, что у нее дурной глаз, и сложил пальцы крестом.

Бэнфорд увидела румяное, ликующее лицо парня – он казался неимоверно высоким, ярким, устрашающим. А на лице Марч было особое, едва уловимое выражение; ей хотелось спрятать свое лицо, укрыть его, чтобы его никто не мог видеть.

– Явились наконец, – произнесла Бэнфорд омерзительным тоном.

– Да, явились, – сказал он.

– Долго пробавлялись – много можно было успеть, – сказала она.

– Да, долго. Мы все решили. Мы поженимся в самое ближайшее время, – ответил он.

– О, решили, правда! Что ж, надеюсь, вы не доживете до той поры, когда пожалеете об этом, – сказала Бэнфорд.

– Я тоже надеюсь, – ответил он.

– А теперь ты идешь спать, Нелли? – спросила Бэнфорд.

– Да, теперь иду.

– Тогда пошли, ради Бога.

Марч посмотрела на парня. Тот своими яркими глазами смотрел на нее и на Бэнфорд. Марч томительно посмотрела на него. Ей хотелось остаться с ним. Ей хотелось, чтобы она уже была за ним замужем и все это уже кончилось. Потому что она – о! – она почувствовала себя с ним в такой безопасности. Станным образом почувствовала себя в его присутствии в безопасности и умиротворении. Если бы можно было спать под одним кровом с ним, а не с Джилл. Она боялась Джилл. В ее неясном, щекотливом положении то, что необходимо идти спать с Джилл, было для нее мукой. Она хотела, чтобы парень спас ее. Она опять посмотрела на него.

И он, наблюдая своими яркими глазами, уловил что-то из того, что она чувствовала. Его удручало, озадачивало, что она должна идти спать с Джилл.

– Я не забуду, что вы обещали, – сказал он, глядя ей прямо в глаза, совершенно прямо, так, что, казалось, всю ее наполнил своим странным, ярким взглядом.

Она чуть заметно, нежно улыбнулась ему. Снова почувствовала себя в безопасности – в безопасности с ним.

Несмотря на все принятые им меры, парень потерпел неудачу. Утром, когда он уезжал, он уговорил Марч проводить его до базарного города, милях примерно в шести от них, где они отправились к регистратору, который занес их имена в список людей, собирающихся пожениться. Он должен был приехать на Рождество, и тогда должна была состояться свадьба. Раз уж война действительно окончилась, он надеялся, что сможет весной взять Марч с собой в Канаду. Хотя он был так молод, он скопил немного денег.

– Если это в твоих силах, никогда нельзя, чтобы у тебя в заначке совсем не осталось денег, – сказал он.

Так что она проводила его до поезда, отправлявшегося на запад: его лагерь находился на Солсберийской равнине. Большими темными глазами смотрела она, как он уезжает, и ей казалось, как будто все реальное, что было в ее жизни, отдаляется от нее, как отдаляется поезд со странным, широким, румяным лицом, скулы которого казались такими высокими и которое словно бы никогда не меняло своего выражения, если не считать туч угрюмого гнева, сгущавшихся надо лбом, или застывшего взгляда его неподвижных, ярких глаз. Так случилось и теперь. Когда поезд тронулся, он высунулся из окна вагона, прощался и, не отрываясь, смотрел на нее, но лицо его совершенно не изменилось. Только глаза напряглись и застыли, неподвижно и сосредоточенно, как у кошки, когда, заметив что-то, она устремляет туда неподвижный взгляд. Так и глаза парня, когда его увозил поезд, смотрели неподвижно, и она осталась с острым чувством покинутости. Когда его физически не было рядом, казалось, будто у нее ничего от него не осталось. У нее и вообще

ничего не было, чего бы то ни было. Только его лицо запечатлелось в ее душе: полные, неизменно румяные щеки, прямой нос пяточком, а над ними неотрывный взгляд двух глаз. Все, что она могла припомнить – это как он, когда смеялся, неожиданно морщил нос, как рычит разыгравшийся щенок. Но он, сам он и что он такое – об этом она не знала ничего, от этого – от него, – когда он уехал, у нее ничего не осталось.

На девятый день после своего отъезда, он получил такое письмо.

«Дорогой Генри я снова провернула в уме это дело, насчет нас с Вами, и мне кажется, это невозможно. Когда Вас нет, я вижу, какая я дура. Рядом с Вами я как будто слепну и не вижу, как все обстоит в действительности. Вы заставляете меня видеть вещи в нереальном свете, незнамо что. Когда я снова оказываюсь рядом с Джилл, я, кажется, прихожу в себя и понимаю, какие делаю глупости и как нечестно поступаю с Вами. Потому что с моей стороны, должно быть, нечестно по отношению к Вам продолжать это, когда я не чувствую сердцем, что действительно люблю Вас. Я знаю, что люди говорят много ерунды и чепухи, и не хочу этого делать. Я хочу держаться простых фактов и действовать разумно. И как раз этого-то и не делаю. Я не вижу, на каком основании я собираюсь выйти за Вас замуж. Знаю, что я не влюблена в Вас по уши, как, будучи молодой и глупой девчонкой, воображала, будто влюблена в кого-то. Вы для меня совершенно чужой человек и, как мне кажется, таким и останетесь навсегда. Так что на каком основании я собираюсь выйти за Вас замуж? Когда я думаю о Джилл, она для меня в десять раз реальнее. Я знаю ее и ужасно привязана к ней; я возненавидела бы себя, как последнюю скотину, если бы когда-нибудь причинила боль ее мизинцу. Мы живем вместе. И даже если эта жизнь не может длиться вечно, пока она длится – это все-таки жизнь. И она может длиться, пока жива любая из нас. Кто знает, сколько нам суждено прожить? Она

нежное, маленькое создание, возможно, одной только мне известно, насколько нежное. Что до меня, я чувствую, что могу в любой день свалиться в колодец. Чего я, кажется, совсем неспособна увидеть – это Вы. Когда я думаю о том, чем я была и что делала с Вами, я боюсь, что немного помешалась. Было бы прискорбно думать, что у меня так рано началось размягчение мозгов, но смахивает на то, что это так. Вы для меня совершенно чужой человек, Вы так непохожи на все, к чему я привыкла, и между нами нет ничего общего. Что до любви, само это слово кажется мне невозможным. Я знаю, что значит любовь, даже в отношении Джилл, и знаю, что в истории с Вами она абсолютно невозможна. А потом переезд в Канаду. Уверена, у меня, наверное, совсем помутилось в голове, когда я пообещала Вам такое. Это внушает мне серьезные опасения относительно самой себя. Я чувствую, что, находясь в состоянии, когда человек не отвечает за свои поступки, могу надеть настоящих глупостей и окончить дни в доме умалишенных. После всего, что я натворила, Вы, может быть, сочтете, что там мне и место, но для меня эта мысль неприятна. Слава Богу, есть Джилл, и ее присутствие здесь позволяет мне вновь чувствовать себя в здравом уме, иначе не знаю, что еще я могла бы натворить; может, как-нибудь вечером произошел бы несчастный случай с ружьем. Я люблю Джилл, и ее возмущение мною за мою глупость, которое пронизано любовью, позволяет мне чувствовать себя с ней в безопасности и в здравом уме. Так я вот что хочу сказать, не отказаться ли нам с Вашего позволения от всей этой затеи? Я не могу выйти за Вас замуж и действительно, если считаю что-то неправильным, не пойду на это. Все это большая ошибка. Я сделала страшную глупость, и все, что я могу сделать теперь, это извиниться перед Вами и просить Вас любезно забыть об этом и не обращать на меня в дальнейшем никакого внимания. Ваша лисья шкура почти готова, кажется, с ней все в порядке, и я вышлю ее Вам, когда получу от Вас подтверждение, что я по-прежнему могу воспользо-

ваться этим адресом и что Вы принимаете мои извинения за мое ужасное, безумное поведение с Вами и забудете эту историю.

Джилл шлет Вам самые добрые пожелания. Ее мать и отец проведут с нами рождественские праздники.

С самым искренним уважением,
Эллен Марч».

Парень прочел ее письмо в лагере, когда занимался чисткой амуниции. Сжав зубы, он на миг почти побледнел, от ярости у него вокруг глаз выступили желтые круги. Он ничего не говорил, ничего не видел, ничего не чувствовал, кроме глухого, совершенно не рассуждающего гнева. Неудача! Опять неудача! Неудача! Ему была нужна эта женщина, он избрал ее как свой удел и твердо стоял на этом. Он чувствовал, что получить эту женщину – его удел, его судьба, его награда. Она – его рай и ад на земле, и другого у него не будет нигде. Ослепнув от гнева и загнанного внутрь безумия, он провел так все утро. Если бы он не ломал голову, не бился в поисках выхода, он совершил бы какое-то безрассудство. В самых глубинах своего существа ему хотелось рычать, выть, скрежетать зубами и крушить все подряд. Но он прекрасно соображал. Он знал, что над ним стоит общество, он должен действовать исподволь. Так что, плотно стиснув зубы и, подобно какому-нибудь злобному созданию, как-то чудно слегка вздернув нос, он делал свои утренние дела, ошалев от гнева и его подавления. Одно засело у него в мозгу – Бэнфорд. На все излияния Марч он не обращал никакого внимания – никакого. В его мозг вонзилась, впилась одна заноза. Бэнфорд. Ему надо вырвать ее. Надо вырвать эту занозу, Бэнфорд, из своей жизни, даже если ради этого придется погибнуть.

Одержимый одной этой мыслью, он пошел просить увольнительную на сутки. Он знал, что таковая ему не положена. Сознание его было сверхъестественно обострено. Он знал, к кому он должен идти – он должен идти

к капитану. Но как добраться до капитана? Он понятия не имел, где в этом лагере, состоявшем из деревянных хижин и палаток, находится капитан. Пошел к офицерской столовой. Там стоял его капитан, разговаривавший с тремя другими офицерами. Генри остановился в дверях по стойке «смирно».

– Разрешите мне поговорить с капитаном Беррименом? – Капитан, как и он, был родом из Корнуолла.

– В чем дело? – отозвался капитан.

– Разрешите поговорить с вами, капитан?

– В чем дело? – ответил капитан, не сделав ни малейшего движения в сторону от группы приятелей-офицеров.

С минуту Генри рассматривал своего командира, ничего не говоря.

– Вы не откажете мне, сэра, да? – спросил он серьезно.

– Зависит от того, в чем состоит дело.

– Можно мне получить увольнительную на сутки?

– Нет, тебе об этом просить не положено.

– Знаю, что не положено. Но я вынужден просить вас.

– Я уже ответил.

– Не прогоняйте меня, капитан.

Что-то странное было в этом парне, который стоял в дверях, словно прирос к месту. Капитан тотчас уловил эту странность и смерил его пронизательным взглядом.

– Ну, что там такое? – сказал он с любопытством.

– У меня кое-какие неприятности. Мне надо поехать в Блubberри, – сказал парень.

– В Блubberри, а? Из-за девушек?

– Да, из-за женщины, капитан. – И, стоя там, выставив голову немного вперед, парень вдруг жутко побледнел – или пожелтел; казалось, от его губ исходила боль. Капитан заметил это и тоже чуть побледнел. Он отвернулся.

– Тогда отправляйся, – сказал он. – Но ради Бога, никаких неприятностей, ни под каким видом.

– Слушаюсь, капитан, спасибо.

Он удалился. Капитан в расстройстве выпил джина с пивом. Генри удалось одолжить велосипед. Он выехал из лагеря в двенадцать. Ему предстояло проехать шестьдесят миль по мокрым, грязным дорогам. Но он взлетел в седло и помчал по дороге, не думая о пище.

На ферме Марч принялась за работу, которой занималась уже какое-то время. В конце открытого навеса, на небольшом пригорке, где забор пересекал поросшую дроком лохматую поляну, росло несколько шотландских елей. Самое дальнее из этих деревьев усохло – оно усохло еще летом и стояло, топорща в воздух все свои бурые, жухлые иглы. Дерево было не очень большое и совершенно сухое. Так что хотя им было запрещено производить какие бы то ни было порубки, Марч решила, что оно достанется им. Во времена, когда дров не хватает, из него выйдут отменные дрова.

С неделю, а то и больше, она потихоньку подсекала его топором, время от времени, минут пять, изо всех сил подрубая его совсем низко, у самой земли, чтобы никто не заметил. Пилы она не трогала – в одиночку это такое тяжелое дело. Сейчас дерево стояло, зияя у основания громадной выбоиной, держась, так сказать, на одном стержне, но не падало.

Промозглый декабрьский день клонился к вечеру, холодные туманы выползали из леса и заполняли низины, и тьма дожидалась момента спуститься на землю. Над лесами, издали казавшимися низкими, тускло желтело пятно – это догорало солнце. Марч взяла топор и отправилась к дереву. Слабое тук-тук от ударов ее топора довольно вяло отдавалось вокруг зимней фермы. Вышла Бэнфорд в теплом пальто, но без шляпы, и неприятный ветер, шумевший в лесу и в соснах, трепал ее жидкие стриженные волосы.

– Чего я боюсь, – сказала Бэнфорд, – это что оно упадет на навес и у нас прибавится работы – мы будем вынуждены его чинить.

– О, не думаю, – сказала Марч, выпрямляясь и вытирая рукой свой жаркий лоб. Она покраснелась, в ее

очень широко открытых глазах стояло странное выражение, а верхняя губа задралась, обнажив два белых передних зуба, отчего у нее был забавный вид, очень похожий на кролика.

Через двор просеменил невысокий, полный человек в черном пальто и котелке. У него было розовое лицо, белая борода и бледно-голубые глаза. Не очень старый, но нервный, он шел мелкими, короткими шажками.

– Что ты думаешь, отец? – спросила Бэнфорд. – Ты не думаешь, что, когда оно упадет, то может зацепить навес?

– Навес? Нет! – сказал старик. – Навес оно не может зацепить. С таким же успехом можно сказать «зацепит ограду».

– Ограду – это неважно, – сказала Марч своим громким голосом.

– Ошиблась, как всегда, не так ли? – сказала Бэнфорд, отводя от глаз разметавшиеся волосы.

Дерево стояло, держась, так сказать, на одной лишь собственной жиле, скрипя и клонясь под ветром. Оно росло на склоне небольшой сухой канавы меж двух полей. На краю этого склона беспорядочно тянулась ограда, взбегавшая к кустарнику, которым поросла верхняя часть холма. Несколько деревьев теснилось в углу поляны неподалеку от навеса и ворот, которые вели во двор. К этим воротам через безрадостные поляны от большой дороги шла заросшая травой, изрытая колеями подъездная дорога. Там тянулся еще один рахитичный забор из длинных, распиленных слег, прибитых на короткие, толстые, далеко отстоящие друг от друга столбы. Все трое стояли позади дерева, на углу той поляны с навесом, чуть выше ворот во двор. Аккуратный дом со своими двумя фронтонами и крыльцом стоял через двор от них в маленьком, заросшем травой садике. На крыльце появилась и стала маленькая, полная женщина с розовым лицом в накинутаой на плечи маленькой красной шали.

– Еще не упало? – громко крикнула она писклявым голосом.

– Подумывает об этом, – отозвался ее муж. К девушкам он всегда обращался довольно насмешливым, язвительным тоном. Марч не хотелось продолжать рубку в его присутствии. Что до него, он, подобно своей дочери, если бы это зависело от него, и щепки бы не поднял с земли, жалуясь на ревматизм в плече. Так что в этот холодный день они какое-то время стояли молча втроем в нижнем конце поляны.

Они услышали вдалеке дребезжание ворот и вытянули шеи посмотреть, что там такое. В отдалении, на зеленом, горизонтальном лугу, фигура как раз вновь вскочила на велосипед и приближалась, ныряя над травой вверх и вниз.

– Да это ж один из наших мальчиков... это Джек, – сказал старик.

– Не может быть, – сказала Бэнфорд.

Марч вытянула шею, силясь разглядеть получше. Она одна узнала фигуру в хаки. Покраснела, но ничего не сказала.

– Нет, это не Джек, думаю, что нет, – сказал старик, всматриваясь круглыми голубыми глазками из-под белых ресниц.

Еще минута – и вновь показался вынырнувший велосипед, у ворот ехавший на нем человек соскочил на землю. Это был Генри с мокрым, красным лицом, заляпанным грязью. Он был весь в грязи.

– О! – воскликнула Бэнфорд, словно в испуге.

– Что? – буркнул старик. Говорил он невнятно, быстро, ворчливым тоном и был глуховат. – Что? Что? Кто это? Что ты сказала, кто это? Тот молодой парень? Тот молодой парень, который с Нелли? О! О! – И на его розовом лице и белых ресницах заиграла язвительная улыбка.

Отбрасывая с дымящегося лба мокрые волосы, Генри увидел их и услышал, что сказал старик. Его горячее, молодое лицо, казалось, вспыхнуло в холодном свете.

– А, вы все тут! – сказал он, заливаясь внезапно щепчатым смешком. Он был так разгорячен и так ошалел

от езды, что едва соображал, где находится. Прислонив велосипед к ограде, он, не входя во двор, перелез в углу через канаву.

– Ну, должна сказать, вас мы не ждали, – коротко сказала Бэнфорд.

– Да, полагаю, не ждали, – сказал он, глядя на Марч.

Она стояла в сторонке, размякшая, расслабив одно колено, слегка придерживая топор, который обухом упирался в землю. Глаза ее, с отсутствующим выражением были широко открыты, а верхняя губа, задрывшаяся так, что обнажились зубы, придавала ей беспомощный, зачарованный вид, напоминавший кролика. Стоило ей увидеть его красное, пылающее лицо, и все с ней было кончено. Она была совершенно беспомощна, как будто ее связали. Стоило ей увидеть его выставленную вперед голову.

– Ну, так кто же это? Кто это, в конце концов? – спросил улыбающийся язвительный старик ворчливым голосом.

– Кто? Мистер Гренфел, о котором мы тебе рассказывали, – холодно сказала Бэнфорд.

– Слышал, да, надо думать, еще бы. Ни о чем другом практически и не слышал, – пробурчал пожилой человек со своей странной ехидной ухмылочкой. – Здравствуйте, – добавил он, неожиданно протянув руку Генри.

Парень, пораженный не меньше его, пожал ее. После этого мужчины разошлись.

– Ехали на велосипеде от Солсберийской равнины, да? – спросил старик.

– Да.

– Гм! Далековато. Сколько времени вы ехали, а? Порядочно, а? Несколько часов, полагаю.

– Около четырех.

– А? Четырех! Да, надо полагать, не меньше. Когда вы, значит, собираетесь обратно, а?

– У меня увольнительная до завтрашнего вечера.

– До завтрашнего вечера, гм? Да. Гм! Девушки вас не ожидали, не так ли?

И старик перевел на девушек свои круглые бледно-голубые глазки под белыми ресницами. Генри тоже оглянулся, повернувшись к ним. Он почувствовал себя немного неловко. Посмотрел на Марч, но она по-прежнему стояла, отвернувшись, уставясь вдаль, как будто ей требовалось увидеть, где пасутся коровы. Ее рука лежала на верхнем конце топорщица, топор легонько упирался обухом в землю.

– Чем вы тут занимались? – спросил он тихим, учтивым голосом. – Рубили дерево?

Марч как будто не слышала его, словно в трансе.

– Да, – сказала Бэнфорд. – Уже больше недели.

– О! Тогда, значит, вы делали это сами?

– Это все Нелли, я ничего не делала, – сказала Бэнфорд.

– В самом деле! Должно быть, вам пришлось изрядно потрудиться, – сказал он необычайно ласковым голосом, обращаясь прямо к Марч. Она не ответила и все так же стояла вполборота, устремив неподвижный взгляд к тянувшемуся поверху лесу, словно в трансе.

– Нелли, – резко крикнула Бэнфорд. – Ты не можешь ответить?

– Что... Я? – воскликнула Марч и, вздрогнув, обернулась, переводя взгляд с нее на него и обратно.

– Мечтает! – пробурчал старик и отвернулся, чтобы скрыть улыбку. – Влюблена, должно быть, раз мечтает средь бела дня!

– Вы что-то сказали мне? – спросила Марч, глядя на парня, как будто из странного далека, широко открытыми, исполненными сомнения глазами, заливаясь нежным румянцем.

– Я сказал, вам, должно быть, пришлось изрядно потрудиться над этим деревом, – ответил он с учтивостью.

– А, это! Потихоньку, полегоньку. Мне казалось, к этому времени оно бы должно было упасть.

– Я рада, что оно не свалилось ночью, не то напугало бы нас до смерти, – сказала Бэнфорд.

– Давайте я закончу с ним вместо вас, ладно? – сказал парень.

Марч наклонила топорщице в его сторону.

– Вам так хочется? – сказала она.

– Да, если вы хотите, – сказал он.

– О, я буду благодарна, когда оно ляжет на землю, вот и все, – бесшабашно ответила она.

– В какую сторону оно упадет? – спросила Бэнфорд. – Не зацепит оно навес?

– Нет, навес оно не зацепит, – сказал он. – Я бы сказал, оно упадет туда – и совершенно ничего не заденет. Хотя может крутануться и зацепить ограду.

– Зацепить ограду! – крикнул старик. – Что, зацепить ограду! Когда она идет под таким углом? Да она дальше навеса. Оно не зацепит ограды.

– Да, – сказал Генри. – Думаю, нет. Здесь достаточно места, чтобы оно ничего не задело.

– Не повалится оно назад, на нас, нет? – ехидно спросил старик.

– Нет, этого не случится, – сказал Генри, снимая короткую куртку и гимнастерку. – Утки! Утки! Кыш! Назад!

Четыре коричневых в крапинку утки во главе с коричнево-зеленым селезнем с возбужденным кряканьем цепочкой, с максимальной скоростью, раскачиваясь, как лодки по бурному морю, припустили с верхнего луга вниз по склону холма к ограде и небольшой группе людей, как будто неся весть о Великой Армаде.

– Глупенькие! Глупенькие! – закричала Бэнфорд, направляясь к ним, чтобы отогнать их. Но они с готовностью ринулись к ней, раскрывая желто-зеленые клювы и крякая, словно то, что они собирались сообщить, привидело их в возбуждение.

– Нет тут никакой еды. Тут ничего нет. Вам надо немножко обождать, – говорила им Бэнфорд. – Кыш! Кыш! Отправляйтесь во двор.

Они не уходили, так что она забралась на ограду, намереваясь загнать их во двор, заставив повернуть и подлезть под ворота. Выстроившись вновь возбужденной цепоч-

кой, они вразвалку заковыляли прочь, раскачивая задом, подобно носу маленькой гондолы, подныривая под перекладину ворот. Бэнфорд стояла наверху, на краю откоса, глядя на трех стоявших внизу людей.

Генри посмотрел вверх, на нее, встретившись сквозь очки с пристальным взглядом ее подслеповатых глаз с круглыми зрачками. Он стоял совершенно неподвижно. Он отвел взгляд в сторону и посмотрел вверх, на слабое, накренившееся дерево. И в тот момент, когда он посмотрел в небо, он подумал про себя, как охотник, наблюдающий полет птицы: «Если дерево упадет прямо туда и, падая, крутанется ровно на вот столько, тогда ее точно ударит той веткой, как она стоит там, на краю того откоса».

Он опять посмотрел вверх, на нее. Своим извечным движением она снова отводила волосы со лба. В своем сердце он приговорил ее к смерти. Казалось, в нем была заключена ужасная, спокойная, принадлежащая только ему сила. Сдвинься он хоть на волосок не в ту сторону, и он потеряет эту власть.

– Поостерегитесь, мисс Бэнфорд, – сказал он. И его сердце застыло в полной неподвижности, преисполненной одной лишь только ужасной воли, направленной на то, чтобы она не двигалась.

– Кому, мне поостеречься? – воскликнула она, и в ее голосе послышался ехидный тон ее отца. – Почему? Вы думаете, что можете стукнуть меня топором?

– Нет, однако дерево, вполне вероятно, может, – трезво ответил он. Но, как ей казалось, тон его голоса выдавал, что забота его фальшива и что он пытается заставить ее отойти потому, что такова его воля.

– Абсолютно невозможно, – сказала она.

Он слышал ее. Но стоял совершенно неподвижно, словно обратившись в ледышку, сдерживая себя, чтобы не потерять свою власть.

– Нет, вполне вероятно. Лучше спускайтесь сюда.

– О, хорошо. Покажите нам знаменитый канадский способ валить деревья, – возразила она.

– Значит, готовы, – сказал он, беря топор и оглядываясь вокруг, чтобы убедиться, что поблизости никого нет.

Наступил момент чистого, неподвижного ожидания, когда, казалось, весь мир замер в неподвижности. Затем его фигура вдруг как будто взметнулась вверх, необычайно высокая и устрашающая, он дважды кряду, быстро, молниеносно ударил топором, и срубленное дерево, медленно поворачиваясь, странно вращаясь в воздухе, повалилось на землю, как внезапно падает тьма. Никто, кроме него, не видел, что происходит. Никто не слышал странного слабого крика, который испустила Бэнфорд, когда на нее обрушился темный конец ветви. Никто не видел, как она немного присела и получила сзади удар по шее. Никто не видел, как ее подбросило и перенесло к ограде, где она лежала маленькой, дергающейся кучкой. Никто, кроме парня. А он напряженно наблюдал своими яркими глазами, как наблюдал бы, подстрелив гуся. Подрана или убита? Убита.

Он тотчас громко закричал. Тотчас же Марч испустила истошный вопль, пронзивший дальние дали дня. И отец Бэнфорд затаял странный, блеющий звук.

Парень перемахнул через ограду и побежал к откосу. Ее затылок и шея превратились в кровавое месиво, в жуть, в ужас. Он перевернул ее голову. Тело содрогалось от слабых конвульсий. Но в действительности она была мертва. Он это знал, знал, что это так. Знал в душе, и его кровь знала. Осуществлялась внутренняя необходимость его жизни. Ему предстояло жить. Заноза была выдрана из его нутра. Так что он с нежностью положил тело наземь. Она была мертва.

Он выпрямился. Окаменевшая, совершенно неподвижная, рядом стояла Марч. Лицо ее было мертвенно бледным, глаза – большие черные озера. Старик ужасающе карабкался на ограду.

– Боюсь, ее убило, – произнес парень.

Перелезая через ограду, старик испускал странные, булькающие звуки.

– Что? – крикнула Марч, вздрогнув, как от электрического удара.

– Да, боюсь, ее убило, – повторил парень.

Марч приближалась. Парень перемахнул через ограду прежде, чем она успела подойти к ней.

– Что вы сказали, убило? – спросила она пронзительным голосом.

– Боюсь, что так, – тихо ответил он.

Она побелела еще сильнее, страшно. Они стояли лицом к лицу. Ее черные глаза смотрели на него последним проблеском сопротивления. И тогда в этом последнем, мучительном поражении она захныкала, заплакала, слегка содрогаясь всем телом, наподобие того, как плачет ребенок, которому не хочется плакать, но его трясет изнутри, и он заходится от первых, легких спазмов рыданий – но это еще не плач – сухих и страшных.

Он победил. Она стояла абсолютно беспомощная, содрогаясь от сухих рыданий, с трясущимся мелкой дрожью ртом. Потом у нее, как у ребенка, словно сокрушив какую-то преграду, в мучительной слепоте застилающего глаза плача хлынули слезы. Она опустила на траву и сидела, сложив на груди руки и подняв вверх незрячее лицо, сведенное конвульсиями плача. Он стоял над ней и смотрел вниз на нее, безмолвный, бледный, кажущийся неизбывным. И среди всех терзаний, вызванных этой сценой, среди всех терзаний его собственного тела и его нутра он был рад, что он победил. Долгое время спустя он склонился над ней и взял ее руки.

– Не плачьте, – сказал он тихо. – Не плачьте.

Она посмотрела на него сквозь слезы, стекающие по ее лицу, бессмысленным взглядом, означавшим беспомощность и покорность. Она смотрела на него словно незрячая, и все же смотрела вверх, на него. Она больше никогда его не покинет. Он победил ее. И он это знал и был рад, потому что она была нужна ему на всю жизнь. Она непременно нужна для самой его жизни. И теперь он ее победил. Это то, что непременно нужно для самой его жизни.

Но если он победил ее, он еще не получил ее. Как он и планировал, они поженились на Рождество, и ему опять дали десятидневный отпуск. Они съездили в Корнуолл, в его родную деревню на берегу моря. Он понял, что оставаться на ферме было для нее ужасно.

Но хотя она принадлежала ему, хотя она стала его тенью, как будто не могла находиться вдали от него, она не была счастлива. Она не хотела оставить его – и тем не менее не чувствовала себя с ним свободной. Все, что ее окружало, казалось, наблюдало за ней, казалось, давило на нее. Он победил ее, она была с ним, она была его женой. И она... она принадлежала ему, она это знала. Но она не была довольна. И он по-прежнему находился в провале. Он понял, что хотя был женат на ней и обладал ею, очевидно, во всех возможных смыслах и хотя она хотела, чтобы он обладал ею, хотела – и не хотела теперь ничего другого, – он все же не преуспел вполне.

Чего-то недоставало. Вместо того, чтобы закружиться в вихре новой жизни, ее душа, казалось, чахла, кровоточила, словно раненая. Она подолгу сидела, отвернувшись к морю, в то время как он сжимал ее руку. И в ее темных, незрячих глазах была своего рода рана, и ее лицо выглядело немного осунувшимся. Если он заговаривал с ней, она поворачивалась к нему с еле приметной новой улыбкой, странной, дрожащей, маленькой улыбкой женщины, которая умерла вместе со старой любовью, но не может полностью возродиться, чтобы любить по-новому. Ей все еще казалось, что она должна сделать что-то, приложить к чему-то силы. И не было ничего, что она должна сделать, ничего, к чему приложить силы. И она не могла целиком принять то растворение, отказ от себя, которого требовала от нее его новая любовь. Если она влюблена, она, любя, должна каким-то образом поднапрячься. Она испытывала утомительную потребность нашего времени напрягать себя в любви. Но она знала, что на самом деле не должна больше напрягать себя в любви. Он не принял бы любви, которая напрягает себя ради него. От этого он чернел лицом. Нет, он не

позволил бы ей напрягать свою любовь к нему. Нет, она должна быть пассивной, молча соглашаться, целиком сокрыться под кровами любви. Она должна быть подобна водорослям, которые видела, когда всматривалась с лодки в морские глубины, вечно нежно колышущиеся под водой, отдаваясь на волю течения всеми своими нежными веточками, водорослям, чутким, беспрельно чутким и чувствительным в глубинах моря, где царит полумрак, и, покуда они живы, никогда, никогда не поднимающимся на поверхность и не выглядывающим из воды. Никогда. Никогда не выглядывающим из воды, покуда не умрут, только тогда, уже трупами, всплывают они на поверхность. Но, покуда они живы, всегда погруженным, всегда скрытым под волнами. Под водой у них могут быть мощные корни, крепче железа; они могут быть цепкими и опасными в своем мягком колыпании по воле волн. Под водой они могут быть крепче, несокрушимее стойких дубов на земле. Но всегда под водой, всегда под водой. И, будучи женщиной, она должна быть подобна им.

А она так привыкла к прямо противоположному. Прежде ей приходилось брать на себя все помыслы о любви и жизни, всю ответственность. День изо дня она отвечала за наступающий день, за наступающий год, за здоровье ее дорогой Джилл, за ее счастье и благополучие. В самой ничтожности своей она поистине чувствовала себя ответственной за благо всего мира. И это было для нее великим стимулом, ощущением того, что в своих малых пределах она отвечает за благо мира.

И она потерпела поражение. И знала, что даже в своих малых пределах она потерпела поражение. Потерпела поражение, не сумев удовлетворить собственного чувства ответственности. Это было так трудно. Сначала это казалось так грандиозно и легко. Но чем больше стараешься, тем труднее становится. Казалось, так легко сделать счастливым любимое существо. И чем больше стараешься, тем сильнее провал. Это ужасно. Казалось, всю свою жизнь она к чему-то стремилась, и то, к чему

она стремилась, казалось таким близким, – стремилась, пока не достигла в своем стремлении высшей точки. Но и тогда оно неизменно оставалось недостижимым.

Неизменно недостижимым, неопределенно, непостижимо недостижимым, так что в конечном счете она осталась ни с чем. Жизнь, к которой она стремилась, счастье, к которому она стремилась, благо, к которому она стремилась, все, стоило ей протянуть руку, ускользало, отодвигаясь все дальше, прочь, становилось нереальным. Ей была нужна какая-то цель, какая-то определенность – но ничего этого не существовало. Лишь это вечное жуткое стремление, стремление, погоня за чем-то, что, может статься, вот-вот может оказаться чуточку впереди, самую малость. Даже сделать счастливой Джилл. Она была рада, что Джилл умерла. Потому что она поняла, что никогда не смогла бы сделать Джилл счастливой. Джилл всегда терзалась бы тревогой, все худела бы и худела, слабела и слабела. Ее муки не убывали бы, а только все возрастали. И так продолжалось бы вечно. Рада, что Джилл умерла.

А если бы Джилл вышла замуж, получилось бы все совершенно то же самое. Женщина старается, старается сделать мужа счастливым, старается – в своих пределах – во благо своего мира. И в итоге – всегда поражение. Маленькие, глупые успехи в денежных делах и честолюбивых мечтах. Но в тот самый момент, когда успех был всего более необходим ей, в ее мучительной попытке сделать счастливым и совершенным любимое существо – тут вот поражение оборачивалось почти катастрофой. Хотелось сделать возлюбленного счастливым, и его счастье всегда казалось достижимым. Если только ты сделаешь это, то и еще кое-что. И ты делал и это, и то, и еще кое-что, честь по чести, и каждый раз поражение становилось все чудовищнее. Можешь любить себе на здоровье, сколько душе угодно, и стараться, и надрываться себе, и лезть вон из кожи, а дело – в том, что касается счастья, – будет идти из рук вон плохо, хуже некуда, хуже некуда. Страшная ошибка – счастье.

Бедная Марч, со всей своей честью по чести и ответственностью, она старалась и надрывалась до того, что ей казалось, будто вся жизнь в целом и все остальное – это всего лишь ужасная бездна ничто. Чем дальше ты тянешь руку к роковому цветку счастья, дрожащему в расселине, такому голубому, такому прелестному, до которого ты не дотягиваешься самую малость, тем больше ты преисполняешься страха, тем больше осознаешь ту жуткую, чудовищную бездну, бездонная пасть которой разверзлась под тобою, куда ты всенепременно рухнешь, если протянешь руку еще чуть дальше. Ты срываешь цветы, один за другим, – но это всегда не те цветы. Тот самый цветок... его чашечка – чудовищная бездна, бездонная пропасть.

Вот и вся история поисков счастья, которого ты хочешь достигнуть, будь оно твое собственное или чье-нибудь еще. И кончается она – и кончается всегда – жутким ощущением бездонного ничто, куда ты всенепременно угодишь, если потянешься чуть дальше.

А женщины? Какую еще цель может измыслить любящая женщина, кроме счастья? Просто счастья для себя и для мира. Это – и ничего другого. Так что она принимает ответственность на себя и устремляется навстречу своей цели. Она может видеть ее близко, у подножия радуги. Или чуть подальше, в голубой дали. Недалеко, недалеко.

Но конец радуги – бездонная бездна, в которой можно лететь вечно, никогда никуда не прибывая, а голубая даль – это бескрайняя пропасть, которая своей пустотой поглотит тебя со всеми твоими стараниями, не став, однако же, нисколько полнее. Тебя со всеми твоими стараниями. Откуда иллюзия достижимости счастья!

Бедная Марч, она так чудесно ринулась к голубой цели. И шла все дальше и дальше, и чем дальше, тем страшнее становилось осознание пустоты. Наконец, мука мученическая, безумие.

Она была рада, что все это кончилось. Рада сидеть на берегу, смотреть на запад, за море, и знать, что великие старания закончились. Никогда больше не устремится

она в погони за любовью и счастьем. И Джилл в надежном укрытии смерти. Бедная Джилл, бедная Джилл. Быть мертвой, должно быть, сладко.

Что касается ее самой, смерть – не ее судьба. Ей пришлось доверить свою судьбу парню. Да, парню, и что же он в таком случае? Он хотел большего. Он хотел, чтобы она вверила ему себя безраздельно, отказавшись от всякой защиты, погрузилась в него, растворилась в нем. Ей же хотелось сидеть неподвижно, вроде женщины у последнего верстового столба, и наблюдать. Она хотела видеть, знать, понимать. Она хотела быть одна – и чтобы он был рядом.

А он? Он не хотел, чтобы она наблюдала, чтобы она видела, чтобы она понимала. Ему хотелось скрыть под завесой ее женский дух, как люди Востока закрывают завесой лицо женщины. Хотелось, чтобы она вверилась ему, чтобы погрузила в сон свой независимый дух. Он хотел отобрать у нее все ее старания, все, что казалось *raison d'être**. Хотел, чтобы она подчинилась, покорилась, слепо вышла из напряжения своего сознания. Хотел лишить ее сознания, сделать ее просто своей женщиной.

А она так устала, так устала, как ребенок, которого одолевает сон, но который борется со сном, как будто сон – это смерть. Упрямо силясь не поддаться сну, она, казалось, все шире открывала глаза, напрягая их. Она ни за что не поддастся сну. Ей хотелось бы знать. Хотелось размышлять, судить и решать. Хотелось своими руками держать свою жизнь под уздцы. Она до конца останется независимой женщиной. Но она так устала, так от всего устала. А сон, казалось, был совсем рядом. И от парня так веяло покоем.

И, однако ж, сидя в укромном уголке, среди высоких диких скал на западе Корнуолла, глядя на запад, за море, она все шире и шире раскрывала глаза. Прочь отсюда, на запад, в Канаду, в Америку. Ей хотелось бы знать, ей хотелось бы видеть, что ждет впереди. А у сидевшего рядом

* Основа бытия, смысл существования (*фр.*).

парня, который глядел вниз, на чайк, залегла меж бровей черная туча, а в глазах затаилось напряженное недовольство. Он хотел, чтобы она заснула, заснула в нем с миром. Хотел, чтобы она успокоилась и заснула в нем. Она же, вот она, умирает в напряжении своего бодрствования. Она, однако, не желала погружаться в сон, нет, никогда, ни за что. Иногда он с горечью думал, что ему следовало бы оставить ее. Ему ни за что не следовало убивать Бэнфорд. Следовало оставить Бэнфорд и Марч вместе, пусть бы поубивали друг друга.

Но то было лишь нетерпение, и он это знал. Он ждал, ждал, когда они отправятся на запад. Ему до боли не терпелось прекратить эту пытку, уехать из Англии, на запад, забрать с собой Марч. Оставить эти берега! Он верил, что, когда они пересекут океан, оставив Англию, столь ему ненавистную, потому что, казалось, она каким-то образом отравила его, она, Марч, заснет. Она наконец закроет глаза и покорится ему.

Умерший

Часть первая

Жил под Иерусалимом крестьянин; он купил молодого бойцового петуха, на вид жалкого заморыша, который с приближением весны обзавелся, однако, нарядными перьями и к тому времени, когда смоковницы стали разворачивать листочки на кончиках веток, выглядел со своей изогнутой шеей роскошно.

Крестьянин был бедный, он жил в хижине из сырого глиняного кирпича, и все его владение составлял маленький, грязный внутренний дворик с одной упрямой смоковницей на всем этом пространстве. Он много работал на хозяина: ухаживал за лозами, оливами и пшеницей, потом возвращался домой спать в своей глинобитной хижине. Но он гордился своим молодым петухом. На огороженном дворе жили три жалких курицы, которые несли крохотные яички, теряли свои немногочисленные перья и производили несообразное количество помета. В углу, под соломенным навесом, жил также нерасторопный осел, часто отправлявшийся с хозяином на работу, но порой и остававшийся дома. И была у крестьянина жена, молодая женщина с черными бровями, которая работала не очень много. Бросала курам немного зерна или остатки каши и заготавливала серпом зеленый корм для осла.

Молодой петух достиг определенного великолетия. По какой-то прихоти судьбы в этом маленьком грязном дворе, рядом с тремя пятнистыми курами петух выглядел франтом. Он научился выгибать шею и испускать пронзительные крики в ответ на крик других петухов, тех, что за оградой, в том мире, о котором он не знал ничего. Но в его крике слышался особый огненный тон, и на отдаленный крик других петухов он разливался неожиданными руладами.

– Как распевает, – говорил крестьянин, вставая и натягивая дневную рубаху.

– Его на двадцать кур достанет, – говорила жена.

Крестьянин вышел во двор и с гордостью посмотрел на своего юного петуха. Задорную, роскошную птицу, уже окончательно познакомившуюся с тремя пестрыми курами. Но петушок, наклонив голову, прислушивался к вызовам, которые бросали ему невидимые петухи из неведомого ему мира. Голосам призраков, таинственным образом долетавшим к нему из неизвестности. Отвечал он со звенящей непокорностью – его не запугают.

– Придет такой день, он возьмет, да и улетит, – сказала жена крестьянина.

Так что они подманили его зерном, поймали, хотя он отбивался всеми крыльями и лапами, и завязали на его голени веревку, закрепив ее у шпоры, а другой конец привязали к столбу, на котором держался соломенный навес загона для осла.

Высвободившись, молодой петух, исполненный возмущения, зашагал упругой походкой прочь от людей; достигнув конца веревки, потянул и подергал привязанной ногой, на миг упал, бешено барахтаясь к ужасу жалких кур на грязном земляном полу, потом, отвратительно покачиваясь, вскочил на ноги и встал, задумавшись. Крестьянин и жена крестьянина насмеялись всласть, и молодой петух слышал их. И угрюмой, тревожной разновидностью знания он уразумел, что привязан за ногу.

Больше он не расхаживал с важным видом, не взъерошивал и не охорашивал своих перьев. Он угрюмо вышагивал в дозволяемых привязью пределах. И тем не менее, он заглатывал лучшие куски. И тем не менее, он порой сохранял наилучшие куски для своей любимой на тот момент курицы. И тем не менее, он, сотрясаясь, с неистовой страстью набрасывался на ту часть своего гарема, которая беспечно забредала в пределы его досягаемости, и источал незримую притягательность. И тем не менее, он с вызовом горланил в ответ на петушинные крики, доносившиеся на рассвете из неизвестности.

Но теперь в том, как он поглощал корм и топтал жалких кур, сквозило вымученное торжество. Более того, его голос лишился своего полнозвучного золотого тона. Он был привязан за ногу и знал это. Веревка держала на привязи его тело, душу и дух.

Однако в глубине жизнь шла в нем с мрачной нерушимостью. Веревка должна быть разорвана. Так что однажды утром, перед самым рассветом, пробудившись от сна, он что было мочи, вдруг волной нахлынувшей на него, дернулся на крыльях вперед, и веревка оборвалась. Он издал странный дикий клекот, одним махом взлетел на ограду и там громко прокричал оглушительным криком. Таким громким, что разбудил крестьянина.

В то же самое время, в тот же предрассветный час того же утра, от сковавшего его долгого сна, для чего его обвили пеленами, проснулся человек. Он проснулся, оцепенелый и продрогший, в вырубленной в скале пещере. В течение всего этого долгого сна его тело было пронизано болью, и оно все еще болело. Он не открывал глаз. И однако ж он знал, что проснулся и что он закован, и продрог, и оцепенел, и пронизан болью, и спеленут. Его лицо было затянуто холодными пеленами, ноги обвиты вместе. Только руки были свободны.

Если бы хотел, он мог бы двигаться – это он знал. Но он не хотел. Кому захотелось бы возвращаться из мертвых? В предвкушении движения в нем всколыхнулась дурнота. Он противился уже самому факту странного, непреднамеренного движения, которое уже совершилось в нем, движения назад, к сознанию. Этого он не хотел. Он хотел остаться за пределами всего, там, где даже память абсолютно мертва.

Но теперь что-то к нему вернулось, как вернувшееся движение, и в этом возвращении он лежал, охваченный чувством дурноты. Однако его руки вдруг задвигались. Холодные, тяжелые, налитые болью, они поднялись. Однако ж они поднялись, чтобы выпростать из ткани лицо и стащить с плеч пелены. Потом снова рухнули вниз, холодные, тяжелые, изнашивающие и от такого движения,

и даже вообразить нельзя, насколько не желали больше двигаться.

Когда лицо его было высвобождено и освободились плечи, он вновь погрузился в беспамяство и лежал мертвецом, покаясь в том, что пребывает в ничто в этом мертвом состоянии. Это представлялось наиболее желанным. И это едва ли не полностью осуществилось: предельно холодное пребывание за пределами всего.

Однако, когда он почти уже совсем отошел, его руки сами собой поднялись и принялись стягивать повязки с колен, ноги у него зашевелились, хотя его грудь была холодна и все еще погружена в смерть.

И, наконец, открылись глаза. В них стояла тьма. Та же самая тьма! Хотя, быть может, в ней пробивался бледный проблеск тревожного света, вспарывавшего крошечную тьму. Он не мог поднять головы. Глаза закрылись. И вновь все было кончено.

Потом он вдруг приподнялся, и огромный мир поплыл. Повязки свалились. И наседавшая на него со всех сторон скала сомкнулась над ним, вызвав новую агонию заточения. Проблески света. С приливом силы, возникшей из отвращения, он наклонился в этом узком каменном колодце вперед и опустил слабые руки на камень поблизости от проблесков света.

Откуда-то, из отвращения, прибыла сила; раздался грохот, хлынул свет, и умерший, скрючившись на своем ложе, глядел на физическую лавину света. Едва ли, однако ж, наступил рассвет. И он почувствовал странную, пронизывающую зябкость резкого дыхания рассвета. Это означало полное пробуждение.

Медленно-медленно, с осторожностью тяжелораненого, он выбрался из своей каменной могилы. Повязки, пелены и ароматы оставили его, и он примостился на земле, прислонясь к каменной скале, чтобы вновь впасть в забытье. Но он увидел, как его пронзенные ступни с неслезанной болью вновь касаются земли, которой они не собирались больше касаться, увидел также свои худые ноги, которые тоже умерли, и непостижимая боль, боль,

подобная предельному разочарованию тела, настолько переполнила его, что он встал, держась одной пронзенной рукой за выступ скалы у своей могилы.

Вернуться! Вернуться после всего того! Он увидел упавшие вокруг его мертвых ног пелены и, наклонившись, подобрал их, свернул и положил в каменную пещеру, из которой вышел. Потом взял умощенную полотняную пелену, закутался в нее, как в плащ, и отвернулся навстречу тусклой прохладе рассвета.

Он был один, и поскольку он умер, был даже по ту сторону одиночества.

Все еще исполненный боли несказанного разочарования человек этот пустился на дрожащих ногах по каменистому склону мимо спящих солдат, лежавших, закутавшись в свои шерстяные плащи, под дикими лаврами. Кутаясь в белый полотняный саван, босой, на израненных ногах он в безмолвии мгновение смотрел на неподвижные, бесформенные фигуры солдат. Они выглядели мерзко – неповоротливое скопище конечностей, однако ж он испытывал некоторое сочувствие. Он пошел дальше по дороге, а то они могли проснуться.

Идти ему было некуда, и он повернул прочь от города, стоявшего на холмах. Он медленно брел по дороге прочь от города мимо олив, под которыми на холодном рассвете склонялись пурпурные анемоны и пробивалась густая, ярко-зеленая трава. Мир такой же, как всегда, естественный мир, полнящийся зеленью, – в этом мире, естественном мире, где есть утро и вечер, извечно бессмертном, для которого он умер, из кустов над ручьем, обворожительно, мечтательно, упоенно взывал соловей.

Он пошел дальше на покрытых рубцами ногах, не принадлежащий ни к этому, ни к иному миру. Не пребывая ни здесь, ни там, ни зрячий, ни лишенный зрения, он, как в тумане, брел дальше, прочь от города и его окрестностей, задаваясь вопросом, зачем он пришел, и тем не менее, гонимый смутной, глубокой дурнотой разочарования и непреклонностью, которой он даже не сознавал.

В то время, как он продвигался в полусознательном состоянии вдоль глухой ограды вокруг оливковой рощи, его, совсем рядом, оглушил дикий, пронзительный крик петуха, звук, заставивший его содрогнуться, словно его ударило электричеством. На ветке над дорогой он увидел черно-огненного петуха, потом, на верхней террасе, – бегущего среди олив крестьянина в серой шерстяной блузе. Выпорхнув из зелени, вылетел черно-огненный петух с красным гребнем и роскошной струей хвостовых перьев.

– Ох, остановите его, Господин! – закричал крестьянин. – У меня петух удрал!

Человек, к которому он обратился, с внезапным проблиском улыбки раскрыл огромные крылья белого савана перед несущейся птицей. Петух шумно, с клекотом подался назад, крестьянин выскочил, птица жутко забила крыльями, затрещали перья, и вот крестьянин крепко держит под мышкой улетевшего петуха, его крылья сложены, голова с вытараченными круглыми глазами на белых зеркалацах безумно вытянута.

– Это мой петух, что улетел! – сказал крестьянин, весь в испарине, для успокоения поглаживая птицу левой рукой и глядя в лицо человека, кутавшегося в белую пелену.

Выражение лица крестьянина изменилось, и он стоял, потрясенный, глядя в мертвенно-бледное лицо умершего. Мертвенно-бледное лицо, такое спокойное, с черной бородой, словно бы выросшей по смерти, и эти широко открытые черные безрадостные, умершие – глаза! И эти обмытые рубцы на восковом лбу! У землепашца, в жилах которого текла вялая кровь, отвисла челюсть; в этой ситуации он чувствовал себя беспомощным, как ребенок.

– Не бойся, – сказал ему человек в саване. – Я не мертвый. Меня слишком рано сняли. Так что я воскрес. Но если меня найдут, они сделают все это снова...

Он говорил голосом, исполненным прежнего отвращения. Люди! Особенно люди у власти! Единственное, на что они способны. Черными, безразличными глаза-

ми он смотрел в быстрые, бегающие глаза крестьянина. Крестьянин содрогнулся – он был бессилен под взглядом этого мертвенного безразличия и странной холодной непреклонности. Он смог сказать лишь то единственное, что боялся произнести.

– Не укроешься ли, Господин, в моем доме?

– Я отдохну там. Но если ты кому-нибудь скажешь, ты знаешь, что будет. Тебе придется отвечать перед судом.

– Я? Я болтать не стану. Пошли скорей!

Крестьянин со страхом огляделся по сторонам, угрюмо спрашивая себя, отчего ему выпал такой удел. Человек, у которого ноги были в рубцах, мучительно вскарабкался на террасу с оливковой рощей и пошел за угрюмо поспешавшим крестьянином через молодую пшеницу. Он чувствовал под ногами, которые перенесли смерть, прохладную шелковистость молодой пшеницы, и суровость ее отдельной жизни была ясна ему. На выступлениях камней он видел шелковистые, покрытые серебристым пушком склоненные бутоны алых анемонов. И они тоже были из другого мира. В своем мире он был один, совершенно один. То, что его окружало, принадлежало к миру, который никогда не умирал.

Но сам он умер, или же был убит, и тем изгнан из него, и все, что осталось теперь, – это безмерная дурнота пустоты и абсолютного разочарования. Они подошли к глиняной хижине, и удрученный крестьянин подождал, пока тот подойдет.

– Проходи! – сказал он. – Проходи! Нас не видели.

Человек в белой пелене вошел в комнату, сложенную из глины, внося с собой странные ароматы. Крестьянин затворил дверь и через внутренний проход вышел во двор, где под надежной защитой высокой ограды – чтоб не украли – стоял осел. Там крестьянин с превеликим беспокойством привязал петуха. Человек с восковым лицом сел на циновку у очага – он выбился из сил и был на грани сознания. Однако он слышал, как крестьянин шептался там с женой, потому что женщина наблюдала за всем с крыши.

Вскоре они вошли, и женщина прикрыла лицо. Она налила воды и положила на деревянную тарелку хлеб и сушеные смоквы.

– Ешь, Господин, – сказал крестьянин. – Ешь! Никто не видел.

Но незнакомец не испытывал никакого желания есть. Однако он смочил в воде немного хлеба и съел его – жизнь должна идти. Но желание в нем было мертво, даже желание есть и пить. Он воскрес, не имея желания, даже желания жить, совершенно опустошенный, за исключением всеохватного разочарования, которое, подобно дурноте, гнездились там, где прежде была его жизнь. Однако, вероятно, даже глубже разочарования, даже глубже сознания, сокрылась лишенная всякого желания непреклонность.

Крестьянин с женой стояли неподалеку от двери, наблюдая. Они с ужасом видели багровые раны на тонких восковых руках и худых ногах незнакомца и небольшие открытые ранки на его все еще мертвом лбу. Они с ужасом ловили исходящий от него, от его тела, запах тонких ароматов. И они смотрели на его тонкие, белоснежные, дорогие одеяния. Может, это и впрямь мертвый царь, из края ужасов. И он все еще был холодный и находился где-то далеко, в краю смерти, и от его прозрачного тела исходили ароматы, словно от какого-то странного цветка.

С трудом проглотив немного смоченного в воде хлеба, он поднял к ним глаза. Он видел их такими, какие они есть: ограниченными, ведущими скудную жизнь, без всякого блеска в жестах или проявления мужества. Но они были тем, чем были: медленной и неперемнной частью естественного мира. В них не было ни капли благородства, но страх порождал в них сочувствие.

И незнакомец вновь проникся сочувствием к ним – знал, что они лучше всего отзовутся на доброе отношение, вновь проявив в ответ свою неуклюжую доброту.

– Не бойтесь, – ласково сказал он им. – Позвольте мне немного побыть у вас. Я недолго пробуду. А потом

уйду навсегда. Но не бойтесь. Из-за меня вам ничего плохого не будет.

Они сразу поверили ему, однако страх не оставил их. И они сказали:

– Оставайся, Господин, сколько захочешь. Отдыхай! Отдыхай спокойно!

Но они боялись.

Так что он оставил их в покое, и крестьянин отправился вместе с ослом. Взошло солнце, но в темном доме за закрытой дверью этот человек снова был словно в могиле. Так что он сказал женщине:

– Я лягу во дворе.

И она вымела для него двор и постелила ему циновку, и он лег у стены под утренним солнцем. Здесь он увидел первые зеленые листочки, подобно огонькам, вспыхнувшие на кончиках веток огороженной смоковницы, вверх из пустоты – в небо весны. Но умерший не мог смотреть, он просто совершенно спокойно лежал на солнце, которое еще не слишком пекло, и в нем не было никакого желания, даже желания двигаться. Но он лежал на солнце со своими худыми ногами, своими черными умощенными волосами, падавшими в ямки на его шею, с тонкими, бесцветными, совершенно неподвижными руками. Пока он там лежал, куры с кудахтаньем рылись в земле, а улетевший, изловленный и вновь привязанный петух, накупившись, забился в угол.

Жена крестьянина была напугана. Она пришла взглянуть на него и, увидев, что он совсем недвижим, испугалась, что у них на дворе мертвый. Но солнце распалилось, он открыл глаза и посмотрел на нее. И теперь она боялась того человека, который был жив, но ничего не говорил.

Он открыл глаза и снова увидел мир, блестящий, как стекло. Это была жизнь, в которой ему больше не было места. Но она сверкала за его пределами, синее небо и голая смоковница с маленькими султанчиками зеленой листвы. Блестящий, как стекло, и он не принадлежал к нему, потому что желание угасло.

Однако ж он существовал и не был уничтожен. День прошел в своего рода коме, а вечером он пошел в дом. Вернулся домой крестьянин, но он был напуган, и сказать ему было нечего. Незнакомец поел с ними вместе бобовой похлебки, но немного. Потом он вымыл руки и повернулся к стене, храня молчание. Крестьяне тоже молчали. Они смотрели, как спит их гость. Сон был так близок к смерти, в которой он все еще мог бы пребывать.

Однако, когда вошло солнце, он снова вышел и лег во дворе. Солнце было единственным, что притягивало и направляло его, и ему все еще хотелось ощущать в ноздрях прохладу утреннего воздуха, видеть над головой бледное небо. Ему все еще было невыносимо находиться взаперти.

Когда он выходил, запел петух. Это был слабый, сдавленный крик, но в голосе птицы звучало что-то сильнее огорчения. Это была необходимость жить и даже возглашать торжество жизни. Умерший стоял и смотрел, как петух, который улетел и был изловлен, распускает перья, приподнимаясь, закидывает голову вверх и открывает клюв, бросая новый вызов смерти от самой жизни. Эти смелые звуки неслись во все стороны, и хотя из-за веревки, привязанной к ноге птицы, они звучали приглушенно, они не смолкали. Умерший бесстрастно наблюдал жизнь и видел повсюду бесконечную непреклонность, которая билась, взмывая вверх бурной или легкой волной, незримо накатывающейся в пенных шапках, черно-огненного петуха или зеленые язычки пламени на кончиках веток смоковницы. Эти создания и явления весны накатывали, горя желанием и исполненные уверенности. Они накатывали, подобно шапкам пены, из синего разлива незримого желания, из бескрайнего моря силы, они являлись цветные и вещные, быстротечные и, однако ж, бессмертные в своем пришествии. Умерший смотрел на это великое вступление в жизнь всего, что не умерло, но он больше не видел их трепещущего желания быть, существовать. Вместо этого он слышал звон, звон, дерзкий вызов всему сущему.

Человек лежал неподвижно; его умершие глаза были теперь широко открыты и таинственно неподвижны и видели извечную непреклонность жизни. И петух отвечал на его взгляд своим блестящим, неглубоким, полунезрячим птичьим взглядом. И умерший неизменно видел не одну только птицу, но короткую, мощную волну жизни, гребнем которой была птица. Он наблюдал странное, ключущее движение этого существа, когда оно заглотивало кусочки пищи; его взгляд, взгляд ока жизни, неизменно настороже, неизменно начеку, самонадеянный и осторожный, и слышал голос, голос его жизни, возглашающий торжество и утверждение, и, однако ж, сдавленный веревкой обстоятельство! Он, казалось, слышал странный говор самой жизни, когда петух подражал кудахтанью своей избранницы, снесшей яичко, кудахтанью, которое в исполнении самца, из-за веревки у него на ноге, все же полнилось затаенной печалью. И когда этот человек бросил петуху кусочек хлеба, тот призывно, с необыкновенной и воркующей нежностью запел, примчался и сохранил этот кусочек для кур. Куры жадно набросались и унесли кусок за пределы, на которые хватало веревки.

Затем, когда он самодовольно вышагивал за ними, нога птицы вдруг дернулась на конце привязи, и перед этим вроде бы поражением он смирился. Его хвост опал, сам он как бы уменьшился и, нахохлившись, скрылся в тени. И он был молод; перья его хвоста, хотя и блестящие, еще не до конца выросли. Лишь к вечеру прилив жизни позволил ему забыть об этом. Затем, когда его избранница, беспечно бродя, оказалась поблизости от него, источая соблазн, он вскочил на нее, сотрясая все свои перья. И умерший наблюдал судорожное, колышущееся содрогание птицы и видел не птицу, а лишь гребень волны жизни, на миг настигшей другую в приливе бушующего океана. И судьба жизни казалась ему даже более яростной и настоящей, чем судьба смерти. Рок смерти был тенью рядом с неистойвой судьбой жизни, решительным натиском жизни.

В сумерках возвратился крестьянин со своим ослом, он сказал:

– Господин! Говорят, из сада украли тело, могила пустая, солдат увели, окаянные римляне! И там собрались женщины, чтобы оплакивать.

Умерший посмотрел на неумершего.

– Хорошо, – сказал он. – Не говори ничего, и нам нечего опасаться.

И крестьянину полегчало. Вид у него был довольно грязный и глупый, в нем никогда не вспыхнет даже тот жар, что горел в молодом петушке. В нем не было огня. Но умерший подумал про себя: «Тогда зачем поднимать его? Чтобы обновить землю, переворачивают пласты, их не надо поднимать. Пусть земля останется землей и имеет свое отдельно от неба. Я был не прав, когда стремился поднять его. Я был не прав, когда пытался вмешиваться. Орало поразит почву Иудеи, и жизнь этого крестьянина перевернется, подобно траве на поле. Ни один человек не может уберечь землю от обработки. Нужна обработка, а не спасение...»

Так что умерший с сочувствием посмотрел на него, на этого крестьянина, но он больше не хотел вторгаться в душу не умершего человека, который никогда и не может умереть, а может только в назначенный час вернуться в землю. Пусть он вернется в землю, и пусть никто не попытается воспрепятствовать, когда земля потребует свое.

Так что человек в рубцах отпустил крестьянина, потому что в крестьянине не было того, что подлежало возрождению. Однако ж умерший сказал самому себе: «Он мой хозяин».

И на рассвете, когда он почувствовал себя лучше, умерший поднялся и на истерзанных ногах медленно вновь проделал путь в сад. Ибо его предали в саду и похоронили в саду. И когда он обошел заросли лавра, неподалеку от того места, где камень был отвален, он увидел склоненную над могилой женщину в чем-то синем и желтом.

Она вновь заглянула в отверстие пещеры глубиной с большой буфет. Но там все равно никого не было. И она заломила руки и заплакала. И когда она отвернулась от туда, она увидела, что подле кустов стоит человек в белом, и она вскрикнула, подумав, что это, быть может, человек, наблюдающий за ней, и сказала:

– Его забрали!

Так что он сказал ей:

– Магдалина!

Тут она пошатнулась, словно вот-вот упадет, потому что узнала его. И он сказал ей:

– Магдалина! Не бойся. Я живой. Они слишком рано меня сняли, и я вернулся к жизни. Потом меня приютили в одном доме.

Она не знала, что сказать, но упала к его ногам, чтобы поцеловать их.

– Не прикасайся ко мне, Магдалина, – сказал он. – Не надо пока. Я еще не исцелился и еще не вернулся к людям.

И она заплакала, потому что не знала, что делать. И он сказал:

– Отойдем в сторону, в кусты, где нас не будет видно.

Так что она в своей синей накидке и желтом платье пошла вслед за ним среди деревьев, и он сел под кустом мирта. И он сказал:

– Я еще не совсем пришел в себя. Что надо делать дальше, Магдалина?

– Господь! – отвечала она. – О, мы оплакивали тебя! Вернешься ли ты к нам?

– Что кончено, то кончено, и для меня конец миновал, – сказал он. – Ручей бежит, пока дожди не перестанут его наполнять – тогда он пересохнет. Для меня та жизнь закончилась.

– И ты откажешься от своего торжества? – печально спросила она.

– Мое торжество, – сказал он, – в том, что я не мертв. Я пережил свою миссию, я больше не знаю ее. Вот мое торжество. Я пережил время и смерть моего участия, и я

все-таки человек. И я все еще молод, Магдалина, все еще не достиг и средних лет. Я рад, что все это кончилось. Это должно было свершиться. Но теперь я рад, что все это кончилось, и время моего участия завершилось. Учитель и спаситель во мне умерли; теперь я могу заняться своим делом, в своей единственной жизни.

Она слышала его, но не совсем понимала. Но то, что он сказал, расстроило ее.

– Но ты вернешься к нам? – настойчиво сказала она.

– Я не знаю, что буду делать, – произнес он. – Это прояснится, когда я исцелюсь. Но моя миссия окончена, и мое учительство окончено – смерть спасла меня от моего собственного спасения. О, Магдалина, я хочу найти свой единственный путь в жизни, составляющий мой удел. Моя общественная жизнь, исполненная сомнений, окончена. Теперь я могу служить жизни и не говорить ничего, и не будет никого, кто предаст меня. Я хотел быть больше, чем позволяют мои пределы, до самых кончиков пальцев, и тем навлек на себя предательство. И знаю, я причинил зло Иуде, бедному моему Иуде. Ибо я умер и теперь знаю свои пределы. Теперь я могу жить, не пытаясь больше воздействовать на других. Ибо доступные моим рукам пределы кончаются на кончиках моих пальцев, мой шаг не шире кончиков пальцев моих ног. И все же я хотел обнять миллионы, я, никогда не обнявший по-настоящему даже одного. Но Иуда и первосвященники спасли меня от моего собственного спасения, и скоро я смогу обратиться к своей судьбе, как купающийся в море на рассвете человек, который просто пришел на берег один.

– Отныне ты хочешь быть один? – спросила она. – И твоя миссия была ничто? Вся она была неправдой?

– Нет, – сказал он. – Так же, как твои прежние любовники не были «ничто». Они много значили для тебя, но ты брала больше, чем отдавала. Потом ты пришла ко мне, ища спасения от собственных своих крайностей. И я – в своей миссии – я тоже впал в крайность. Я отдавал больше, чем брал, и это тоже – зло и суета. Так что Пилат

и первосвященники спасли меня от моего собственно-го непомерного спасения. Не впадай теперь в крайность жизни, Магдалина. Она означает только еще одну смерть.

Она с горечью размышляла, потому что в ней была безмерная потребность отдавать.

– И ты больше не вернешься к нам? – спросила она. – Ты восстал только для одного себя?

Он услышал сарказм в ее словах и посмотрел в ее прекрасное лицо, по-прежнему напряженное от чрезмерной необходимости спасения от той женщины, какую она была, от той женщины, что уловляла мужчин по своему желанию. Над ней висела туча необходимости спасения от той, прежней Евы, обнимавшей многих и бравшей больше, чем отдавала. Теперь над ней висел другой рок. Она хотела отдавать, ничего не беря взамен. И это тоже было тяжело и жестоко по отношению к теплому телу.

– Я восстал из мертвых не затем, чтобы вновь искать смерти, – сказал он.

Она вскинула на него взгляд и увидела усталость, вновь разлившуюся по его восковому лицу, и безмерное разочарование, и потаенное безразличие в его темных глазах. Он почувствовал ее взгляд и сказал про себя: «Теперь мои собственные последователи захотят убить меня за то, что я восстал не так, как они ожидали».

– Но ты ведь придешь к нам, навестишь нас, тех, кто любит тебя? – спросила она.

Он рассмеялся коротким смешком и сказал:

– О, да. – Потом добавил: – Не найдется ли у тебя немного денег? Не дашь ли ты мне немного денег? Я тут должен.

У нее было немного денег, но она была рада отдать их ему.

– Как ты думаешь, – сказал он ей, – можно было бы мне прийти и пожить у тебя в доме?

Она подняла к нему взгляд своих больших голубых глаз, светившихся странным светом.

– Сейчас? – произнесла она с необычайным торжеством.

И он, уходивший теперь от всякого торжества, собственного и чужого, сказал:

– Не сейчас! Потом, когда я исцелюсь и... и приобщусь плоти.

Слова застревали у него в горле. Но в сердце своем он знал, что никогда не станет жить у нее в доме. Ибо в ее глазах сверкнула искра торжества; ненасытность отдачи. Но она с восторгом прошептала:

– О, ты знаешь, я отдала бы тебе все.

– Нет! – сказал он. – Этого я не просил.

Отвращение ко всякой жизни, какую он знал, снова нахлынуло на него, сильнейшая дурнота разочарования, и копье вновь пронзило его чрево. Бессильный, он жался под кустами мирта. Глаза его, однако, были открыты. Она опять посмотрела на него и увидела, что это не Мессия. Мессия не восстал из мертвых. Мессия и восторг пылающей чистоты и молодости ушли. Его молодость умерла. Это был пожилой и разочарованный человек, в котором гнезилось какое-то жуткое разочарование и непреклонность, которой любовь не победит никогда. Это был не Господь, которого она так обожала, молодой, пламенный, нетелесный человек, наполнявший ей душу восторгом. Это было ближе к любовникам, которых она знала в прежние времена, но более равнодушный к личному и менее восприимчивый.

Равновесие ее восторженно-мучительного обожания было нарушено. Этот воскресший был смертью ее мечты.

– Теперь тебе следует уйти, – сказал он ей. – Не прикасайся ко мне – я пребываю в смерти. Я снова сюда приду, на третий день. Приходи, если хочешь, на рассвете. И мы снова поговорим.

Она ушла в смятении, совершенно потерянная. Однако ж пока она шла, ее душа освободилась от горечи действительности, и она сумела вызвать в душе восторг и изумление оттого, что Господь восстал, что он не умер. Он воскрес. Спаситель, вдохнувший ликование в ее душу, чудотворец! Он воскрес, но не как человек, чисто, как Бог,

которому нельзя соприкоснуться с телесным и которому предстоит вознесение на Небо. Это было самое велико-
лепное и самое духовное из чудес.

Меж тем умерший собрался, наконец, с силами и направился к дому крестьянина. Он был рад вернуться к ним, прочь от Магдалины и собственных своих товарищей. Ибо в крестьянах заключалась пассивность земли, и они позволят ему отдохнуть и не будут пока что ни к чему понуждать его.

Женщина была на крыше, искала его. Боялась, что он ушел. Его присутствие в доме стало для нее чем-то вроде легкого вина. Она поспешила к двери, к нему.

– Где ты был? – спросила она. – Почему ты ушел?

– Я гулял в саду и видел друга, который дал мне немного денег. Это для вас.

Он протянул свою тонкую руку с несколькими монетами – всем, что смогла дать ему Магдалина. Глаза жены крестьянина блеснули, потому что деньги водились у них редко.

– О, Господин! И они, правда, мои?

– Возьми их! – сказал он. – На них можно купить хлеб. А хлеб дает жизнь.

Так что он опять лег во дворе, и его мутило от облегчения, оттого, что он вновь остался один. Ибо с крестьянами он мог быть один, а его собственные друзья никогда не дали бы ему быть одному. И в безопасности, какую давал двор, он дорожил молодым петушком, который кричал от беспомощного переизбытка жизни и заканчивал беспомощным унижением из-за привязи, державшей его за ногу. В этот день ослица стояла под навесом, обмахиваясь хвостом. Умерший прилег и полностью отвернулся от жизни, от отвращения, проистекающего из смерти в жизни.

Но женщина принесла вина и воды, подсластила лепешки и разбудила его, так что он немного поел, чтобы доставить ей удовольствие. День выдался жаркий; когда женщина наклонялась, подавая ему, он видел, как

ходят под халатом ее груди, раскачивавшиеся на ее смиренном теле. Он знал, что ей хотелось, чтобы он возжелал ее – она была моложава и не дурна. И он, никогда не знавший женщины, пожелал бы ее, если бы мог. Но он не мог пожелать ее, хотя и с нежностью думал о ее мягком, склоненном, смиренном теле. Она была рада деньгам и теперь хотела получить от него больше. Она хотела объятий от его тела. Но ее маленькая душонка была твердой, близорукой и хваткой, в ее теле жила некая алчность без нежного почтения к ответному дару. Так что он сказал ей спокойные, приятные слова и отвернулся. Он не мог прикоснуться к этому маленькому, личному телу, к маленькой, личной жизни этой женщины – и никакой другой женщины. Он без колебаний отвернулся от нее.

Восставший из мертвых, он, наконец, осознал, что у тела тоже есть своя маленькая жизнь, а помимо того, еще и другая, большая жизнь. Он был девственник, питавший отвращение к маленькой, алчной жизни тела. Но теперь он знал, что девственность есть форма алчности и что тело воскресает вновь, чтобы давать и брать, брать и давать, без жажды. Теперь он знал, что воскрес для женщины – или для женщин, которые знают о большой жизни тела и не жаждут отдавать, не жаждут брать, с ними он мог соединить свое тело. Но поскольку он умер, он был терпелив, он знал, что время есть, целая вечность. И его не подгоняло никакое алчное желание либо отдавать себя другим, либо что-то схватить для себя. Ибо он умер.

Вернувшись домой с работы, крестьянин сказал:

– Благодарю тебя за деньги, Господь. Но нам не было в них нужды. И все, что принадлежит мне, – твое.

Но умерший был опечален, потому что крестьянин стоял рядом в своем маленьком, личном теле и его хитрые глазки светились надеждой на большее вознаграждение – в деньгах, после. Правда, крестьянин принял его бесплатно, рискуя тем, что не получит никакого

вознаграждения. Но надежда в нем была хитра. И одна-ко ж именно так устроены люди. Так что когда крестьянин хотел помочь ему встать, поскольку наступила ночь, умерший сказал:

– Не прикасайся ко мне, брат. Я еще не воскрес для Отца.

Солнце палило с еще большим великолепием, и молодой петушок блестел еще сильнее. Но крестьянин все менял веревку на новую, и птица оставалась его пленницей. Однако пламя жизни возгорелось в петухе до предела, так что он с недоверием, заносчиво взирал на умершего. И человек улыбнулся, и полюбил птицу, и сказал ей:

– Ты-то, разумеется, воскрес для Отца своего, птичьего.

И молодой петух закричал ему в ответ.

Когда на рассвете третьего утра этот человек отправился в сад, он был погружен в раздумье о большой жизни тела, по ту сторону маленькой, узкой, личной жизни. Так что он неожиданно миновал густые заросли кустов лавра и мирта, неподалеку от скалы, и увидел у могилы трех женщин. Одна была Магдалина, еще одна – та женщина, что была его матерью, и третью он знал, ее звали Иоанна. Он глянул вверх и увидел их всех, и они увидели его и испугались.

Он застыл на некотором расстоянии от них, зная, что они явились, чтобы потребовать его возвращения, собственной персоной. Но он ни за что на свете не вернется к ним. Мертвенно бледный в сумраке серого утра, предвещавшего дождь, он увидел их и отвернулся. Но Магдалина поспешила к нему.

– Это не я их привела, – сказала она. – Они сами пришли. Слушай, я принесла тебе деньги!.. Не поговоришь ли ты с ними?

Она предложила ему несколько золотых, и он взял их, говоря:

– Можно мне их взять? Они мне понадобятся. Я не могу говорить с ними, потому что я еще не вознесся к Отцу. И я должен теперь оставить тебя.

– Ах! Куда ты пойдешь? – воскликнула она.

Он посмотрел на нее и увидел, что она цепляется в нем за того, который умер и теперь мертв, за человека его молодости и его миссии, его непорочности и его страха, его маленькой жизни, за того, кто отдавал и ничего не брал.

– Я должен идти к моему Отцу, – сказал он.

– И ты оставишь нас? Там матерь твоя! – воскликнула она, обернувшись, со старой болью, которая все еще была сладостна для нее.

– Но я должен теперь вознестись к Отцу, – сказал он и отступил назад, в кусты, быстро повернулся и ушел, говоря самому себе: «Теперь я не принадлежу никому и не связан ни с кем; моя миссия и мое учение оставили меня. Подумать только! Я не могу построить даже свою собственную жизнь, и что мне спасать?.. Я могу научиться быть один».

Так что он вернулся в дом крестьянина, во двор, где был привязанный веревкой за ногу молодой петух. И ему никто не был нужен, потому что лучше всего было одному, ибо присутствие людей вызывало у него чувство одиночества. Солнце и потаенное снадобье весны залечивали раны, затягивалась даже зияющая рана, поразившая его утробу. И его потребность в мужчинах и женщинах, его лихорадочное желание повелевать ими и быть спасенным ими – это тоже исцелялось в нем. Отныне каким бы образом ни случится ему соприкоснуться с родом человеческим, это будет совершаться без вторжения и понуждения. Ибо он сказал себе: «Я пытался понудить их жить, поэтому они принудили меня к смерти. С понуждением всегда так. Неприятие убивает движение вперед. Теперь мне пришла пора быть одному». Поэтому он не приходил больше в сад, а спокойно лежал и видел солнце и гулял в сумерках по склонам, где росли оливы, или среди зеленой пшеницы, с каждым солнечным днем поднимавшейся на ладонь. И все время думал про себя: «Как хорошо, что миссия моя окончена и я уже по ту ее сторону. Теперь я могу быть один и предоставить всему идти своим путем, и смоковница может остаться бес-

плодной, если угодно, и богатые могут быть богаты. Мой путь есть мой собственный путь, только мой».

Так что зеленые фестоны листьев не раскрылись на смоковнице, наполненные яркой, прозрачной, зеленой кровью дерева. А молодой петух стал еще ярче, блестел еще сильнее, вылощенный солнцем, но всегда был привязан за ногу. И солнце садилось все с бóльшим великолепием в золотом, докрасна раскаленном воздухе. Умерший сознавал все это и размышлял:

– Слово – это всего лишь мошка, кусающаяся по вечерам. Слова изводят человека, как мошкара, и они сопровождают его до самой могилы. Но они не могут проникнуть по ту сторону могилы. Сейчас я миновал это место, здесь слова не могут больше кусать, и воздух чист, и говорить нечего, и я один, я заключен в свою кожу – и она ограда моего владения».

Так что он залечивал раны и наслаждался бессмертием, заключающимся в том, чтобы не испытывать никаких волнений. Ибо во гробе он оторнул петлю, которую мы именуем заботой. Ибо во гробе он оставил свое взыскующее «я», которое исполнено забот и озабочено утверждением себя. Теперь исцелилось и обрело под его кожей единую свою целостность его беззаботное «я», и он улыбался сам себе из чистого одиночества, которое есть один из видов бессмертия.

Потом он сказал себе: «Пойду бродить по свету и не буду ничего говорить. Ибо нет ничего чудеснее, чем быть одному в чувственном мире, который бушует, однако ж пребывает сам по себе. Я не видел его, я был слишком ослеплен собственным смятением. Теперь я буду бродить среди треволнений чувственного мира, ибо именно волнение всех вещей в себе и оставляет меня совершенно свободным».

Такие беседы вел он сам с собой и решил стать врачом, потому что у него по-прежнему была способность исцелить любого человека или ребенка, который вызвал у него сострадание.

Поэтому он надлежащим образом остриг волосы и бороду и улыбнулся сам себе. Он купил себе башмаки и надлежащую накидку и обмотал голову надлежащей тканью, скрыв все небольшие рубцы. И крестьянин спросил:

– Ты уйдешь от нас, Господь?

– Да, потому что мне пришло время возвращаться к людям.

Так что он дал крестьянину монету и сказал ему:

– Отдай мне петуха, который улетел и теперь привязан за ногу. Он отправится вместе со мной.

Так что крестьянин отдал умершему петуха за монету, и на рассвете умерший отправился в чувственный мир, чтобы осуществиться в нем в своем одиночестве. Ибо прежде он был слишком погружен в него. Потом он умер. Теперь он должен вернуться, чтобы быть одному внутри него. Однако ж и сейчас он шел не совсем один, поскольку во все время пути нес под мышкой петуха, чей хвост весело развевался сзади, и он возбужденно вытягивал шею, так как и он впервые вступал в широкий чувственный мир, что волнует и сообщество петухов. Крестьянка немного поплакала, но потом отправилась в дом, чтобы поглядеть на монеты. И показалось ей, что от монет исходит сияние; дивное.

Умерший шествовал дальше, а день был солнечный. Идя, он посмотрел вокруг и отступил в сторону, пока в сторону города проехал вьючный обоз. И он сказал себе: «Странен этот чувственный мир, грязный и одновременно чистый! И я таков же. Однако я отделен от него! Жизнь бурлит по-разному. Почему я хотел, чтобы она бурлила во всем одинаково? Как жаль, что я проповедовал им! Проповедь куда вероятнее обратится в прах и забудет источник, чем псалом или песня. Я совершил ошибку. Понимаю – они казнили меня за то, что я проповедовал им. Однако ж они в конце концов не смогли казнить меня, поскольку я воскрес в своем одиночестве,

и я наследую землю, поскольку не заявляю своих требований на нее. И пребуду один во всеобщем водовороте; прежде и превыше всего я всегда пребуду один. Но вот эту птицу я должен выпустить в водоворот вещей, так как она должна воспользоваться благоприятным случаем. Каким жаром наполняет его жизнь! Скоро я оставлю его где-нибудь среди кур. И, быть может, однажды вечером я встречу женщину, которая сможет прельстить мое воскресшее тело, но оставит мне, однако ж, мое одиночество. Ибо ядро моего желания умерло, и я нигде не общаюсь ни с чем. И, однако, откуда мне знать! Все есть по меньшей мере жизнь. И этот петух излучает одиночество, хотя и отвечает на призывы соблазнов, исходящие от кур. Поспешу-ка я в эту деревню, что впереди, на горе; я уже устал и ослабел, и мне хочется закрыть глаза на все».

Он поспешил, подгоняемый желанием закончить хождение, и нагнал двух медленно идущих мужчин, они разговаривали. И поскольку ступал он бесшумно, он услышал, что они говорят о нем. И он вспомнил их, поскольку был знаком с ними при жизни, своей жизни-миссии. Так что он поздоровался с ними, но в сумерках не назвал себя, и они его не узнали. Он спросил их:

– А что там с тем, который собирался стать царем, и они за это предали его смерти?

– Почему ты спрашиваешь? – с подозрением спросили они в ответ.

– Я знал его и много думал о нем, – сказал он.

Тогда они сказали ему:

– Он воскрес.

– Да! И где же он и как живет?

– Мы не ведаем, это не было открыто. Он, однако, воскрес и немного погодя вознесется к Отцу.

– Да! И где тогда его Отец? Ты не знаешь?

– Тогда ты из язычников! Отец на небесах, над облаком и твердью.

– Правда? Тогда как же он вознесется?

– Как пророк Илия – он поднимется в огненном облаке.

– Прямо на небо?

– На небо.

– Тогда, значит, он не воскрес во плоти?

– Он воскрес во плоти.

– И он вознесет плоть на небо?

– Его вознесет небесный Отец.

Умерший больше ничего не сказал, поскольку речь его была закончена, и слова порождают слова, словно комары. Но человек спросил его:

– Почему ты несешь петуха?

– Я врачеватель, – сказал он, – и у этой птицы есть достоинство.

– Ты не верующий?

– Нет, верующий. Я верую, что эта птица преисполнена жизни и достоинства.

Дальше они шли после этого молча, и он чувствовал, что им не понравился его ответ. Так что он улыбнулся про себя, ибо в мире человек, отвергающий право ближнего быть одному, опасен. И когда подошли они к окраине деревни, умерший стал в сумерках и сказал своим прежним голосом:

– Не узнаете меня?

И они в страхе воскликнули:

– Господи!

– Да, – сказал он с тихим смешком. И он вдруг свернул и пошел в боковую улочку и прежде, чем они успели сообразить, исчез из виду под сенью ограды.

И он пришел на постоялый двор, где во дворе стояли ослы. И он спросил оладьев, и ему сделали оладьев. И он уснул под навесом. Но утром его разбудил громкий крик петуха и звон голоса его петуха, стоявший у него в ушах. И он увидел, что петух с постоялого двора шествует на битву в сопровождении своих кур, немалым числом следовавших за ним. Затем петух умершего выскочил вперед, и между птицами начался бой. Хозяин постоялого двора бросился спасать свою птицу, но умерший сказал:

– Если победит моя птица, я отдам ее тебе. А если он проиграет, ты его съешь.

Бой был жестокий, птицы дрались с яростью, и петух умершего убил обыкновенного петуха с постоянного двора. Тогда умерший сказал своему молодому петуху:

– По крайней мере, ты обрел свое царство и жен для своего тела. Твое одиночество может обрести великолепие в блеске притяжения твоих кур.

И он оставил там своего петуха и еще глубже погрузился в чувственный мир, представляющий собой безмерно сложное переплетение связей и соблазнов. И он задал себе последний вопрос: «От чего и ради чего мог бы быть спасен этот бесконечный водоворот?»

Так что он шел своим путем и пребывал один. Но, судя по тому, что он видел, по странным, повсеместным переплетениям страстей, обстоятельств и понуждения, неизменно ужасающей ненасытности понуждения, путь мира был самый невероятный. И страх, элементарный страх смерти сводил людей с ума. Так что человек должен все время быть в движении, ибо стоит ему остановиться, и из своих страхов и угроз его ближние совьют то, что удушит его. Он не мог ни к чему прикоснуться, поскольку в безумном утверждении эго все хотели подчинить его и тем нарушить его внутреннее одиночество. То была мания городов, обществ и толпищ – подвергать человека понуждению, всех людей. Ибо мужчины и женщины были равно одержимы этим безумием, порожденным эгоистическим страхом перед собственной своей ничтожностью. И он думал о собственной миссии, о том, как он пытался понудить всех людей к любви. И вновь на него накатило прежнее ощущение дурноты. Поскольку не было ни единого соприкосновения без скрытой попытки подвергнуть его понуждению, И его уже принудили к самой смерти. Ощущение дурноты, порожденное старой раной, нахлынуло вновь, и он вновь воззрился на мир с отвращением, ужасаясь его низости.

Часть вторая

Ветер дул из глубины страны, холодный и сильный, от невидимых снегов Ливана, но храм, выходявший на юг и на запад, в сторону Египта, был открыт великолепному зимнему солнцу, и когда оно, описывая дугу, спускалось к морю, тепло и сияние струились меж крашенных деревянных колонн храма. Но за деревьями моря не было видно, хотя сквозь шум сосен был слышен его плеск. Послеполуденный воздух начинал золотиться. Женщина, служившая Изиде, стояла в желтом своем облачении и смотрела вверх, на крутые уступы скал, сбегавшие к морю, где, подобно плещущей воде, серебрились под ветром оливы. Если не считать богини, она была одна. И в этот зимний день великолепный свет поднимался прямо вверх от невидимого моря, заливая прибрежные холмы. Она пошла навстречу солнцу через рощу средиземноморских сосен и вечнозеленых дубов, посреди которых стоял храм на небольшом, покрытом деревьями мысу между двух бухт.

Пройти было совсем немного; потом она остановилась у самых дальних сосен с сухими стволами, на скалах, под которыми билось и шумело море, лицом к простору, где зимой сияло яркое солнце. Море было темное, почти иссиние-фиолетовое, и бежало от земли в белых барашках. Станным образом рука ветра, серебрившая оливы на склонах, так же покрывала его тенью. В море не было ни одной лодки.

Три лодки были вытянуты высоко на крутой, покрытый галькой берег маленькой бухты, рядом с небольшой башней. По краю гальки шла высокая ограда, за которой находился сад, занимавший прилегающую к бухте небольшую низину, а затем поднимающийся террасами по крутому береговому склону. И там, еще немного повыше, за еще одной оградой стояла низкая белая вилла, обращенная к морю, белая и пустынная, как берег. А выше, гораздо выше, где оливы снова уступали место соснам,

бежала прибрежная дорога, проложенная поверху, чтобы избежать оврагов, спускавшихся к бухтам.

Все это было залито царственным солнечным светом январского дня. Или скорее все было частью великого солнца, сияния, стихии и девственного одиночества моря и чистого блеска.

Сидя на корточках среди камней над темной водой, которая только лишь накатывала на берег и откатывалась назад, двое полуголых рабов ошпыливали и разделявали голубей к вечерней трапезе. Они проткнули горло живой сизой птицы, и со странной сосредоточенностью спустили капли крови в бушующее море. Они совершали некое жертвоприношение или же распевали некое песнопение. Женщина из храма, в белом и желтом, как зимний нарцисс, и такая же одинокая, стояла среди сосен маленького горбатого полуострова, где нашел потаенное укрытие храм, и наблюдала.

Один, белый с черным, сверкающе-белый, словно призрак, голубь, выпорхнул, пролетел низом над темным морем, быстро понесся прочь, поймал ветер, накренился, завис, взмыл вверх, проплыл над со снами и, описав круг, полетел, удаляясь, – крошечная точка, прочь от моря. Улетел. Жрица слышала крик мальчишки-раба лет семнадцати, из тех, что работают в саду. Когда голубь полетел прочь, он, разозлившись, вытянул руки над головой, поднял руки к небу, молодой, голый, злой. Затем повернулся и вне себя от злости схватил девчонку и ударил ее кулаком, залитым кровью голубя. И она лежала, спрятав лицо, пассивная и дрожащая. Женщина, которой они принадлежали, наблюдала за ними. И, наблюдая, заметила еще одного наблюдателя, чужестранца, в низкой, широкополой шляпе и плаще из серой домотканой материи, мужчину с темной бородой, на коротком отрезке дороги, идущем по гребню скалы, как раз на перешейке полуострова, где стоял ее храм. Увидела благодаря тому, как развевался его плащ. И он увидел ее, словно желто-белый нарцисс на скалах, по тому, как под желтой шерстяной накидкой

билась ее белая льняная туника. И оба они наблюдали за двумя рабами.

Парень вдруг перестал бить девочку. Он согнулся над ней, тронул, пытаясь заставить ее говорить. Но она лежала совершенно неподвижно, уткнувшись лицом в стертый камень. Он обхватил ее руками и приподнял, но она соскользнула на землю, точно мертвая, однако ж слишком быстро для какой бы то ни было мертвой. Парень в отчаянии подхватил ее за талию, прижал к себе, повернул. Эта часть ее тела казалась совсем неподвижной – вся борьба сосредоточилась в плечах. С упорством, но бессознательно он перевернул ее и просунул руки меж ее ног, раздвигая их. И мгновение спустя накрыл ее в слепом, испуганном неистовстве первой мальчишеской страсти. Одно мгновение его быстрое и неистовое, нагое и слепое молодое тело сотрясалось на ней. Потом лежало совершенно неподвижно, точно мертвое.

А потом он в ужасе глянул вверх. Он огляделся вокруг и медленно поднялся, поправляя набедренную повязку. Увидел чужестранца, потом, дальше на уступах, увидел служительницу Изиды, свою госпожу. И когда он ее увидел, все его тело сжалось и съежилось, и он с понурым видом, странной, приниженной походкой, спотыкаясь, поспешно заковылял к двери в ограде.

Девушка села и посмотрела ему вслед. Увидев, что он исчез, она тоже огляделась вокруг. И увидела чужестранца и жрицу. Затем угрюмо повернулась, точно ничего не видела, к четырем мертвым голубям и лежавшему там на камне ножу. И принялась выщипывать маленькие перышки, так что они летали, подхваченные ветром, точно пыль.

Жрица отвернулась. Рабы! Пусть за ними наблюдает надсмотрщик. Ей неинтересно. Она опять медленно прошла через сосны, назад, к стоявшему на солнце, на небольшой полянке, в самом центре этого мыса храму. Это был маленький деревянный храм, выкрашенный в розовый, белый и голубой цвет, с четырьмя деревянными

ми колоннами по фасаду, которые поднимались, подобно стеблям, к набухшему бутону лотоса, символу Египта, наверху, и поддерживали крышу и открытые, с острыми лепестками цветы лотоса на внешнем фризе, опоясывавшем храм под карнизом. Две низких каменных ступени вели к площадке перед колоннами, а за колоннами располагался открытый зал. Там стоял низкий каменный алтарь с кучкой пепла в углублении и темным кровавым пятном в желобке на самом конце.

Она так хорошо знала свой храм, потому что возвела его на собственные средства и стояла во главе его семь лет. Вот он стоит, бело-розовый, как цветок на полянке, на фоне вечнозеленых дубов, и вечерние тени уже омывают подошвы колонн.

Она медленно вошла, прошла темный внутренний зал, освещенный пламенем благовоний. И она опять затворила за собой дверь, и опять бросила в курильницу перед богиней щепотку благовоний, и опять почти в полной тьме села перед богиней размышлять, уйти в свои мечты о богине.

Это была Изида, но не Изида – мать Гора. Это была Изида Осиротевшая. Богиня из крашеного мрамора шла с поднятой головой, выставив вперед ногу под легкими складками своего одеяния, в печали тяжелой утраты и поисков. Она искала части мертвого Озириса, мертвого и разбросанного по свету, мертвого, разорванного на части и разбросанного по всему свету. И ей нужно найти его руки и его ступни, его сердце, его ноги, его голову, его живот; нужно сложить его вместе и обвить руками его вновь собранное тело, пока оно снова не станет теплым и не пробудится к жизни, и сможет тогда обнять ее, и оплодотворить ее лоно. И странный восторг и боль ее поисков продолжались годами, когда она погружала внутрь себя взгляд своих ввалившихся глаз в мучительном экстазе поисков, и нежный пупок на ее покоем на бутон животе с вопрошанием, с извечным вопрошанием, вырисовывался сквозь легкое, перепоясанное платье ее поисков. И за эти годы она по кускам находила его, серд-

це и голову, руки, ноги и торс. И однако она не находила конечной реальности, окончательного ключа к нему, который единственно мог действительно вернуть его ей. Ибо она была Изиды таинственного лотоса, лоно которого бутоном ожидает под водой, ожидает прикосновения того, другого, внутреннего солнца, которое струит свет свой из лона Озириса-мужа.

Этой тайне женщина в одиночестве служила в течение семи лет, с двадцатилетнего возраста и поныне, когда ей исполнилось двадцать семь. Прежде, когда она была маленькая, она жила по всему свету, в Риме, в Эфесе, в Египте. Так как отец ее был одним из военачальников и товарищей Антония, сражался рядом с ним и стоял с ним, когда был убит Цезарь, и в дни позора. Потом, впад в немилость в Риме, он опять совершил переход в Азию и был убит в горах, что дальше Ливана. Его вдова, надеясь на милость Октавия, удалилась в свои маленькие владения на побережье близ Ливана, забрала с собой дочь, удалив ее от света, девятнадцатилетнюю девушку, красивую, но незамужнюю.

В юности молодая девушка была знакома с Цезарем и воспротивилась его орлиной ненасытности. Золотой Антоний не раз сиживал с нею по получасу в великолепии своего великого тела и сверкающего мужества, беседуя с ней о философах и богах. Ибо хотя он и высмеивал их и забыл о них в собственном своем тщеславии, ребенком он был зачарован богами, но он говорил ей:

– Я принес за тебя двух голубей в жертву Венере, потому что, боюсь, ты не приносишь даров нежной богине. Остерегись, ты можешь оскорбить ее. Послушай, отчего твой цветок так холоден внутри? Неужели никогда ни один луч, ни один взгляд не проникает к нему? Ах, послушай, дева должна открываться навстречу солнцу, когда солнце склоняется к ней, лаская ее.

И большие блестящие глаза Антония смеялись, глядя на нее сверху вниз, заливая ее своим сиянием. И она чувствовала прекрасное сияние его мужской красоты, и его эротизм заливал все ее члены и ее тело. Но все было так,

как он говорил: самый цвет ее лона был холоден, как бутон в предвестии мороза, несмотря на лившиеся от него потоки солнечного света. Так что из уважения к ее отцу, который ее любил, Антоний оставил ее.

И всегда происходило одно и то же. Она видела много мужчин, молодых и старых. И в целом старые нравились ей больше, поскольку спокойно и искренне говорили с ней и не ожидали, что она, как цветок, откроется навстречу их мужскому естеству.

Однажды она спросила философа:

– Все ли женщины рождены, чтобы быть отданными мужчинам?

На что старик не спеша ответил:

– Редкие женщины ждут возрожденного мужчину. Ибо лотос, как тебе известно, не ответит на всякое яркое излучение солнца. Он не шелохнется, склонив свою темную, потаенную головку. Пока в ночи, среди звезд на невидимом пурпуре, не взойдет одно из тех редкостных, невидимых солнц, которые были убиты и больше не светят, и не пошлет, подобно фиалке, свои редкостные, пурпурные лучи в ночь. На них отзывается лотос, словно на ласку, и сквозь толщу воды поднимает свою склоненную головку и открывается так, как не умеет открываться ни один другой цветок, и расправляет свои острые лучи блаженства и отдает свою мягкую, золотую сердцевину, подобной которой нет ни у одного цветка, входящему в нее излиянию, темно-фиолетовому солнцу, что умерло и воскресло – и не устраивает никаких зрелищ. Но лотос не отзывается на скоротечное дневное золотое солнце зрелищ, такое, как Антоний, ни на скупое зимнее солнце власти, такое, как Цезарь, и не отзовется никогда. Эти, чтобы открыть бутон, могут лишь разорвать его. Ах, говорю тебе, жди воскресшего, жди, когда отзовется бутон.

И она ждала. Потому что во времена Рима все мужчины были солдатами или политиками, с виду напористыми, мужественными, великолепными, но внутренне – низкими, они совсем ни на что не годились. И Рим,

и Египет равно оставили ее в одиночестве, оставили ее непробужденной. А она была женщина в себе, она не поддалась бы на внешний лоск, как не вышла бы замуж по расчету. Она будет ждать, когда отзовется лотос.

А потом она нашла в Египте Изиду, в которой она прочла свою тайну. Она перевезла Изиду на берега Сидона и вместе с нею жила тайной поисков, в то время, как ее мать, любившая вести дела, управляла маленьким поместьем и рабами, имея полную свободу действий.

Пробудившись от своих размышлений, женщина поднялась, чтобы совершить последний короткий обряд, наполнила светильник, вышла из святилища и заперла дверь. В мире объективной реальности, солнце уже село, и прохладные сумерки опустились на шумящие деревья, которые все еще продолжали шуметь, хотя ветер начал стихать.

Чужестранец в темной широкополой шляпе поднялся со ступеней на углу храма, придерживая шляпу от ветра. У него было смуглое лицо с черной, остроконечной бородкой.

– О, госпожа, чьего крова смею я просить? – спросил он женщину, стоявшую в желтой накидке на ступеньку выше него, рядом с бело-розовой колонной. У нее было бледное, довольно продолговатое лицо, темно-белокурые волосы были покрыты тонкой золотой сеткой. Она с безразличием посмотрела вниз, на бродягу. Тот самый, которого она видела, когда он наблюдал за рабами.

– Отчего ты сошел с дороги? – спросила она.

– Я увидел на берегу храм, подобный бледному цветку, и пожелал отдохнуть под деревьями в его пределах, если позволит та, что служит богине.

– Это Изиды Взыскующая, – сказала она, отвечая на первый вопрос.

– Это великая богиня, – ответил он.

Она все еще с недоверием смотрела на него. В его устремленных вверх, на нее, темных глазах играла легкая, еле уловимая улыбка, хотя лицо его осунулось от

страданий. Бродяга уловил ее колебания и насмехается над ней.

– Оставайся здесь, на ступенях, – сказала она. – Раб проводит тебя.

В своих золоченых сандалиях она спустилась по горной тропинке горбатого полуострова. Прекрасны были ее ноги цвета слоновой кости под белой туникой, а ее темно-белокурая головка над шафранной накидкой склонилась, словно в бесконечном раздумье. Женщина, погруженная в свои мечты. Человек слегка, не без горечи, улыбнулся и в ожидании снова сел на ступени, кутаясь в холодных сумерках в плащ.

В конце концов появился раб, тоже в сером, некрашеном, домотканом одеянии.

– Ты спрашивал приюта у нашей госпожи? – нагло спросил он.

– Воистину.

– Тогда пойдём.

С наглой бесцеремонностью раба, прислуживающего бродяге, молодой парень вел его среди деревьев вниз, в небольшую лощину среди утесов, где почти в темноте открылась маленькая пещера с подстилкой из высокого вереска, которым поросли все прибрежные пустоши под пиниями. Место было темное, но совершенно защищенное от ветра. Здесь все еще стоял слабый запах коз.

– Спи здесь! – сказал раб. – Козы больше не жалуют на этот полуостров. А тут вода! – Он указал на маленький каменный водоем, с пригоршню сочившейся по капле воды, его окаймляла поросль папоротника.

С презрением оделив его своим покровительством, раб удалился. Умерший выбрался на самую оконечность полуострова, где хлестали волны. Быстро темнело, зажглись звезды. Ветер начал к ночи стихать. В той стороне, что ведет от моря, крутой, уходящий вверх, изрезанный оврагами склон был погружен в полную темноту вплоть до длинной извилистой линии гребня, прочертившей прозрачное небо. Только время от времени мелькали огоньки фонарей, направлявшихся к вилле.

Умерший вернулся к себе. Там он достал из своей кожаной сумы хлеб, обмакнул его в воду крошечного родника и стал медленно есть. Поев и ополоснув рот, он еще раз поглядел на яркие звезды на чистом, очищенном ветрами небе, потом устроил из вереска постель. Отложив в сторонку шляпу и сандалии и положив под голову вместо подушки суму, он заснул, так как очень устал. Однако в ночи его разбудил холод, утомительно кусавший его сквозь утомление. Ослепительно сияли звезды, и было все еще ветрено. Он сел и в каком-то бессознательном состоянии обхватил себя руками, а под утро опять заснул.

Утром на берегу, в тени, по-прежнему было холодно, хотя за горами уже встало солнце, когда женщина с вильы пришла к богине. Море было спокойное, светлоглубое, красивое в своем обновлении, и ветер, наконец, улегся. Волны, однако, белой пеной бились о скалы, вгрызаясь в гальку маленькой бухты. Женщина медленно шла навстречу своей мечте. Однако она почувствовала препятствие.

Когда она шла по короткому скалистому перешейку к своему полуострову и меж деревьев взбиралась по склону к храму, сверху спустился раб и, поклонившись, остановился. В его смирении был легкий налет наглости.

– Говори! – велела она.

– Госпожа, там этот человек, он все еще спит. Можно мне говорить, госпожа?

– Говори! – сказала она, испытывая отвращение к парню.

– Госпожа, этот человек – беглый преступник.

Раб, казалось, торжествовал, выкладывая неприятные новости.

– На каком основании?

– Поглядите на его руки и ноги! Хочет госпожа посмотреть на него?

– Веди!

Раб быстро провел ее через горку и вниз, в крошечную лощину. Там он отступил в сторону, и женщина во-

шла в расщелину, которая вела к пещере. Ее сердце слегка стучало. Прежде всего она должна не допустить осквернения храма.

Бродяга спал, положив под голову свой заплечный мешок и укутавшись в плащ, но голые, грязные ноги жались одна к другой, чтобы согреться, и торчала одна чуть сжатая во сне рука. И она увидела шрамы на бледной коже его ног, обычно прикрытые ремешками сандалий, и такой же шрам на ладони неплотно сжатой руки.

Мужчины не интересовали ее, особенно из класса рабов. Однако она смотрела на это спящее лицо. Оно осунулось от измождения и было довольно безобразно. Но – истинная жрица – она видела в нем иную красоту, полнейшее спокойствие глубокой жизни. В этих черных бровях над неподвижными впалыми щеками было даже своего рода величие. Она увидела, что его черные волосы, в отличие от римлян, довольно длинные, у висков были тронуты сединой, попадались седые волосы и в черной остроконечной бородке. Но это, должно быть, вызвано страданием или несчастьем, поскольку мужчина был молод. Его смуглая кожа все еще светилась серебристым налетом молодости.

Во всей утонченной безобразности этого лица была красота большого страдания и странное спокойное чистосердечие более прекрасной жизни. Ее впервые до глубины души тронул вид мужчины, словно ее коснулся язычок дивного пламени жизни. Это случилось впервые. Мужчины вызывали у нее разные чувства, но никогда еще ее не касался язычок пламени жизни.

Она возвратилась под скалу, где ее ждал раб.

– Знай! – сказала она. – Это никакой не преступник, а свободный горожанин с востока. Не беспокой его, но когда он выйдет, приведи его ко мне; скажи ему, я хочу говорить с ним.

Она говорила холодно, поскольку неизменно находила рабов отталкивающими, в какой-то мере омерзительными. До того они погрязли в низшей жизни, а их убогое сознание было в чем-то отвратительно. Так

что она завернулась в свою мечту и пошла в храм, куда девушка-рабыня принесла зимние розы и жасмин для алтаря. Но сегодня она испытывала некоторую тревогу, даже при отправлении обрядов.

Сверкающее солнце поднялось над горой, в своей первозданной новизне свет победоносно заливал маленький, поросший на побережье соснами полуостров и розовый храм. Умерший проснулся и надел сандалии. Надел он также и шляпу, надел под плащ и свой заплечный мешок и вышел полюбоваться утром во всей его синеве и новорожденном золоте. Взглянул на маленький желто-белый нарцисс, весело мелькавший среди утесов. Увидел и раба, поджидавшего его, точно угроза.

– Господин! – сказал раб. – Наша госпожа хочет говорить с тобой в доме Изиды.

– Хорошо, – сказал странник.

Он шел медленно, приостанавливаясь, чтобы взглянуть на бледно-голубое море, подобное цветку в ничем не потревоженном цветении, с белой каймой у камней, подобной белым горным цветам, на голые склоны, отвесно вздымавшиеся над берегом, серым от олив и зеленым от молодой пшеницы, где стоит маленькая вилла. И все это чисто и прекрасно в январское утро.

Солнечный луч упал на угол храма; он сел на ступени храма с бесконечной покорностью ожидания. Он вернулся к жизни, но не к той, которую оставил, не к жизни маленьких людей и быстротечного времени. Воскреснув, он вступил в иную жизнь, в более великую пору человеческого сознания. И он существовал и существовал отдельно от быстротечного времени и не соприкасался с повседневными людьми. Но он еще бесповоротно не принял *poli me tangere**, отделяющего воскресшего от черни. Его отдельность от всех была абсолютной, однако здесь, в этом храме он испытывал умиротворение, твердое, ясное языческое умиротворение, под которым кроется враждебность рабов.

* Не прикасайся ко мне (*лат.*).

Через темный внутренний проход женщина прошла из алтаря в храм и там в нерешительности остановилась. Ей была видна темная фигура мужчины, сидевшего с той ужасной неподвижностью, что казалась ей зловещей, в этом терпении заключалась почти что угроза.

Она прошествовала через передний зал храма, и мужчина, почувствовав ее, встал. Она обратилась к нему по-гречески, но он сказал:

– Госпожа, мои познания в греческом ограничены. Разреши мне говорить на простонародном сирийском.

– Откуда ты идешь? Куда направляешься? – спросила она с озабоченной поспешностью жрицы.

– С востока, из-за Дамаска, иду же на запад, как ведет дорога, – медленно ответил он.

Внезапно она взглянула на него с тревогой и робостью.

– Но отчего у тебя знаки преступника? – неожиданно спросила она.

– Жрица Изида подсматривала за мной, когда я спал? – спросил он, серый от измождения.

– Раб предупредил меня – твои руки и ноги... – сказала она.

Он посмотрел на нее. Потом сказал:

– Позволит мне жрица Изида проститься с нею и пойти вверх по дороге?

Внезапно легкое дуновение ветра подхватило его шляпу и плащ. Он поднял руку, чтобы удержать ее за поля, и она вновь увидела тонкую, смуглую руку со шрамом.

– Видишь! Шрам! – сказала она, указывая на шрам.

– Воистину! – сказал он. – Но прощай, мое почтение Изиде и благодарствую за ночлег.

Он уходил. Но она подняла на него свои голубые глаза.

– И ты не взглянешь на Изиду? – сказала она, охваченная внезапным порывом.

И что-то в нем дрогнуло.

– Куда же тогда? – спросил он.

– Иди!

Он прошел за ней к внутреннему алтарю, почти в полной темноте. Когда его глаза привыкли к слабому свету светильника, он увидел богиню – в своей одержимости и своих развевающихся одеяниях она стремилась свой путь, подобно кораблю, и он поклонился богине.

– Великая Изида! – сказал он. – В своих поисках она сильнее смерти. Дивная вещь – такая поступь у женщины, дивная цель. Все мужчины славят тебя, Изида, ты больше для них, чем родная мать.

Жрица Изиды слышала это и подбросила благовоний в курильницу. Потом посмотрела на мужчину.

– Тебе хорошо здесь? – спросила она у него. – Привела тебя Изида к себе домой?

С удивлением и тревогой посмотрел он на жрицу.

– Я не знаю, – сказал он.

Но женщина думала, что это и есть утраченный Озирис. Она чувствовала это всей глубиной своей души. И сильное волнение овладело ею.

Он не хотел оставаться в закрытом, темном, благоухающем алтаре. Он снова вышел на свежий воздух – навстречу утру, навстречу холодному воздуху. Он ощущал приближение чего-то, что коснется его, а вся его плоть была все еще соткана из боли и безумной заповеди: *Noli me tangere!* Не прикасайся! О, не прикасайся ко мне!

Женщина с робкой настоятельностью проследовала за ним на свежий воздух. Он уходил.

– О, незнакомец, не уходи! О, останься не надолго с Изидой!

Он посмотрел на нее, на ее лицо, открытое, словно цветок, словно солнце взошло у нее в душе. И вновь отозвалось его лоно.

– Ты хочешь задержать меня, служительница Изиды? – спросил он.

– Останься! Я уверена, что ты Озирис! – сказала она. Внезапно он рассмеялся.

– Пока нет! – сказал он. Потом взглянул в ее исполненное смутных желаний лицо. – Но если Изиде угодно, я проведу еще одну ночь в козьей пещере.

Она сложила руки вместе с ребяческой радостью жрицы.

– Да, Изиде будет рада! – сказала она.

Так что он отправился на берег в великой тревоге, говоря себе: «Отдаться этому прикосновению? Отдаться этому прикосновению? Люди мучили меня и предали смерти своим прикосновением. Но эта нежная дева Изиды... это нежное пламя исцеления. Я врачеватель, но у меня нет исцеления, подобного пламени этой нежной девушки. Пламени этой нежной девушки! Подобного первому, бледному крокусу весны. Как мог я быть так слеп, что не видел исцеления и блаженства, заключенного в теле нежной женщины, подобном крокусу! Ах, эта нежность! Она ужаснее и прекраснее смерти, которой я умер...»

Он набрал на камнях небольших рачков и моллюсков и с удовольствием поел, удивляясь простому вкусу моря. И внутри у него трепетало, и он думал: «Осмелюсь ли я войти в соприкосновение? Ибо оно дальше смерти. Я осмелился отдаться им в руки и позволил им предать меня смерти. Но смею ли я войти в нежное соприкосновение с жизнью? О, насколько это труднее...»

Но женщина снова вошла в алтарь и села, на долгие часы погрузившись в чистое размышление, созерцая вихревую поступь введомой страстным желанием богини и пуп на ее подобном бутону животе, подобный печати на девственной жажде поисков. И она покорила этому излиянию женственности и настоящей жажде Изиды Взыскующей.

С приближением заката она отправилась на полуостров искать его. И обнаружила, что он шел в сторону солнца, как шла она накануне, – он сидел под сосной, на иглах, там, где стояла она, когда впервые увидела его. Сейчас она приближалась медленно, с трепетом, опасаясь, что он не желает ее. Она стояла недалеко от него, когда

он вдруг поднял на нее взгляд из-под своей широкополой шляпы и увидел свет закатного солнца на ее стянутых сеточкой волосах. Он был поражен, хотя и ожидал ее.

– Это твой дом? – спросил он, указывая на низкую белую виллу на склоне среди оливок.

– Это дом моей матери. Она вдова, а я у нее единственный ребенок.

– И это все ее рабы?

– Кроме тех, что мои.

На миг их глаза встретились.

– Не присядешь ли тут посмотреть, как садится солнце? – спросил он.

Он не встал, разговаривая с ней. Слишком много боли он вынес. Так что она села на сухие, бурые сосновые иглы, подобрав вокруг колен шафранную накидку. Из бескрайнего полыхания в тень бухты приближалась лодка, рабы поднимали маленькие сети и от поверхности воды разлеталась их болтовня.

– И это твой дом, – сказал он.

– Но я служу Изиде Взыскующей, – ответила она.

Он посмотрел на нее. Она напоминала мягкое задумчивое облако, как бы в некотором отдалении. Его душа сразила его страстью и состраданием.

– Да исполнится твое желание, дева, – сказал он с неожиданной искренностью.

– А разве ты не Озирис? – спросила она.

Он вдруг покраснел.

– Да, если ты исцелишь меня! – сказал он. – Ибо остранение смерти все еще лежит на мне, и я не могу избежать его.

Мгновение она со страхом смотрела на него нежным, синим солнцем своих глаз. Затем наклонила голову, и они молча сидели в сиянии и тепле клонившегося к западу солнца, умерший и женщина, посвятившая себя чистым поискам.

По-зимнему великолепное солнце роскошно опускалось в море, описывая дугу. Его свет падал на сверка-

ющие обнаженные тела рабов с широкими, красновато-кирпичными ягодицами и маленькими черными головами, которые бегали, растягивая на каменистом берегу сети. За ними наблюдал снисходительный ко всему Пан. Снисходительный Пан и должен бы навсегда остаться их богом.

Когда краешек солнца окунулся в море, женщина встала, говоря:

– Если ты останешься, я пришлю еды и питья.

– Что скажет госпожа, твоя мать?

Жрица Изиды странно, с легкой опаской посмотрела на него.

– Это принадлежит мне, – сказала она.

– Хорошо, – сказал он с легкой улыбкой, предвидя осложнения.

Он смотрел, как она удаляется своей странной, отрешенной походкой человека, посвятившего себя служению. Ее пепельно-русая голова слегка наклонилась, вокруг щиколоток цвета слоновой кости развевалось белое полотно. Видел он и обнаженных рабов, которые стояли и с некоторым удивлением и даже с некоторой злобностью смотрели на нее. Но она в своей сосредоточенности прошла в дверь в ограде над бухтой.

Умерший продолжал сидеть под деревом, глядя на залив, потому что на берегу происходило множество всевозможных вещей. У маленького ручья, огибавшего угол ограды этих владений, рабыни все еще стирали белье, и время от времени, когда они били его о гладкие камни в маленькой темной заводи пруда, оттуда доносилось глухое тук-тук-тук! В воздухе стоял запах отжатых оливок, и порой все еще раздавалось слабое громыхание жернова, отжимавшего в саду оливки, и крик раба, предназначенный ослу на мельнице. Затем в дверь прошла женщина, седая женщина в накидке из белесоватой шерсти, за ней следовал мужчина с непокрытой головой, в тоге, римлянин, вероятно, ее управляющий или надсмотрщик. Они стали на высокий камень и быстро окинули все взглядом. Широкозадые

рабы с красновато-кирпичной кожей сосредоточенно и приниженно склонились над сетями, выбирая из них рыбу, женщины, стиравшие белье, энергично накинулись на стирку, старый раб сосредоточенно склонился у кромки воды, где он мыл выловленную рыбу и моллюсков. И женщина, и надсмотрщик увидели все это одним взглядом. Увидели они также на скалах полуострова сидевшего под деревом в одиночестве и молчаливи чужестранца. И умерший увидел, что они говорили о нем. Из малого, священного мира этого полуострова он смотрел на обыденный мир и по-прежнему видел его враждебность.

Солнце коснулось моря, с другой стороны залива через крошечную бухту протянулась горбатая тень. Тяжело ступая по гальке, теперь, в тени, синей и холодной, пожилая женщина, тоже в тени, заковыляла, направляясь взглянуть на рыбу, разложенную в плоской корзине старика, скорчившегося у кромки воды – обнаженного старого раба с полными бедрами и плечами, на мягком, светлом с огненным отливом теле которого играл – а потом погас – последний луч. Старый раб продолжал сосредоточенно, не поднимая головы, чистить рыбу, словно хозяйка была упавшей на него тенью сумерек.

Затем из ворот вышли две женщины-рабыни с плоскими корзинами на голове, и из одной корзины торчали вверх с легким наклоном терракотовый винный кувшин и кувшин для масла. Девушки шли вдоль ограды по крупной гальке, а за ними в сумерках ступала жрица Изида в шафранной накидке. Над морем все еще светило солнце. Здесь же разлилась тень. Стоя у кромки воды седая мать наблюдала за дочерью, всю в белом и желтом, с пепельно-русой головой, которая незряче и ничего не замечая, шествовала за рабынями по направлению к скалистому перешейку полуострова; дочь шла, погруженная в иной мир. И, не двигаясь с места, престарелая мать наблюдала, как процессия из этих трех гуськом преодолела меж деревьями подъем на мыс и исчезла, скрытая завесой деревьев. Ни один из рабов не поднял

головы, чтобы взглянуть. Седовласая женщина все смотрела на деревья, за которыми скрылась ее дочь. Затем она взглянула на дерево, под которым по-прежнему сидел невидимый теперь умерший, так как солнце больше не освещало его, и лишь вдалеке ярко светилась узкая полоска моря. Наступил вечер. Терпение! Да свершится судьба!

Тяжело, с топотом ступая по гальке, мать побрела вверх, но не как дочь, не отрешенно, широким, свободным, порхающим шагом, а мелкими, решительными шажками. Затем вниз по скалам напротив нее спустились два обнаженных раба, поспешавших с громадными темно-зелеными тюками на плечах, так что их широкие голые ноги мелькали внизу, будто ножки насекомых. Их голов не было видно. Они быстрым шагом шли по гальке, ничего не замечая, занятые тем, куда они направлялись, когда к ним обратился мужчина, похожий на римлянина, надсмотрщик, и они встали, как вкопанные. Они стояли невидимые под своей ношей, точно теперь, когда их остановили, могли вообще исчезнуть. Потом показалась рука, указывавшая на полуостров. Потом двое нагруженных зеленью рабов торопливым шагом двинулись дальше, к храму. Седовласая женщина подошла к мужчине, и они вдвоем снова медленно проследовали с берега по гальке до двери усадьбы с виллой и прошли в нее. Тогда поднялся потускневший в сумерках старик с полными плечами со своим лотком морской рыбы, поднялись у пруда смуглые оживленные женщины, кучей свалив мокрое белье в плоские корзины, и рабы, выбиравшие рыбу из белесоватых сетей, собрали и сложили их вместе. И старый раб с корзиной с рыбой на плече, и рабыни с корзинами, куда было свалено мокрое белье, на голове, и двое рабов со сложенными сетями, и раб с веслами на плече, и парень со сложенным парусом в руке, все обнаженные, столпились под дверью, и умерший слышал тихий глухой гул их болтовни.

Это была жизнь малого дня, жизнь маленьких людей. И умерший говорил себе:

– Если мы не направим ее в большой день и не введем малую жизнь в круг большой жизни, все это – бедствие.

В тень погрузились даже вершины гор. Только небо все еще сияло в вышине. Умерший поднялся несколько одеревяненным движением и повернул в рощу.

В храме не было никого. Он прошел к своему ложу в скале. Там рабы вынесли старую вересковую подстилку, вымели каменный пол и принялись весьма искусно раскладывать мирт, затем грубый вереск, затем сверху мягкие, пушистые веточки вереска. Поверх всего они разостлали хорошо выделанную шкуру белого быка. Служанки положили в передней части пещеры свернутые шерстяные покрывала, где были аккуратно расставлены кувшин с вином, кувшин с маслом, терракотовая кружка и корзина с хлебом, солью, сыром, сушеными смоквами и яйцами. Была там и маленькая на углях жаровня.

Жрица Изиды стояла в углублении рядом с крошечным родником.

За один раз мог пройти лишь один раб. Две девушки-рабыни дожидались у входа в узкое помещение. Когда появился умерший, женщина отослала рабынь. Рабы-мужчины все еще устраивали постель, как можно дольше растягивая свою работу. Но жрица Изиды отправила и их. И умерший вошел, чтобы взглянуть на свое жилище.

– Хорошо? – спросила его женщина.

– Очень хорошо, – ответил мужчина. – Но здешняя госпожа, твоя мать, и тот, кто несомненно служит управляющим, наблюдали, как носили вещи. Не станут ли они противиться тебе?

– У меня здесь собственная доля! Разве я не могу дать из того, что принадлежит мне? Кто может противиться мне и богам? – сказала она с налетом раздражения, с какой-то вроде бы мягкой яростью. Так что он знал, что мать будет противиться ей и что дух малой жизни вступит в борьбу против духа большой жизни. И подумал:

«Отчего жрица Изиды отвергла свою долю в малой жизни? Она должна была истово блюсти своих богов».

– Не хочешь ли поесть? – спросила она. – В золе – теплые яйца. А я пойду ужинать в вилле. Но во втором часу ночи я спущусь в храм. О, придешь ли и ты тогда к Изиде?

Она смотрела на него, и от странного свечения расширились ее глаза. Это была ее мечта, и она была больше ее самой. Теперь для него было бы невыносимо возражать ей или хоть самую малость обидеть ее. Она стояла в полноте осиянности своей женской тайной.

– Ждать ли мне в храме? – спросил он.

– О, жди во втором часу ночи, и я приду.

Он слышал в ее голосе настоятельную мольбу, и все в нем затрепетало.

– Ну а госпожа... твоя мать? – мягко сказал он.

Женщина испуганно посмотрела на него.

– Она не остановит меня! – сказала она.

Так что он знал, что мать будет останавливать дочь, потому что дочь оставила добро в руках матери, которая будет крепко держать свою власть.

Но она ушла, а умерший прилег на свое ложе и съел яйца, лежавшие в золе, и обмакнул хлеб в масло и съел его, и так как плоть его изнывала от жажды, он смешал вино с водой и выпил. И лежал спокойно, и лампа обернулась маленьким, светящимся бутонном.

Он был захвачен новыми ощущениями, которые путались у него. Жрица Изиды казалась ему прекрасной и не столько своим обликом, сколько дивным женственным свечением. Несметное число солнц омывало ее таинственным пламенем, таинственным пламенем сильной женщины, и прикосновение к ней было подобно прикосновению к солнцу. Лучше всего было нежное желание, которое она испытывала к нему, подобное солнечному свету, такое же мягкое и спокойное. «Она для меня, словно солнечный свет, – говорил он себе, распрямляя свои руки и ноги. – Никогда еще не распрямлял

я своих членов в таком свете, как ее желание. Его даровал мне величайший из богов».

В то же время его преследовал страх перед объективной реальностью мира. «Они убьют нас, если смогут, – говорил он себе. – Но закон солнца защитит нас». И вновь говорил себе: «Нагим и клейменым воскрес я. Но если я достаточно наг для этого соприкосновения, значит я не напрасно умер. Прежде я пребывал в шорах».

Он поднялся и вышел. Ночь стояла холодная, звездная, по-зимнему великолепная.

– После нашего удела со всем его ничтожеством, низостью и болью, – сказал он, обращаясь к ночи, – есть великолепные судьбы.

Так что он молча отправился к храму и ждал в темноте у внутренней стены, глядя в открытое пространство, в серый мрак, на звезды и очертания деревьев.

И он снова сказал себе:

– Есть великолепные судьбы, и есть высшая сила.

И, наконец он увидел свет ее раскачивавшегося шелкового светильника, то приближавшегося, то исчезающего, однако, быстро приближавшегося. Она шла одна и была уже недалеко; задевая за светильник, подол ее накидки мягко шуршал. И он задрожал от страха и радости, говоря себе: «Я боюсь этого прикосновения чуть ли не больше, чем смерти. Ибо я наг и незащищен перед ним».

– Я здесь, жрица Изида, – тихо позвал он из темноты.

– Ах! – воскликнула она тоже в страхе, однако охваченная восторгом. Ибо она отдалась своей мечте.

Она отперла дверь в алтарь, и он последовал за ней. Затем вновь заперла ее на щеколду. Воздух внутри был теплый, тяжелый, напоенный благоуханием. Умерший стоял у запертой двери и смотрел на женщину. Сначала она подошла к богине. Тускло освещенная статуя богини стояла устремленная вперед, немного пугающая, подобно великому зову присутствия женщины.

Жрица не смотрела на него. Она сняла шафранную накидку и положила ее на низкую скамью. В тусклом освещении она стояла с голыми руками в подпоясанной белой тунике. Но она по-прежнему пряталась от него. Он стоял глубоко в тени, наблюдая, как она медленно раздувает курильницу и бросает туда благовония. Легкие облачка нежных ароматов поднялись в воздух. Она повернулась к статуе, приступив к обряду приближения, и с легким наклоном, слегка раскачиваясь вперед и чуть наклонившись вбок, устремила к ней, на цыпочках приближаясь к богине.

Он смотрел на странную, охваченную восторгом женщину и говорил себе: «Я должен оставить ее одну с ее восторгом, ее женскими тайнами».

Так она ступала перед богиней в своем странном ритме, приподнявшись на цыпочки и раскачиваясь вперед. Затем она заговорила шепотом по-гречески, и он не мог ничего разобрать. И по мере того, как она говорила, ее раскачивание стихало, как перестает колыхаться лодка, когда успокаивается море. И наблюдая за ней, он видел ее душу, пребывающую в своем одиночестве, и женскую ее непохожесть и говорил себе: «Как она непохожа на меня, как удивительно непохожа! Она боится меня и моего мужского несходства. Она обнажается, освобождаясь от своего страха. Как тонко она чувствует, какая она мягкая, как живет той жизнью, что так несхожа с моей! Как прекрасна своей странной, нежной храбростью жизни, столь несхожей с моей храбростью смерти! Как она прекрасна, прекрасна, словно сердце розы, словно сердцевина пламени. Она приуготовляет себя к полному постижению. О! Как ужасно не оправдать ее ожиданий или посягнуть на нее!»

Она обернулась к нему, ее лицо лучилось светом, исходившим от богини.

– Ты – Озирис, правда? – произнесла она просто-душно.

– Если тебе угодно, – сказал он.

– Ты позволишь Изиде открыть тебя? Не снимешь ли ты свое облачение?

Он посмотрел на женщину, и у него перехватило дыхание. И раны его, особенно смертельная рана в живот, вновь возопили.

– Это было так больно! – сказал он. – Ты должна простить меня, если я все еще буду отстраняться.

Но он снял плащ и рубашку и обнаженным пошел к изваянию, и его грудь тяжело вздымалась от ужаса, вызванного невыносимой болью, и от воспоминания о невыносимой боли, и от слишком горькой скорби.

– Они предали меня смерти! – сказал он, оправдываясь, на миг обратив к ней свое лицо.

И когда он стоял там перед ней, истощенный и оцепенелый, она увидела в нем призрак смерти, и ее вдруг охватил ужас, и она почувствовала себя ограбленной. Она почувствовала серую, седую тень крыла торжествующей смерти.

– О, Богиня, – произнес он на родном языке. – Я был бы рад жизни, если бы ты вернула мне мой ключ.

Ибо теперь, лицом к лицу с требованиями жизни, он вновь впал в отчаяние и по-прежнему ощутил на себе бремя смерти.

– Позволь мне умастить тебя! – тихо сказала ему женщина. – Позволь мне умастить твои шрамы! Покажи их мне и позволь мне умастить их!

В этой вновь ожившей старой боли он забыл о своей нагоде. Он сел на край скамьи, и она налила на его ладонь немного бальзама. И когда она растирала его руку, все вернулось, – и гвозди, и пробоины, и жестокость, несправедливая жестокость по отношению к нему, который нес им только добро. Мучительная боль от этой несправедливости и этой жестокости вновь охватила его, как в его смертный час. Но она продолжала растирать руку, приговаривая шепотом:

– Что было растерзано, станет новой плотью, что было раной, исполнено новой жизнью, этот шрам – серединка цветка фиалки.

И он не мог не улыбнуться этому, этой простодушной погруженности в священнодействие. Это была ее мечта, а он был всего-навсего лишь объектом ее мечты. Она никогда не узнает и не поймет, кто он. Особенно же никогда не узнает той смерти, которую он пережил до того. Но какое это имеет значение? Она другая. Она женщина – ее жизнь и ее смерть другие, чем у него. Только она была добра к нему.

Когда она натирала его ноги маслом, окрапляя нежным, нежным целительством, он не смог удержаться и сказал ей:

– Когда-то одна женщина омыла мои ноги слезами, и отерла своими волосами, и полила их драгоценным маслом.

Жрица Изида оторвалась вновь от своего серьезно-го дела и взглянула вверх, на него.

– Они были тогда изувечены? – спросила она. – Твои ноги?

– Нет, нет! Это было, когда они еще были целы.

– И ты любил ее?

– Любовь в ней прошла. Она хотела только служить, – ответил он. – До того она была проституткой.

– И ты позволил ей служить тебе? – спросила она.

– Да!

– Ты позволил ей служить тебе трупом ее любви?

Его вдруг осенило:

– Я всех их просил служить мне трупом их любви. И в конце концов, я предложил им лишь труп моей любви. Сие есть тело мое – примите и ядите – мой труп...

Жгучий стыд пробежал по его телу. «В конце концов, – думал он, – я хотел, чтобы они любили мертвым телом. Если бы я поцеловал Иуду живой любовью, он, быть может, никогда не поцеловал бы меня поцелуем смерти. Быть может, он любил меня во плоти, я же хотел, чтобы он любил меня бестелесно, трупом любви...»

Ему открылась сущность мягкой, теплой любви, заключенной в прикосновении и исполненной наслаждения.

«И я говорил им, блаженны скорбящие, – говорил он себе. – Увы, если бы я скорбел, оплакивая даже эту вот женщину, я, пребывающий ныне в смерти, должен был бы остаться мертвым, а я так хочу жить. Жизнь привела меня к этой женщине с теплыми руками. И ее прикосновение для меня больше, чем все мои слова. Ибо я хочу жить...»

– Тогда подойди к богине, – тихо сказала она, легонько подтолкнув его к Изиде.

И когда он стоял там, ошеломленный и нагой, как не родившийся младенец, он услышал, что женщина зашептала, обращаясь к богине, и шептала, шептала с жалобной мольбой. Теперь она наклонилась, осматривая шрам в мягкой ткани на его боку, глубокий шрам, подобный глазу, источенному бесконечными слезами, как раз в мягкой впадине над бедром. Здесь истекла его кровь и его сокровенное семя. Женщина была охвачена легкой дрожью и шептала по-гречески. И во вновь повторившемся ужасе умирания и мучительного смятения оттого, что он пытался управлять жизнью, он почувствовал, как громко вопиют его раны и вновь стенают части в глубине его тела:

– Я был убит, но я отдал себя на убийство. Они убили меня, но я отдал себя на убийство...

Женщина, теперь смолкшая, но дрожавшая, налила масла себе в руку и приложила ладонь к ране в правом боку. Он содрогнулся, и рана опять поглотила его жизнь, как тысячи раз прежде. И в темной, безумной боли и агонии, охватившей его сознание, отдавался лишь один крик:

– О, как может она исторгнуть из меня эту смерть? Как может она освободить меня от этой смерти! Она никогда не узнает! Никогда не сможет понять! Никогда не сравняется с ней!..

Молча, она тихонько, размеренно умащивала шрам бальзамом. Поглощенная теперь своим священнодействием, тихонько, тихонько набирая силу в то время, как утроба мужчины громко стenalа от страха. Но по мере того, как она набирала силу и, обходя его кругом, пере-

ходила к следующему шраму, понемногу тепло начало вытеснять холодный ужас, и он почувствовал: «Я снова согреюсь, я предстану в целости своей! Я предстану теплым, как утро. Я предстану мужем. Это не требует понимания. Это требует обновления. Она несет мне обновление...»

И он вслушивался в слабый, непрекращающийся, горестный плач своих ран, звучавший так, словно он неизменно раздавался за пределами его сознания. Но плач этот звучал слабее, все слабее.

Он думал о женщине, что трудилась над ним: «Она не знает! Она не сознает во мне смерти. Но у нее иное сознание. Она приходит ко мне с противоположной стороны ночи».

Умастив бальзамом всю нижнюю часть его тела, проделав это со всем надлежащим жрице старанием, так что голос его ран слышался все слабее и слабее, она вдруг припала грудью к ране в его левом боку, обвила его руками, изогнувшись наподобие изгибов реки, прильнув к ране в правом боку, и прижала его к себе силою живого тепла. И стенания замерли, смолкли совсем, и наступил покой, и тьма разлилась в его душе, нерушимый, темный покой, целость.

Затем медленно, медленно, в крошечной тьме своего внутреннего «я» он уловил предвестие чего-то поднимающегося. Рассвет, новое солнце. В нем, в крошечной тьме его внутреннего «я» вставало новое солнце. Он ждал этого с робкой надеждой...

– Сейчас я уже не я. Я что-то новое...

И когда оно поднялось, он почувствовал, как живой пояс, которым обвила его женщина, соскользнул с него, и похолодел от огорчения, и тепло и сияние ушли от него, оставив его опустошенным. Она, обессиленная, жались у ног богини, спрятав свое лицо. Наклонившись, он с нежностью положил руку на ее теплое, блестящее плечо, и волна желания пронзила его, волна за волной, так что он подумал, не было ли это еще одним видом смерти – но исполненной великолепия.

Теперь все его сознание заключалось в этой скорчившейся, прячущейся женщине. Он склонился рядом с ней и нежно, слепо ласкал ее, шепча что-то невнятное. И его смерть, и его страсть жертвенности – все это было для него ничто, он знал лишь эту сжавшуюся в клубок наполненность сидевшей там женщины, нежной скалы жизни...

– И на сем камне я создал свою жизнь...

Проницаемый камень со множеством слоев, живая женщина. Женщина, прячущая свое лицо. Он, склоненный над нею, сильный и обновленный, словно рассвет.

Он присел рядом с ней и почувствовал, как пламя его мужественности и силы поднимается в его чреслах; великолепное пламя.

– Я воскрес!

Великолепное, неукротимо пылающее во глубине его чресел встало его собственное солнце, посылая свой жар во все концы его тела, так что лицо его непроизвольно светилось.

Он развязал завязки льняной туники и, когда спустил ее, увидел белое сияние ее золотисто-белых грудей. И он прикоснулся к ним и почувствовал, как плавится жизнь.

– Отче! – сказал он – Отчего ты сокрыл это от меня?

И он прикоснулся к женщине с пронзительным ощущением чуда и дивным, всепроникающим превосходством желания.

– Подумать только! – сказал он, – это по ту сторону молитвы.

Это было глубокое, многослойное тепло, тепло живое и проницаемое, женщина, сердце розы!

– Дом мой есть пышная, теплая роза, радость моя есть этот цветок!

И она вдруг посмотрела, подняв к нему глаза, и лицо ее, нежное, исполненное желания, было словно поднятый светильник, и глаза ее – словно россыпь влажных цветов. И он прижал ее к своей груди с нежной страстью, и всепоглощающим желанием, и последней мыслью:

«Пробил мой час, застигло меня врасплох...»

И он познал ее и был с нею одна плоть.

Потом, со смутным удивлением она кончиками пальцев прикоснулась к громадным шрамам у него в боку и сказала:

– Но они больше не болят?

– Они – это солнца! – ответил он. – Они светятся от твоего прикосновения. Они – мое искушение через тебя.

В предрасветной прохладе покидали они храм. Закрывая дверь, он вновь посмотрел на богиню и произнес:

– Подумать только, Изида – добрая богиня и исполнена нежности. Великие боги великодушны, а их богини нежны.

Женщина закуталась в накидку и молча пошла домой, в задумчивости, ничего не различая, подобная лотосу, тихонько закрывшемуся снова, исполненному в золотой своей середине новой жизни. Она не видела ничего, поскольку ее собственные лепестки служили ей покровом. И только думала:

«Я полна Озирисом. Я полна воскресшим Озирисом...»

Но мужчина смотрел на яркие предрасветные звезды, дождем падавшие в море, и на зеленую звезду Сириус у самого края моря. И думал: «Как все это пластично, как полно изгибов и складок, подобно невидимой раскрывшейся розе с темными лепестками, что показывает, где ложится роса на ее темноту! Какая полнота, какое величие, что превыше всех богов. Как все клонится ко мне и вокруг меня, и я – частица ее, великой розы Пространства! Я подобен зерну благовоний, а женщина – зерно красоты. Мир теперь – единый цветок с несметным множеством лепестков темноты, и я словно погружен аромат, как бы соприкасаясь».

И в абсолютном покое и полноте прикосновения он уснул в своей пещере, когда наступил рассвет. С рассветом поднялся ветер и принес непогоду с холодным дождем. Так что он остался в пещере в умиротворении

и усладе своего единения, наслаждаясь тем, что слышит море и дождь на земле и видит клонящийся от влаги и все же влажный золотисто-белый нарцисс. И он говорил:

– Это соприкосновение – великое искупление. Серое море и дождь, влажный нарцисс и женщина, которой я жду, невидимая Изида и невидимое солнце – все сопричастны и все едины.

Он ждал женщину у храма, и она пришла под дождем. Но она сказала ему:

– Позволь мне посидеть немного с Изидой. Приходи ко мне – ты ведь придешь ко мне – во втором часу ночи?

Так что он вернулся назад, в пещеру и лежал в умиротворении и усладе сопричастности, ожидая женщину, которая придет вместе с ночью, и единение свершится вновь. Потом пришла ночь, и пришла женщина и пришла с радостью, потому что и в ней велико было желание единения, единения с ним, более тесного.

Так наступали дни, и наступали ночи, и вновь наступали дни, и единение свершалось и стало полным и совершенным. И он говорил:

– Я не буду спрашивать ее ни о чем, даже об имени ее, ибо имя разделит ее от меня.

И она говорила себе:

«Он – Озирис. Я не хочу знать ничего более».

С деревьев сливы осыпался цвет, время нарциссов миновало, украсили землю и отошли анемоны, воздух был напоен ароматом полей бобовых. Все переменялось, цветение вселенной сменило свои лепестки, совершило оборот и глядело в другую сторону. Весна завершилась, единение было исполнено, мужчина и женщина преусуществились друг в друге, в воздухе повеяло уходом.

Как-то раз он встретился с ней под деревьями, когда жарко пекло утреннее солнце, и сладко пахло соснами, и на холмах с груш осыпался последний цвет. Она медленно подошла к нему, и по ее легкой медлительности, по ее нежной отстраненности от него он уловил в ней перемену.

– Ты имеешь во чреве?

– Почему?

– Ты подобна дереву, чьи зеленые листья, полнящиеся соком, идут во след цветку. И в тебе чувствуется отдаление.

– Это так, – сказала она. – Я зачала от тебя. Это хорошо?

– Да! – сказал он. – Как это может быть нехорошо? Так что соловей больше не призывает из долины. Но где же тебе родить дитя, потому что я наг и не имею ничего, кроме жизни?

– Мы останемся здесь, – сказала она.

– Но как же госпожа, твоя мать?

Тень пробежала по ее лицу. Она не ответила.

– А когда она узнает, что тогда?

– Она догадывается.

– И она может обидеть тебя?

– О, нет, не меня! Все, что у меня есть, принадлежит мне. И с Озирисом я сделаюсь больше. Но ты... тебе надо остеречься ее рабов.

Она посмотрела на него, и спокойствие материнства было нарушено в ней тревогой.

– Пусть сердце твое не ведает тревог! – сказал он. – Я однажды уже умер смертью.

Так что он знал, что ему вновь пришло время уходить. Он пойдет один со своею судьбой. Однако ж не совсем один, потому что печать прикосновения пребудет на нем, так же, как он оставил на ней свою печать. И невидимые солнца пойдут вместе с ним.

Однако он должен уйти. Потому что теперь, когда все плодоносные солнца пошли на убыль, на берегу бухты снова начинала набирать силу маленькая жизнь с ее завистью и имением. Ради имения своего вдова и ее рабы будут искать, как отомстить ему за хлеб, что он ел, и за живое прикосновение, что им содеяно, за женщину, которой он услаждался. Но он говорил:

– Но не дважды! Теперь они не осквернят прикосновение во мне. Мое разумение – против их разумения.

Так что он наблюдал. И знал, что они злоумышляют. И он выбрался из маленькой пещеры и нашел себе другое пристанище, крошечное, сухое укрытие среди утесов на песчаном берегу моря. И он сказал женщине:

– Скоро я должен уйти. Беда надвигается на меня через рабов. Но я мужчина, и мир широк. Но то, что между нами, хорошо, и оно закреплено. Пребудь в покое. А когда из долины вновь воззовет соловей, я вновь явлюсь, верный, как весна.

И она сказала:

– О, не уходи! Останься со мной на полуострове, и я выстрою у храма, под соснами, дом для нас с тобой, где мы сможем жить уединенно.

Однако она знала, что он уйдет. И ей даже хотелось прохлады собственного воздуха вокруг своего тела и освобождения от тревог.

– Если я останусь, – сказал он, – они выдадут меня римлянам, а те предадут моему суду. Но я никогда не допущу этого предательства. Поэтому живи в мире с подрастающим младенцем. И я явлюсь вновь; рядом мы или далеко друг от друга, между нами все хорошо. Солнце возвращается в положенный срок – так и я приду вновь.

– Не уходи еще, – говорила она. – Я поставила раба на перешейке полуострова, чтобы он наблюдал. Не уходи пока, до появления угрозы.

Но, когда он лежал в своем крошечном укрытии спокойной, беззвездной ночью, он слышал легкий стук весел и удар лодки о камень. Так что он выбрался из него, чтобы послушать. И услышал, как римлянин-надсмотрщик сказал:

– Идите тихонько к козьему загону. А когда он заснет, Лисипп набросит на преступника сеть, и мы предадим его в руки правосудия, и жрица Изиды ничего не узнает об этом...

Умерший уловил запах от нагих, умащенных тел рабов и легкий аромат римлянина. Он, крадучись, подобрался поближе к морю. Раб в лодке сидел неподвижно,

положив руки на весла, потому что море было совершенно спокойно. И умерший знал раба.

Так что из глубины рассеченного утеса он ясным голосом произнес:

– Не ты ли тот раб, что овладел девушкой пред глазами Изиды? Не ты ли тот юноша? Говори!

Парень в ужасе вскочил в лодке. От его движения лодка ударила о камень. В диком ужасе раб выскочил из нее и побежал вверх по скалам. Умерший быстро ухватился за лодку, вошел в нее и оттолкнулся. Весла были еще неприятно теплы от рук раба. Но он отходил медленно, чтобы попасть в проходившее вдоль берега течение, которое бесшумно вынесет его. Высокий берег был погружен во тьму на фоне звездной ночи. На полуострове не мерцал ни один огонек – жрица больше не приходила по ночам. Умерший продолжал медленно грести дальше, уже по течению, и смеялся сам с собой:

– Я посеял семя своей жизни и моего воскресения и навеки отметил своей печатью лучшую женщину этого времени, и несу в своем теле ее благоухание, подобное благоуханию розы. Она дорога мне в средоточии моего существа. Но золотой змей, извиваясь, выполз вновь, собираясь спать у корней дерева моего.

Так что пусть лодка несет меня. Завтра придет новый день.

*Рассказы,
стихотворения*





Запах хризантем

I

Паровозик-кукушка с семью груженными вагонами – состав номер четыре – приближался со стороны Селстона, дергаясь и лязгая железом. Он появился из-за поворота, угрожающе свистя, точно летел невесть на какой скорости, но его без труда обогнал жеребенок, в испуге выскочивший из зарослей дрока, которые все еще слабо золотились в ранних сумерках промозглого дня. Женщина, идущая по шпалам по ветке в Андервуд, отступила к живой изгороди и, отведя корзину вбок, стала смотреть на надвигающийся локомотив. Вагоны один за другим тяжело прогрохотали мимо, подпрыгивая на стыках, медленные и неуклонные, заперев сиротливо стоящую фигурку в ловушке между своими черными стенами и живой изгородью, и покатались дальше, к бесшумно облетающей дубовой роще; из кустов шиповника, что рос вдоль насыпи, выпорхнула стайка птиц, которые клевали там ярко-красные ягоды, и растворилась в сумраке, уже прокравшемся в дубраву. На открытых местах дым паровоза стлался по земле, цепляясь за жухлую траву. Поля лежали голые, заброшенные, болотистый луг возле заросшего камышом пруда опустел – куры, которые весь день гуляли в ольшанике, отправились на ночлег в свой сарайчик из просмоленных досок. За прудом темнел конус отвала, и в застывшем предвечернем свете кровавые языки пламени лизали его покрытые золой бока. За отвалом высились сужающиеся кверху кирпичные трубы и черный раскоряка – копер шахты Бринсли. На фоне неба быстро вращалось два вертикальных колеса, судорожно стучали поршни паровой машины. Шахтеры поднимались на поверхность после смены.

Приблизившись к стрелке, за которой начинали ответвляться подъездные пути с рядами товарных платформ, паровозик засвистел.

Шахтеры брели, точно тени, по одному или небольшими группами, расходясь после работы домой. У расчерченного шпалами полотна стоял низкий, приземистый домишко, от шлаковой дорожки к нему вело три ступеньки. Стены дома оплела старая виноградная лоза, ее узловатые ветки тянулись к черепичной крыше, будто когти. Мощный дворик был обсажен пожелтевшими примулами. Длинная полоска сада за домом спускалась к заросшей кустами речке. В саду было несколько чахлах яблонь, еще какие-то деревья с побитыми холодом листьями, грядка лохматой капусты. По сторонам дорожки цвели растрепанные розовые хризантемы, словно брошенные на кусты розовые лоскутки. Из курятника под кровельным картоном, который стоял за домом, вышла, пригнувшись, женщина. Закрyla и заперла замок дверь, отряхнула белый передник и выпрямилась.

Женщина была высокая, красивая, с гордо посаженной головой и черными, тонко очерченными бровями. Гладкие черные волосы разделены ровным пробором. Несколько минут она внимательно всматривалась в идущих вдоль путей шахтеров, потом повернула голову в сторону речки. Лицо у нее было спокойное, застывшее, рот горько сжат. Женщина крикнула:

– Джон!

Никто не отозвался. Она подождала немного, потом спросила громко:

– Где ты?

– Здесь, – ответил из кустов угрюмый детский голос. Женщина нахмурилась, вглядываясь в сумерки.

– Где «здесь»? У воды? – строго спросила она.

Мальчик не ответил, но вылез из малинника, ветки которого торчали вверх, точно пучки розог. Он был лет пяти, маленький, крепенький. Вылез и, набычившись, встал перед матерью.

– А, ты был в малиннике! – с облегчением произнесла она. – Я думала, ты ушел к воде. Туда нельзя, ты ведь помнишь?

Мальчик молчал и не двигался с места.

– Ну хорошо, пойдем домой, – сказала мать чуть мягче, – темно уже. Вон дедушка едет.

Мальчик с хмурым видом медленно, нехотя двинулся к матери. На нем были курточка и брюки из толстой, грубой ткани, явно перешитые из старого мужского костюма.

На дорожке он стал обрывать мохнатые лоскутья хризантем и пригоршнями бросать лепестки на землю.

– Что ты делаешь, перестань! – сказала мать.

Мальчик оставил хризантемы, и тогда она, вдруг пожалев его, сломала ветку с тремя–четырьмя бледными цветками и поднесла к лицу. Во дворе женщина хотела было кинуть ветку, но рука ее дрогнула, и она воткнула цветы за пояс. Задержавшись у трех ступенек, мать с сыном стали смотреть на шагающих домой шахтеров. Маленький состав надвигался все ближе. Вот паровоз прополз мимо дома и остановился против калитки.

Из паровозной будки высоко над женщиной высунулся машинист, коренастый, низенький, со шкиперской седой бородкой.

– Дашь мне чаю? – спросил он женщину ласково и оживленно.

Это был ее отец. Она сказала, что сейчас заварит, ушла в дом и тут же вернулась.

– Я не был у вас в воскресенье, – начал седобородый машинист.

– А я и не ждала тебя, – сказала дочь.

Машинист поморщился, потом спросил все так же ласково и беззаботно:

– Так, стало быть, ты слышала? Ну, и что думаешь?..

– Думаю, что очень уж скоро, – ответила она.

Мужчина с досадой дернул головой, услышав ее сдержанный упрек, потом заговорил просительно, но с затаенной жестокостью:

– А что прикажешь мне делать? Сидеть одному в пустом доме, что за жизнь для мужчины в мои годы? И уж раз я снова решил жениться, не все ли равно – раньше я женюсь или позже? Кому какое дело?

Женщина повернулась и ушла в дом, ничего не сказав. Мужчина в будке упрямо нахмурился и стал ждать; вот она появилась, неся чашку чая и хлеб с маслом на тарелке, поднялась по ступенькам и остановилась у подножки шипящего локомотива.

– Бутерброд не обязательно, – сказал отец. – А вот чай... – Он с наслаждением отпил из чашки. – Чай – это отлично. – Он сделал еще несколько глотков, потом сказал: – Слыхал я, Уолтер опять пьет.

– Да разве он когда-нибудь бросал? – с горечью проговорила женщина.

– Он, говорят, похвалялся в «Лорде Нельсоне», что не уйдет, покуда не спустит все до последнего гроша, а было у него целых полфунта.

– Когда это? – спросила женщина.

– В субботу вечером. Я точно знаю, люди не врут.

– Очень на него похоже. – Женщина с горечью засмеялась. – Мне он дает всего двадцать три шиллинга.

– Хорошо, ничего не скажешь: тащит все деньги в кабак и напивается, как свинья, – проговорил седобородый машинист. Женщина отвернулась. Отец допил чай и протянул ей чашку. – Ну вот, – вздохнул он, вытирая рот. – Теперь и на душе легче...

Он положил руку на рычаг. Паровозик напряжился, запыхтел, и состав с лязганьем покатил к переезду. Женщина снова посмотрела на пути. Темнота уже скрадывала рельсы и стоящие на них товарные платформы; мимо по-прежнему брели понурые серые фигуры. Торопливо стучал подъемник, затихал ненадолго и снова принимался стучать. Элизабет Бейтс несколько минут смотрела на однообразный людской поток, потом вошла в дом. Ее муж все не возвращался.

Маленькая кухня была наполнена светом горящего очага; в жерле тлела горка красных углей. Казалось,

вся жизнь комнаты сосредоточена в беленом жарком очаге, в стальной решетке, отражавшей красное пламя. Стол был накрыт, в темноте поблескивали чашки. В дальнем углу, на ступеньке лестницы, ведущей наверх, сидел мальчик и строгал ножом деревяшку. Его почти не было видно в полумраке. Была половина пятого. Ждали только отца, чтобы сесть за стол.

Мать глядела, как ее сын, насупись, строгаёт деревяшку, и думала, что молчаливость и упорство достались ему от нее, а поглощенность собой и безразличие к другим – от отца. Она неотступно думала о муже. Наверное, он прошел мимо дома, проскользнул незаметно мимо собственной двери и теперь пьянствует в трактире, а обед в ожидании его перестоял. Она взглянула на часы, взяла кастрюлю с картофелем и понесла во двор – слить воду. Сад и поля за речкой уже тонули в зыбком мраке. От земли в темноту повалил пар, она выпрямилась с кастрюлей и увидела, что за путями и полем, на дороге, уходящей вдаль по косогору, зажглись желтые фонари. И снова она стала всматриваться в идущих шахтеров, которых становилось все меньше.

Огонь в очаге догорал, темнота на кухне сделалась красной. Женщина поставила кастрюлю на плиту, подвинула пудинг поближе к огню. И застыла без движения. Радостно, легко застучали на дорожке быстрые детские шаги. Кто-то начал возиться с дверной ручкой, и в кухню, снимая на ходу пальто, вошла девочка; стянула шапку с затылка на лицо, таща вместе с нею густые пшенично-золотые кудри.

Мать выбрала девочку за то, что пришла из школы так поздно: уже зима, темнеет рано, придется вообще не выпускать ее из дому.

– Что ты, мама, совсем светло! Ты вон даже лампу не зажгла, и папы еще нет.

– Да, его нет. А уже без четверти пять. Ты его не видишь?

Лицо у девочки стало серьезным. Она грустно посмотрела на мать большими голубыми глазами:

– Нет, мама. А что? Думаешь, он уже поднялся наверх и прошел мимо, в Старый Бринсли? Не может быть, я бы его увидела.

– А он уж постарался, чтобы ты его не увидела, – с горечью возразила мать, – заранее все обдумал. Сидит сейчас в «Принце Уэльском», можешь не сомневаться. Что ему делать в шахте так поздно?

Девочка жалобно глядела на мать.

– Мам, давайте обедать? – попросила она.

Мать велела Джону садиться за стол, а сама еще раз открыла дверь и поглядела сквозь темноту за железнодорожные пути. Вокруг не было ни души, подъемник уже не стучал.

– Может, он задержался с подрывкой, – сказала она сама себе вполголоса.

Сели обедать. Джон на своем конце стола у двери почти растворился в темноте. Они не различали лиц друг друга. Девочка опустила на корточки у решетки, медленно поворачивая над огнем толстый ломоть хлеба. Мальчик, тень со смутным пятном лица, глядел на сестру, преображенную красным свечением.

– Как я люблю глядеть на огонь, – произнесла девочка.

– Любишь? – отозвалась мать. – Почему?

– Он такой красный, в углях столько пещерок... и так тепло, приятно, так хорошо пахнет.

– Надо будет угля подбросить, – сказала мать, – а то отец придет и начнет ворчать, что он, мол, целый день надрывается в шахте, а дома огня порядочного развести не могут. В трактире-то небось всегда тепло.

Несколько минут все молчали. Потом Джон капризно протянул:

– Ну что же ты, Анни?

– А что я? Огню ведь не прикажешь, чтобы горел жарче!

– Нарочно водит им туда-сюда, чтобы дольше не жарился! – проворчал мальчик.

– Не надо думать о людях плохо, сынок, – отозвалась мать.

Но вот в темноте захрустел на зубах поджаристый хлеб. Мать почти не ела. Она только пила чай и упорно о чем-то думала. Когда она поднялась, ее вскинутая голова казалась окаменевшей от гнева. Она посмотрела на пудинг, который стоял на огне, и ее точно прорвало:

– Какое издевательство – даже обедать домой не пришел! Пусть все сгорит, мне безразлично. Я приготовила обед, сижу жду его, а он мимо собственного дома в кабак!..

Она вышла во двор, набрала угля и стала кидать кусок за куском в красный огонь; по стенам поползли тени, в кухне стало еще темнее.

– Ничего не видно, – проворчал ставший неразличимым Джон.

Мать против воли рассмеялась.

– Ничего, мимо рта не пронесешь, – сказала она и вышла поставить совок за дверью.

Когда ее силуэт снова появился на фоне беленой печки, мальчик повторил капризно и упрямо:

– Не видно ничего!

– Вот наказание! – с досадой вскричала мать. – Минуты без света посидеть не можешь, совсем как отец.

И все-таки она взяла с полки бумажный жгут, зажгла его и понесла к керосиновой лампе, висевшей в середине комнаты. Когда она подняла руки, живот ее слегка округлился, и стало видно, что она ждет ребенка.

– Ой, мама! – вдруг вскричала девочка, и мать замерла с колпаком в руке. Она стояла с поднятой рукой, обернувшись к дочери, красиво освещенная светом от медного отражателя.

– Что случилось?

– У тебя за поясом цветов! – проговорила девочка в восторге от необычного зрелища.

– Господи, только и всего! – с облегчением сказала мать. – А я подумала – пожар. – Она накрыла лампу кол-

паком и, помедлив, подкрутила фитиль. На полу зыбко колебалась бледная тень.

– Я хочу понюхать! – все с тем же восторгом попросила девочка, подходя к матери и прижимаясь лицом к ее переднику.

– Отстань, дурочка! – сказала мать и прибавила огонь.

Свет как бы обнажил их тревогу, и женщина почувствовала, что вот-вот не выдержит. Анни все так же стояла, нагнувшись к ее фартуку. Мать с досадой выдернула из-за пояса цветы.

– Ой, мамочка, не надо! – вскричала Анни, ловя ее руку и пытаясь снова засунуть цветы за пояс.

– Что за глупости, – сказала мать, отворачиваясь.

Девочка поднесла к губам бледные хризантемы и прошептала:

– Как хорошо пахнут!

Мать отрывисто засмеялась.

– А я не люблю, – сказала она. – У меня всю жизнь хризантемы – и на свадьбе, и когда ты родилась; даже когда его в первый раз принесли домой пьяным, в петлице у него была рыжая хризантема.

Она посмотрела на детей. Они глядели на нее вопросительно, приоткрыв рот. Несколько минут она сидела молча, покачиваясь в кресле. Потом снова взглянула на часы.

– Без двадцати шесть! Нет, уж теперь-то он не придет, – бросила она небрежно, с язвительной горечью, – теперь его приведут. Будет сидеть в кабаке. Ввалится весь грязный, в угольной пыли, но я его мыть не стану. Пусть спит на полу... Господи, какая же я была дура, какая дура! Знать бы, что буду жить в этой грязной дыре, среди крыс, а он будет, как вор, красться мимо собственного дома. На прошлой неделе два раза пришел пьяный, сегодня опять загулял...

Она оборвала себя, встала и принялась убирать со стола.

Прошел час, может быть, больше; дети притихли, поглощенные игрой, придумывая все время что-то новое, робея матери, страшась возвращения отца. Миссис Бейтс сидела в кресле-качалке и шила безрукавку из толстой кремовой байки; когда она отрывала от ткани кромку, раздавался как бы глухой стон. Она трудилась над шитьем, прислушиваясь к голосам детей, и мало-помалу гнев ее утомился, улегся, он лишь время от времени открывал глаза и зорко наблюдал, настороженно слушал. Порою казалось, что он и вовсе смирился, сжался в комок, – вдали раздавались шаги по шпалам, мать замирала с шитьем, резко поворачивалась к детям сказать «Ш-ш-ш!», но вовремя спохватывалась, и шаги стучали мимо, не вырвав детей из мира игры.

Наконец Анни вздохнула и покорилась усталости. Она больше не могла играть, ей не хотелось даже смотреть на шлепанцы, изображавшие товарные платформы.

– Мама! – со слезами в голосе позвала девочка, не сумев облечь в слова свою жалобу.

Из-под дивана выполз Джон. Мать подняла глаза от шитья.

– Хорош, – сказала она, – погляди на свои рукава.

Мальчик оглядел рукава, но ничего не сказал. Вдали за путями раздался чей-то хриплый крик, и тревога всколыхнулась в комнате, и лишь когда двое шахтеров прошли, переговариваясь, она опала.

– Пора спать, – сказала женщина.

– А папа еще не пришел, – плаксиво протянула Анни.

Но мать держалась стойко.

– А он и не придет, его принесут бесчувственного, как бревно. – Это значило, что скандала нынче вечером не будет. – Пусть спит на полу, пока не проспится. На работу завтра все равно пойти не сможет.

Она протерла детям лица и руки влажным полотенцем. Дети совсем присмирели. Молча надели ночные ру-

башки и стали молиться, мальчик невнятно бормотал. Мать глядела на своих детей, на спутавшиеся завитки пшеничных шелковистых волос на затылке дочери, на черноволосую голову сына, и сердце ее разрывалось от гнева на их отца, который причинял им всем столько горя. Дети уткнулись лицом ей в юбку, ища утешения.

Когда миссис Бейтс спустилась вниз, кухня поразила ее необычной пустотой, стусившимся ожиданием. Она снова взялась за шитье и долго работала иглой, не поднимая головы. И постепенно к ее гневу начал примешиваться страх.

II

Часы пробили восемь. Она резко встала, бросив шитье в кресло, подошла к двери, отворила ее, послушала. Потом вышла на улицу и заперла за собой дверь.

Во дворе кто-то завозился, и она вздрогнула, хотя и знала, что это крысы, которыми кишит поселок. Вечер был очень темный. На подъездных путях, заставленных товарными вагонами, не горело ни огонька, лишь далеко, на шахтном дворе, светились несколько фонарей да над горящим конусом отвала поднималось красное зарево. Миссис Бейтс быстро шагала вдоль шпал, возле стрелки поднялась по приступку к белой калитке и, открыв ее, оказалась на дороге. И здесь страх, который гнал ее, начал отступать. Шли люди, направляясь в Новый Бринсли, в домах горел свет, впереди, в пятидесяти шагах ярко светились большие окна трактира «Принц Уэльский», слышался гул мужских голосов. Почему она вообразила, что с ним случилось несчастье? Вот глупая! Он преспокойно сидит себе в «Принце Уэльском» и пьет. Она замедлила шаг. Она никогда еще не приходила за мужем в трактир и теперь не пойдет. Она двинулась дальше, к длинному кривому ряду домов, чернеющих вдоль дороги, и наконец свернула в проулок между домами.

– Мистер Ригли!

– Вам мистера Ригли? А его нет дома.

Худая, костлявая женщина, выглянувшая из темной посудомойки, пыталась рассмотреть гостью в слабом свете, который пробивался сквозь кухонные занавески.

– Это вы, миссис Бейтс? – с уважением спросила она.

– Да. Я хотела узнать, ваш муж пришел? Моего до сих пор нет.

– Да что вы! Джек еще когда вернулся, пообедал и снова ушел. Пошел посидеть полчаса перед сном. Вы в «Принц Уэльский» заглядывали?

– Нет, я...

– А, не решились... Конечно, женщине это не очень-то пристало, – понимающе сказала миссис Ригли. Наступило неловкое молчание. – Нет, Джек ничего не рассказывал о... вашем муже, – наконец проговорила миссис Ригли.

– Ну, значит, в трактире сидит, где ж еще!

Элизабет Бейтс произнесла эти слова с горечью, с вызовом. Она знала, что соседка миссис Ригли стоит у своей двери и слушает, но ей было все равно. Она повернулась уходить, однако миссис Ригли остановила ее:

– Погодите минутку! Я пойду спрошу Джека, может, он что-нибудь знает.

– Нет, нет, не надо, чтобы вы из-за меня...

– Ерунда, сейчас сбегаю, только вы, уж пожалуйста, побудьте в кухне, следите, чтобы дети вниз не сошли и не наделали пожару.

Элизабет Бейтс вошла в дом, бормоча из вежливости возражения. Хозяйка извинилась за беспорядок.

Извинялась она не напрасно. На диване и на полу были разбросаны детские платяца, брюки, белье, всюду валялись игрушки. На столе, на черной клеенке – куски хлеба и пирога, крошки, объедки, остывший чайник.

– Пустяки, у нас, думаете, лучше? – сказала Элизабет Бейтс, глядя не на разбросанные вещи, а на хозяйку.

Миссис Ригли накинула на голову шаль и торопливо вышла, пообещав:

– Я мигом.

Гостья села и с легким осуждением обвела глазами неприбранную комнату. Потом стала считать раскиданные по полу башмаки самых разных размеров. Их оказалось шесть пар. Она вздохнула и, прошептав: «Мудрено ли!» – перевела взгляд на брошенные игрушки. Во дворе послышались шаги, в кухню вошли мистер и миссис Ригли. Элизабет Бейтс поднялась с табурета. Ригли был высокий, ширококостный, худой, с костистым лицом. На виске синел шрам – след от раны, полученной в шахте, в рану вьелась угольная пыль, и шрам был синий, как татуировка.

– Неужто до сих пор не пришел? – спросил Ригли, не поздоровавшись, однако почтительно и с сочувствием. – Где же он может быть? Там его нет... – Ригли кивнул головой в сторону «Принца Уэльского».

– Наверное, в «Дубках» сидит, – предположила миссис Ригли.

Снова наступило молчание. Ригли явно что-то тревожило.

– Когда я уходил, он заканчивал норму, – начал он. – Минут через десять после свистка мы стали собираться, я ему крикнул: «Ты идешь, Уолт?», а он: «Ступайте, я вас догоню», ну, мы с Бауэрсом и пошли к клетки, думали, он за нами идет и поднимется со следующей партией...

Он был растерян и точно оправдывался, что бросил товарища одного. Элизабет Бейтс, теперь уже опять уверенная, что произошло несчастье, поспешила успокоить его:

– Да нет, он, наверное, в «Дубках», миссис Ригли правду сказала. Ведь не впервой. Сколько раз я волновалась понапрасну. Теперь он сам не придет, его принесут.

– Что же это за напасть такая, – горестно вздохнула миссис Ригли.

– Я сейчас добегу до заведения Дика, проверю, там он или нет, – предложил Ригли, боясь выдать свою тревогу, боясь показаться навязчивым.

– У меня и в мыслях не было причинять вам столько хлопот, – горячо возразила Элизабет Бейтс, но Ригли знал, что она рада его предложению.

Они двинулись в темноте по проулку, а жена Ригли пробежала в конец двора, и Элизабет услышала, как у соседей открылась дверь. Вся кровь, казалось, отхлынула от ее сердца.

– Не оступитесь! – остерег ее Ригли. – Тут колдобины, засыпать бы их надо, я сколько раз говорил... Сломает тут кто-нибудь себе ногу..

Элизабет справилась с собой и быстро зашагала рядом с Ригли.

– Дети спать легли, а я оставила дом без присмотра, – сказала она.

– Известное дело, – учтиво поддержал ее шахтер.

Через несколько минут они подошли к калитке ее дома.

– Я мигом обернусь. А вы не изводите себя попусту, ничего с ним не случилось, – заверил ее друг мужа.

– Как мне вас благодарить, мистер Ригли? – проговорила она.

– Ну что вы, пустяки, – смущенно пробормотал он. И уже на ходу бросил: – Так я мигом.

В доме была тишина. Элизабет Бейтс сняла шляпу и шаль, раскатала свернутый перед уходом каминный коврик. Потом села. Было начало десятого. Вдруг она вздрогнула – торопливо запыхтел движок подъемника на шахте, завизжали тормоза спускавшейся на тросах клетки. И снова кровь застыла у нее в жилах, она прижала руку к сердцу и вслух одернула себя:

– Господи, да что же я! Это всего лишь десятник спускается на вечернюю проверку.

Она сидела не шевелясь и слушала. Полчаса такого ожидания вымотали ее вконец.

– Ну что я так извожусь? – дрожащим голосом проговорила она. – Ведь мне нельзя волноваться.

И она снова взялась за шитье.

Без четверти десять раздались шаги. Шел кто-то один! Она впилась глазами в дверь. Вошла старуха в черной шляпе и черной шерстяной шали – его мать. Ей было лет шестьдесят, лицо бледное, с голубыми глазками, горестно сморщенное. Закрыв дверь, мать жалостно уставилась на невестку.

– Лиззи, Лиззи, что нам делать, что теперь делать?! – запричитала она.

Элизабет слегка отшатнулась.

– Что случилось, мама? – спросила она.

Старуха опустила на диван.

– Ох, дочка, не знаю, сама не знаю! – Она медленно покачала головой. Элизабет глядела на свекровь с волнением и досадой. – Не знаю, – повторила старуха и тяжело вздохнула. – Видать, никогда мои беды не кончатся. Сколько я всего пережила, хватит уже с меня... – Она плакала, не вытирая глаз, слезы бежали по ее щекам.

– Подождите, мама, – прервала ее Элизабет. – Что стряслось? Объясните толком.

Свекровь медленно вытерла глаза. Требовательный напор невестки остановил поток ее слез. Она снова вытерла глаза.

– Бедная ты, ох, бедная! – всхлипнула она. – Как нам теперь жить, что делать?.. Да еще ты в таком положении... ох, горе, горе!

Элизабет ждала.

– Он погиб? – наконец спросила она, и, когда она говорила эти слова, сердце ее бешено толкнулось в груди и в то же время ей стало стыдно грубой обнаженности вопроса. Слова ее испугали старуху, почти отрезвили.

– Что ты, Элизабет, как у тебя язык повернулся! Нет, Господь не допустит такого несчастья, будем уповать на него... Я уж хотела рюмочку пропустить перед сном, как вдруг вбегает Джек Ригли. «Миссис Бейтс, подите к невестке, – говорит. – С Уолтом не совсем ладно, в шахте обвал произошел, побудьте с ней, пока его домой принесут». И исчез. Я даже спросить ничего не успела. Конечно, схватила шляпу – и к тебе. Бегу и думаю: «Бедная моя

доченька, не ровен час, придет кто-нибудь и брякнет напрямик, невеста что приключиться может». Ты, Лиззи, не расстраивайся, а то сама знаешь, чем кончится. Сколько уж времени – пять месяцев, шесть? Ах, Лиззи, Лиззи, как время-то летит! – Старуха покачала головой. – Не утонишься.

Элизабет думала о своем. Если он погиб, смогут ли они прожить на маленькую пенсию и на то, что ей удастся заработать самой? Она быстро прикинула. А если только увечье – в больницу его не положат, как трудно будет за ним ухаживать! – но, может быть, ей удастся отучить его от пьянства и скандалов... Да, она отучит – на то время, пока он не поправится. Она представила себе эту картину, и на глаза навернулись слезы. Что это, неужели разжалобилась? Такой роскоши позволить себе нельзя. И она стала думать о детях. Как бы там ни было, детей она должна поднять. Больше о них позаботиться некому.

– Да, – говорила свекровь, – а ведь, кажется, только вчера он принес мне свою первую получку. Хороший он был, Элизабет, добрый на свой лад. Ума не приложу, почему он сбился с пути? Задору в нем всегда было через край, но все равно дома от него была только радость. Зато потом пришлось хлебнуть с ним горя! Нет, я верю: Господь сохранит ему жизнь и наставит на верный путь. Ох, Элизабет, настрадалась ты с ним, не приведи Бог. А когда жил со мной, был такой ласковый, можешь мне поверить. И что за напасть приключилась?..

Старуха причитала надоедливо и однообразно, а Элизабет напряженно думала, и лишь когда вдруг быстро запыхтел подъемник и взвизгнули тормоза, она вздрогнула. Потом подъемник стал работать спокойнее, тормоза смолкли. Старуха ничего не заметила. Элизабет, замерев, ждала. А свекровь говорила, умолкала ненадолго, снова продолжала говорить...

– Он был твой муж, Лиззи, а не сын, в этом-то все и дело. Как бы он скверно ни поступал, я всегда помнила его маленьким и старалась его понять, старалась прощать. Мужчин, Лиззи, надо прощать... – В полови-

не одиннадцатого хлопнула калитка. – И все равно ничего, кроме горя, в жизни не видишь, ни молодых оно не щадит, ни старых... – говорила в это время старуха. Кто-то, тяжело топая, поднялся на крыльцо. – Дай я открою, Лиззи! – вскричала она, вскакивая. Но Элизабет уже распахнула дверь. На пороге стоял шахтер в рабочей одежде.

– Несут его, миссис Бейтс, – сказал он.

Сердце у Элизабет остановилось. Потом рванулось в горло, едва не задушив ее.

– Он... жив? – выговорила она.

Шахтер оглянулся и стал глядеть в темноту.

– Доктор сказал, уже несколько часов как умер. Он его в ламповой осматривал.

Старуха как стояла за спиной Элизабет, так и упала на стул, заломив руки.

– Сыночек мой! – закричала она. – Сыночек, сынок!

– Тихо! – приказала Элизабет, и лицо ее судорожно передернулось. – Молчите, мама, детей разбудите, а им сейчас здесь делать нечего.

Старуха раскачивалась из стороны в сторону и сдавленно стонала. Шахтер отступил к двери. Элизабет шагнула вперед.

– Как все было? – спросила она.

– Толком-то я и сам не знаю... – Шахтер в смущении замялся. – Вся смена ушла, а он остался доканчивать норму, и тут обвал.

– Его раздавило? – вскрикнула вдова, содрогаясь.

– Нет, порода обвалилась позади него. Он в самой голове забоя был, так на него хоть бы кусок упал, но проход засыпало, и он задохнулся.

Элизабет отпрянула. Сзади раздался старухин крик:

– Что? Что он сказал?

Шахтер повторил громче:

– Задохся он!

Старуха зарыдала в голос, и тут Элизабет отпустило.

– Мама, – сказала она, кладя руку на плечо свекрови, – детей разбудите. Не разбудите детей.

Она заплакала сама, не замечая того, что плачет. Старуха мать раскачивалась из стороны в сторону и стонала. И вдруг Элизабет вспомнила, что ведь сейчас его принесут и нужно все приготовить.

«Пусть кладут его в гостиной», – сказала она себе и замерла, ошеломленная, без кровинки в лице.

Потом засветила свечу и вошла в крошечную гостиную. Здесь было холодно и затхло, но развести огонь она не могла, камина не было. Элизабет поставила свечу и огляделась. Свет играл в подвесках люстры, на двух вазочках, в которых стояли розовые хризантемы, на темной, красного дерева мебели. В воздухе был разлит холодный, мертвенный запах хризантем. Элизабет тупо глядела на цветы. Наконец отвела от них взгляд и стала прикидывать, хватит ли места на полу, между диваном и комодом. Сдвинула в сторону стулья. Да, теперь можно будет и его положить, и свободно ходить по комнате. Она достала старую красную скатерть, еще одну старую скатерть, расстелила их на полу, чтобы не запачкать дешевой ковер. Элизабет вся дрожала от холода; выйдя из гостиной, она вынула из шкафа чистую рубашку и понесла к огню проветрить. Свекровь все так же раскачивалась на стуле и стонала.

– Придется вам пересесть отсюда, мама, – сказала Элизабет. – Сейчас его будут вносить. Садитесь в качалку.

Мать машинально поднялась и, не переставая плакать, села у камина. Элизабет пошла в посудомойню взять еще одну свечу и там, в тесной каморке под голыми черепицами, услышала, что его несут. Она стала на пороге, прислушиваясь. Вот они поравнялись с домом, медленно спустились по трем ступенькам, шаркая и переговариваясь вполголоса. Старуха умолкла. Они уже были во дворе.

Потом Элизабет услышала, как управляющий Мэтьюз сказал:

– Ты первый, Джим. Осторожно!

Дверь открылась, пятая задом, вошел шахтер с носилками, на которых женщины увидели подбитые гвоз-

дями подметки рабочих башмаков. Носильщики оставались, передний нагнул голову, чтобы не задеть за притолоку.

– Куда его нести? – спросил управляющий. Он был небольшого роста, с седой бородкой.

Элизабет заставила себя очнуться и вышла из посудомойни с незажженной свечой.

– В гостиную, – сказала она.

– Сюда, Джим! – показал управляющий, и шахтеры начали заворачивать носилки в маленькую гостиную. Пока они протискивались сначала в одни двери, потом в другие, плащ, которым был накрыт умерший, соскользнул, и мать с женой увидели его обнаженным по пояс, как он работал. У старухи вырвался полузадушенный протяжный вопль ужаса.

– Опускайте носилки, – командовал управляющий. – Кладите его на скатерти. Осторожно, осторожно! Ну что же ты!..

Один из шахтеров опрокинул вазу с хризантемами. Он заморгал в растерянности; они стали опускать носилки. Элизабет не смотрела на мужа. Как только проход освободился, она вошла в гостиную и стала подбирать осколки вазы и цветы.

– Подождите минуту! – сказала она.

Трое пришедших молча ждали, пока она вытрет лужу тряпкой.

– Такие вот дела, ужасные дела! – заговорил управляющий, нервно и растерянно потирая лоб. – Такого на моей памяти не бывало. Нельзя ему было оставаться там одному. Нет, такого сроду не бывало. Обвалилось прямо за его спиной, как отрезало. Фута четыре осталось, даже, наверное, меньше, а его и не задело.

Он посмотрел на простертого на полу покойника, полуобнаженного, испачканного угольной пылью.

– Доктор говорит, он задохнулся. Много я видел на своем веку, но такого... Как будто кто нарочно подстерег, честное слово. Прямо за его спиной обвалилось и захлопнуло, как в мышеловке...

Он сделал резкий, рубящий взмах рукой. Стоящие рядом шахтеры в знак подтверждения горестно качнули головой.

Всех их сковал ужас перед тем, что произошло. Вдруг наверху пронзительно закричала девочка:

– Мама, мама, кто это? Кто у нас, мама?

Элизабет кинулась к лестнице и открыла дверь.

– Спи сейчас же! – строго приказала она. – Что ты раскричалась? Ничего не случилось. Ложись и спи.

И стала подниматься по лестнице. Слышно было, как она идет по ступенькам, по крытому линолеумом полу тесной спальни. Слышно было каждое ее слово.

– Ну что ты, глупенькая, что ты? – говорила она срывающимся голосом, неестественно ласково.

– Мне показалось, пришли какие-то люди, – произнес тоненький детский голосок. – Он пришел?

– Да, его принесли. Не беспокойся, спи, ведь ты у меня умница.

Внизу слушали, как она говорит в спальне, как движется, укрывая детей, и ждали.

– Он пьяный? – тихо, боязливо спросила девочка.

– Нет, нет! Он не пьяный. Он... он спит.

– Он останется спать внизу?

– Да... Пожалуйста, не шуми.

Наступило молчание, потом детский голос испуганно спросил:

– А кто это там?

– Никто. Я же тебе сказала: спи и ни о чем не думай.

Это стонала мать умершего. Не замечая никого и ничего, она раскачивалась на стуле и стонала. Управляющий тронул ее за руку и прошептал:

– Тс-с-с!

Мать открыла глаза и поглядела на него. Этот жест вторгся в ее горе и поверг в недоумение.

– Который час? – еще спросила девочка, тоненько и жалобно, снова погружаясь в тревожный сон.

– Десять, – тихо проговорила мать. Потом, наверное, наклонилась к детям и поцеловала их.

Мэтьюз знаком показал, что пора уходить. Шахтеры надели кепки и забрали носилки. Перешагнули через лежащее на полу тело и вышли на цыпочках во двор. Никто не проронил ни слова, пока дом, где так тревожно спали дети, не остался далеко позади.

Элизабет спустилась вниз. Свекровь была в гостиной одна, она лежала на полу, прикинув к мертвому сыну, и слезы ее капали на его лицо.

– Нужно его обрядить, – сказала жена.

Поставила согреть чайник, вернулась в гостиную и, встав на колени у ног мужа, принялась развязывать кожаные шнурки. Света единственной свечи в сырой нетопленной комнате было очень мало, и ей пришлось пригнуть лицо чуть не к самому полу. Наконец она стянула с мужа тяжелые башмаки и отставила их в сторону.

– А теперь помогите мне, – сказала она шепотом старухе.

И они вдвоем раздели покойного.

Когда они поднялись и увидели его в наивном величии смерти, они замерли от благоговения и страха и несколько минут стояли молча и глядели на него, лишь старая мать тихонько всхлипывала. У Элизабет было такое чувство, будто ее перечеркнули. Вот он лежит перед ней, замкнутый в себе, как книга за семью печатями. Ничто не связывает его с ней. Нет, она не может с этим смириться! И она склонилась к нему и положила руку ему на грудь, утверждая свое право на него. Он был еще теплый, потому что в шахте, где он погиб, было жарко. Мать держала его лицо в ладонях и что-то бессвязно шептала. Слезы капали на него одна за другой, как капли дождя с мокрых листьев; мать не плакала, просто слезы лились и лились из ее глаз. Элизабет обняла мужа, прижалась к нему щекой и губами. Она как бы вслушивалась, вопрошала, пыталась к нему пробиться. И не могла. Он отвергал ее. К нему не было пути.

Она поднялась, пошла на кухню, налила в таз теплой воды, взяла мыло, мохнатую рукавичку и мягкое полотенце.

– Надо его обмыть, – сказала она.

И тогда старуха мать поднялась с трудом, а Элизабет стала осторожно обмывать ему лицо, осторожно отвела от губ пышные русые усы, отерла их рукавичкой. Страх ее был бездонен, и потому она служила мужу. Старуха мать произнесла ревниво:

– Дай я буду вытирать! – опустилась на колени с другой стороны и стала бережно осушать вымытые невесткой места, то и дело задевая большой черной шляпой темноволосую голову невестки. Женщины трудились долго, молча. Они ни на миг не забывали, что перед ними смерть, и странные чувства вызывало у них прикосновение к мертвому телу, странные и у каждой свои: обеими владел безмерный ужас, мать ощущала, что ее лоно обмануто, надежды преданы, жена думала о беспредельном одиночестве человеческой души, и ребенок в ее чреве казался постылым бременем.

Наконец они кончили. У него было красивое тело, на лице еще не проступили следы пьянства. Светло-русый, мускулистый, с длинными, стройными ногами. И мертвый.

– Благослови его Господь, – шептала мать из глубины своего ужаса, неотрывно глядя на лицо сына. – Господи, благослови моего родного мальчика! – шептала она пронзительно и исступленно, в самозабвении страха и материнской любви.

Элизабет снова опустилась на пол и уткнулась лицом в его шею; ее била дрожь, по телу пробегали судороги. И снова ей пришлось отстраниться. Он мертв, мертв, ее живой плоти не место рядом с ним. Ее переполняли страх, усталость; она была такой ненужной. С его смертью кончилась и ее жизнь.

– Кожа белая, как молоко, нежная, как у младенца, благослови его Господь, моего ненаглядного мальчика! – бормотала старая мать. – Ни изъяна нет, ни пятнышка, такой чистый, белый, у какой еще матери такой красивый сын! – с гордостью шептала она. Элизабет не поднимала лица. – Он отошел с миром, Лиззи, он тихо умер,

будто заснул. Красавец он у нас, верно? Да, Лиззи, он покался, я уверена. Ну конечно, покался, когда остался один. Он успел, Лиззи. Видишь, какой у него покой на лице. Спи, родной мой!.. А как он весело смеялся! Сердце радовалось! Ни у кого больше не было такого веселого смеха...

Элизабет подняла голову. Его губы под усами слегка запали, рот приоткрылся. В темноте не было видно, что полуприкрытые глаза остекленели. Жизнь с ее чадным огнем ушла из него, отрезав их друг от друга, оставив его безмерно чужим ей. Она поняла, что не знает его. И оттого, что перед ней лежал чужой, отъединенный от нее человек, с которым она столько лет была одна плоть, в лоне ее леденел страх. Так, значит, вот в чем истина – в предельном, непроницаемом одиночестве, которого мы не можем разглядеть в горячке жизни?! Она отвернулась, ужаснувшись. Его лицо сейчас слишком мертво. Их никогда ничто не связывало, и все же столько раз их толкала друг к другу страсть, они лежали вдвоем обнаженные. Но как бы тесно он ни сплетался с ней, они всегда оставались разными и были далеки, как сейчас. И он виноват в этом не больше, чем она. Ребенок был, как лед, в ее чреве. Она смотрела на покойного, а мысль работала холодно, отрешенно, ясно: «Что я такое, кто я? Что же я сделала? Вела поединок с мужем, человеком, который вовсе и не существовал! Вот он существовал всегда. Какое преступление я совершила? С кем рядом жила? Вот лежит человек, он – истина, ответ». И душа ее омертвела в страхе: она поняла, что никогда не видела его, что и он ее никогда не видел, они встретились в темноте и в темноте вели свой поединок, не зная, кого встретили и с кем враждуют. А вот теперь она увидела и, увидев, онемела. Как же она ошибалась! Она называла его чужим именем; ей казалось, он близкий, родной. А он был с самого начала сам по себе, он жил отдельной от нее жизнью, и то, что он чувствовал, было ей недоступно.

Со страхом и стыдом глядела она на обнаженное тело, которое она познавала ложно. А ведь он был отцом

ее детей! Казалось, душа ее вырвалась наружу, отделилась от нее. Элизабет глядела на его нагое тело, и ей было стыдно, как будто она его предала. Оно существовало само по себе. Оно наводило на нее ужас. Она перевела взгляд на его лицо и отвернула свое лицо к стене. Ибо лик его был ей чужд и чужды были его пути. Она не признала в нем главного – его самого, теперь она это поняла. Она отказала ему в праве быть собой. И так прошла их жизнь, его жизнь и ее. Спасибо смерти, она восстановила истину. И еще она чувствовала, что сама – жива.

Сердце ее разрывалось от горя и от жалости к нему. Сколько он выстрадал? Какой щедрой мерой отмерили муки ему, беспомощному! От боли она окаменела. Она не сумела его защитить. Его искалечили, умертвили, этого лежащего перед ней нагого мужчину, это другое существо, а она не смогла защитить его. Есть дети, да, но дети принадлежат жизни. Этот покойник не имеет к ним никакого отношения. Он и она – лишь каналы, по которым жизнь притекла, чтобы продлиться в детях. Она мать – и только теперь она узнала, как страшно быть женой. И ему, мертвому, как тяжела была участь мужа. Она знала, что на том свете он будет чужим ей. Даже если они встретятся там, в вечности, им будет лишь стыдно за прошлое. По неведомой причине от них родились дети. Но дети не соединили их. Теперь, когда он умер, ей открылось, что он во веки веков чужд ей, что до скончания века они разлучены. Все прежнее кончилось, она знала. В этой жизни они отреклись друг от друга. И теперь он ушел. Отчаяние охватило ее. Вот и конец, но ведь все, что было между ними, погибло задолго до того, как погиб он. И все равно он был ее мужем. Но как ничтожно мало!

– Элизабет, ты приготовила рубашку?

Элизабет, не отвечая, повернулась к матери. Она старалась заплакать, как полагалось по понятиям свекрови. Но слез не было, душа молчала. Она пошла в кухню и вернулась с рубашкой.

– Проветрилась, – сказала она, щупая руками хлопчатобумажную рубашку. Ей казалось почти кошунством

трогать его – какое право она или кто-то другой имеют прикасаться к нему? И все же ее пальцы притронулись к его телу, но смиренно. Обрядить его было трудно. Он был такой тяжелый, неподвижный. И оттого, что он был такой тяжелый, каменно неподвижный, такой безжизненный и замкнутый в себе, ее душил, ни на миг не отпускающая, ужас. Казалось, она вот-вот не выдержит – так бесконечно расстояние меж ними, так страшна пропасть, которая их разделяет.

Наконец они его обрядили. Подвязали челюсть, накрыли его простыней и так оставили. Она замкнула дверь их крошечной гостиной, чтобы дети не увидели, что там лежит. Потом с тяжелой душой, но примиренная, стала прибираться на кухне. Она по доброй воле покорилась жизни, владычице на час, и в страхе, со стыдом отпрянула от своего верховного владыки, смерти.

Прусский офицер

I

С рассвета отшагали уже более тридцати километров по белой, раскаленной дороге, время от времени ныряя на мгновение в тень от встречных рощиц, а потом снова погружаясь в слепящий зной. По обе стороны дышала жаром широкая плоская равнина; под сверкающим небом томительно бежали раскаленные, четко расчерченные темно-зеленые полоски ржи, светло-зеленые – молодых всходов, пары, луга, черные сосновые леса. Но прямо впереди дорога упиралась в горы, бледно-голубые и совершенно неподвижные, сквозь густую дымку на них мягко поблескивал снег. К этим горам двигался и двигался отряд мимо полей ржи и лугов, мимо корявых фруктовых деревьев, посаженных на равном расстоянии вдоль тракта. От темно-зеленой лоснящейся ржи веяло удушливым жаром; горы постепенно приближались, их очертания становились все отчетливее. А ноги солдат нестерпимо горели, волосы под касками взмокли от пота, и ляжки вещмешка уже не жгли плеч, только каждое их прикосновение вызывало, напротив, холодное покалывание.

Он безмолвно шагал и шагал вперед, уставясь на круто вздымавшиеся над землей горы – то ли твердь, то ли воздух, – уходившие ввысь гряда за грядой, на небо, на эту преграду с прожилками мягкого снега на бледных голубоватых вершинах.

Сейчас идти было почти не больно. Еще когда выступали, он решил, что не будет хромать. Первые шаги вызвали приступ дурноты, и примерно с милю он едва дышал; капли холодного пота блестели на лбу. Но он продолжал шагать и пересилил себя. В конце концов, это всего только синяки! Он рассмотрел их, когда вставал:

огромные синяки на задней стороне ляжек! С тех пор как он утром сделал первый свой шаг, он постоянно помнил про эти синяки, пока теперь, когда он подавил боль и взял себя в руки, в груди у него не образовался плотный горячий ком. Ему казалось, что нечем дышать. Но шаг он держал почти легко.

Когда капитан пил на рассвете кофе, руки его дрожали – денщик въяве видел это опять. И видел в то же время изящную фигуру капитана, гарцующего на лошади впереди, около фермы, великолепную фигуру в светло-голубом мундире с алым кантом; черная каска и ножны сабли блестя металлическим блеском, на шелковистом крупе гнедой лошади темнеют влажные от пота пятна. Денщику казалось, что он привязан к этой фигуре, так стремительно мчавшей верхом; он следовал за ней, как тень, немой, неотвязный, проклятый ею. Офицер тоже все время ощущал за спиной тяжелый топот роты, шаг своего денщика среди солдат.

Капитан, высокий мужчина лет сорока, с сединой на висках, с великолепной, изящно сложенной фигурой, был одним из лучших наездников на западе. Денщик, в чьи обязанности входило обтирать его после купания, восхищался отличными мускулами его поясницы и бедер.

В остальном денщик обращал на офицера не больше внимания, чем на себя. Лицо господина он видел редко – он не смотрел на него. У капитана были рыжевато-каштановые жесткие волосы ежиком. Усы он тоже стриг коротко, и они щеточкой топорщились над его полным, плотоядным ртом. Лицо довольно морщинистое, со впалыми щеками. Пожалуй, глубокие эти морщины, эта напряженность вечно сведенного раздражением лба только красили капитана, придавая ему вид человека, который борется с жизнью. Над голубыми глазами, неизменно сверкавшими холодным огнем, кустились светлые брови.

Он был прусский аристократ, надменный и властный, но мать его была польская графиня. Наделав в юности слишком много карточных долгов, он погубил свою

армейскую карьеру да так и остался пехотным капитаном. Женат он никогда не был: этого не позволяло его положение, да и ни одна женщина не подвигла его на это. Досуг он проводил, занимаясь верховой ездой – иногда он принимал участие в скачках на одной из собственных лошадей – и в офицерском клубе. Время от времени он заводил любовницу. Но после подобного приключения возвращался к своим обязанностям с еще более напряженным лицом, с еще более враждебными и раздраженными глазами. С солдатами, однако, он держался бесстрастно, хотя, войдя в раж, превращался в сущего дьявола, так что те, хотя и боялись его, не испытывали к нему особого отвращения. Принимали его как неизбежность.

С денщиком он был поначалу холоден, равнодушен, справедлив, из-за пустяков скандалов не устраивал. Поэтому слуга его не знал о нем практически ничего, за исключением того лишь, какие приказания тот отдаст и каким образом их исполнять, чтоб ему угодить. Это было совсем просто. Потом постепенно произошла перемена.

Денщик, парень лет двадцати двух, был среднего роста, хорошего сложения, с сильными, тяжелыми руками и ногами, смуглой кожей и мягкими черными молодыми усами. В нем было что-то очень теплое и юное. Из-под четко очерченных бровей смотрели темные, ничего не выразившие глаза, в которых, казалось, никогда не было мысли, и жизнь он воспринимал лишь непосредственно через чувства, действуя, как подсказывает инстинкт.

Постепенно офицер начал ощущать рядом присутствие денщика, его молодой, энергичной, неразмышляющей натуры. Когда парень прислуживал ему, капитан не мог избавиться от смущения, которое вызывало в нем само его присутствие. В парне была какая-то свобода и самодостаточность, в его движениях – нечто такое, что вызывало настороженность пруссака. И это раздражало. Офицер не желал возвращаться к жизни по милости своего слуги. Он легко мог бы сменить денщика, но не стал. Теперь он очень редко смотрел на денщика прямо,

отворачивался, словно опасаясь увидеть его. И все же, когда молодой солдат бездумно двигался по квартире, старший наблюдал за ним, отмечая движения сильных молодых плеч под синим сукном, наклон шеи. И это его раздражало. Когда он видел, как молодой, загорелой, по-крестьянски ладной рукой парень брал булку или бутылку вина, кровь закипала в нем ненавистью или бешенством. Не то чтобы парень был неуклюж – скорее, офицера предельно раздражала слепая, инстинктивная уверенность его движений, как у молодого непуганого животного.

Однажды, когда опрокинулась бутылка вина и по скатерти расплылось красное пятно, офицер, выругавшись, вскочил, и его синеватые, как пламя, глаза на мгновение встретились с глазами сконфузившегося парня. Молодой солдат был потрясен этим взглядом. Он почувствовал, как что-то глубже и глубже проникает в его душу, куда до того никогда ничего не пробивалось. Он был смущен и озадачен. Часть его природной завершенности в себе самом исчезла, уступив место смутному беспокойству. И с этого времени что-то странное, подспудное возникло между двумя этими людьми.

С той поры денщик боялся встретиться понастоящему взглядом с господином. Его подсознание хранило в памяти стальные голубые глаза и лохматые брови, и он не хотел встречаться с ними снова. Поэтому он всегда смотрел мимо господина и избегал его. С легкой тревогой ждал он, пока пройдут эти три месяца и окончится его срок. Солдат стал чувствовать себя скованно в присутствии капитана и даже больше, чем офицер, хотел, чтобы его оставили в покое, в ни к чему не обязывающем положении слуги.

У капитана он служил уже больше года и знал свои обязанности. Их он исполнял легко, словно то было для него естественно. Он принимал офицера и его приказания как неизбежность, как он принимал солнце и дождь, и прислуживал господину совершенно непринужденно. Лично его это не задевало.

Но теперь, если его насильно втянут в личные отношения с господином, он будет словно пойманное животное; он чувствовал, что надо уходить.

Под воздействием натуры молодого солдата закоснелый порядок, достигнутый офицером с помощью дисциплины, пошатнулся, в нем пробудился человек. Но он был аристократ, с узкими, изящными руками и изысканными движениями, и в его намерения не входило допускать, чтобы кто-то бередил его внутреннее «я». Человек страстного темперамента, он неизменно держал себя в узде. Временами у него случалась дуэль или вспышка гнева перед солдатами. Он знал, что постоянно находится на грани срыва, но твердо хранил верность идее Службы, тогда как молодой солдат, казалось, жил всей полнотой и жаром своей натуры, проявляя ее в каждом своем движении, отмеченном той живостью, что свойственна движениям дикого животного на свободе. И это все больше и больше раздражало офицера.

Помимо воли капитан не мог вернуться к прежней индифферентности в отношении к денщику. Но и оставить его в покое он не мог тоже. Помимо воли он наблюдал за молодым солдатом, приказания отдавал резко, старался как можно дольше занимать его. Иногда он приходил в ярость и измывался над ним. Тогда денщик замыкался, так сказать, замыкал слух, и с угрюмым, покрасневшим лицом ждал, покуда не кончится крик. Слова никогда не проникали в его сознание. Из инстинкта самосохранения он сделался неуязвим для чувств господина.

На большом пальце его левой руки был шрам; через костяшку тянулся глубокий рубец. Офицер давно страдал от этого, ему хотелось что-нибудь сделать с этим рубцом. Тем не менее шрам, безобразный, омерзительный, так и оставался на молодой загорелой руке. Наконец сдержанность капитана была сломлена. Однажды, когда денщик расправлял на столе скатерть, офицер прищипил карандашом его палец и спросил:

– Откуда это у тебя?

Парень отпрянул и встал по стойке «смирно».

– Топором, Herr Hauptmann*, – ответил он.

Офицер ждал дальнейших разъяснений. Их не последовало. Денщик вернулся к своим обязанностям. Капитана охватила мрачная ярость. Слуга избегает его! На следующий день ему пришлось собрать всю силу воли, чтобы не смотреть на обезображенный шрамом палец. Жаркое пламя бушевало в его крови.

Он знал, что скоро его слуга будет свободен – и будет рад этому. Пока что солдат держался на расстоянии от старшего. Капитан стал безумно раздражителен, не находил покоя в отсутствие солдата, а в его присутствии испепелял его своим истерзанным взглядом. Он ненавидел эти тонкие черные брови над темными, ничего не выражающими глазами, его приводили в ярость свободные движения этих ладных рук и ног, которые не могла сковать никакая армейская муштра. Он стал груб и жестоко измывался над парнем, пуская в ход презрение и сарказм. Молодой солдат становился лишь все молчаливее, все безучастнее.

– Среди каких скотов ты воспитывался, что не можешь смотреть прямо? Смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю!

И солдат обратил на лицо капитана свои темные глаза, но они были незрячи: неподвижно уставился, еле приметно скосив в сторону глаза, лишённые зрения, воспринимая голубизну глаз господина, он отстранял его взгляд. Тот побледнел, и его рыжеватые брови дернулись. Он механически отдал распоряжение.

Однажды старший запустил в лицо молодого тяжёлую армейскую перчатку. С наслаждением увидел он, как сверкнули навстречу ему черные глаза – так вспыхивает брошенный в огонь пук соломы. Он рассмеялся, и в его смехе слышались легкая дрожь и презрение.

Но оставалось всего только два месяца. Парень инстинктивно старался держаться невозмутимо, старался

* Господин капитан (нем.).

прислуживать офицеру так, словно перед ним не человек, а абстрактная власть. Его инстинкт подсказывал одно – избегать личного контакта, даже явной ненависти. Но помимо его воли в ответ на страсть офицера ненависть росла. Он, однако, подавлял ее. Вот уйдет он из армии и тогда, возможно, осмелится признать ее. По натуре он был деятелен, у него было много друзей. Он думал о том, какие это удивительно хорошие ребята. Но, сам того не зная, он был одинок. Теперь его одиночество усугубилось. Оно поможет ему продержаться до окончания срока. Но офицер, казалось, сходил в своем раздражении с ума, и парень был не на шутку испуган.

У солдата была подружка, девушка, жившая в горах, независимая и простая. Они вместе гуляли, почти не разговаривая. Он ходил с ней не затем, чтобы разговаривать, а чтобы обнимать ее – ради физического контакта. Это его облегчало, было легче не обращать внимания на капитана: он отдыхал, крепко прижав ее к груди. И она, хотя ничего такого не говорила, за тем и приходила к нему. Они любили друг друга.

Капитан догадался об этом и взбеленился от ярости. Теперь парень был завален работой все вечера напролет, и капитан испытывал наслаждение, видя, как мрачнеет выражение его лица. Время от времени глаза мужчин встречались, исполненные у молодого – уныния и мрака, упрямой несокрушимости, у старшего – насмешки и бескойной презрения.

Офицер прилагал все силы для того, чтобы не признавать овладевшей им страсти. Он не желал знать, что в его чувстве к денщику таится что-то помимо возмущения, какое вызывает у человека глупый, своевольный слуга. Поэтому, оставаясь в собственном сознании абсолютно непогрешимым и в рамках приличий, капитан не пресек того, другого чувства. Однако нервы его не выдерживали. Наконец он ударил солдата пряжкой по лицу. Увидев, как парень, на глаза которого от боли навернулись слезы, а на губах выступила кровь, отшатнулся, он испытал одновременно прилив грубого удовлетворения и стыда.

Но, сказал он себе, никогда прежде он ничего подобного не совершал. Парень вывел его из себя. Очевидно, вконец расшатались нервы. И он уехал на несколько дней с женщиной.

Это была пародия на удовольствие. Он просто не хотел этой женщины. Но он провел с ней весь опущенный на то срок. По окончании же возвратился, терзаемый раздражением, измученный и несчастный. Проездив весь вечер верхом, он явился прямо к ужину. Денщика в доме не оказалось. Офицер сидел неподвижно, положив на стол узкие, изящные руки; казалось, кровь свертывается в его жилах.

Наконец вошел слуга. Капитан смотрел на сильное, ловкое, молодое тело, на тонкие брови, на черные густые волосы. За неделю парень вернулся к былому благодушному состоянию. Руки офицера дернулись, словно объятые неистовым пламенем. Парень стоял навтыжку, не шелохнувшись, замкнувшись в себе.

Ужин проходил в безмолвии. Но денщику, видно, не терпелось. Тарелки у него гремели.

– Ты торопишься? – спросил офицер, рассматривая сосредоточенное, теплое лицо слуги.

Тот не отвечал.

– Ты изволишь ответить на мой вопрос? – сказал капитан.

– Слушаюсь, господин капитан, – отвечал денщик, стоя с грудой глубоких армейских тарелок.

Капитан подождал, посмотрел на него и снова спросил:

– Ты торопишься?

– Так точно, господин капитан, – последовал ответ, от которого по телу внимавшего проскочила искра.

– Отчего?

– Я собирался погулять, господин капитан.

– Сегодня вечером ты мне понадобишься.

Мимолетное колебание. Лицо офицера застыло в странном напряжении.

– Слушаюсь, господин капитан, – выдавил слуга.

– Ты понадобишься также и завтра вечером – считай, что практически все вечера у тебя заняты до моего особого распоряжения.

Рот с молодыми усами сомкнулся.

– Слушаюсь, господин капитан, – ответил денщик, на мгновение разжимая губы.

Он опять повернул к двери.

– И почему у тебя за ухом торчит карандаш?

Денщик помедлил, потом, не ответив, двинулся дальше.

За дверью он опустил горку тарелок, вынул из-за уха отрывок карандаша и положил в карман. Он переписывал на открытку стихи, чтобы поздравить свою девушку с днем рождения. Он вернулся и стал убирать со стола. Глаза офицера метались, на губах играла легкая нетерпеливая улыбка.

– Почему у тебя за ухом торчит карандаш? – спросил он.

Денщик взял груды тарелок. Господин стоял у большой зеленой печи с легкой улыбкой на губах, выставив вперед подбородок. Когда молодой солдат увидел офицера, его сердце внезапно окатило жаром. Он словно ослеп. Не ответив, он в оцепенении повернул к двери. В то время как, присев на корточки, он ставил посуду, пинком ноги сзади его швырнуло вперед. Загремели вниз по лестнице тарелки, он уцепился за балясину перил. Пока он пытался подняться, на него снова и снова сыпались тяжелые удары, так что несколько мгновений он беспомощно цеплялся за стояк. Господин стремительно возвратился в комнаты и затворил за собой дверь. Окинув снизу взглядом лестницу, служанка скорчила насмешливую гримасу при виде груды черепков.

Сердце офицера катилось вниз. Он налил себе бокал вина, пролил половину на пол, остальное залпом выпил, прислонясь к прохладной зеленой печи. Он слышал, как денщик собирает на лестнице посуду. Побледнев, словно от опьянения, он ждал. Снова вошел слуга. Сердце капитана пронзила острая, сладостная мука, когда он увидел,

что парень от боли потерял соображение и еле держится на ногах.

– Шонер! – произнес он.

Солдат стал навывтяжку, но не так быстро.

– Слушаюсь, господин капитан!

Парень стоял перед ним со своими трогательными молодыми усиками и тонкими бровями, четко вырисовывавшимися на темном мраморном лбу.

– Я задал тебе вопрос.

– Так точно, господин капитан.

Тон офицера был въедлив, словно кислота.

– Почему у тебя за ухом торчал карандаш?

Снова сердце денщика окатило жаром, он не мог дышать. Темным, напряженным взглядом, как зачарованный, смотрел он на офицера. Он стоял безучастно, точно остолбенел. Испепеляющая улыбка заиграла в глазах капитана. Он занес ногу.

– Я... позабыл... господин капитан, – проговорил солдат прерывистым голосом, уставясь темными глазами в пляшущие голубые.

– Для чего он там находился?

Он видел, как вздымается грудь солдата, подыскивающего слова.

– Я писал.

– Что писал?

Снова солдат смерил его взглядом сверху вниз.

Офицер слышал его тяжелое дыхание. В голубых глазах заиграла улыбка. Солдат откашлялся, напрягая пересохшее горло, но ничего не мог вымолвить. Внезапно улыбка, как пламя, озарила лицо офицера, тяжелый удар пришелся денщику в бедро. Парень отступил на шаг в сторону. Лицо его с черными, вперившимися в пространство глазами помертвело.

– Ну? – произнес офицер.

Во рту ординарца совсем пересохло; ворочая языком, он словно водил по жесткой оберточной бумаге. Он снова прокашлялся. Офицер занес ногу. Слуга замер.

– Да так, стихи, господин капитан, – раздался скрипучий, неузнаваемый звук его голоса.

– Стихи? Какие стихи? – спросил капитан с болезненной улыбкой.

Снова последовало покашливание. Внезапно сердце капитана налилось тяжестью, он стоял, смертельно усталый.

– Для моей девушки, господин капитан, – услышал он сухой, нечеловеческий звук.

– А! – сказал тот и отвернулся. – Убери со стола.

– Цык! – раздалось из горла солдата и снова: – Цык! – И нечленораздельно: – Слушаюсь, господин капитан.

Тяжело ступая, молодой солдат удалился – он будто постарел.

Оставшись один, офицер зажал себя намертво, лишь бы только ни о чем не думать. Инстинкт подсказывал ему, что думать нельзя. В глубине души страсть его была удовлетворена, и он все еще ощущал ее сильное воздействие. Затем последовала обратная реакция, что-то внутри у него страшно надломилось, это была настоящая мука. Час простоял он, не шелохнувшись, в сумятице ощущений, но сознание его, скованное волею, дремало, оберегая неведение разума. Так он сдерживал себя до тех пор, пока не миновал момент самого сильного напряжения; тогда он принялся пить, напился допьяна и заснул, не помня уже ничего. Проснувшись поутру, он был потрясен до глубины души. Но он отогнал от себя осознание содеянного. Не позволил собственному разуму осмыслить его, подавив его вместе с инстинктом, и потому тот сознательный человек, что был в нем, не имел к происшедшему никакого отношения. Он всего лишь чувствовал себя, как после тяжелой попойки, просто слабым, само же происшествие вырисовывалось весьма смутно, и он не намеревался к нему возвращаться. О своей опьяняющей страсти он с успехом отказывался вспоминать. И когда появился денщик, неся кофе, офицер обрел тот же облик, что и накануне утром. Он перечеркивал события вчерашней ночи – отрицал, что они когда-либо

происходили, – и это ему удавалось. Ничего подобного он – он сам, сам по себе – не делал. Что бы там ни было, виноват во всем глупый, непослушный слуга.

Денщик же весь вечер проходил как очумелый. Он выпил пива, потому что внутри у него все пересохло, но немного – алкоголь приводил его в чувство, а этого он не мог вынести. Он отупел, словно тот нормальный человек, что был в нем, был на девять десятых парализован. Он слонялся, изнемогая от боли. И все же, когда он думал о пинках, ему становилось дурно, и потом, когда он у себя в комнате думал об угрозе новых побоев, сердце его вновь обливалось жаром и замирало, он тяжело дышал, вспоминая те, что уже получил. У него вырвали: «Для моей девушки». Он чувствовал себя настолько разбитым, что ему даже не хотелось плакать. Его рот слегка приоткрылся, как у идиота. Он был опустошен, изможден. Принявшись вновь за работу, он еле двигался, мучительно, медленно, неуклюже, вслепую орудовал шваброй и щетками, а когда садился, чувствовал, что ему трудно собрать силы и подняться снова. Руки, ноги, челюсть были какие-то безжизненные, словно ватные. И он невероятно устал. Наконец он улегся в постель и, безжизненный, ослабевший, заснул, погрузившись в сон, скорее напоминавший забытье, нежели сон; глухую ночь забытья пронзали время от времени вспышки боли.

Наутро начинались маневры. Но проснулся он даже еще до сигнала горна. От мучительной боли в груди, от сухости в гортле, от ужасного, неизбывного ощущения несчастья он пробудился тотчас же, как открыл глаза, и они тотчас же исполнились безотрадности. И, не думая, он знал, что произошло. И знал, что опять настал день и что он должен приступать к своим обязанностям. Из комнаты улетучивались последние остатки темноты. Ему придется привести в движение свое безжизненное тело и уже не прекращать усилий. Он был так молод, встретил так мало испытаний, что ошалел. Ему хотелось лишь, чтобы продолжалась ночь и он мог бы неподвижно лежать под покровом темноты. И все же ничто не

остановит наступления дня, ничто не спасет его от необходимости встать, и оседлать лошадь капитана, и сварить капитану кофе. Это предстояло ему, это было неотвратимо. И все же, думал он, это невозможно. И, однако ж, они не оставят его в покое. Надо идти и нести капитану кофе. Он был слишком ошеломлен, чтобы это понять. Знал лишь, что это неотвратимо – неотвратимо, как бы долго он ни лежал неподвижно.

Наконец, поднатужившись, ибо, казалось, он превратился в безжизненную массу, он поднялся. Но каждое движение ему приходилось выжимать из себя усилием воли. Он был разбит, ошарашен, беспомощен. Боль была так остра, что он схватился за кровать. Взглянув на свои ляжки, он увидел на смуглой коже темные синяки, он знал, что если нажмет на один из них пальцем, то потеряет сознание. Но терять сознание он не хотел – не хотел, чтобы кто-то узнал. Никто никогда не должен знать об этом. Это все между ним и капитаном. Теперь на свете существуют лишь два человека – он и капитан.

Медленно, с минимальной затратой движений, он оделся и заставил себя пойти. Все расплывалось, кроме того, что он в данный миг держал в руках. Но с работой ему удалось управиться. Сама боль пробуждала притупившиеся чувства. Но оставалось худшее. Он взял поднос и направился в комнату капитана. Офицер сидел за столом бледный и хмурый. Когда денщик отдавал честь, ему почудилось, что самого его больше не существует. Какое-то мгновение он стоял неподвижно, смирившись с собственным исчезновением, потом собрался, будто очнувшись, и тут уже капитан начал расплываться, превращаясь в нечто нереальное. Сердце солдата заколотилось сильнее. Чтобы самому остаться в живых, он ухватился за эту ситуацию: капитана не существует. Но, увидев, как дрожит рука офицера, поднимая чашку, почувствовал, что все рушится. Он удалился с ощущением, будто рассыпается, распадается он сам. Когда капитан, восседая на лошади, отдавал приказания, а он с винтовкой и вещмешком стоял, изнемогая от боли, ему показа-

лось, что надо на все закрыть глаза. И только долгий, мучительный марш с пересохшей глоткой вызывал у него одно-единственное дурманящее желание: спастись.

II

Он начал привыкать даже к пересохшей глотке. Зато сияние снежных вершин на небосводе, бежавшая с ледников светло-зеленая речка, которая извивалась внизу, в долине, среди светлых отмелей, казались почти сверхъестественными. Но он сходил с ума от жары и жажды. Не жалуясь, ковылял он вперед. Говорить не хотелось – ни с кем. Над рекой, словно брызги пены или снежинки, кружили две чайки. Разносился одуряющий запах напоенной солнцем зеленой ржи. Марш продолжался, однообразный, словно дурной сон. Около следующей фермы, широкого, приземистого строения неподалеку от тракта, были выставлены чаны с водой. Солдаты пили, столпившись вокруг них. Они поднимали каски, от их влажных волос поднимался пар. Капитан наблюдал, сидя на лошади. Ему было необходимо видеть денщика. Каска бросала густую тень на его светлые неистовые глаза, но рот, усы, подбородок были отчетливо видны, освещенные солнцем. Денщику приходилось двигаться в присутствии высокой фигуры всадника. Не то чтобы он боялся или страшился, а словно он был выпотрошен, опустошен внутри, как пустая скорлупа. Ему казалось, что он ничто, тень, скользкая в солнечном свете. И как ни изнывал он от жажды, он почти не мог пить, ощущая поблизости капитана. Даже каску не пожелал снять, чтобы вытереть влажные волосы. Ему хотелось лишь остаться в тени и чтобы ничто не пробуждало его сознания. Вздрогнув, он увидел, как легкая пятка офицера вонзилась в бок лошади, капитан умчался резвым галопом; и теперь солдат мог вновь погрузиться в небытие.

Ничто, однако, в это жаркое ясное утро не могло вернуть ему то пространство, в котором он мог бы существовать. Среди всей этой суеты он казался себе какой-то

пустотой, тогда как капитан держался еще горделивее, еще заносчивее. Горячая волна пробежала по телу молодого слуги. Капитан преисполнился жизни, сам же он бесплотен, как тень. Опять по его телу пробежала волна, погружая его в оцепенение. Но сердце забилося чуть увереннее.

Рота стала подниматься в гору, чтобы, сделав там петлю, повернуть назад. Внизу, среди деревьев, на ферме, зазвонил колокол. Он увидел, как работники, босиком косившие густую траву, оставив работу, стали спускаться с холма, за спиной у них, подобно длинным сверкающим когтям, висели на плечах изогнутые косы. Казалось, это не люди, а видения, не имевшие к нему никакого отношения. Словно он погрузился в черный сон. Словно все остальное действительно существует и имеет форму, тогда как он сам – одно только сознание, пустота, наделенная способностью думать и воспринимать.

Солдаты безмолвно шагали по ослепительно сверкавшему склону холма. Понемногу у него начала кружиться голова, медленно, ритмично. Порой темнело в глазах, точно он видел мир сквозь закопченное стекло – совсем нереальный, одни неясные тени. Каждый шаг болью отдавался в голове.

Воздух благоухал так, что нечем было дышать. Словно вся эта роскошная зеленая растительность источала свои соки, и воздух был смертельно, одуряюще напоен запахом зелени. Ароматом клевера, напоминавшим о чистом меде, о пчелах. Потом повеяло чем-то кисловатым – проходили мимо буков; потом раздалось странное дробное цоканье и разнеслась омерзительная, удушающая вонь – теперь проходили мимо овечьего стада, пастуха в черном балахоне, с загнутой вверху пастушьей палкой. Зачем овцам под таким палящим солнцем сбиваться в кучу? Ему казалось, что хотя он видит пастуха, тот его не видит.

Наконец сделали привал. Солдаты составили ружья в козлы, побросали рядом, почти по кругу, снаряжение и чуть вразброс расселись на небольшом бугре высоко

на склоне холма. Пошли разговоры. От жары солдаты распарились, но были оживлены. Он сидел неподвижно, глядя на вздымавшиеся над землей в двадцати километрах горы. Гряды теснились голубыми складками, а впереди них, у подножия – широкое светлое русло реки, белесовато-зеленая гладь воды с розовато-серыми отмелями среди темных сосновых лесов. Там, вдалеке. Верно, она бежит вниз, река эта. В миле отсюда по ней спускался плот. Незнакомый край. Ближе к ним, под стеной буковой листвы, на опушке леса примостилась приземистая ферма с красной крышей, белым фундаментом и квадратными прорезями окон. Тянулись длинные полоски ржи, клевера и светло-зеленых молодых всходов. А у самых его ног, прямо под бугром, темнело болото, где неподвижно замерли на тоненьких стебельках купавки. Несколько светло-золотых шариков лопнуло, и в воздухе застыли опадающие лепестки. Ему казалось, что он засыпает.

Неожиданно что-то врзалось в этот разноцветный мираж у него перед глазами. По ровному уступу холма размеренной рысью скакала среди полосок хлебов маленькая, светло-голубая с алым фигурка. Капитан. Появился солдат, сигнализируя флажками. Гордо, уверенно двигался всадник, быстрый и яркий, вобрав в себя весь свет этого утра, бросавшего на остальных легкую сверкающую тень. Покорный, безразличный, сидел молодой солдат, взирая на это. Но когда лошадь, поднимаясь вверх по последней крутой тропинке, перешла на шаг, горячая волна обожгла тело и душу денщика. Он сидел и ждал. Ощущение было такое, словно его затылок обжигало тяжелое пламя. Есть не хотелось. Когда он двигал руками, они слегка дрожали. Тем временем офицер на лошади приближался, медленно и гордо. Напряжение в душе денщика возрастало. Когда он увидел, как капитан привстал в стременах, а потом опустился в седло, его вновь окатило горячей волной.

Капитан поглядел на светло-голубое с алым пятно, на темные головы, сгрудившиеся на склоне холма. Вид доставил ему удовольствие. Власть над ними доставляла

ему удовольствие. Он испытывал чувство гордости. Среди них, такой же подчиненный, как все, находился его денщик. Высматривая его, офицер чуть привстал в стременах. Молодой солдат сидел, отвернув осоловелое лицо. Капитан свободно опустился в седло. Его великолепная, с тонкими ногами лошадь, коричневая, как букочный орешек, горделиво шагала вверх по склону холма. Капитан вступил в круг испарений отряда – горячего мужского запаха, запаха пота и кожи. Хорошо знакомые запахи. Перекинувшись парой слов с лейтенантом, капитан поднялся на несколько шагов и там остановился – величественная фигура на взмыленной лошади, обмахивавшейся хвостом, пока он смотрел вниз, на своих солдат, на своего денщика, песчинку в этой толпе.

Сердце молодого солдата огнем пылало в груди, было трудно дышать. Глядя вниз по склону холма, офицер увидел, как по зеленому солнечному полю тяжело брели трое солдат, неся два ведра воды. Под деревом был установлен стол; рядом, с исполненным значения видом занятого человека, стоял тоненький лейтенант. Тогда капитан, собравшись с духом, решил на смелый шаг. Он позвал денщика.

Когда молодой солдат услышал приказ, пламя захлестнуло его глотку, он поднялся незряче, в каком-то удушье. Остановился ниже офицера, козырнул. Вверх он не посмотрел. В голосе капитана слышалась легкая дрожь.

– Ступай в трактир и принеси мне... – отдавал распоряжение офицер. – Живее! – добавил он.

При последнем слове сердце слуги подскочило, охваченное огнем, и он почувствовал, как его тело налилось силой. Но он с механической покорностью повернулся и, тяжело ступая, пустился бегом вниз по склону холма, чем-то напоминая медведя; над армейскими башмаками пузырились брюки. Офицер не отрываясь следил за этим слепым, стремительным бегом.

Но так безропотно, механически покорялась лишь внешняя оболочка тела денщика. В глубине же постепен-

но образовалось ядро, вобравшее в себя всю энергию его молодой жизни. Он исполнил поручение и быстро, хотя и тяжело, поднимался назад, в гору. Шаги болью отдавались в голове, отчего безотчетно кривилось лицо. Но в груди, в самой ее глубине, затаился он сам, сам, и он не позволит себя раздавить.

Капитан вошел в лес. Денщик преодолел жаркий кругедких запахов, исходивших от отряда. Теперь в нем kloкотал странный стусок энергии. По сравнению с ним капитан стал менее реален. Он приблизился к зеленому порталу леса. Там увидел в сквозящем сумраке лошадь, солнечный свет и трепещущие тени листья, пляшущие на ее каштановом крупе. Дальше открывалась поляна, где недавно валили лес. Здесь, в золотисто-зеленой тени, рядом со сверкающей чашей солнечного света стояли две голубые с малиновым фигуры, малиновые выпушки выступали очень четко. Капитан беседовал с лейтенантом.

Денщик встал на краю ярко освещенной поляны, где лежали, растянувшись, очищенные и светящиеся, точно обнаженные, загорелые тела, огромные стволы деревьев. Измятая трава была усеяна щепками, словно обрызгана светом, там и сям торчали пни поваленных деревьев со свежими, ровными срезами. На другой стороне поляны сверкала залитая солнцем листва бука.

– Тогда я поеду вперед, – услышал денщик голос капитана.

Лейтенант козырнул и, широко шагая, удалился. Денщик выступил вперед. Когда он подходил к офицеру, печатая шаг, его нутро окатило горячей волной.

Капитан смотрел, как, спотыкаясь, двигается вперед тяжеловатая фигура молодого солдата. Жар запылал в его жилах. Им предстояло объясниться как мужчине с мужчиной. Он отступил перед крепкой, спотыкающейся фигурой с опущенной головой. Денщик наклонился и поставил еду на ровно спиленный пенек. Капитан смотрел на блестящие, обожженные солнцем кисти его рук. Он хотел заговорить с молодым солдатом, но не мог. Слуга уперся бутылкой в бедро, выдавил пробку и вылил

пиво в кружку. Он так и стоял, опустив голову. Капитан взял протянутую кружку.

– Жарко! – сказал он вроде бы дружелюбно.

Из сердца денщика вырвалось пламя, чуть не задушив его.

– Да, господин капитан, – ответил он, не разжимая зубов.

Услышав звук, с каким пил капитан, он стиснул кулаки, так мучительно стало ломить у него в кистях. Потом раздалось слабое позвякивание – захлопнулась крышка кружки. Он поднял глаза вверх. Капитан глядел на него. Он мгновенно отвел взгляд. Затем он увидел, как офицер нагнулся и взял с пня кусок хлеба. При виде того, как склонилось перед ним это негнущееся тело, пламя вновь прожгло его насквозь. Руки его дернулись. Он отвернулся. Он чувствовал, что офицер нервничает. Разламывая хлеб, капитан уронил его на землю. Взял другой ломоть. Оба стояли напряженные, неподвижные; господин усердно жевал хлеб; слуга уставился в пространство, отвернувшись в сторону, сжав кулаки.

Потом молодой солдат вздрогнул. Офицер снова нажал на крышку кружки, она открылась. Денщик следил за крышкой кружки, за белыми руками, сжимавшими ручку, словно зачарованный. Вот кружка поднимается. Парень сопровождает ее глазами. Потом он увидел, как задвигалась вверх и вниз тонкая, сильная шея старшего, когда он начал пить. И вдруг инстинкт, kloкотавший в кистях рук парня, вырвался наружу. Он подскочил, словно его расскло надвое жаркое пламя.

Шпора офицера зацепилась за корень дерева, он с грохотом повалился навзничь, с глухим, противным звуком шмякнувшись спиной об острый край пня; кружка отлетела в сторону. Через секунду денщик с серьезным, сосредоточенным лицом, прикусив зубами нижнюю губу, упершись коленом в грудь офицера, давил на его подбородок, отжимая его все дальше назад, за дальний край пня, давил, вкладывая в это всю душу, объятый страстью облегчения, испытывая сладостное ощущение облегче-

ния от напряжения в кистях. Он изо всех сил нажимал краем ладоней у запястья на подбородок офицера. И ему было приятно чувствовать под руками этот подбородок, эту жесткую челюсть, уже покрытую легкой щетиной. Он ни на миг не ослабил хватки, но, ощущая, как от этого порыва мощно ликует его кровь, все давил на голову капитана, отжимая ее назад, пока не раздалось негромкое «щелк» и он не почувствовал, как что-то хрустнуло. Тут ему почудилось, будто его собственная голова обратилась в пар. Сильные конвульсии сотрясали тело офицера, пугая, приводя в ужас молодого солдата. И все же ему нравилось сдерживать эти конвульсии. Нравилось давить и давить руками на этот подбородок, отжимая его назад, чувствовать, как грудь того подается, выпуская воздух, под тяжестью сильных молодых колен, чувствовать страшные судороги распростертого тела, сотрясавшие все его собственное тело, навалившееся сверху.

Но вот тело того замерло. Он мог заглянуть в ноздри офицера, глаз ему почти не было видно. Как странно выпячен рот с подчеркнуто выпирающими полными губами, над которыми топорщится щеточка усов. Потом он вздрогнул, заметив, что ноздри понемногу наполняются кровью. Красная жидкость поднялась до краев, поколебалась немного, перелилась через край и тонкой струйкой побежала по лицу к глазам.

Это ошеломило его. Он медленно поднялся. Тело дернулось и, раскинувшись, безжизненно застыло. Он стоял и молча смотрел на него. Было жаль, что оно изломано. В этом теле воплощалось не только то, что пинало его и измывалось над ним. На глаза он боялся взглянуть. Сейчас, когда виднелись одни белки и к ним бежала кровь, они выглядели жутко. При виде этого лицо денщика вытянулось от ужаса. Что ж, вот оно как. В душе он был удовлетворен. Раньше он ненавидел лицо капитана. Теперь оно уничтожено. На душе денщика было и тяжело, и легко. Но видеть это длинное распростертое тело с военной выправкой, надломленное о пень, со скрюченными тонкими пальцами, было нестерпимо. Надо убрать его с глаз.

Быстро, деловито он приподнял его и затолкал под штабель срубленных деревьев, прекрасные, гладкие стволы которых покоились с обоих концов на бревнах. Лицо, все в крови, было ужасно. Он прикрыл его каской. Потом, распрямив его руки и ноги, уложив их как подобает, смахнул с тонкого сукна сухие листья. Так. Оно лежит в тени. Совсем неподвижно. Пробиваясь сквозь узкую щель между бревнами, вдоль груди бежит узенькая солнечная полоска. Несколько мгновений денщик посидел рядом. Тут окончилась и его собственная жизнь.

Потом сквозь оцепенение он услышал лейтенанта: тот громким голосом объяснял солдатам, что им надлежит вообразить, будто мост через реку внизу занят противником. Теперь им предстояло сделать бросок и напасть на неприятеля таким-то и таким-то образом. Лейтенант не блистал красноречием. Денщик, слушая его по привычке, совсем запутался. А когда лейтенант начал все сызнава, он уже ничего не слышал.

Он знал, что надо уходить. Встал. Его удивило, что листья блестят на солнце и на земле белеют щепки. Для него мир переменялся. А для остальных – нет: все казалось таким же, как раньше. Только он его покинул. И возвратиться назад не мог. Он был обязан вернуть пивную кружку и бутылку. Но не мог. Лейтенант все еще что-то втолковывал хриплым голосом. Надо уходить, не то они его настигнут. А он сейчас не мог вынести встречи ни с кем.

Он провел пальцами по глазам, пытаясь определить, где находится. Потом повернулся. Увидел стоящую на тропинке лошадь. Подошел, сел на нее. Сидеть в седле было больно. Он старался удержаться, и причиняемая этим боль поглощала все внимание, пока он легким галопом ехал по лесу. Все было бы ему безразлично, только он не мог избавиться от ощущения своей оторванности от остальных. Тропинка вывела его из леса. У опушки он придержал лошадь, остановился, осмотрелся. Там, на солнечном просторе равнины, двигались, сгрудившись в небольшую кучу, солдаты. Время от времени крестьянин, боронивший полоску паров, покрикивал на пово-

ротах на своих волов. Залитые солнцем деревня и церковь с белой башней казались крошечными. К этому миру он больше не принадлежал – он сидел на опушке, за его пределами, словно человек, примостившийся во тьме около дома. Выбившись из повседневной жизни, он вступил в область неизвестного и не мог, не хотел даже возвращаться назад.

Отвернувшись от отглянцованной солнцем долины, он поехал в глубь леса. Стволы, точно стоявшие неподвижно люди в сером, следили за его продвижением. Сквозь испещренную солнечными бликами тень мелькнула лань, сама точно бегущее пятнышко света и тени. В листе просвечивали ярко-зеленые пятна. Потом потянулся сплошной сосновый лес, темный, прохладный. От боли ему стало дурно, в голове нестерпимо и громко стучало; его мутило. Он никогда в жизни не болел и от всего этого растерялся, совсем ошалел.

Пытаясь сойти с лошади, он упал, изумившись боли и тому, что потерял равновесие. Лошадь беспокойно шарахнулась. Он дернул уздечку и пустил ее прочь неровным галопом. Лошадь была последним, что связывало его со всем остальным.

Ему хотелось только лечь и лежать и чтобы его оставили в покое. Спотыкаясь меж деревьев, он выбрался в тихое место на склоне, где росли сосны и буки. Стоило ему лечь и закрыть глаза, как сознание тотчас же, независимо от него, продолжило стремительный бег. Внутри у него стучало от дурноты с такой силой, словно прошибало насквозь всю землю. Он горел в сухом жару, но не замечал этого, чересчур поглощенный, чересчур захваченный бешеной, бессвязной скачкой бреда.

Ш

Вздвогнув, он пришел в себя. Во рту пересохло, язык не ворочался, сердце сильно колотилось, но подняться не было сил. Сильно колотилось сердце. Где он – в казармах? Дома? Что-то стучит. Сделав над собой усилие,

он осмотрелся – деревья, зеленый разлив, и красноватые, яркие, неподвижные солнечные пятна на земле. Он не верил тому, что это он сам, не верил тому, что видел. Что-то стучит. Напрягая все силы, он попытался вернуть сознание, но безуспешно. Потом попытался опять. Постепенно между ним и тем, что его окружало, обозначилась связь. Он вспомнил, и от ужаса страшная боль пронзила сердце. Кто-то стучит. Он видел над головой тяжелые, черные космы ели. Потом все почернело. Однако ж он был уверен, что не закрывал глаз. Нет, не закрывал. Сквозь черноту медленно возвращалось зрение. И кто-то стучит. Мгновенно увидел он обезображенное кровью, ненавистное лицо капитана. И замер от ужаса. Но в глубине души он знал, что все так и есть, должно быть, капитан умер. Но бред физически овладел им. Кто-то стучит. От страха он лежал совершенно недвижимо, точно мертвец. И потерял сознание.

Когда он вновь открыл глаза, он вздрогнул, увидев, как что-то быстро ползет вверх по стволу. Небольшая птица. У него над головой свистит птица. Тук-тук-тук – небольшая юркая птица долбит по стволу клювом, ее голова – словно маленький круглый молоточек. Он с любопытством наблюдал за птицей. Ползком она рывками продвигалась вверх. Потом, точно мышь, соскальзывала вниз по голому стволу. От ее быстрых ползущих движений на него накатила волна отвращения. Он приподнял голову. Она казалась невероятно тяжелой. Потом, выскочив из тени, птичка пробежала по неподвижному солнечному пятну, быстро потряхивая головкой, на миг ярко сверкнули белые лапки. Как все в ней ладно, аккуратно пригнано, белые пятна на крылышках. Птиц было несколько. Такие прелестные – только вот ползают, точно шустрые, пронырливые мыши, туда-сюда по стройному, как мачта, буку.

В изнеможении он снова лег, и сознание его погасло. Эти ползающие птички приводили его в ужас. Казалось, вся его кровь плещется и расплзается у него в голове. А он все не мог пошевелиться.

Когда он пришел в себя, вызванная изнеможением боль стала еще сильнее. Болела голова, ужасно мутило, он был не в силах пошевелиться. Никогда в жизни он не болел. Он не знал теперь, где он и кто он. Наверное, у него был солнечный удар. Или, может, что-то еще? Он заставил капитана замолчать навсегда – недавно – нет, нет, давно. На том лице была кровь, и глаза закатились. Как бы там ни было, это правильно. Это значит покой. Но теперь он уже находился по ту сторону самого себя. Где никогда раньше не бывал. Жизнь это или не жизнь? Здесь он один. Те, остальные, они на огромном, ярко освещенном пространстве, а он не с ними. Город, вся страна, огромное, ярко освещенное пространство – он не с ними, он здесь, на темной поляне, за пределами того пространства, и каждый здесь сам по себе. Но когда-нибудь тем, другим, всем до единого, придется побывать здесь. Все они маленькие и тянутся там, позади. Отец с матерью, девушка, они были, но какое все они имеют значение? Это место открыто для всех.

Он сел. Послышалась какая-то возня. Маленькая коричневая белочка бежала по земле красивыми волнообразными прыжками, рыжий хвост довершал волнообразное колыхание ее тельца, а потом, усевшись, она стала нагибаться и разгибаться. Он с удовольствием наблюдал за ней. Она игриво побежала дальше – ей нравилось бегать. Стремглав налетела на другую белку, и они стали гоняться одна за другой, издавая негромкие звуки, трещали, словно выговаривая за что-то друг дружке. Солдату хотелось поговорить с ними. Но из гор-тани вырвался только хрип. Белки стремглав бросились прочь – взлетели вверх по деревьям. Потом он увидел, как одна, обернув головку, посматривает на него с середины ствола. Он вздрогнул от страха, хотя в той мере, в какой сохранялось сознание, это его позабавило. Она не убегала, а, наострив ушки, цеплялась когтистыми лапками за кору, подняв кверху белую грудку, ее любопытная мордочка смотрела на него с середины ствола. Его охватила паника.

С трудом поднявшись на ноги, он, шатаясь, побрел прочь. Он шел и шел, все чего-то искал – искал попить. Мозг его разгорячился и воспалился от жажды. Он ковылял дальше. Потом он ничего уже не сознавал. Впал в беспамятство, но по-прежнему ковылял дальше, приоткрыв рот.

Когда, к своему немому изумлению, он вновь открыл глаза, он больше уже и не пытался вспомнить, что представляет собой мир. За золотисто-зелеными бликами был разлит густой золотистый свет, прорезанный высокими серовато-пурпурными снопами лучей, а дальше – тьма, она стучалась, подступала к нему со всех сторон. Ощущение было такое, будто он достиг нужного места. Он – посредине реальности, на ее темном дне. Но мозг жгла жажда. Он чувствовал, что сделался легче, стал не таким тяжелым. Что-то новое, размышлял он. В воздухе перекачивались громовые раскаты. Ему казалось, что он идет необыкновенно быстро и выходит прямо к тому месту, где найдет облегчение – или воду?

Внезапно он застыл от страха. Перед ним, отделенная всего лишь несколькими темными стволами, словно прутьями клетки, золотом полыхала ширь. Молодая ровная пшеница отливала золотом, ослепительно сверкавшим на ее шелковистой зелени. Навстречу этому ослепительному сиянию, меж переливающихся зеленых хлебов, словно густая тень, двигалась женщина в широкой юбке, с покрытой черным платком головой. Виднелась ферма, светло-голубая в тени, с черной деревянной обшивкой. Шпиль церкви, почти растворившийся в золоте. Женщина все шла, удаляясь от него. Он не знал, на каком языке заговорить с ней. Она была нереальностью, яркой и плотной. Ее слова будут лишь шумом, который только собьет его с толку, и глаза ее, глядя на него, не будут его видеть. Она шла через поле, на противоположный конец. Он стоял, прислонившись к дереву.

Когда он наконец отвернулся и посмотрел вдоль длинной редкой рощицы, которая понизу уже начала заполняться тьмой, он увидел горы в чудесном освещении,

совсем недалеко; они светились. За мягкими серыми очертаниями первой гряды поднимались бледно-серые, в золоте горы, чистым, расплавленным золотом светился снег. Они в безмолвии блестили, такие неподвижные, мерца в небе, словно сотворенные из чистого вещества самого неба. Он стоял и смотрел на них с озаренным лицом. И чувствовал, как, подобно золотистому, искрящемуся мерцанию снегов, в нем разгорается жажда. Он стоял и не отрываясь смотрел, прислонясь к дереву. А потом все растворилось в пространстве.

Ночью без конца полыхали молнии, озаряя все небо белым светом. Должно быть, он снова пустился в путь. В какие-то мгновения мир висел вокруг него сизой пеленой, поля – ровное, блестящее полотнище серо-зеленого света, скопище темных деревьев, на белом небе – гряда черных туч. Потом, словно ставня, упала тьма – ночь вступила в свои права. Слабое трепетание едва различимого мира, который никак не мог вырваться из тьмы!.. Затем по земле опять разлился бледный свет, проступили темные очертания предметов, над головой повисла гряда облаков. Мир, что призрачная тень, на миг погрузился в полный мрак, неизменно возвращаясь затем целым и нерушимым.

А внутри у него разрастался болезненный, лихорадочный бред – мозг его открывался и замыкался, как сама эта ночь... потом временами судороги от ужаса: что-то уставилось из-за дерева огромными глазами... потом долгий, мучительный марш, когда от солнца свертывалась кровь, потом острая боль ненависти к капитану.

Утром он, без сомнения, проснулся. Потом его мозг воспалился, терзаемый одним-единственным ужасом – жаждой! На лицо падал солнечный свет, от влажной росы одежды поднимался пар. Он вскочил как одержимый. Прямо перед ним бледный край утреннего неба пересекали горы, голубые, прохладные, нежные. Только они ему нужны, только они, ему хотелось отделиться от себя и слиться с ними. Они не двигались, мягкие, с белыми, нежными прожилками снега. Он стоял неподвижно,

обезумев от страдания, с хрустом сжимая руки. Потом в пароксизме боли начал кататься по траве.

Он лежал неподвижно, словно в мучительном сне. Жажда словно бы отделилась от него и существовала сама по себе, как единственная необходимость. Потом боль, которую он испытывал, тоже отделилась от него. Потом еще груз его тела – тоже что-то отдельное.

Он распался на множество всевозможных отдельных существ. Их соединяла какая-то странная, мучительная связь, но они все дальше тянули в разные стороны. Потом они все разлетятся. Солнце, буравившее его с высоты, подтачивало и эту связь. И все они полетят, полетят в вечную пустоту бездны. Потом вновь возвратилось сознание. Приподнявшись на локте, он уставился на мерцающие горы. Они тянулись рядами там, между небом и землей, совсем неподвижные, дивные. Он смотрел, не отрываясь, покуда не почернело в глазах. И казалось, горы, встававшие там в своей красе, такие чистые и прохладные, владеют тем, что утратил он.

IV

Когда три часа спустя солдаты обнаружили его, он лежал, положив лицо на руку, его черные волосы были раскалены от солнца. Но он был еще жив. Увидев открытый черный рот, молодые солдаты бросили его.

Он умер ночью в госпитале, так и не приходя в себя.

Доктора увидели синяки сзади на его ногах и ничего не сказали.

В мертвецкой тела их лежали рядом, бок о бок, один – белый и стройный – застыл в позе строгого покоя, другой, казалось, вот-вот вновь воспрянет ото сна к жизни – такой молодой и ничего не познавший.

Англия, моя Англия...

Он работал на краю пустоши за неглубоким ручьем, бегущим по ложбине, где кончается сад, – удлинял садовую дорожку, которая вела на пустошь через бревенчатый мостик. Он уже снял слой жесткого дерна с папоротником, обнажив суховатую серую почву. Но дорожка получалась кривая, и он был недоволен, между бровями у него пролегла морщина. И ленту наметил колышками, и направление определил между большими соснами, а выходило почему-то не так. В который раз, напрягая синие острые глаза – глаза викинга, он обернулся, всматриваясь сквозь проем в стене тенистых сосен туда, где от осененного ольхой мостика взбегала на цветущий лужок поросшая зеленой травой дорожка. Высокие лиловые и белые водосборы и торец старого гемпширского дома, который приник к земле среди цветов, в косматом бурьяне, разросшемся кругом.

Вдалеке раздавались детские голоса, перекликались, переговаривались – тоненькие девчоночьи голоса с оттенком назидательности, с властными нотками.

– Иди скорей, няня, а то возьму и побегу туда, где змеи.

И ни у кого не хватает духу ответить:

– Ну и беги, дурочка.

Вечно одно и то же:

– Не надо, душенька. Хорошо, душенька. Сию минуту, душенька. Душенька, умей же немножко потерпеть.

Он ожесточился в своем отрзвлении: все не по сердцу, все не мило. Но продолжал работать. Что еще ему оставалось, как не смириться!

Земля пылала под солнцем, неистово пламенели цветы, с неистовой силой ощущалась уединенность

среди девственного покоя пустотных земель. Удивительно, как стойко держится местами в Англии первобытный дух – например, здесь, среди буйно поросших можжевельником пустошей, в болотистых змеиных низинах у подножия известковых холмов. Душа земли, хранящая первозданность, как в те далекие времена, когда сюда явились саксы.

Ах, как он раньше любил все это! Зеленую дорожку в саду, островки цветов – белые и лиловые водосборы, огромные яркие маки, алые, с черными прожилками; статные желтые коровяки – весь этот пламенеющий сад, который тысячу лет назад уже был садом, вскопанный в ложине среди змеиных пустошей. Сад, который у него запольхал цветами в солнечной чаше под кустарником и деревьями. Старина, седая старина! И это он вернул ей молодость.

Деревянный дом с покатою крышей-капюшоном был стар и заброшен. Он был частицей стародавней Англии. Англии деревушек и йоменов. Затерянный в одиночестве на краю пустоши в конце широкого заглохшего проселка, опутанного шиповником под тенью дубов, он никогда не сталкивался с сегодняшним миром. Пока не пришел Эгберт с молодой женой. Пришел, чтобы наполнить его цветами.

Дом был древний и очень неудобный для жилья. Но Эгберт ничего не хотел менять. Как хорошо сидеть вечерами у широкого, почерневшего от времени камина, когда над крышей ревет ветер, а в очаге уютно трещат дрова, наколотые собственными руками! По одну сторону он, по другую – Унифред.

Унифред! Как он желал ее! Молодая, красивая, полная жизни, словно пламя под солнцем. Она двигалась со сдержанной грацией, таящей энергию, как если бы куст, весь в пунцовом цвету, пришел в движение.казалось, она тоже шагнула в сегодняшний день из старой Англии – румяная, крепкая, с какой-то грубоватой истовой основательностью, налитая здоровьем, как ветка боярышника. А он, он был похож на английского лучни-

ка, высокий, стройный, быстрый, с упругими длинными ногами и благородной осанкой. У нее волосы были ореховые, кудрявые, все в тугих завитках. У нее и глаза были ореховые, ясные, словно у птицы малиновки. А он был белокож, волосы у него были тонкие, шелковистые, светлые, хотя с годами потемнели, а нос с горбинкой, как у всех в его старинном сельском роду. Они были красивой парой.

Дом принадлежал Уинифред. Ее отец был тоже человек энергичный. Он приехал с севера бедняком. Теперь он владел порядочным состоянием. Этот участок отличной земли в Гемпшире он купил недорого. Его собственный дом стоял, отступя от дороги, неподалеку от крохотной церковки, посредине почти вымершего селения – поместительный старый фермерский дом в глубине пустого двора, заросшего травой. По одну сторону четырехугольной площадки тянулось длинное-длинное строение, не то бывший амбар, не то сарай, приспособленное им для младшей дочери, Присциллы. На длинных окнах висели белые, в голубую клеточку занавески, внутри, под крутобокой крышей, красовались могучие старые балки. Здесь был дом Присси. Дальше, ярдов за пятьдесят, – хорошенький новый домик, который он построил для другой дочери, Магдалены, и при нем огород до самой опушки молодой дубовой рощицы. А за садом, примыкающим к дому, за газонами и кустами роз тянулся проселок – по пустырю с буйными зарослями бурьяна, по гриве над запрудой, где росли высокие черные сосны; между соснами, по краю болотца на уклоне, под раскидистыми угрюмыми дубами, – пока не упирался неожиданно в приземистый домишко Уинифред, такой уединенный и одичалый.

Дом был собственностью Уинифред, и сад, и кусочек пустоши, и топкий склон – все это были ее владения, ее маленькое королевство. Когда лет за десять до войны ее отец купил эту землю, она как раз собиралась замуж и смогла прийти к Эгберту с таким приданым. Трудно сказать, кто этому больше радовался, он или она. Ей

было в то время всего двадцать лет, ему – всего на год больше. У него за душой было фунтов полтора ста годовых – и сверх этого ничегошеньки, кроме незаурядного личного обаяния. У него не было профессии, он ничего не зарабатывал. Зато умел толковать о литературе и музыке, горячо увлекался народными мелодиями, собирая народные песни и танцы, изучая тонкости морриса* и старых английских обрядов. Со временем это, конечно, должно было принести ему деньги.

А пока – здоровье и молодость, страсть, надежды. Отец Уинифред был неизменно щедр, но не зря он был выходец с севера – человек с трезвой головой и кожей, задубелой от тумачков, нанесенных жизнью. Дома он прятал свою трезвую расчетливость подальше от глаз и поэтически, романтически подыгрывал своей сочинительнице-жене и крепким, горячим дочкам. Он был неробкого десятка, не привык нить и сносить свои тяготы, ни на кого их не перекладывая. Нет, он не допускал, чтобы внешний мир слишком вторгнулся в его домашнюю жизнь. Его жена, натура утонченная, возвышенная, писала стихи, чем снискала себе определенную известность в узких литературных кругах. Сам он, земной, бывалый, исполненный бойцовского духа своих предков, по-детски обожал стихи, сладкозвучную поэзию и наслаждался ролью главы просвещенного семейства. Он был дюжей породы – вероятно, в ущерб изысканности. Но это лишь придавало их семейному очагу жизнерадостности, бодрости, рождественской праздничности. Он всегда нес с собой дыхание Рождества, это пришло к нему вместе с достатком. И если после обеда у них в доме угощали поэзией, то к ней на закуску подавали также шоколад и орехи и другие вкусные вещи.

Вот в такое семейство пришел Эгберт. Он был сделан из совсем иного теста. Отец и три дочери, плотно

*Моррис – театрализованный народный танец в костюмах героев легенды о Робин Гуде.

сбитые, полнокровные, были исконным порождением английской земли, как остролист или боярышник. Культура была привита им извне – так, наверное, можно привить садовую розу на куст терновника. Она принялась, как ни странно, но кровь, текущая в их жилах, от этого не изменилась.

Эгберт же был прирожденной розой. Поколения породистых предков наградили его пленительной и непридуманной пылкостью. Он не блистал познаниями или способностями, пускай хотя бы к «сочинительству», – нет. Но в музыке его голоса, в движениях гибкого тела, в упругости мускулов и блеске волос, в чистой, с горбинкой, линии носа и живости синих глаз было не меньше поэзии, чем в стихах. Уинифред любила его, любила этого южанина как некое высшее создание. Высшее, заметьте. Что не значит – более глубокое. Ну, а он – он любил ее страстно, всем своим существом. Она была для него как бы теплой плотью самой жизни.

Волшебными были эти дни в Крокхем-коттедже, эти первые дни в полном уединении, не считая прислуги, которая приходила по утрам. Чудесные дни, когда для нее, нее одной, цвела его стройная, гибкая, упругая молодость, а он окунался в нее, как в багряный огонь, и выходил обновленный. Пусть никогда не кончались бы эта страсть, этот брачный союз! Снова пламя двух тел ворвалось в старый дом, и без того населенный тенями плотских вожелений! Нельзя было час провести в темной комнате и не поддаться их власти. Жар, рожденный в крови ушедших йоменов, тлел под древним кровом, где, влекомые желанием, зачинали столько поколений. Молчаливый дом, темный, с толстыми деревянными стенами и огромным почерневшим очагом, овсянный тайной. Темный дом с подслеповатыми окошками, глубоко осевший в землю. Темный, словно берлога, в которой укрывались и спаривались сильные звери, одинокие ночью, одинокие днем, предоставленные себе и своим страстям на протяжении стольких поколений. На молодую чету он, казалось, наслал наваждение. Они стали дру-

гими. От них веяло затаенным странным жаром, в них дремал непонятный огонь, готовый вспыхнуть и объять их. Они и сами чувствовали, что не принадлежат больше миру Лондона. Крокхем подменил им кровь – ощущение близости змей, которые жили прямо у них в саду, спали, греясь на солнце, так что Эгберту не в диковинку было, орудуя лопатой, увидеть на черной земле буроватый подозрительный холмик, свитый в кольцо, который внезапно с шипением оживал и поспешно терялся в траве. Однажды странный вопль донесся до слуха Уинифред с клумбы под низеньким окошком гостиной – невыразимо странный вопль, можно было подумать, это сама душа прошлого вопиет из тьмы. Уинифред выбежала наружу и увидела на клумбе большую бурую змею и в плоской змеиной пасти – заднюю лапку лягушки, которая пыталась вырваться и издавала странный, тонкий, надрывный вопль. Уинифред глядела на змею, и мрачная плоская голова отвечала ей упорным взглядом. Она вскрикнула, и змея выпустила лягушку и недовольно заскользила прочь.

Таков был Крокхем. Современность не запустила в него когтей своих изобретений, он оставался такой, каким был: затаенный, дикий, первобытный, как в те времена, когда сюда впервые пришли саксы. И Эгберт с женой, отрезанные от мира, попали к нему в плен.

Он не сидел сложа руки; она тоже. Дел было хоть отбавляй: приводить в порядок дом, когда рабочие закончили с ремонтом, шить диванные подушки, занавески, прокладывать тропинки, носить воду, поливать, а потом – расчистить дорожки в запущенном саду на склоне, вскопать рыхлую землю, разровнять ее небольшими уступами и засадить цветами. Он работал с усердием, закатав рукава рубашки, работал по целым дням, берясь то за одно, то за другое. А она, покойная, умиротворенная, приходила помочь ему, побыть рядом. Конечно, он был дилетант – дилетант до мозга костей. Он трудился так много и так мало успевал, и что бы он ни сработал, все оказывалось недолговечным. Когда, на-

пример, нужно было разбить сад на террасы, он подпи-рал их двумя длинными узкими досками, которые бы-стро проседали под напором земли, и немного требо-валось лет, чтоб они прогнили насквозь, развалились и земля стала опять осыпаться вниз и кучами сползать к ручью. Но что поделаешь. Он не был приучен ни с чем справляться всерьез, он думал, что и так сойдет. Боль-ше того, он вообще не представлял себе, что, кроме вре-менных мелких поделок, возможно что-то иное – и это при столь пылкой любви к добротному старому дому, ко всей добротной английской старине! Вот что любо-пытно: его так покоряло в прошлом ощущение надеж-ности, прочности, а в настоящем он делал все с грехом пополам, кое-как.

Уинифред не могла его осуждать. Ей, выросшей в го-роде, все представлялось замечательным, копать землю лопатой – одно это уже казалось романтическим. Ни Эг-берт, ни она пока еще не видели разницы между роман-тикой и работой.

Годфри Маршалл, отец ее, был на первых порах со-вершенно доволен гнездом, свитым в Крокхем-коттедже. Эгберт оказался молодцом, куда ни глянешь – везде вид-на его рука, и радостно, что от обоих так и веет жаром страсти. Для человека, который, не зная отдыха, до сих пор трудился в Лондоне, поддерживая свое скромное состояние, главою непридуманной поэмы было созна-ние, что в Крокхем-коттедже, в укромной глуши среди болот и пустошей, где белеют невдалеке глыбы извест-ковых холмов, два юных существа сажают сад и любят друг друга. А он, старик, приносит дрова, питающие огонь их страсти. Он не дает угаснуть пламени. Мысль об этом наполняла его тайным торжеством. К нему, отцу, по-прежнему припадала Уинифред как к единственному источнику всего надежного, устойчивого, жизненного. Она любила Эгберта, любила страстно. Но опиралась она на силу своего отца. К этой силе обращалась всякий раз, когда ей нужна была поддержка. В трудную минуту, в минуту сомнений ей никогда не приходило в голову

обратиться к Эгберту. Нет, во всем по-настоящему серьезном она полагалась на отца.

Ибо Эгберт не помышлял о том, чтобы чего-нибудь добиться в жизни. Он решительно ни к чему не стремился. Он вырос в хорошей семье, в милом доме за городом, в чудесном окружении. Разумеется, ему следовало бы приобрести профессию. Изучить право или войти в какое-то дело. Но нет – роковые три фунта в неделю означали, что ему никогда не придется голодать, а добровольно идти в кабалу он не хотел. Нельзя сказать, чтобы он бездельничал. Он был, на свой, дилетантский лад, постоянно занят делом. У него просто не было желания найти себе место в мире и уж тем более – пробивать дорогу к этому месту. Нет уж, увольте, мир того не стоит. Мир пускай сам по себе, а он пойдет своим путем, стороной, как случайный странник, окольными заброшенными тропами. Он любит свою жену, свой дом, сад. Здесь, в некоем эпикурейском затворничестве, и будут протекать его дни. Он любит старину, старинную музыку, танцы, обычаи старой Англии.

В созвучии с ними, а не с деловым миром, он постарается построить жизнь.

Нередко, правда, отец призывал Уинифред в Лондон – он любил, чтобы дети находились при нем. А значит, ей с Эгбертом нужна была квартира в городе, и время от времени молодая чета перебиралась с лона природы в Лондон. Здесь у Эгберта было полно друзей, того же незадачливого образца, что и он сам: этот баловался живописью, тот пробовал сочинять или лепить, третий музицировал. Эгберту не приходилось скучать.

Трех фунтов в неделю, однако же, хватить на это все не могло. Деньги давал отец Уинифред. Ему нравилось давать деньги. Он положил дочери на расходы совсем немного, зато часто делал подарки – то Уинифред даст десять фунтов, то Эгберту. Так что оба видели в нем главную свою опору. Эгберт не находил ничего особенного в том, что пользуется чьими-то милостями, что за него кто-то платит. Только когда он чувствовал, что из-за де-

нег к нему в семействе относятся чуточку покровительственно, он начинал обижаться.

А там, естественно, пошли дети: прелестная белокурая дочка, маленький одуванчик с пушистой головкой.

Ребенка все обожали. Первый раз в семье появилось светловолосое изящное существо, похожее на отца белой кожей, стройностью и красотой сложения, с движениями танцующими и легкими, точно у феи полевой маргаритки, как оказалось, когда крошка подросла. Немудрено, что Маршаллы души не чаяли в девочке – ее назвали Джойс. Они и сами не лишены были своеобразной грации, но грации медлительной, тяжеловесной. Все они были коренастые, с сильными, плотно сбитыми телами и немного землистым оттенком кожи. И вот среди них расцвело первоцветом воздушное, тоненькое дитя. Она была сама поэзия, эта малютка.

Впрочем, вместе с нею появились и новые осложнения. Унифред должна была взять няню. Да-да, непременно. Так постановило семейство. Кому за няню платить? Кому же, как не деду, ведь отец ничего не зарабатывает. Ну да, няню возьмет на себя дед, как брал на себя все расходы, связанные с родами. В Крокхем пришло глухое ощущение денежного неблагополучия. Эгберт открыто жил на счет тестя.

После рождения ребенка у них с Унифред никогда уже не было по-прежнему. Вначале разница была едва заметна. И все же разница была. Во-первых, в центре внимания Унифред оказалось нечто новое. Она не собиралась делать из дочери предмет обожания. Однако ей было присуще то, что в наше время столь часто заменяет матерям нерассуждающую любовь: глубокое чувство долга к ребенку. Унифред ценила по достоинству очарование своей девочки и относилась к ней с большой ответственностью. Странно, что чувство ответственности могло обладать в ней над любовью к мужу. Но это произошло.

Это часто происходит. Материнский долг занимал в сердце Унифред первое место, а уж потом, где-то дальше, шел долг супружеский.

Ребенок как бы заново замкнул ее в круге родной семьи. Родители, она сама, ребенок – вот что составляло для нее святыню троицу на земле. Муж?.. Да, она его все еще любила. Но любовь была для нее чем-то несерьезным. В ней с первобытной силой развито было чувство долга, семьи. До замужества главной из человеческих обязанностей для нее был дочерний долг – отец был первопричиной бытия, твердыней, извечной опорой. Теперь к цепи семейного долга прибавилось еще одно звено: отец, она, ребенок.

Эгберт очутился вне круга. Ничто, казалось бы, не произошло, но мало-помалу, само по себе, совершилось его отчуждение. Жена еще любила его, то есть ее влекло к нему. Но только... только он сделался почти ненужной фигурой в игре. У него не было причин жаловаться на Уинифред. Она по-прежнему исполняла свой долг. По-прежнему он внушал ей страсть – страсть, на которую он поставил и жизнь свою, и душу. Но...

Опять и опять между ними вставало это назойливое «но». А потом, когда появился второй ребенок, вторая маленькая чаровница, белокурая и трогательная, хоть и не столь горделивой, пламенной стати, как Джойс, когда появилась Аннабел, Эгберт начал действительно понимать, как обстоит дело. Жена еще любила его. Но – и теперь это «но» выросло до исполинских размеров – физическая страсть к нему имела для нее второстепенное значение. И с каждым днем значила все меньше. В конце концов она успела познать страсть за два года. Не этим жив человек. Нет-нет, жизнь строят на чем-то более серьезном, основательном.

Она стала тяготиться своею страстью к Эгберту – стала самую малость презирать ее. Казалось бы, чего еще, в конце концов – милый, обаятельный, бесконечно желанный. Но... ах, какой грозной тучей нависло это «но»! – но он не высился на равнине ее жизни каменной горой, на которую полагаешься без оглядки, незыблемой и главной твердыней. Нет, он был вроде кошки, которую держишь в доме, а она в один прекрасный день возьмет

и скроется, не оставив по себе следа. Он был как садовый цветок, который трепещет на ветру у жизни, а потом осыпается, словно его и не было. Как дополнение, приложение он был бесподобен. Не одна женщина с восторгом держала бы его при себе всю жизнь как самое красивое, самое завидное свое достояние. Но Уинифред была человеком иных понятий.

Шли годы, и вместо того чтобы прочней утвердиться в жизни, он все дальше отходил от нее. Он был тонкой натурой, впечатлительной и страстной, но он попросту не желал посвятить себя жизни, работе, как их понимала Уинифред. Нет, он совершенно не намерен был пробивать себе дорогу в жизни и трудиться ради дела. Нет–нет, ни за что. А если Уинифред угодно жить шире, чем позволяют их скромные средства, – что ж, это ее забота.

А Уинифред, в сущности, и не хотела, чтобы он посвятил себя работе ради денег. Слово «деньги», увы, уподобилось для них горящей головне, способной в одну минуту воспламенить их обоих гневом. Но это лишь потому, что словам принято придавать условный смысл. Ибо Уинифред, в сущности, волновали не деньги. Ей было все равно, зарабатывает он что-нибудь или нет. Просто она знала, что три четверти денег, которые она тратит на себя и детей, идут от отца, и позволила этому обстоятельству стать между нею и Эгбертом *casus belli**, обнаженным мечом.

Чего же она хотела – чего? Ее мать сказала однажды со свойственным ей оттенком иронии:

– Видишь ли, дружок, если тебе выпало на долю смотреть на полевые лилии, кои не утруждаются, не прядут, – ну что же, бывает, что человеку выпадет и такая участь, и она, возможно, не худшая из всех. Зачем ты ропщешь на судьбу, дитя мое?

Мать превосходила детей острою ума, они чаще всего терялись, не зная, как ей ответить. Так что смяте-

* Поводом к войне (*лат.*).

ние Уинифред только усилилось. При чем тут лилии? Уж если говорить о лилиях, это ее маленькие дочки. Они по крайней мере растут. Ведь у Христа сказано: «Посмотрите на лили, *како* растут». Прекрасно, вот у нее и растут ее девочки. Что же до их отца, этот цветок давно уже вымахал в полный рост, и она не хочет тратить жизнь на то, чтобы созерцать его в расцвете его красоты.

Нет, не в том беда, что он не зарабатывал денег. И не в том, что бездельничал. Он постоянно что-то делал, постоянно возился с чем-нибудь в Крокхеме, занятый разной мелкой работой. Но какой работой, боже ты мой, какими мелочами – то это садовая дорожка, то роскошные цветы, то стулья, которые нуждаются в починке, – старые, сломанные стулья!

Беда в том, что он ничего не представлял собою. Добро бы он что-нибудь затеял и потерпел неудачу, *потеряв* на этом все деньги, какие у них есть. Добро бы испытал себя на чем-то, добро бы даже он был негодяй, мот – ей и тогда было бы проще. Было бы по крайней мере чему противиться. Мот все-таки представляет собой кое-что. Он говорит так: «Нет, я не буду приумножать и держаться купно со всеми, я в этом деле обществу не пособник, я, в меру моих скромных сил, всячески буду вставлять ему палки в колеса». Или так: «Нет, не буду я печься о других. Пускай мне свойственны низменные страсти, зато они – мои собственные, и я их не променяю ни на чьи добродетели». Мот, прохвост таким образом занимает определенную позицию. Ему можно противодействовать и в конечном счете образумить его – во всяком случае, если верить книжкам.

Но Эгберт! Что прикажете делать с таким, как Эгберт? Пороков за ним не водилось. Человек он был не только по-настоящему добрый, а даже широкий. И не слабый. Будь он слабый человек, Уинифред могла бы пожалеть его по доброте сердечной. Но даже в таком утешении ей было отказано. Он не слабый человек и не нуждается в ее жалости и доброте. Нет уж, увольте. Он –

изысканное, пылкое существо и отлит из более редкой стали, чем она. Он это знал, и она знала. И оттого, бедняжка, еще больше терялась и выходила из себя. Он, существо высшее, более совершенное, по-своему более сильное, забавлялся своим садом, своими старинными песнями, народными танцами – забавлялся себе, видите ли, а ей доставалось строить будущее, находя ему опору лишь в собственном сердце.

К тому же он начал ожесточаться, недоброе выражение пробегало порой у него по лицу. Он не уступал ей – какое там. словно сам бес вселился в это статное, стройное, белокожее тело. Он был здоров, был полон затаенной жизни. Только теперь ему приходилось таить силы жизни, кипящие в нем, раз она больше не принимала их от него. Вернее, принимала лишь изредка. Ибо временами она не могла не покориться. Она так сильно любила его, так желала, все так пленяло ее в этом создании, более совершенном, чем она сама. И она уступала – со стоном уступала своей неутолимой страсти к нему. Тогда он приходил к ней – дивно! страшно! – она не могла понять иной раз, как они умудрялись остаться в живых после того, как смерч страсти пронесся между ними. Для нее это было, как если бы ярые вспышки молний, одна за другой, пронизывали всю ее насквозь, пока, истощаясь, не угасали.

Но удел смертных – жить дальше. А удел легких, как пух, облаков – понемногу собираться все гуще, гуще, застилая небо, без следа затмевая солнце.

Было так. Возвращалась любовь, и, подобная грозной молнии, между ними вспыхивала страсть. Тогда ненадолго небо сияло над ними чистой лазурью. А потом, неумолимо, неизбежно, на горизонте вновь громоздились тучи, не спеша, потихоньку наползали на небосвод, отбрасывая то там, то сям ненастные холодные тени – не спеша, потихоньку сгущались, затягивая поднебесную ширь.

Шли годы, и небо все реже прояснялось от вспышек молний, все более скупно проглядывала из-за туч лазурь.

Постепенно и, казалось, необратимо все ниже нависала над ними давящая серая пелена.

Отчего же все-таки Эгберт не пытался предпринять что-нибудь? Отчего не пробовал утвердиться в этой жизни? Отчего не был, подобно отцу Уинифред, столпом общества – пусть тонкой, пусть изящной, но опорой? Отчего не желал впрягаться ни в какую упряжку? Выбрать для себя хоть какое-то четкое направление?

Ну, что на это сказать. Можно свести коня к водопою, но нельзя насильно заставить его пить. Водопоем был мир, конем – Эгберт. А конь уперся – и ни в какую. Не мог он пить, не мог, и все тут. Зарабатывать на хлеб с маслом ему не было надобности, а работать просто ради того, чтобы работать, он отказывался. Не будут вам водосборы кивать головками в январе, не закукует в Англии на Рождество кукушка. Почему? Не их это дело в такую пору. Не хотят они. Да и не могут хотеть.

То же было и с Эгбертом. Не мог он связать себя участием в общей работе, ибо не было в нем основного: побуждения к этому. Напротив – в нем глубоко засело горздо более сильное побуждение: держаться в стороне. На отдалении. Никому не причинять вреда. Но держаться в стороне. Не его это дело.

Возможно, ему не следовало жениться и заводить детей. Но кто повернет вспять течение вод?

То же верно было и в отношении Уинифред. Она была не так устроена, чтобы держаться в стороне. Ее фамильное древо принадлежало к тому жизнестойкому виду растительности, чье назначение – тянуться вверх и уповать на лучшее. Ей было необходимо, чтобы жизнь ее имела четкое направление. Никогда в родном доме ей не приходилось сталкиваться с нерешимостью, какая обнаружилась в Эгберте и вселяла в нее такую тревогу. Что делать, что ей было делать лицом к лицу с этой пугающей нерешимостью?

У них в семье все было совсем иначе. Возможно, ее отца тоже посещали сомнения, но он держал их при себе. Пожалуй, он в глубине души не очень-то верил в этот наш

мир, в это общество, которое мы строили с таким усердием, а доусердствовались в конечном счете до собственной гибели. Но Годфри Маршалл был сделан из другого теста, из муки грубого помола, замешанный круто и не без толики здоровой хитрецы. Для него вопрос был в том, чтобы выстоять, во всем прочем он полагался на провидение. Не слишком склонный обольщаться, он все же верил в провидение. Не мудрствуя и не рассуждая, он хранил в себе своеобразную веру – веру терпкую, точно сок неистребимо живучего дерева. Просто веру, слепую и терпкую, как сок в дереве слеп и терпок и все же с верой пробивается вперед, питая собою рост. Возможно, он был не очень разборчив в средствах, но ведь и дерево не очень-то разбирается в средствах, когда в стремлении выжить продирается к месту под солнцем сквозь чащобу других деревьев.

В конечном счете только этой неунывающей, неистребимой, как у древесного сока, верой и жив человек. Много раз могут сменяться поколения, ограждаемые стенами общественного здания, которое человек возвел для себя, и так же могут много лет плодоносить за садовой оградой груши и смородиновые кусты, даже если род человеческий исчезнет с лица земли. Но малопомалу садовые деревья начнут исподволь разрушать ту самую ограду, которая поддерживала их. Всякое здание малопомалу обрушится, если его не будут постоянно укреплять и восстанавливать руки живущих.

Это как раз и не мог заставить себя делать Эгберт – опять укреплять, опять восстанавливать. Сам он того не сознавал, а впрочем, если бы и сознавал – что толку? Не мог, и все тут. Такие качества, как стоицизм и эпикурейство, достались ему вместе с благородством происхождения. Тесть же его, которому ума было отпущено ничуть не меньше, чем Эгберту, понимал, что раз уж мы родились на свет, стало быть, ничего не поделаешь, надо жить. А потому с усердием трудился на своем кусочке общественной нивы, пекся, как мог, о благе семьи, а во всем прочем полагался на волю провидения.

В нем жил здоровый дух, это придавало ему силы. Хотя порой даже у него вдруг прорывалось ожесточение на этот мир и на то, как все в нем устроено. Пусть так, но в нем заложено было стремление к успеху, и оно помогло ему добиваться своего. Он не любил размышлять над вопросом, к чему сводится этот успех. К тому, что есть вот эта земля в Гемпшире, что его дети ни в чем не знают нужды, что сам он кое-что в этом мире значит, — и хватит! Довольно! Баста!

При всем том не надо думать, будто он был обыкновенный деляга. Совсе нет. Ему не хуже Эгберта было известно, что значит обмануться в надеждах. Может быть, в глубине души он давал ту же самую оценку успеху. Но он обладал своеобразным терпким мужеством, своеобразной покоряющей волей. В своем маленьком кругу он источал силу, подспудную силу цельной природы. Как ни баловал он своих детей, он все-таки оставался родителем старого английского образца. У него доставало мудрости не устанавливать непреложные правила, не подчинять себе других везде и во всем. И все же, к чести его будет сказано, он сохранял некую первозданную власть над душами своих детей, сохраняя старомодный, почти волшебный родительский престиж. Горел, дымился в нем древний факел родительской богоподобной власти.

В сиянии этого священного факела и воспитывались его дети. В конце концов, он предоставлял своим девочкам всяческую свободу. Однако по-настоящему так и не выпускал их за пределы своего влияния. А они, выходя на резкий холодный свет нашего сиротливого мира, учились смотреть на вещи глазами этого мира. Учились осуждать отца и даже, в холодном мирском ослеплении, поглядывать на него свысока. Но все это было очень хорошо на словах. Стоило строгим судьям позабыть на миг свой ужимки, как они вновь попадали под его влияние. Рдяный старый факел горел негасимо.

Предоставим психоаналитикам толковать об отцовском комплексе. Придумали словечко, а дальше что?

Речь идет о человеке, который не позволил угаснуть древнему рдяному огню отцовства – отцовства, которое дает право даже принести дитя свое, как Исаака, в жертву Богу. Отцовства, которое властно распоряжаться жизнью и смертью детей, ибо воплощает в себе могучую силу естества. И покуда дети – если это дочери – не подчинятся другому влиянию или же, если это сыновья, сами не станут, возмужав, носителями той же силы, преемниками того же мужского таинства, до тех пор, уж не взыщите, такой человек, как Годфри Маршалл, держит своих детей при себе.

Одно время казалось, что Уинифред ему не удержать. Уинифред просто боготворила мужа, смотрела на него снизу вверх, как на некое чудо. Вероятно, она ждала, что найдет в нем другую твердыню, другой оплот мужской уверенной силы, более надежный и совершенный, чем ее отец. Ибо та, что хоть раз ощутила на себе жаркое дыхание мужской власти, не вдруг кинется на негреющий резкий свет женской независимости. Она будет тосковать, всю жизнь тосковать по подлинной мужской силе, дарящей тепло и защиту.

Да и как было Уинифред не тосковать, когда для Эгберта власть заключалась в отречении от власти. Он был живым отрицанием власти. Или хотя бы даже ответственности. Ибо отрицание власти в конечном итоге сводится к отрицанию ответственности. В применении таких понятий он ограничивался самим собой. Он даже собственное влияние старался ограничить самим собой. Старался по мере возможности, чтобы его влияние не распространялось на детей, что случилось бы, если б он взял на себя какую бы то ни было ответственность за них. Сказано: «...и малое дитя будет водить их». Так пусть дитя и ведет. Он постарается не принуждать это дитя идти в том направлении, а не каком-нибудь ином. Не позволит себе влиять на это дитя. Свобода!..

Уинифред, бедная, задыхалась на этой свободе, точно рыба, вытасченная из воды, лишенная поддержки, которую привыкла находить в толще родной стихии. Пока

у нее не появился ребенок. А с ним – сознание, что она должна нести за него ответственность, должна оказывать на него влияние.

Но тут безмолвно, безучастно на ее пути стал Эгберт. Безмолвно, безучастно, но бесповоротно он свел на нет ее влияние на детей.

Родилась третья девочка. После этого Уинифред не захотела больше детей. Ее душа прорастала плевелами. Ведь у нее на попечении были дети, на ней лежала ответственность за них. Деньги на них шли от ее отца. Ее долг был дать им лучшее, что она может, быть властной в жизни их и смерти. Но нет! Эгберт отказывался взять на себя ответственность. Взять на себя хотя бы заботу о деньгах. Но и ей тоже не давал действовать по ее разумению. Не хотел допустить, чтобы над детьми утвердилась ее власть, власть естества, молчаливая и страстная. Это была война – война меж свободой и древней кровной властью. И побеждал в ней, разумеется, он. Девочки любили его без памяти. «Папа! Папочка!» При нем они вольны были делать, что им вздумается. Мать же хотела руководить ими. Руководить пристрастно, с побрякками, подчиняя их древним неразгаданным чарам родительской власти, маячащей над ними как нечто неоспоримое и богоданное – если верить, что власть бывает дарована от Бога. Маршаллы, будучи католиками, в это верили.

А Эгберт – он эту ее католическую кровную власть, идущую из тьмы веков, обращал в своего рода тиранство. Он не доверял ей детей. Похищал их у нее, отказываясь в то же время нести за них ответственность. Похищал их чувства и души, а ей предоставлял только управлять их поведением. Незавидный удел для матери. А дети обожали его, обожали, не подозревая, какая горькая пустота их ждет, когда они тоже станут взрослыми и выйдут замуж за таких же, как Эгберт, очаровательных пустоцветов.

Его любимицей оставалась по-прежнему старшая, Джойс. Теперь это было шестилетнее существо, живое, как ртуть. Барбара уже ковыляла на собственных ножках, ей пошел третий год. Жили они по большей части

в Крокхеме, это он так хотел. Уинифред, в сущности, и сама любила Крокхем. Но в теперешнем ее состоянии, от безысходности и слепой досады, ей представлялось, будто детей здесь на каждом шагу подстерегает опасность. Гадюки, волчьи ягоды, ручей, болото, а может быть, и несвежая питьевая вода – да мало ли что! С одной стороны – шквальный огонь приказаний от матери и няни, с другой – безмятежное непослушание трех белокурых, живых, как ртуть, маленьких непосед. За спиною у девочек против матери и няни стоял отец. Так-то.

– Иди скорей, няня, а то возьму и побегу туда, где змеи.

– Джойс, умеи же немножко потерпеть. Я только переодену Аннабел.

Ну, вот вам, вечно одно и то же. Работая на пустоши по ту сторону ручья, он слышал это. И все равно продолжал работать.

Вдруг послышался вопль, и он отшвырнул лопату и двинулся к мостику, вскинув голову, как потревоженный олень. Ага, вот и Уинифред – Джойс чем-то поранилась. Он стал подниматься по садовой дорожке.

– Что случилось?

Девочка кричала не умолкая. Теперь она выкрикивала:

– Папа! Папочка! Ой-ой, папа!

А мать приговаривала:

– Не бойся, маленькая. Дай-ка мама посмотрит.

Но девочка только захлебывалась криком:

– Ой, папочка, папа, папа!

Ее напугал вид крови, хлещущей у нее из колена. Уинифред, сев на корточки, привлекла шестилетнюю дочь к себе, чтобы осмотреть рану. Эгберт тоже склонился над девочкой.

– Не поднимай такой шум, Джойс, – раздраженно сказал он. – Как это с ней стряслось?

– Упала на серп – ты как резал здесь траву, так он и валяется с тех пор, – сказала Уинифред, с горькой укоризной глядя ему в лицо, когда он нагнулся ниже.

Он вынул носовой платок и обвязал им колено. Потом взял на руки плачущую дочь и понес домой, наверх,

в детскую. У него на руках она утихла. Но боль и сознание вины жгли ему сердце. Он оставил серп валяться там, на краю лужайки, и вот пострадал его первенец, ребенок, который так ему дорог. Впрочем, это ведь чистая случайность – просто несчастный случай. В чем ему так уж винить себя? Вероятно, ничего страшного, через два–три дня все пройдет. Стоит ли принимать это близко к сердцу, стоит ли волноваться? Он отмахнулся от своих страхов.

Девочка лежала на кровати в летнем платьице, очень бледная после пережитого потрясения. Пришла няня с младшей на руках; рядом, держась за ее юбку, стояла Аннабел. Уинифред, путающе серьезная, с помертвелым лицом, нагнулась над коленом, развязывая промокший от крови носовой платок. Эгберт тоже наклонился вперед, сохраняя видимость *sang froid**, хотя на душе у него было беспокойно. Уинифред прямо одеревенела от серьезности, значит, хотя бы ему следовало проявить чувство меры. Девочка стонала и похныкивала.

Из колена по-прежнему фонтаном била кровь – порез был глубокий и пришелся в самый сустав.

– Что ж, Эгберт, нужно ехать за доктором, – с горечью сказала Уинифред.

– Ой, нет! Ой, не надо! – в ужасе заверещала Джойс.

– Джойс, душенька моя, не плачь! – Станным, полным трагизма и душевной муки движением – движением *Mater Dolorata*** – Уинифред порывисто прижала девочку к груди. У Джойс даже слезы высохли от испуга. Эгберт посмотрел на трагическую фигуру жены, прижимающей к груди ребенка, и отвернулся. А маленькая Аннабел вдруг расплакалась:

– Джойси, пускай у тебя не идет из ножки кровь!

За доктором Эгберт поехал в деревню, до которой было четыре мили. Все-таки Уинифред перегибает палку, думалось ему. Конечно же, само колено не повреждено. Конечно, нет. Царапина, и только.

* Хладнокровие (*фр.*).

** Скорбящая мать (*искаж. лат.*).

Врача не оказалось дома. Эгберт оставил ему записку и налег на педали, спеша домой, сердце у него сжималось от тревоги. Обливаясь потом, он соскочил с велосипеда и вошел в дом с довольно пристыженным видом, как человек, которому есть в чем себя упрекнуть. Уинифред сидела наверху у постели Джойс, а та, побледневшая и важная, ела, лежа в постели, пудинг из тапиоки. У Эгберта сердце дрогнуло при виде испуганного, бледного личика дочери.

– Я не застал доктора Уинга, – сказал Эгберт. – Он будет у нас примерно в полтретьего.

– Не хочу, пускай не приходит, – захныкала Джойс.

– Джойс, родная, надо потерпеть и вести себя смиренно, – сказала Уинифред. – Тебе не будет больно. Зато доктор скажет, что делать, чтобы у тебя побыстрее зажила коленка. А для этого он должен побывать у нас.

Уинифред всегда все старательно объясняла девочкам, и всегда им в первые минуты после этого нечего было сказать.

– Кровь все еще идет? – спросил Эгберт.

Уинифред осторожно отогнула край одеяла.

– Нет, по-моему, – сказала она.

Эгберт тоже нагнулся, посмотрел.

– Да, перестала, – сказал он. Он выпрямился с прояснившимся лицом. – Доедай пудинг, Джойс, – сказал он дочери. – Это будет совсем не страшно. Несколько дней придется посидеть спокойно, вот и все.

– Пап, а ведь ты не обедал?

– Нет еще.

– Тебя няня покормит, – сказала Уинифред.

– Все будет хорошо, Джойс, – сказал Эгберт, улыбаясь дочери и отводя с ее лба прядку белокурых волос.

Девочка ответила ему пленительной улыбкой.

Он сошел вниз и поел в одиночестве. Подавала ему няня. Она любила ему прислуживать. Он всегда нравился женщинам, они любили ухаживать за ним.

Явился доктор – толстенный сельский врач, неунывающий и добродушный.

– Ну что, барышня, значит, бежали и шлепнулись? Не дело, совсем не дело! А еще такая умница! Как? И колленку поранили? Ай-ай! Вот это уже напрасно! Верно я говорю? Впрочем, не беда, не беда, до свадьбы заживет. Ну-с, давайте посмотрим. Это вовсе не больно. Ни-ни, ни чуточки. Подайте-ка, няня, нам тазик с теплой водой. Скоро у нас все пройдет, все пройдет.

Джойс смотрела на него с бледной улыбкой и немножко свысока. Она совсем не привыкла, чтобы с нею так разговаривали.

Доктор нагнулся, внимательно осматривая пораненное худенькое колено. Эгберт, стоя у него за спиной, наклонился тоже.

– М-да! Порезец довольно-таки глубокий. Скверный порезец. М-да! Но ничего. Ничего, барышня. Мы его живо вылечим. Живехонько вылечим, барышня. Тебя как зовут?

– Меня зовут Джойс, – сказала девочка внятно.

– Ах, вот как! – подхватил врач. – Вот как! Что же, моему, прекрасное имя. Джойс, стало быть? А сколько мисс Джойс лет, позвольте узнать? Может она мне сказать?

– Шесть лет, – сказала девочка слегка насмешливо и с безмерной снисходительностью.

– Шесть! Скажите на милость. Умеем складывать и считать до шести, я вижу. Ловко! Ловкая ты девочка. Ручаюсь, если такой девочке выпить ложечку лекарства, она выпьет и не поморщится. Не то что некоторые, да? Угадал?

– Если мама велит, я пью, – сказала Джойс.

– Ай да молодец! Вот это я понимаю! Приятно слышать такие слова от барышни, которая поранила себе ножку и лежит в постели. Молодец...

Продолжая тараторить, неунывающий доктор обработал и перевязал рану и назначил барышне постельный режим и легкую диету. Неделька–другая, и все обойдется, он полагает. Кость не задета, к счастью, связки – тоже. Поверхностный порез, не более того, он еще заглянет дня через два.

Итак, Джойс успокоили, уложили в постель и принесли ей в детскую все ее игрушки. Отец подолгу играл с ней. На третий день пришел доктор. Он остался вполне доволен коленом. Ранка подживает. М-да. Ранка, определенно, подживает. Дня через два он пришел опять. Уинифред немного беспокоилась. На поверхности порез, казалось бы, затягивался, но он причинял девочке слишком много боли. Что-то здесь было неладно. Она поделилась своими сомнениями с Эгбертом:

– Эгберт, я боюсь, колено у Джойс заживает не так, как надо.

– А по-моему – так, – сказал он. – По-моему, все идет благополучно.

– У меня нет такой уверенности. Хорошо бы еще раз вызвать доктора Уинга.

– А ты не придумываешь? Зачем изображать все хуже, чем есть на самом деле?

– Конечно. Я от тебя и не ждала услышать ничего другого. И все же я немедленно пошла открытку доктору Уингу.

Назавтра пришел врач. Осмотрел колено. М-да, воспаление налицо. М-да, не исключено, что начинается заражение крови – нет, не наверное. Но не исключено. Нет ли у девочки жара?

Так прошло две недели, и у девочки в самом деле был жар, и воспаление не проходило, а становилось все хуже, и колено болело, болело ужасно. Джойс плакала по ночам, и матери приходилось просиживать до утра у ее постели. Эгберт по-прежнему твердил, что ничего страшного нет, поболит и пройдет. Твердил, а у самого кошки скребли на душе.

Тогда Уинифред написала отцу. В субботу отец был у них. И едва Уинифред увидела знакомую плотную, довольно приземистую фигуру в сером костюме, как все ее существо с тоской потянулось к нему.

– Папа, я недовольна состоянием Джойс. И недовольна доктором Уингом.

– Что ж, Уинни, милая, если ты недовольна, значит, мы должны показать ее другому врачу, вот и все.

Твердыми, уверенными шагами немолодой человек поднялся в детскую. Его голос разносился по дому резко-вато, словно с трудом пробиваясь сквозь сгустившуюся атмосферу.

– Джойс, душенька, как ты себя чувствуешь? – говорил он внучке. – Как коленка – болит? Болит, девочка?

– Болит иногда. – Джойс стеснялась его, вела себя с ним отчужденно.

– Ах ты, милая. Это жаль. Ты, надеюсь, держишься молодцом, не чересчур беспокоишь маму.

Отклика не последовало. Он оглядел колено. Колено было багровое и плохо сгибалось.

– Я думаю, мы, определенно, должны посоветоваться с другим врачом. Эгберт, ты не мог бы съездить в Бингем за доктором Уэйном? Он лечил мать Уинни и произвел на меня самое благоприятное впечатление.

– Могу, если это, по-вашему, необходимо, – сказал Эгберт.

– Конечно, необходимо. Даже если окажется, что наши опасения напрасны, у нас будет по крайней мере спокойно на душе. Так что – конечно, необходимо. Я предпочел бы, чтоб доктор Уэйн приехал сегодня же, если возможно.

И Эгберт, словно мальчик на побегушках, отправился крутить педали навстречу ветру, а поддерживать и ободрять Уинифред остался тесть.

Приехал доктор Уэйн и не привез с собой ничего утешительного. Да, нет сомнений, что с коленом обстоит неблагоприятно. Есть опасность, что девочка останется хромой на всю жизнь.

Страх, негодование вспыхнули в каждом сердце. На завтра доктор Уэйн приехал снова и осмотрел колено уже как следует. Да, дела действительно приняли дурной оборот. Нужен рентгеновский снимок. Это чрезвычайно важно.

Годфри Маршалл прохаживался с доктором взад-вперед по дорожке, мимо стоящего на ней автомобиля, взад-вперед, взад-вперед, совещаясь, – сколько их было, таких совещаний, в его жизни!

Наконец он пошел в дом, к Уинифред.

– Что ж, Уинни, милая, самое лучшее – отвезти Джойс в Лондон и поместить в лечебницу, где ее смогут лечить должным образом. Колено, конечно, запустили, проглядели осложнение. И теперь, судя по всему, есть вероятность, что ребенок может даже лишиться ноги. Что ты думаешь, милая? Согласна ты отвезти ее в город и отдать в самые лучшие руки?

– Ох, папа, я для нее сделаю все на свете, разве ты не знаешь?

– Знаю, дорогая моя. Самое обидное, что уже упущено столько времени. Ума не приложу, куда смотрел доктор Уинг. По-видимому, есть опасность, что девочка лишится ноги. Да, так, если ты успеешь все подготовить, завтра мы повезем ее в город. Я прикажу, чтобы в десять утра сюда подали большой автомобиль от Денли. Эгберт, будь добр, сейчас же поезжай и отправь телеграмму доктору Джексону. Он держит небольшую детскую лечебницу поблизости от Бейкер-стрит, в том числе и для хирургических больных. Джойс будет там хорошо, я уверен.

– Отец, а я не могу сама за ней ухаживать?

– Видишь ли, детка, в лечебнице лучше, там ее будут лечить по всем правилам. Рентген, электричество – словом, все, что необходимо.

– Это очень дорого обойдется... – сказала Уинифред.

– Дорого или нет, не об этом надо думать, когда ребенок рискует остаться без ноги, когда, возможно, речь даже идет о его жизни. Сейчас не время толковать о том, во что это обойдется, – нетерпеливо сказал ее отец.

На том и порешили. Несчастную Джойс положили на кровать в большом закрытом автомобиле, мать села у нее в изголовье, в ногах сел дед, плотно сбитый, несо-

крушимо надежный, с подстриженной седой бородой и в котелке, и они медленно покатали прочь от Крокхема, от Эгберта, стоящего с непокрытой головой и немножко жалкого. Он остался закрыть дом и привезти на другой день в город остальное семейство на поезде.

Потянулись беспросветные, горькие дни. Бедная девочка. Бедная, бедная девочка, как она мучилась, каких натерпелась страданий за время долгого заточения там, в лечебнице. Шесть горьких недель, которые навсегда изменили душу Уинифред. Сидя у постели своей несчастной маленькой дочки, измученной адской болью в колене, а еще больше – адскими пытками этих новейших методов лечения, дьявольских, хотя, наверное, необходимых, сидя у ее постели, Уинифред чувствовала, что сердце у нее в груди убито и окоченело. Ее Джойс, ее хрупкая, храбрая, замечательная Джойс – хрупкая, маленькая, бледненькая, словно белый цветок! Как смелая она, Уинифред, быть такой гадкой, гадкой, такой беспечной, такой чувственной!

– Пусть сердце мое умрет! Пусть умрет мое женское, мое плотское сердце. Господи, пусть мое сердце умрет, только спаси мое дитя! Пусть умрет мое сердце для мирских, для плотских вожделений. Истреби, Господи, сердце, которое столь своенравно! Пусть умрет мое сердце, исполненное гордыни. Пусть мое сердце умрет.

Так молилась она, сидя у постели дочери. И, точно у Матери Божьей с семью клинками в груди, сердце, полное гордыни и страсти, постепенно умерло в ней, истекая кровью. Мало-помалу сердце умерло, истекая кровью, и Уинифред, ища утешения, обратилась к Церкви, к Иисусу Христу, к Богородице, но прежде всего – к могучему и незыблемому институту, именуемому Римская католическая церковь. Она отступила под сень Церкви. Она была матерью трех детей. Но внутри она омертвела – сердце, полное гордости, и страсти, и желаний, истекло кровью и утасло; душа была отдана Церкви, тело – исполнению материнского долга.

О супружеском долге и речи не было. Чувство долга у нее, как жены, отсутствовало, осталось лишь некое ожесточение против человека, с которым она познала такое сладострастие, забвение всего, о чем нельзя забывать. Теперь в ней жила одна только Mater Dolorata. Для мужчины она была запечатана, точно склеп.

Эгберт приходил проведать дочь. Но всякий раз тут же сидела Уинифред, точно склеп, где похоронен он, как мужчина и как отец. Бедняжка Уинифред, совсем еще молодая, еще полная сил, румяная, красивая, как алый полевой цветок на крепком стебле. Странно: здоровый румянец на лице – и эта мрачная сосредоточенность; сильное, тяжеловатое, полнокровное тело – и эта неподвижность. Уинифред – монахиня? Никогда! А между тем двери, ведущие к ее душе и сердцу, с медлительным и звучным лязгом захлопнулись ему в лицо, навсегда закрыть ему доступ к ней. Ей не было надобности принимать постриг. Душа ее уже сделала это.

А между ними, между этой молодой матерью и этим молодым отцом, лежало изувеченное дитя: ворох бледного шелка на подушке и белое, выпитое болью личико. У него не было сил это выносить. Просто не было сил. Он отворачивался. Ему не оставалось ничего другого, как только отворачиваться. Он отворачивался и бесцельно расхаживал туда-сюда. Он был все так же хорош и обаятелен. Но его лоб прорезала посередине угрюмая морщина, как зарубка, сделанная топором, – зарубка прямо по живому, на веки вечные, и было это позорное клеймо.

Ногу ребенку спасли, но колено окостенело намертво. Теперь боялись, как бы не начала сохнуть голень и нога не перестала расти. Девочке в течение длительного времени требовались массаж и лечебные процедуры, каждый день, даже после того, как она выйдет из лечебницы. И все расходы целиком ложились на деда.

У Эгберга теперь, в сущности, не было дома. Уинифред с детьми и няней была привязана к тесной лондонской квартире. Он там жить не мог, не мог пересилить

себя. Дом стоял запертый – или его на время отдавали друзьям. Эгберт изредка наезжал в Крокхем – поработать в саду, посмотреть, все ли в порядке. По ночам в пустом доме, в окружении всех этих пустых комнат, он чувствовал, как его сердцем овладевает зло. Ощущение пустоты и безысходности медлительной и вялой змеей заползало в него и медленно жалило в самое сердце. Безысходность, безысходность – страшный болотный яд проникал к нему в жилы и убивал его.

Днем, работая в саду, он чутко прислушивался к тишине. Ни звука. Не слышно Унифред в полутьме за окошками дома, не слышно в воздухе ребячьих голосов, ни звука с пустоши, из окрестных далей. Ничего, только глухое, вековечное, напоенное болотным ядом безмолвие. Так он работал, берясь то за одно, то за другое, и за работой проходил день, а вечером он разводил огонь и в одиночестве готовил себе поесть.

Он был один. Он сам убирал в доме и стелил себе постель. Но одежды он себе не чинил. Рубашки у него на плечах порвались во время работы, и сквозь прорехи просвечивало тело. На голое тело падали капли дождя, его холодил воздух. И Эгберт в который раз окидывал взглядом пустошь, где, осыпая семена, доживали свой век темные пучки утесника и, словно окропленные жертвенной кровью, рдели кустики вереска.

Первозданный дух этих диких мест проникал ему в сердце – тоска по старым богам, старым, утраченным вожделениям; вожделения, тлеющие в холодной крови молниеносных змей, которые с шипением металась в сторону у него из-под ног; таинство кровавых жертвоприношений – все, утраченной ныне силы, ощущения первобытных обитателей этих мест, чьими страстями воздух здесь был насыщен с тех стародавних времен, когда сюда еще не приходили римляне. Воздух, насыщенный забытыми темными страстями. Незримое присутствие змей.

Странное выражение, то ли потерянное, то ли недоброе, появилось у него на лице. Ему не сиделось подол-

гу в Крокхеме. Внезапно его охватывала потребность вскочить на велосипед и умчаться куда-нибудь. Куда-нибудь прочь отсюда. На несколько дней он заезжал в родной дом, к матери. Мать его обожала и горевала, как горевала бы всякая мать. Но затаенная усмешка, то ли потерянная, то ли недобрая, кривила ему губы, и он уклонялся от материнского сочувствия, как уклонялся от всего другого.

Постоянно в движении – с места на место, от одного приятеля к другому – и постоянно уклоняясь от проявлений участия. Едва только к нему, как ласковая рука, тянулось человеческое участие, он тотчас безотчетно сторонился его – так уходит, уходит, уходит в сторону от протянутой руки неядовитая змея. Какая-то сила толкала его прочь. И время от времени он возвращался к Уинифред.

Теперь он стал для нее ужасен, как живой соблазн. Она ведь посвятила себя детям и Церкви. Джойс была опять на ногах, но, увы, хромая, закованная в железные шинки и с легким костылем. Удивительно, как она вытянулась за это время – долговязый дичок с матово-бледным лицом. Удивительно, что боль не сделала из нее пай-девочку, смиренную и послушную, но выявила в ней вольный, почти вакхический дух. Семи лет она превратилась в длинноногое, бледное, худенькое, но нимало не сломленное существо. Ее белокурые волосы постепенно потемнели. Ей еще предстояло пройти долгий путь страданий, неся в своем детском сознании клеймо хромоножки.

Что ж, она несла его с достоинством. Ею владела какая-то вакхическая отвага, словно она была тонким, длинным клинком юности, отстаивающей жизнь.

Она знала, сколь многим обязана материнской заботе. Она была предана матери навсегда. Но в ней сказывалась отцовская порода, та же отчаянность сверкала в ней каленой сталью.

Когда Эгберт видел, как мучительно хромает его дочь, не просто хромает, а по-детски мучительно ковыляет, припадая на искалеченную ногу, сердце в нем отвердевало вновь, как сталь, когда ее вновь закаляют

огнем. Между ним и его девочкой царило молчаливое понимание – не то, что принято разуметь под любовью, а некое родство, объединяющее товарищей по оружию. В его обращении с нею сквозила легкая ирония, так не похожая на тяжеловесную серьезность, с которой неулыбно пеклась о дочери Уинифред. В ответ по лицу девочки пробежала быстрая улыбка, полунасмешливая, полубесшабашная, – ни с чем не сообразное легкомыслие, от которого Уинифред только еще больше темнела и еще ревностнее исполняла свой долг.

Маршаллы с бесконечным терпением и упорством изыскивали малейшую возможность спасти большую ногу и возвратить ребенку свободу движений. Они не жалели на это ни труда, ни денег, на этом сосредоточили всю свою волю. С присущей им тяжеловесной, медлительной, но несокрушимой силой духа они положили вернуть Джойс легкость и подвижность, возродить ее свободную, естественную грацию. Не важно, если на то, чтобы этого добиться, уйдет много времени, важно добиться.

Так обстояли дела. Неделю за неделей, месяц за месяцем Джойс подчинялась жестоким требованиям врачей, безропотно сносила боль. Она видела, с какой самоотверженностью ей стараются помочь, и была благодарна. Но душой, неукротимой и пылкой, она была в отца. В отце воплотилось для нее все обаяние романтики. Они с ним словно бы принадлежали к запрещенному тайному обществу, члены которого знают друг друга, но не имеют права обнаружить это. Обоим ведомо было что-то, что другим неизвестно, оба несли в себе одну и ту же тайну бытия – отец и дочь. Только дочь самоотверженно держалась в стане матери, а отец, подобно Измаилу, скитался за его пределами и лишь изредка заходил посидеть два–три часа, два–три вечера подле лагерного костра, подобно Измаилу в загадочном и напряженном молчании, и глумливый голос пустыни отвечал за него из глубины его молчания, ниспровергая все, что стоит за понятиями «семья» и «дом».

Его присутствие было для Унифред мукой. Она молилась, ограждая себя от него. От этой зарубки поперек его лба, от затаенной недоброй усмешки, то и дело пробегающей у него по лицу, а пуще всего – от этого его торжествующего одиночества, от Измайлова духа. От красноречивой, точно символ, прямизны его гибкого тела. Одно то, как он стоял, такой неслышимый, ненадежный, точно прямой, напряженный символ жизни, – одно противостояние этого налитого жизнью тела ее удрученной душе было пыткой. Он ходил, он двигался перед нею, как упругое, живое языческое божество, и она знала, что если он будет оставаться у нее на глазах, она погибла.

И он приходил и вел себя как дома в ее маленьком доме. Когда он был тут, неслышно, как он умел, двигался по комнатам, ее охватывало чувство, что великий закон самопожертвования, которому она добровольно подчинила свою жизнь, ровным счетом ничего не стоит. Одним лишь своим присутствием в доме он ниспровергал законы, по которым она жила. А что он предлагал взамен? Вот вопрос, от которого она лишь укреплялась в своем отступничестве.

Ей было мучительно мириться с тем, что он рядом, – видеть, как он ходит по комнатам, слышать его высокий звучный голос, когда он разговаривает с детьми. Аннабел просто обожала его, и он дурачился, поддразнивая девушку. Младшая, Барбара, держалась с ним неуверенно. Ей он с самого рождения был чужим. Но даже няня и та возмущалась, видя, как сквозь прорехи в его продранной на плечах рубашке просвечивает тело.

Унифред считала, что это просто еще один способ уязвить ее.

– У тебя есть другие рубашки, Эгберт, что ты ходишь в этой, старой, ведь она вся порвалась, – говорила она.

– Ничего, могу и эту доносить, – отвечал он не без коварства.

Он знал, что она ни за что не вызовется починить ему рубаху. Она не могла. Да и не хотела, правду сказать. Разве

она не дала себе зарок чтить иных богов? Как же можно было им изменить, поклоняясь его Ваалам и Астартам? Сущей мукой ей было видеть его, еле прикрытого одеждой, как бы ниспровергающего ее и ее веру, подобно новому откровению. Точно языческий идол, осиянный светом, он был призван сюда ей на погибель – светозарный идол жизни, готовый торжествовать победу.

Он приходил и уходил – она все не сдавалась. И вот грянула великая война. Такой человек, как Эгберт, не может пуститься во все тяжкие. Не может предать себя растлению. В нем, истом сыне Англии, говорила порода: такой, как он, даже при желании не мог бы исповедовать низменную злобу.

И потому, когда грянула война, все существо его безотчетно восстало против нее – восстало против побоища. Он не испытывал ни малейшего желания идти побеждать каких-то иноземцев, нести им смерть. Величие

Британской империи не волновало его, и слова «Правь, Британия!» вызывали разве что усмешку. Он был чистокровный англичанин, совершенный представитель своей нации, и не мог, оставаясь верным себе, исполниться воинственности на том лишь основании, что он – англичанин, как не может исполниться воинственности роза на том лишь основании, что она – роза.

Нет, Эгберт положительно не испытывал желания разить немцев во славу англичан. Различие между немецким и английским не было для него различием между добром и злом. Для него это было просто несходство, такое же, как между болотным голубеньким цветком и белым или алым бутоном на кусте. Как между вепрем и медведем, хоть оба – дикие звери. Бывают люди хорошие по природе, бывают – дурные, и национальность тут ни при чем.

Эгберт вырос в семье, где такое усваивают с молоком матери. Ненавидеть нацию *en bloc** казалось ему противоестественным. Он мог недолго любить одного, любить кого-то другого; слово «народ» не говорило ему

* Целиком (*фр.*)

ничего. Одни поступки он не одобрял, другие – считал естественными; на каждый случай жизни он не имел определенного мнения.

Но одна благородная особенность была у него в крови. Он не терпел, чтобы ему навязывали мнения в соответствии с мнениями большинства. У него есть собственный взгляд на вещи, свое особое отношение к ним, и никогда он по доброй воле от них не отступится. Неужели человек должен отступить от своих подлинных представлений, своего подлинного «я» потому лишь, что так угодно толпе?

То же самое, что тонко и безоговорочно понимал Эгберт, понимал и его тесть, на свой грубоватый, строптивый лад. При всем несходстве эти двое были истые англичане, и побуждения у них почти совпадали.

Только Годфри Маршаллу приходилось считаться еще и с окружающим миром. С одной стороны, была Германия, одержимая духом военной агрессии; с другой стороны – Англия, выдвигающая в противовес войне идею свободы и «мирных завоеваний», иначе говоря – индустриализм. Из двух зол выбирают меньшее; и, поставленный перед выбором: милитаризм или индустриализм, старый Маршалл волей-неволей отдавал предпочтение второму. Старый Маршалл, в душе которого столь живо было врожденное стремление к власти.

Эгберт же попросту отказывался считаться с окружающим миром. Отказывался хотя бы сделать выбор между германским милитаризмом и британским индустриализмом.

Не отдавал предпочтения ни тому, ни другому. Что до актов жестокости, он презирал тех, кто их совершает, как выродков с преступными наклонностями. Преступление не связано с национальной принадлежностью.

Но вот – война! Война! Война – и точка! Не рассуждения о том, кто прав, а кто не прав, сама война. Что ему делать? Идти в армию? Отдать себя в руки войны? Этот вопрос преследовал его не одну неделю. Но не от сознания, что Англия права, а Германия – нет. Возможно, Германия

и в самом деле была виновата, да он-то отказывался делать выбор. Нет, не от воодушевления преследовал его этот вопрос. А оттого, что грянула война.

Его удерживала мысль, что, вступая в армию, он должен отдать себя во власть других людей, смирить свой дух перед духом демоса, духом толпы. Полно – да надо ли? Надо ли перекраивать жизнь свою и тело по мерке тех, кто как личность заведомо уступает тебе? Надо ли предавать себя власти тех, кто тебя ниже? Предавать самого себя? Надо ли?

И, однако, он знал, что сделает это, признает над собою власть тех, кто ниже его. Он подчинится. Позволит, чтобы им командовали ничтожества, *canaille**, унтер-офицерский сброд – или пусть даже офицерский, какая разница. Им, который рожден и возвращен свободным... Надо ли?

Он пошел поговорить с женой.

– Идти мне в армию, Унифред?

Она молчала. В ней, как и в нем, все безотчетно и безоговорочно восставало против этого. Но затаенная глубокая обида заставила ее ответить:

– У тебя трое детей на руках. Ты об этом подумал, хотела бы я знать?

Шел только третий месяц войны, и старые, довоенные представления не успели еще изжить себя.

– Разумеется. Но для них это не составит особой разницы. Буду по крайней мере зарабатывать шиллинг в день.

– Знаешь что, говори лучше с отцом, – угрюмо отозвалась она.

Эгберт пошел к тестю. Старик, глубоко им возмущенный, ожесточился сердцем.

– Для тебя, по-моему, это будет самое лучшее, – уронил он неприязненно.

Эгберт тут же пошел и вступил в армию рядовым. Его зачислили в легкую артиллерию.

* Негодяй (*фр.*)

Отныне у Уинифред появился по отношению к нему новый долг: долг жены перед мужем, который, в свою очередь, исполняет свой долг перед миром. Она все еще любила его. И знала, что будет любить всегда, если говорить о земной любви. Но теперь она руководствовалась в жизни чувством долга. Когда он приходил к ней – солдат в солдатской форме, – она, как подобает жене, покорялась ему. Это был ее долг. Но покоряться безраздельно его страсти она разучилась навсегда. Теперь – и уже навсегда – что-то мешало ей: мешало то, что она решила для себя, в глубине души.

Он возвращался обратно в лагерь. Облик современного солдата не шел ему. Унылая, жесткая, топорная форма убивала его, погребая под собой изящество его сложения. Унизительная скученность лагерной жизни оскорбляла деликатность, присущую человеку его воспитания. Но выбор был сделан, и он мирился. Неприятное выражение портило его лицо – выражение человека, который мирится со своим падением.

Ранней весной Уинифред поехала в Крокхем, спеша захватить ту пору, когда выглянут примулы и на кустах орешника повиснут сережки. Теперь, когда Эгберт проводил почти все дни в лагерной неволе, ей было легче его прощать. Джойс не помнила себя от восторга, снова увидев сад и пустошь после мучительных восьми с лишним месяцев лондонской жизни. Она еще хромила. Нога ее еще оставалась в оковах. Но она ковыляла повсюду с проворством, нимало не обузданным ее увечьем.

Эгберт приехал в конце недели в своей топорной, жесткой, как наждачная бумага, форме, в обмотках, в уродливой фуражке. Ужасное зрелище! И это лицо, как бы не дочиста отмытое, эта болячка на губе, точно след невоздержанности в еде и питье, точно что-то нечистое попало к нему в кровь. Он до безобразия поздоровел от лагерной жизни. Это ему не шло.

Уинифред ждала его, страстно желая исполнить свой долг, пожертвовать собой; ждала, готовая служить – сол-

дату, не мужчине. Ему от этого становилось только тошней. Эти дни были пыткой для него: память о лагере, сознание, какая его там ждет жизнь, даже вид собственных ног в ненавистном хаки. Словно что-то нечистое проникало к нему в кровь от прикосновения заскорузлой ткани и засоряло ее. И потом – Уинифред, ее готовность служить солдату, когда мужчину она отвергла. Горечь, словно сор, скрипела у него на зубах. И дети, их бегогня, возня, их голоса, и все – с налетом особого жеманства, какое бывает у детей, когда есть няня, есть гувернантка, есть бабушка, которая пишет стихи. И Джойс – такая хромая! Все это после лагеря казалось ему ненастоящим. Это лишь растревляло ему душу. В понедельник на рассвете он уехал, радуясь, что возвращается к грубой лагерной действительности.

Больше Уинифред ни разу не встречалась с ним в Крокхеме – только в Лондоне, где вместе с ними был целый свет. Иногда, правда, он ездил туда один; обычно, когда там жил кто-нибудь из друзей. Копался в своем саду. Еще этим летом сад заблистает лазурью воловиков, пурпуром огромных маков; мягко закачают станом на ветру пушистые коровяки, его любимцы, а ночью, под уханье филина, жимолость будет струить свой аромат, сладостный, точно воспоминание. Потом он подсаживался к камину, у которого собирались его друзья и сестры Уинифред, и они пели хором народные песни. Он переодевался в тонкое штатское платье, и его обаяние, красота, упругое совершенство его тела вновь победно простилали наружу. Но Уинифред там не было.

В конце лета его отправили во Фландрию, где шли бои. Он как бы уже простился с жизнью, ступил за ее пределы. Он больше почти не вспоминал свою жизнь, как человек, который готовится совершить прыжок с высоты и глядит лишь туда, где ему предстоит приземлиться.

Он был дважды легко ранен, в первые два месяца. Но оба раза получал царапины, с какими выбывают из строя на день-другой, не больше. Они опять отступали, сдерживая противника. Три скорострельные пушки –

его в том числе – прикрывали отход. Окрестность, еще не вытоптанная войной, ласкала глаз. Только воздух, казалось, раскололся на части, и земля лежала, обреченная смерти. Шли маловажные, небольшие бои, и в одном таком участвовал Эгберт.

Пушки были установлены на невысоком, поросшем кустами бугре сразу же за деревней. Время от времени, трудно сказать откуда, доносилась винтовочная трескотня, а за нею, совсем уже издали, тяжкие удары орудий.

Вечерело, в остывающем воздухе тянуло холодом.

Высоко на железной площадке, к которой вели ступени, стоял, высматривая цели, лейтенант и заученно, отрывистым высоким голосом выкрикивал команды. Дистанция – номер орудия – «огонь!» – сухо щелкало над головой.

Быстрел – и ствол пушки откатывался назад, гремел взрыв, и в воздухе легким облачком повисал дымок. Потом стреляли два других орудия и наступало недолгое затишье. Офицер не знал точно, где находятся позиции противника. В густой купе конских каштанов внизу не наблюдалось никакого движения. Лишь где-то, не умолкая, бухали пушки – в такой дали, что это вселяло ощущение покоя.

Справа и слева темнели заросли утесника, но там и сям в них желтыми искорками проглядывали редкие цветы. Эгберт заметил их почти безотчетно, пережидая минуты затишья. Он был без кителя, и воздух охлаждал ему руки. Снова рубашка у него на плечах порвалась, и сквозь прорехи просвечивало тело. Он был заляпан грязью, растерзан. Но лицо его оставалось спокойным. Столь многое уходит из сознания, прежде чем сознанию приходит конец...

Перед ним, рассекая крутые, травянистые под кустами утесника скаты, бежал большак. Видно было, как на дороге белесо подсыхает грязь в колесах и глубоких рытвинах, оставленных при отходе частью его полка. Теперь здесь все стихло. Звуки, долетающие до слуха, рождались вдалеке.

Место, где он стоял, было пока еще объято тишиной и безмятежностью под остывающими небесами; за деревьями, светлая, точно видение, маячила церковка.

Резкий окрик офицера наверху – и он пришел в движение, бездумно и молниеносно, как машина. Заученный, чисто механический обряд повиновения; служба при орудии. Чисто механические действия у пушки. Они не обременяли собою душу, обнаженную во тьме своей для скорби. Когда приходит конец, душа одиноко скорбит над потоком вечности, словно птица над волнами темного моря.

Ничего не видно вокруг; лишь дорога, да придорожное распятие, покосившееся от толчка, да по-осеннему темные поля и леса. На небольшой возвышенности показались три всадника, совсем игрушечные на гребне вспаханного поля. Это были свои. Противник будто в воду канул.

Затишье затянулось. Вдруг сверху – отрывистая команда повернуть пушки в другом направлении и напряженно лихорадочное движение вниз. Но душа была по-прежнему безучастна, одинокая в своей скорби.

И все же именно душа первая уловила новый звук, новый орудийный раскат, глубокий, хватающий прямо за сердце. Обливаясь потом, он ни на секунду не оторвался от торопливой возни у пушки. Но в душе отозвался новый звук, глубокий – глубже, чем звуки жизни.

Подтверждением ему возник тонкий, ледящий кровь свист снаряда, внезапно переросший в пронзительный, раздирающий вопль, летящий пронзить оболочку жизни. Слух принял его, но приняла и душа, застывшая в оцепенении. Он облегченно вздохнул, когда снаряд пронесся мимо и ударился оземь, далеко позади. Послышались хриплый грохот взрыва и голос солдата, окликающий лошадей. Но Эгберт не оглянулся. Он заметил только, что на дорогу внизу легла, точно приношение, веточка остролиста, усыпанная красными ягодами.

Пронесло; на этот раз пронесло. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Кому он это сказал – снаряду? Куда ты пой-

дешь, туда и я. Но вот опять родился тонкий свист снаряда, и кровь в нем оборвала свой ток и затаилась, готовая его принять. Свист нарастал, похожий на порыв зловещего ветра, и Эгберт потерял способность ощущать что бы то ни было. Но в этот миг, когда время остановилось, он увидел, как снаряд тяжело падает вниз, в скалистые заросли, и оттуда хлынула ввысь земля вперемешку с камнями. Взрыва он как будто не слышал. Комья земли, камни и истерзанные кусты посыпались обратно, и вновь воцарились тишина. Немцы пристрелялись.

Что же теперь? Отступать? Да. Офицер скороговоркой сыпал команды на последний залп перед отходом. В спешке никто не обратил внимания на новый снаряд. И тогда в тишину, в ожидание, туда, где скорбно застыла душа, ворвались наконец гром, и мгла, и вспышка нестерпимой боли, и смертный ужас. Он-то видел, как летит темная птица, летит теперь уже прямо на него. В одно мгновение жизнь и вечность потопил пожар адской боли, а потом навалилась темнота...

...Что-то слабо забрезжило во тьме, к нему возвращалось сознание, а вместе с ним – ощущение непосильной тяжести и монотонный звон в ушах. Познать миг смерти! И быть перед смертью обреченным нести в себе память о нем. Поистине рок, беспощадный до последнего вздоха.

Вновь, отдаваясь в ушах, зазвенела боль. Чудилось, будто она звучит извне, по ту сторону сознания, будто совсем рядом звонил огромный колокол. И, однако, он знал, что боль – это он сам. Нужно было отождествить себя с нею. Выйдя из забытья, он сделал еще одно усилие и определил, что боль – у него в голове; огромная боль звенит, отдаваясь в ушах. Настолько ему удалось отождествить себя с самим собою. До того, как снова впасть в забытье.

Какое-то время спустя он, как видно, очнулся опять – очнулся и осознал, что он на фронте и что его убили. Он не открывал глаз. Свет пока оставался там, за чертою. Боль, точно гулкий колокол, звонила у него в голове, вы-

тесняя из сознания все остальное. И он уходил от сознания в невыразимом, страдальческом неприятии жизни.

Мало-помалу, неминуемая, точно рок, явилась потребность знать. Его ранило в голову. Вначале это была лишь смутная догадка. Но маятник боли, качаясь, раскачиваясь все ближе и ближе, толкал его к муке сознания, к сознанию муки, в котором постепенно рождалась ясность. Да, он ранен в голову – ранен в лоб, над левым глазом, а раз так, должна быть кровь. Чувствует ли он кровь – залит ли кровью левый глаз?.. И оболочка его мозга, казалось, лопнула от звона смертельной, безумной боли.

Что это – кровь у него на лице? Струя горячей крови? Или кровавый сгусток, запекшийся на щеке? Ему понадобились часы, чтобы только задать этот вопрос, время лишилось измерений, став лишь безмерным страданием во тьме.

Он долго пролежал с открытыми глазами, пока сообразил, что видит что-то – но что? Что? Усилие вспомнить, что он видит, оказалось слишком мучительным. Нет, нет! Никаких воспоминаний!

Что это – звезды на темном небе? Неужели? Звезды на темном небе. Звезды? Вселенная? Но нет – почему ему знать! Звезды, вселенная больше не существуют для него; он закрыл глаза. Прочь, звезды, прочь, небо, вселенная. Сгиньте! Пусть остается темнота, густая, словно кровь. Пусть все поглотит густая тьма, в которой кровь изнывает от страданий.

Приди, о смерть! Весь мир есть кровь, и эта кровь корчится в агонии. Душа – как малый светлячок, малая точка света над темным морем; морем крови. Свет мерцает, бьется, трепещет в безветрии бури, тщится угаснуть и не может. Когда-то была жизнь. Когда-то была Уинифред, дети. Но бессильная от смертной муки попытка ухватиться за соломинку воспоминаний, соломинку миновавшей жизни, вызвала только необоримое отращение. Не надо! Не надо Уинифред и детей. Не надо мира, людей, населяющих его. Пусть муки влекут его дальше, в небытие – все лучше, чем тошнотворные попытки вернуть-

ся вспять. Пусть вершится дальше страшное дело; лучше раствориться в небытии, безвозвратно кануть в черное море смерти, чем, обратясь назад, цепляться за жизнь. Забыть! Забыть! Предать забвению – и предаться великому забвению смерти. Истребить в себе жизнь, вырвать с корнем – и кануть в великую мглу. Только так. Оборвать путеводную нить и смешаться, слиться воедино с вездесущей мглой, без начала и без конца. Пусть черное море смерти само решит вопрос о жизни иной. Пусть сломит смертный волю свою и смирится.

Но что это? Свет! Ярый свет! И чьи это фигуры? Не конь ли это исполинский подступил к нему – небывалый конь-исполин вырос над ним?..

Немцы услышали легкий шорох и насторожились. Взвилась осветительная ракета, и в ее слепящем свете у холмика земли, насыпанной взрывом снаряда, они увидели мертвое лицо

Дочь лошадника

– Ну, Мейбл, а ты как думаешь жить дальше? – с дурацкой небрежностью спросил Джо. За себя он был вполне спокоен. Не дожидаясь ответа, он отвернулся, соскреб на кончик языка табачную крошку и сплюнул. За себя он был спокоен, а прочее его не волновало.

Три брата и сестра сидели за столом с остатками завтрака, неумело и вразнобой держа нечто вроде семейного совета. Утренняя почта подвела последнюю черту под разорением; все было кончено. Сама столовая – мрачная, с тяжелой, красного дерева мебелью – и та, казалось, обреченно ждала конца.

Семейный совет проходил бесплодно. Трое мужчин, развалясь вокруг стола, обменивались неопределенными репликами о своем положении, и чувствовалось почему-то, что все это – впустую. Сестра держалась особняком, невысокая хмурая девушка двадцати семи лет. Братья жили своей жизнью, она – своей. Она была бы хороша собой, но безучастная – «бульдожья», по выражению братьев – неподвижность портила ее лицо.

Снаружи донесся нестройный конский топот. Мужчины, все так же развалясь на стульях, повернули головы к окну. За темными кустами остролиста, отделяющими полоску газона от дороги, показалась кавалькада – это со двора выводили на проминку ломовых лошадей. Выводили в последний раз. Последние лошади, каким суждено было пройти через их руки. Три брата проводили их придирчивым и отчужденным взглядом. Привычная жизнь рушилась, и это их пугало, ощущение беды сковывало их, лишало внутренней свободы.

А между тем на вид все трое были молодцы хоть куда. Старший, тридцатитрехлетний Джо, полнокровный, дю-

жий детина, был по-своему недурен собой. Его багровые щеки пылали, пустые глаза беспокойно перебежали с предмета на предмет, толстые пальцы пощипывали смоляной ус. Чувственный рот его при смехе открывал зубы, по всей повадке видно было, что он глуп. Сейчас он провожал лошадей остекленелым от бессилия взглядом, как бы пришибленный невзгодой.

Могучие битюги прошествовали мимо. Вчетвером, связанные голова к хвосту, они мерно влеклись туда, где от большой дороги отходила тропа, с пренебрежением шлепая могучими копытами по черной жидкой грязи, покачивая могучими крутыми крупами и неожиданно переходя на рысь за несколько шагов до развилки, когда сворачивали на тропу. В каждом их движении угадывались тяжеловесная дремотная мощь и тупость, которые удерживала их в ярме. Конюх впереди оглянулся, дернул повод – и процессия скрылась за поворотом, только тугой, упругий хвост последней лошади то и дело выскакивал из-за кустов, пружиня в лад могучему крупу, покачивающемуся во сне.

Джо наблюдал за ним безнадежным остекленелым взглядом. Для него лошади были точно часть его собственного тела. Точно часть его самого отнимали у него вместе с ними. Хорошо, что он обручен и невеста одних с ним лет – ее отец служит управляющим в соседнем имении и позаботится о том, чтобы обеспечить ему место. Женится и впряжется в упряжку. Жизнь кончена, отныне он – подневольная рабочая скотина.

Он с трудом оторвал взгляд от окна, слыша, как замирает в отдалении топот конских ног. И тотчас с дурацкой суетливостью сгреб с тарелок обрезки ветчинной кожицы и, присвистнув, бросил их терьеру, который лежал, привалясь к каминной решетке. Он следил, как собака глотает их, дожидаясь, покуда она заглянет ему в глаза. Слабая, бессмысленная усмешка тронула ему губы.

– Когда-то тебе еще перепадет ветчинки, – сказал он тонким голосом. – Верно я говорю, сукина дочка?

Собака вяло помахала хвостом, понурилась и, сделав круг по комнате, снова улеглась на полу.

Над столом в который раз повисло беспомощное молчание. Джо томился, обмякнув на стуле, но медлил уходить, пока семейство не кончит совещаться. Фред Генри, средний брат, живой, подтянутый, держался прямо. Он хладнокровнее смотрел вслед уходящим лошадям. Может быть, и он, подобно Джо, тоже был животным, но не из тех, какими помыкают. Он сам умел подчинять своей воле других, мог обуздать любого коня. От него веяло уверенной силой. Однако в сложной жизненной ситуации он оказывался беспомощен. Он расправил над верхней губой рыжеватые жесткие усы и раздраженно покосился на сестру, сидящую с непроницаемо безучастным видом.

– Поедешь, у Люси поживешь первое время, да? – спросил он.

Девушка не отозвалась.

– Не знаю, что тебе еще остается, – настаивал Фред Генри.

– Можно в прислуги, – коротко вставил Джо.

Мейбл и бровью не повела.

– Я бы на ее месте пошел учиться на сестру милосердия, – подал голос третий брат, Малькольм. Он был младший в семье, двадцатидвухлетний, со свежей, задорной *museau**.

Мейбл будто не слышала его. Так много лет их речи витали вокруг, летали в воздухе, не задевая ее, что она отучилась обращать на них внимание.

Мягко пробили полчаса мраморные часы на камине; собака поднялась с коврика и вопросительно поглядела на людей, собравшихся за столом. А люди все сидели, бесплодно пытаясь что-нибудь решить.

– А, ладно, – ни с того ни с сего объявил вдруг Джо. – Тронусь-ка я.

* Мордочкой (*фр.*).

Он отодвинул стул, развел рывком колени, по-лошадиному перенося на них тяжесть, и широко шагнул к огню. Но все-таки не уходил из комнаты, любопытствуя, что будут делать и говорить другие. Он принялся набивать трубку, поглядывая на собаку и приговаривая делано тонким голосом:

– Со мною собралась идти? Со мною, а? Только путь-то, слышишь, у нас сегодня будет подальше, чем ты считаешься.

Собака слабо завиляла хвостом; Джо выставил вперед челюсть и, обхватив трубку ладонями, сосредоточенно запыхтел, отдаваясь табачному дурману и не сводя с собаки отсутствующих карих глаз. Собака отвечала ему скорбным, недоверчивым взглядом. По-лошадиному подрагивая коленями, стоял над нею Джо.

– Ты от Люси получила письмо? – спросил у сестры Фред Генри.

– На той неделе, – равнодушно уронила она.

– И что она пишет?

Ответа не последовало.

– Совет к себе пожить? – допытывался Фред Генри.

– Говорит, если надумаю – пожалуйста.

– Тогда давай, чего же лучше. Напиши, что приедешь в понедельник.

Мейбл промолчала.

– Ну, что – значит, так тому и быть? – сказал Фред Генри, начиная терять терпение.

Она опять ничего не ответила. В комнате наступила обескураженная, досадливая тишина. Малькольм глуповато ухмыльнулся.

– Решай, времени тебе осталось – до следующей среды, – громко сказал Джо, – а не то ищи себе пристанище на улице.

Лицо девушки потемнело, но она не шелохнулась.

– А вот и Джек Фергюссон! – воскликнул Малькольм, бесцельно глазающий в окно.

– Где? – громогласно вскричал Джо.

– Да вон пошел.

– К нам?

Малькольм, вытянув шею, глянул в сторону калитки.

– Ага.

Все притихли. Мейбл сидела во главе стола, точно приговоренная к смерти. Слышно было, как кто-то свистнул на кухне. Собака, вскочив, залилась лаем. Джо открыл дверь и гаркнул:

– Заходи!

Через несколько мгновений в столовую вошел молодой человек среднего роста, с продолговатым бледным лицом и усталыми глазами. Пальто на нем было наглухо застегнуто, шея обмотана шерстяным лиловым шарфом, твидовая кепка, которую он не позаботился снять при входе, нахлобучена на самые уши.

Малькольм и Джо встретили его возгласами:

– Здорово, Джек!

– Джек, мое почтение!

Фред Генри бросил только:

– Джек!

– Как дела? – спросил гость, явно обращаясь к Фреду Генри.

– Все так же. До среды обязаны выехать... Ты что, простуду схватил?

– Схватил – да еще какую!

– Что ж не сидишь дома?

– Дома? Это я-то? Когда ноги держать не будут, тогда, может быть, и представится такой случай. – Молодой человек говорил охрипшим голосом, с легким шотландским акцентом.

– Потрясающе, честное слово, – шумно веселился Джо, – врач разгуливает, весь осипший от простуды! Несдобровать теперь больным, правда?

Молодой врач смерил его долгим взглядом.

– А что, тебе тоже нездоровится? – насмешливо спросил он.

– Вроде нет. Типун тебе на язык, только этого не хватало! С чего ты взял?

– Да ты так беспокоишься насчет больных, я и подумал, уж не захворал ли сам.

– Нет, черт подери, никогда я не лечился у врачей, будь они неладны, и, бог даст, никогда не придется, – парировал Джо.

Мейбл встала, и мужчины вспомнили вновь о ее существовании. Она начала собирать со стола грязную посуду. Молодой врач посмотрел на нее, но ничего ей не сказал. Он так и не поздоровался с нею. Все с тем же безучастным видом она взяла поднос и вышла из комнаты.

– Так когда же вы уезжаете? – спросил врач.

– Я – поездом одиннадцать сорок, – сказал Малькольм. – А ты, Джо, на двуколке?

– Да. Я ведь, кажется, говорил тебе, что поеду на двуколке.

– Тогда пошли закладывать... Ну, бывай, Джек, небось не увидимся больше до моего отъезда, – сказал Малькольм, пожимая ему руку.

Он вышел; за ним, заметно присмирив, вышел Джо.

– Ах ты дьявол! – вырвалось у врача, когда они с Фредом Генри остались одни. – Значит, к среде тебя уже здесь не будет?

– Так велено, – отозвался Фред Генри.

– И куда ты – в Нортгемптон?

– Туда.

– Дьявольщина! – тихо, подавленно ругнулся Фергюссон.

Оба помолчали.

– Ты что, все сборы уже закончил?

– Более или менее.

Они опять помолчали.

– Ох и скучать я буду по тебе, Фредди, друг, – произнес молодой врач.

– И я по тебе, Джек.

– Чертовски буду скучать, – задумчиво повторил врач.

Фред Генри отвернулся. Ему нечего было сказать. Вернулась Мейбл и стала убирать со стола последнюю посуду.

– А вы что намерены делать, мисс Первин? – спросил Фергюссон. – Наверное, поедете жить к сестре?

Мейбл устремила на него твердый, опасный взгляд, от которого ему всегда становилось не по себе и его нарочитая непринужденность сменялась замешательством.

– Нет, – сказала она.

– Ну, а что ты, в таком случае, собираешься делать? Скажи наконец, что? – с бессильным ожесточением вскричал Фред Генри.

Но она лишь опустила голову и продолжала заниматься своим делом. Сложила белую скатерть, постелила плюшевую.

– Уродилось сокровище – вечно ходит мрачнее тучи, – буркнул ее брат.

Ни один мускул не дрогнул на ее лице в ответ на это; она кончила прибираться – доктор, не отрываясь, с живым интересом следил за ней – и вышла.

Фред Генри, стиснув зубы, поглядел ей вслед тяжелым, откровенно неприязненным взглядом и желчно поморщился.

– Хоть режь на части, больше из нее звука не вытянешь, – процедил он.

Врач неуверенно улыбнулся.

– Но все-таки что теперь с нею будет? – спросил он.

– Убей меня бог, понятия не имею!

Они приумолкли. Потом молодой доктор встряхнулся.

– Так мы увидимся вечером? – спросил он приятеля.

– Ладно, только куда бы пойти? В Джесдейл, что ли?

– Не знаю. С такой простудой... Во всяком случае, я зайду в «Луну и звезды».

– Выходит, пускай Мэй и Лиззи один раз поскучают?

– Вот именно... Если я буду чувствовать себя, как сейчас.

– А-а, все едино...

Друзья прошли по коридору и вместе вышли на заднее крыльцо. Большой дом, покинутый прислугой, стоял безлюдный, опустелый. Позади, за мощным кир-

пичом хозяйственным двориком, раскинулась широкая площадка, засыпанная красноватым мелким гравием; справа и слева на нее выходило по конюшне. Дальше, набрякшие от влаги, по-зимнему темные, полого простирались поля.

Конюшни, однако, пустовали. Глава семейства, Джозеф Первин, необразованный человек, сумел стать довольно крупным конским барышником. При нем здесь вечно царил суеверие, конюшни ломались от лошадей, одних приводили, других уводили, люди тоже сменялись – перекупщики, конюхи. На кухне было полно прислуги. Затем, со временем, дела пришли в упадок. Стремясь их поправить, старый лошадиный женился вторично. Когда он умер, все пошло прахом, остались только долги да угрозы кредиторов.

Уже не первый месяц Мейбл управлялась в большом доме одна, без прислуги, пытаясь на жалкие гроши как-то вести хозяйство своих никчемных братьев. Дом держался на ней последние десять лет. Но прежде она не знала недостатка в средствах. Живя среди грубости, невежества, она черпала в деньгах горделивое достоинство, уверенность. Пускай мужчины сквернословили, пускай о женщинах на кухне шла в городке дурная молва, пускай у ее братьев были незаконные дети – неважно. Пока в семье водились деньги, девушка знала, что она – на своем месте, и держалась вызывающе гордо, независимо.

У них никто не бывал, лишь барышники да грубое мужичье. Женского общества Мейбл лишилась с тех пор, как покинула дом ее сестра. Но она не тужила об этом. Исправно ходила в церковь, заботилась об отце. И жила памятью о матери, которую потеряла в четырнадцать лет и нежно любила. Она и отца любила, только иначе – полагаясь на него, чувствуя в нем надежную опору, пока в пятьдесят четыре года он не женился второй раз. Тогда она ожесточилась против него. И вот он умер, оставив их в неоплатных долгах.

Она жестоко страдала, когда они впали в нищету. И все же ничто не властно было поколебать какую-то звериную, упрямую гордыню, владеющую каждым в этой семье. Теперь – для Мейбл по крайней мере – настал конец. Но и теперь она не озиралась по сторонам, ища поддержки. Все равно она поступит по-своему. В любом положении она всегда будет сама решать за себя. Бездумно и упорно, день за днем она несла свой крест. К чему размышлять? К чему отвечать на расспросы? И без того ясно, что это – конец и никакого выхода не существует. Не нужно будет больше сторониться прохожих на главной улице, стараясь никому не попадаться на глаза. Не нужно в каждой лавке стогать от унижения, покупая самые дешевые продукты. Этому настал конец. Она не думала ни о ком, даже о себе. Бездумно и упрямо, она самозабвенно шла навстречу своему конечному предназначению, которое избавит ее от скверны, – шла соединиться с покойной матерью, которая уже обрела избавление.

Ближе к вечеру она сложила в сумку садовые ножницы, губку, ручную жесткую щетку и вышла из дому. Над темной зеленью унылых полей нависло серое небо, в промозгом воздухе стлался черный дым из трубы стоящего неподалеку литейного завода. Быстро, не поднимая глаз, не устаивая вниманием встречных, Мейбл пошла через весь городок по улице, ведущей на кладбище.

Здесь, словно бы вдали от посторонних взоров, ей было всегда спокойно, хотя на самом деле ее мог видеть всякий, кто проходил мимо кладбищенской ограды. Но все равно – ступив под сень высокой, величественной церкви, среди могил, она была неуязвима, охраняемая от внешнего мира толстой кладбищенской стеной, точно границами особого государства.

Она аккуратно подстригла траву вокруг могилы, убрала жестяной крест бело-розовыми мелкими хризантемами.

Покончив с этим, взяла с соседней могилы кувшин, сходила за водой и тщательно, любовно протерла губкой плиту и цоколь мраморного надгробия.

Это занятие дарило ей глубокую отраду. Оно тесней сближало ее с миром покойной матери. Она работала кропотливо, старательно, ходила по кладбищу почти счастливая, как если бы, ухаживая за могилой, вступала с матерью в сокровенную незримую связь. Ибо та жизнь, которую она вела здесь, в этом мире, была для нее прозрачной и чуждой в сравнении с миром усопших, унаследованным ею от матери.

Домик врача стоял сразу же за церковью. Фергюссон, нанятый в помощники к местному доктору, вынужден был по своему положению работать как проклятый, не зная отдыха. Сейчас, спеша на прием к себе в кабинет, он мимоходом окинул взглядом кладбище и увидел девушку. И словно заглянул в иной мир – так поглощена она была своим занятием и далека от действительности. Фергюссон ощутил сопричастность некоему таинству. Глядя на нее как зачарованный, он замедлил шаги.

Она почувствовала, что на нее смотрят, и подняла голову. Их взгляды встретились. И тотчас оба взглянули друг на друга опять, с таким ощущением, будто невзначай открыли друг в друге что-то новое. Он приподнял кепку и зашагал дальше. В памяти у него нестираемой картиной запечатлелось ее лицо в ту минуту, когда она оторвалась от надгробного камня и медленно подняла на него грозные большие глаза. Да, оно было грозным, ее лицо. Оно как будто завораживало его. Тяжкая сила была в ее глазах, и он покорился ей всем своим существом, точно хватил дурманного зелья. До сих пор он чувствовал себя вялым, разбитым. Теперь жизнь снова прихлынула к нему, оттесняя с души постылое бремя повседневных забот.

В приемной он постарался отпустить больных как можно быстрее, проворно разливая по пузырькам дешевую микстуру для заждавшихся пациентов. Потом, ни секунды не мешкая, заторопился к больным на дру-

гом конце города, которых ему еще оставалось обойти до вечернего чая. Какая бы ни стояла погода, он по возможности предпочитал ходить пешком, особенно когда нездоровится. Он верил, что движение ему на пользу.

Вечерело. Тяжело сгущались над землей ненастные, глухие сумерки, сырость и холод мало-помалу пробирали до костей, сковывая тело и душу глухим оцепенением. Да и о чем было задумываться, на что смотреть? Фергюссон торопливо поднялся на пригорок и свернул на усыпанную черным шлаком дорожку, ведущую через темно-зеленые поля. В отдалении, за неглубокой ложбиной, ворохом остывающей золы сгрудился городок: часовая башня, шпиль ратуши, горсточка убогих, приземистых, нелюдимых домов. А на ближней его окраине отлого спускалась в ложбину Старая поляна, усадьба Первинов. Конюшни и службы, рассыпанные по встречному косоуглу, были видны как на ладони. Да, отныне ему уж не захаживать сюда так часто! Еще одна утрата – потерян тот единственный приют, где можно было отвести душу, единственные люди, с которыми он подружился в этом чужом, невзрачном городишке. Работа, и больше ничего; нескончаемая, нудная беготня из дома в дом, по шахтерам, литейщикам. Работа изматывала его, но в то же время он к ней испытывал ненасытную тягу. Бывать в домах у рабочих людей, вторгаться, можно сказать, в самую сердцевину их жизни – в этом был свой азарт. Это приятно будоражило его. Так тесно соприкоснуться с простыми, неотесанными, способными на сильные страсти мужчинами и женщинами, войти прямо в гущу их жизни! Он ворчал, он жаловался, что ему опостылела эта поганая дыра. На самом же деле общение с простыми, подвластными необузданным чувствам людьми будоражило его наподобие сильного возбуждающего средства.

Пониже Старой поляны, в зеленом, размытом дождями овражке лежал среди полей глубокий квадратный пруд. Зоркий глаз врача, скользя по окрестности, заметил, что за ворота на выгоне вышел кто-то в черном

и направился к пруду. Он пригляделся. Похоже, это была Мейбл Первин. Доктор тотчас насторожился.

Зачем ей туда понадобилось? Он остановился на сбегающей под уклон дорожке и стал наблюдать. Лишь с трудом удавалось ему различить, как движется в глубь предвечерней тени черная фигурка. Тьма обступала ее так плотно, что он, подобно ясновидящему, скорее улавливал ее мысленным взором, а не обычным зрением. Впрочем, ее было все-таки видно, если как следует сосредоточиться. Он понимал, что стоит отвлечься, и он окончательно потеряет ее в ненастных, густеющих с каждой минутой сумерках.

Напрягая глаза, он следил, как она идет к пруду напрямик через поле быстрой, четкой походкой, точно движимая не собственной волей, а чужой. На берегу секунду задержалась, но так и не подняла головы. И медленно вошла в воду.

Он застыл. Медленно, неуклонно черная фигурка продвигалась к середине пруда; очень медленно, постепенно погружаясь в стоячую воду, уходила все дальше, забрела уже по грудь. Вот ее больше не разглядеть в глущих, гнетущих потемках.

– Фу ты! – вырвалось у него. – Да что же это такое?

Он сорвался с места и ринулся по сырым, пересыщенным влагой полям, не разбирая дороги, продираясь сквозь живые изгороди, вниз, в равнодушную холодную темноту. Через несколько минут он очутился у пруда и стал на берегу, тяжело отдуваясь. Ничего не видно. Глаза его силились проникнуть в толщу безжизненной воды. Да, наверное, это ее черная одежда выделяется темным пятном на поверхности.

Он неуверенно ступил в пруд. На топком дне глубоким слоем лежал рыхлый ил; он увяз, и вода смертельным холодом сомкнулась вокруг его ног. При малейшем движении гнилой и холодный ил вставал со дна, распространяя зловоние. Оно оскорбляло его легкие. Превозмогая брезгливость, он зашел глубже. Холодная вода поднялась ему по бедра, по пояс, подобралась к ребрам.

Отвратительная ледяная стихия поглотила всю нижнюю часть его тела. И потом, это вязкое, ненадежное дно, оступись – вода попадет тебе в рот. Плавать он не умел, и ему было страшно.

Присев, он развел под водою руками и поводил ими вокруг, пытаясь нашарить девушку. Холодный, безжизненный пруд колыхался у его груди. Он шагнул чуть глубже и опять пошарил вокруг под водой. И коснулся ее одежды. Но она ускользнула у него из-под пальцев. Он рванулся следом, пытаясь ухватить ее.

Рванулся – и потерял равновесие, полетел с головой в гнилую, затхлую жижу, захлебнулся, глотая эту дрянь, отчаянно барахтаясь. Через несколько мгновений, долгих, как вечность, он наконец прочно стал на ноги, выпрямился и огляделся. Перевел дух, убеждаясь, что цел и невредим. Посмотрел на воду. И увидел ее – она всплыла на поверхность совсем рядом. Он ухватил ее за платье, подтянул ближе и повернул с нею назад, к берегу.

Он брел потихоньку, осторожно, обдумывая каждый шаг. Потихоньку выходил на мелкое место, выбирая из воды. Она уже доставала ему только до лодыжек, и он повеселел, с огромным облегчением чувствуя, что вырвался из цепких лап пруда. Поднял девушку и, шатаясь, ступил на берег, прочь из зловещего, илистого, мокрого плена.

Он положил ее наземь. Она лежала без чувств, как неживая, с нее струилась вода. Он перевернул ее – вода хлынула у нее изо рта, – потом принялся делать ей искусственное дыхание. Ему пришлось трудиться не так уж долго, она вздохнула раз, другой и задышала. Он удвоил свои усилия, ощущая, как она оживает у него под ладонями, возвращается к жизни. Он отер ей лицо, укутал ее в свое пальто, окинул взглядом мир, погруженный в сизую мглу, и, подняв девушку с земли, неверными шагами побрел с берега через выгоны.

Дорога казалась невообразимо долгой, ноша была так тяжела, что он уже не чаял добраться до усадьбы. Наконец он все-таки очутился на конюшом дворе, а там и на мощеном дворике. Открыл дверь, вошел в дом. На кухне

он положил ее на коврик перед камином и крикнул хозяев. Никто не отозвался. Однако за каминной решеткой горел огонь.

Тогда он снова опустился на колени и склонился над девушкой. Она дышала ровно, с широко открытыми глазами и как будто очнулась, но было в ее взгляде какое-то отсутствующее выражение. Она пришла в себя, но еще не воспринимала окружающего.

Фергюссон взбежал по лестнице наверх, сгреб с одной из кроватей одеяла и расстелил их у огня, чтобы согрелись. Потом снял с нее насквозь промокшую, воняющую затхлым одеждой, досуха растер ей все тело полотенцем и, раздетую, завернул в одеяло. Пошел в столовую взглянуть, не найдется ли там спиртное. Нашлась бутылка с остатками виски. Он наспех глотнул сам и ей тоже влил в рот несколько капель.

Это подействовало сразу. Она взглянула ему прямо в лицо, так, словно видела его и раньше, но только теперь узнала.

– Доктор Фергюссон?

– Что? – отозвался он.

Он стягивал пиджак, надеясь, что отыщет для себя наверху сухую одежду. Запах гнилой, илистой воды был нестерпим, к тому же он всерьез опасался заболеть.

– Что это я сделала? – спросила она.

– Забрели в пруд. – Его трясло, как в ознобе, он с трудом заставлял себя вникать в смысл ее слов. Она не сводила с него глаз, от этого мысли у него мешались, и он отвечал ей беспомощным взглядом. Дрожь, сотрясающая его, немного утихла, жизнь с новой силой прихлынула к нему из неведомых, темных глубин его существа.

– Я что, лишилась рассудка? – спросила она.

– Возможно, на какое-то время. – К нему вновь вернулась сила, а с нею вернулось и спокойствие. Тревожная, странная неловкость покинула его.

– Я и сейчас не в своем уме?

– Сейчас? – Он на миг задумался. – Нет, – честно ответил он. – Я не нахожу. – Он отвернулся, избегая ее

взгляда. Теперь на него напала робость, в голове стоял туман – он смутно догадывался, что она сейчас превосходит его своею властью. А она все смотрела и смотрела на него в упор. – Вы не скажете, где мне найти для себя что-нибудь сухое?

– Вы ныряли за мною в пруд? – спросила она.

– Нет, шел по дну. Правда, разок пришлось и окунуться с головой.

Наступило короткое молчание. Фергюссон замялся. Ему ужасно хотелось пойти наверх и переодеться в сухое. Но было в нем и иное желание. Ее взгляд удерживал его, не отпускал. Он словно лишился воли и был способен только беспомощно топтаться на месте. Но изнутри его согревало тепло. Дрожь унялась окончательно, хотя на нем сухой нитки не было.

– Зачем вы это сделали? – спросила она.

– Не мог же я допустить, чтобы вы совершили такую глупость.

– Это не глупость. – Она лежала на полу, с диванной подушкой под головой, и по-прежнему не сводила с него глаз. – Так надо было. Мне лучше знать.

– Пойду сброшу с себя мокрое. – Но, покуда она его не отпустила, он был бессилён сдвинуться с места. Как будто она держала в руках корень его жизни и он не мог высвободиться. Или, может быть, не хотел.

Вдруг она порывисто села. До нее дошло, в каком она виде. Она почувствовала, как шерстян одеяла, ощутила свои обнаженные руки и ноги. Ей почудилось на мгновение, что она и в самом деле теряет рассудок. Она огляделась, дико блуждая глазами, словно что-то искала. Он замер в страхе. Она увидела свои раскиданные по полу вещи.

– Кто меня раздел? – спросила она, впиваясь ему в лицо немигающим, неотвратимым взглядом.

– Я, – отозвался он. – Чтоб привести вас в чувство.

Она затихла на миг, вперив в него ужасный взгляд, приоткрыв рот.

– Значит, вы любите меня?

Он лишь стоял и смотрел на нее, точно околдованный. Душа в нем растаяла.

Она подползла к нему на коленях и обвила его руками, обняла его ноги, прижимаясь грудью к его коленям и бедрам, держа его с непостижимой и судорожной уверенностью, прижимая к себе его бедра, плотнее притягивая его к своему лицу и горлу, глядя на него снизу вверх горящими и смиренными глазами, преображенная, торжествующая в восторге первоначального обладания.

– Вы меня любите, – исступленно лепетала она с тоской и торжеством, с непостижимой убежденностью. – Любите. Вы любите меня, я знаю, знаю.

И страстно целовала его колени сквозь мокрую ткань, осыпала страстными поцелуями его колени, ноги, все подряд, не разбирая.

Он глядел сверху вниз на спутанные, мокрые волосы, на животную плоть оголенных в неистовстве плеч. Он был озадачен, изумлен, испуган. Он никогда не помышлял, что может ее любить. Никогда не хотел любить ее. Когда он вытаскивал ее из воды и приводил в сознание, он был врач, она – пострадавшая, и только. Ничто личное не закрадывалось к нему в голову. Напротив – это вторжение личного претило ему до чрезвычайности, как нарушение врачебной этики. То, что она обнимала его колени, было неприлично, непристойно. Все существо его противилось этому решительно и бурно. И между тем – между тем ему недоставало духу вырваться.

Она опять устремила на него взгляд, полный той же молящей, безмерной любви, того же невыразимого, страшного, сияющего торжества. Мягкий свет исходил от ее лица, и пред этим сиянием он был бессилен. А ведь он никогда не собирался ее любить. Никогда. И что-то в нем упорно этому сопротивлялось.

– Вы меня любите, – в упоении, с глубокой верой повторяла она. – Любите меня.

Она тянула его ниже, привлекая к себе. Это отпугивало его, отчасти даже коробило. Ведь он действительно вовсе не помышлял ни о какой любви. А она все тянула

его к себе. Ища опоры, он выставил вперед руку и ухватился за ее голое плечо. И точно пламя обожгло ладонь, сжимающую мягкое плечо. У него в мыслях не было ее любить, вся его воля противилась этому. А между тем сладостно было прикосновение к ее плечу, прекрасен свет, озаряющий ее лицо. Может быть, она и правда сошла с ума? Ему жутко было ей уступить. А сердце ныло, тянулось ей навстречу.

Он упорно смотрел мимо нее, на дверь. Но по-прежнему держал руку у нее на плече. Внезапно она притихла. Он перевел на нее взгляд. Теперь ее глаза расширились от страха, от сомнения, свет на лице у нее угасал, мрак опять напал на него зловещей тенью. Осознать на себе вопрошающие, прикованные к нему глаза, видеть, как проступает за вопросом лик смерти – этого он не вынес.

С безмолвным стоном он сдался, дал волю ноющему сердцу. Ласковая усмешка вдруг взошла на его лицо. И глаза, неотрывно прикованные к нему, медленно, очень медленно налились слезами. Он следил, как подобно медлительному роднику взбухает, наполняя ее глаза, странная влага. Сердце горело и таяло у него в груди.

Стоять и глядеть на нее сделалось выше его сил. Он упал на колени, обхватил ее голову, прижал к себе. Она не издала ни звука. У него разрывалось сердце, жгло ему грудь неведомой мукой. Он чувствовал, как одна за другой каплют ему на шею горячие слезы. И не мог шелохнуться.

Он чувствовал, как ему орошают шею ее горячие слезы, собираясь в ямке у ключиц, и не шевелился – время для него остановилось. Только теперь ему стало важней всего на свете, чтобы к нему тесно прижималось это лицо, невозможно стало выпустить ее из рук. Невозможно выпустить из тесного кольца рук эту голову. Пусть это длится вечно, пусть сердце вечно разрывается от боли, в которой для него отныне вся жизнь. Сам того не замечая, он смотрел на ее влажные, мягкие каштановые волосы.

Потом, как-то сразу, уловил знакомый тошнотворный запах тухлой воды. В тот же миг девушка отстранилась и взглянула на него. В непроницаемой глубине ее глаз стояла тоска. Он в страхе кинулся целовать ее, сам не понимая, что делает. Только бы исчез из ее глаз этот пугающий, непроницаемый, тоскливый взгляд.

Когда она опять подняла к нему лицо, на нем рдел тонкий, мягкий румянец, и опять грозным сиянием занималась в ее глазах радость, наводящая на него ужас, но теперь он жаждал видеть ее, ибо еще ужасней было видеть в ее глазах сомнение.

– Вы любите меня? – дрогнувшим голосом спросила она.

– Да. – Ему стоило мучительного труда выговорить это слово. Не потому, что он сказал неправду. А потому, что правда была чересчур внове и сказать о ней вслух было все равно что еще раз полоснуть острым по его кровоточащему сердцу. И потом, даже теперь он был не слишком рад, что это правда.

Она обратила к нему лицо, и он, склонясь, поцеловал ее в губы, нежно, как целуют однажды в жизни, давая клятву навек. И опять сердце больно сжалось у него в груди. Ведь он совсем не собирался любить ее. Но вспоминать об этом было поздно. Он уже перешагнул через пропасть, разделяющую их, и все, что оставалось позади, съезжилось и рассыпалось прахом.

После поцелуя глаза ее опять медленно налились слезами. Отстранясь от него, она сидела, как изваяние, поникнув головой, сложив руки на коленях, и медленно роняла слезы. Наступила полная тишина. Он тоже молчал, неподвижно сидя на каминном коврикe. Непонятная боль разрывала ему сердце, захлестывала его. Чтобы он мог полюбить ее? Чтобы такое называлось любовью? Чтобы вот так разрывалось сердце? И это у него, врача! Как осмелили бы его все, если б узнали! Какая попытка даже подумать, что об этом могут узнать!

Содрогаясь от непонятной, острой боли при этой мысли, он опять посмотрел на нее. Она по-прежнему

сидела, понурясь в раздумье. Он увидел, как капнула слеза, и сердце ему ожгло огнем. Он впервые заметил, что с одного плеча у нее совсем сползло одеяло, одна рука обнажилась, виднелась одна маленькая грудь – неясно, потому что в комнате почти совершенно стемнело.

– Отчего ты плачешь? – спросил он изменившимся голосом.

Она глянула на него, и впервые на лице у нее проступила сквозь слезы краска стыда от сознания, что она сидит перед ним в таком виде.

– Я не плачу, это я так, – сказала она, боязливо наблюдая за ним.

Он потянулся вперед, и пальцы его мягко сомкнулись на ее голой руке.

– Я люблю тебя! Люблю тебя! – сказал он грудным, трепетным, низким, неузнаваемым голосом.

Она отпрянула, потупив голову. Мягкое, настойчивое пожатие его пальцев тяготило ее. Она подняла на него глаза.

– Мне нужно сходить наверх, – сказала она. – Хочу достать для вас что-нибудь сухое.

– Зачем? Мне и так хорошо.

– Так нужно. И я хочу, чтобы вы переоделись.

Он выпустил ее руку, и она натянула на себя одеяло, поглядывая на него испуганно. Но встать медлила.

– Поцелуйте меня, – тихонько попросила она.

Он поцеловал ее, но быстро, полусердито.

Тогда, помедлив еще секунду, она неловко поднялась, путаясь в одеяле. Он следил, как она в замешательстве силится высвободиться и запахнуть на себе одеяло так, чтобы оно не мешало при ходьбе. Следил в упор, не трогаясь ее смущением. А когда она пошла прочь, мелькая босыми ногами, и в темноте забелело ее колено, он попытался вообразить ее такой, какой она была, когда он укутывал ее в одеяло. Но сразу отказался от этой попытки, потому что тогда она ничего для него не значила, и все в нем воспротивилось тому, чтобы воображать ее такой, как в те минуты, когда она ничего не значила для него.

Что-то с глухим стуком упало в глубине темного дома; он вздрогнул. «Вот, возьмите одежду», – слышался ее голос. Он встал и, подойдя к подножию лестницы, поднял брошенные ею вещи. Потом вернулся к огню, досуха вытерся и оделся. Кончив одеваться, он оглядел себя с насмешливой улыбкой.

Огонь догорал, и он подложил в камин угля. Теперь в доме стало совсем темно, только слабый свет уличного фонаря пробивался внутрь сквозь ветви остролиста. Он нашел на каминной доске спички и зажег газовую лампу. Свою влажную одежду он свалил в кучу в посудомойне, опорожнив сперва карманы. Ее насквозь промокшие вещи бережно подобрал с пола и сложил отдельно на крышке медного котла.

Каминные часы показывали шесть. Его собственные давно стали. Пора было бежать назад в приемную. Он подождал; она все не спускалась. Наконец он подошел к лестнице и крикнул:

– Я скоро должен уходить!

И почти сразу услышал, как она сходит вниз по ступенькам.

Она надела вуалевое черное платье – свой лучший наряд, – тщательно причесалась, хотя волосы у нее еще не высохли. Оглядела его и невольно улыбнулась.

– Не красит вас эта одежда, – сказала она.

– На пугало похож, правда?

Оба старались побороть застенчивость.

– Я приготовлю вам чаю.

– Нет, мне надо идти.

– Неужели? – Она опять взглянула на него широко открытыми, полными тоски и сомнения глазами. И опять по той боли, которой отозвался этот взгляд в его сердце, он понял, что любит ее. Он шагнул к ней, нагнулся и поцеловал ее страстно, вложив в поцелуй всю боль своего сердца.

– Волосы у меня так противно пахнут, – сокрушенно пролепетала она. – Ужас! И все у меня ужасное, все! Нет, я просто ужасна! – Она расплакалась горько, навзрыд. –

Я вам противна, меня нельзя любить.

– Полно, полно, не говори глупости, – сказал он, стараясь ее утешить, целуя ее, обнимая крепче. – Я хочу тебя, хочу на тебе жениться, мы поженимся, скоро, очень скоро – завтра же, если удастся.

Но она только зарыдала еще горше:

– Какой ужас! Боже мой, какой ужас! Я чувствую, что противна тебе.

– Нет, ты нужна мне, я хочу тебя, – твердил он в беспомощности неузнаваемо чужим голосом, который пугал ее едва ли не сильнее, чем пугала страшная мысль, что она может быть ему не нужна,

Солнце

1

– Увезите ее отсюда к солнцу, – сказал доктор.

Сама она отнеслась к этому скептически, но позволила, чтобы ее морем увезли вместе с ребенком, матерью и няней.

Корабль отплывал в полночь. И два часа, пока укладывали ребенка и пассажиры поднимались на борт, муж оставался с ней. В черной ночи Гудзон колыхал свою тяжелую черноту в россыпях искр струящегося света. Она облокотилась о поручни и, глядя вниз, думала: море, оно глубже, чем можно себе представить, и таит больше воспоминаний. В этот миг море напряжилось, подобно извечному змею хаоса.

– Знаешь, эти расставания до добра не доведут, – говорил рядом с ней муж. – До добра не доведут. Не нравятся мне они.

В его тоне слышались настороженность, опасение, чувствовалось, что он цепляется за последнюю соломинку надежды.

– Да, мне тоже, – ответила она безучастно.

Она вспомнила, как им до боли хотелось разъехаться, ему и ей. Расставание слегка взбудоражило ее чувства, но привело лишь к тому, что печаль, гнездившаяся в ее душе, пронзила ее еще глубже.

Они посмотрели на своего спящего сына, и глаза отца увлажнились. Но влага на глазах – не в счет, в счет – глубинный, железный ритм привычки, привычки длиною в год, длиною в жизнь, таящийся в глубине силовой заряд.

А силовые заряды обоих – его и ее – были враждебны.

Подобно двум работающим вразнобой двигателям, они разносили друг друга вдрызг.

– Провожающие, на берег! Провожающие, на берег!

– Морис, тебе нужно идти.

Про себя же она подумала: «Ему – “Провожающие, на берег!” Мне – “Отчаливаем!”»

Что ж, прощаясь с безотрадным полуночным причалом, он махал платком, пока корабль дюйм за дюймом отходил все дальше от берега, – пылинка в толпе. Пылинка в толпе! *C'est Ça!**

На перевозе через Гудзон все еще скользили пароходики, похожие на громадные блюда, увешанные гирляндами огней. Та черная пасть, должно быть, – пристань Лэкавонна.

Корабль удалялся по, казалось, бесконечному Гудзону. Наконец они обогнули излучину, их встретили скудные огни набережной Бэттери. Свобода остервенело вздымала факел вверх. Шумел прибор.

И хотя Атлантический океан был сер, как лава, в конце концов она добралась до солнца. У нее даже был дом над самым синим из морей, с огромным садом или виноградником; лозы и оливы круто сбегали вниз, терраса за террасой, к узкой полоске побережья; с садом, полным укромных уголков, обширных лимонных рощиц далеко внизу, в глубокой лощине, и скрытых от глаз прозрачно-зеленых водоемов; из маленькой пещеры бежал родник, из которого древние сикулы** пили еще до прихода греков; в превращенном в закут древнем склепе с опустевшими нишами бляела серая коза. Веяло запахом мимозы, а за ним – снегами на вершине вулкана.

Она видела все это, и в какой-то мере это успокаивало. Но все это было внешнее и, по правде говоря, было ей безразлично. Сама она оставалась такой же, как прежде, с засевшим внутри у нее гневом и разочарованием, со своей неспособностью к настоящему чувству. Ребенок ее раздражал – он покушался на покой ее души. С ужасом, с отвращением чувствовала она свою ответственность

* Так-то вот (*фр.*).

** Древний народ, населявший Сицилию.

за него: словно она должна отвечать за каждое его дыхание. Это было мучением для нее, для ребенка, для всех, кого это касалось.

– Ты помнишь, Джульетта, доктор велел тебе лежать на солнце раздетой. Почему ты этого не выполняешь? – спросила мать.

– Когда буду готова к этому, тогда и выполню. Ты хочешь моей смерти? – набросилась на нее Джульетта.

– Твоей смерти? Да нет, я желаю тебе только добра.

– Ради бога, перестань желать мне добра.

В конце концов мать настолько оскорбилась и прогневалась, что уехала.

Море побелело, потом вовсе скрылось из виду. Полил проливной дождь. В доме, построенном для солнца, было холодно.

И вот вновь утро, из-за края воды поднялось, рассыпая искры, обнаженное и расплавленное солнце. Дом выходил на юго-восток. Лежа в постели, Джульетта наблюдала восход. Словно никогда прежде не видала, как восходит солнце. Никогда не видала она, как встает на горизонте чистое, обнаженное солнце, освобождаясь из объятий ночи.

И вот в ней тайно зародилось желание погулять обнаженной на солнце. И желание это она лелеяла, словно тайну.

Но ей хотелось уйти подальше от дома – от людей. А в краю, где у каждой оливы есть глаза, где каждый склон открыт взору издалека, нелегко укрыться.

Но она нашла такое место: далеко выступающий в море, открытый солнцу утесистый мыс, поросший большими кактусами с плоскими листьями, что зовется «колючий медведь». Над сизо-серым бугром кактусов поднимался единственный кипарис с бледным толстым стволом и гибкой вершиной, которая клонилась в синеве. Он стоял, словно страж, обозревающий море, или низкая серебристая свеча, чье громадное пламя темнело на фоне света: то земля возносила ввысь гордое пламя своего мрака.

Джульетта села под кипарисом и разделась. Уродливые кактусы вокруг нее образовали лесок, безобразный, но манящий. Она сидела, подставив солнцу грудь, даже и теперь вздыхая от тяжелой боли, сопротивляясь жестокости вынужденного подчинения.

А солнце шествовало по синему небу и в пути посылало вниз свои лучи. Она чувствовала нежное дыхание морского воздуха на груди, которая, казалось, никогда не нальется зрелостью. Ее груди – плоды, которые пожухнут, так и не созрев.

Однако вскоре она почувствовала в них солнце. Оно согревало теплее, чем любовь, теплее, чем молоко или ручки ее ребенка. Наконец, наконец под жарким солнцем ее груди налились, словно длинные белые виноградные гроздья.

Она скинула остальную одежду и лежала на солнце нагая и, лежа, прикрыв глаза ладонями, смотрела вверх, на солнце посредине неба, на его синюю пульсирующую округлость, струящую по краям блеск. Пульсирующее чудесной синевой, струящее по краям белое пламя живое солнце! Устремившее на нее свой сине-огненный взор, объявшее ее грудь и лицо, ее шею, усталый живот, колени, бедра, ступни!

Она лежала, закрыв глаза, сквозь веки сочилось розовое пламя. Слишком ярко. Она вытянула руку и прикрыла глаза листьями. Потом снова легла, будто белая тыква, что на солнце должна созреть и стать золотой.

Она чувствовала, как солнце проникает в самые ее кости, нет, глубже – в ее мысли и чувства. Тяжкое напряжение ее чувств стало ослабевать, холодные, темные сгустки мыслей – рассасываться. Она начинала ощущать, что тепло проникает насквозь. Перевернувшись, она подставила солнцу плечи, поясницу, спину, бедра, даже пятки – пусть оттаивают! Она лежала, чуть не до умопомрачения ошеломленная происходящим – этим чудом. Ее утомленное, прозябшее сердце оттаивало и, оттаивая, испарялось.

И вот, потрясенная, она отправилась домой, почти ничего не различая, ослепленная солнцем и потрясен-

ная солнцем. И слепота была ее богатством, а смутное, теплое, тяжелое, полубессознательное состояние – сокровищем.

– Мамочка! Мамочка! – Ее ребенок бегом бежал к ней, зовя ее с той особой, похожей на птичью тревогой, какая диктуется необходимостью, постоянной потребностью в матери. Она подивилась тому, что на этот раз ее разомлевшее сердце не отозвалось в ответ беспокойством болезненной любви. Она подхватила ребенка на руки, но подумала: нельзя, чтобы он рос таким слюнтяем! Он окрепнет, когда станет бывать на солнце.

Ее раздражали цеплявшиеся за нее ручки, особенно за шею. Она дернула шейю. Ей не хотелось, чтобы к ней прикасались. Бережно опустила ребенка на землю.

– Беги! – сказала она. – Беги на солнышко!

И тут же, прямо на месте, раздела его и, голенького, выпустила на теплую террасу.

– Поиграй на солнышке! – сказала она.

Он был испуган и собирался заплакать. Но в пронизанной теплом расслабленности тела и полном безразличии сердца она покатила к нему по красным плиткам апельсин, и мягкое, несформировавшееся тельце пустилось за ним вдогонку. Но как только мальчик поймал апельсин, он тут же его бросил – его прикосновение к телу вызывало незнакомое ощущение. Недовольный, он обернулся и посмотрел на нее, сморщив личико, готовый заплакать, напуганный своей наготой.

– Неси мне апельсин, – говорила она, изумляясь своей полной безучастности к его тревогам. – Неси мамочке апельсин.

«Он вырастет не таким, как отец, – сказала она себе. – Не как червь, никогда не выдавший солнца».

2

Раньше она была бесконечно поглощена ребенком, своей мучительной ответственностью, словно, родив его, должна была держать ответ за все его существование.

Ее раздражало, даже если у него текло из носа, задевало за живое так, будто она должна была выговаривать себе самой: полюбуйся, что ты произвела на свет!

Теперь произошла перемена. Ребенок больше так живо не интересовал ее, и она освободила его от бремени своего беспокойства и воли. И от этого он стал только крепче и здоровее.

Про себя же она думала о солнце, о его великолепии, о своем соединении с ним. Теперь жизнь ее стала целым обрядом. Она всегда просыпалась до рассвета и, лежа, наблюдала, как серый цвет переходит в бледно-золотой, чтобы узнать, не закрыт ли край моря облаками. Ее охватывала радость, когда, расплавленное, оно вставало в наготе своей, озаряя нежное небо сине-белым пламенем.

Но порой оно выплывало, рдея румянцем, подобно крупному, застенчивому человеку. Порой – неторопливое, пунцово-красное, с разгневанным видом медленно прокладывало себе путь. Порой же она не видела его – оно двигалось за ровной стеной облаков, отбрасывая вниз лишь золотой и алый отсветы.

Ей повезло. Неделя шла за неделей, и хотя рассвет порой выдавался облачный, а после полудня все, случалось, затягивало серым, не проходило ни дня без солнца – несмотря на зиму, дни в основном стояли ослепительные. Расцвели маленькие, тоненькие дикие крокусы, лиловые, полосатые; дикие нарциссы вывесили свои зимние звездочки.

Каждый день отправлялась она к кипарису посреди рощицы кактусов на бутре с желтоватыми утесами у подножия. Теперь она поумнела, стала сообразительнее и надевала лишь пеньюар голубинового цвета и сандалии. Так что в любом укромном уголке она вмиг представляла перед солнцем нагой. А в то мгновение, как облачалась снова, становилась серой и невидимой.

Каждый день с утра до полудня лежала она у подножия могучего кипариса с серебристыми лапами, под весело катившим по небу солнцем. Теперь она чувствовала солнце в каждой жилочке своего тела, в ней нигде

не гнездилась холодная тень. А ее сердце, исполненное тревоги и напряжения сердце, исчезло, подобно цветку, что опадает на солнце, оставляя лишь зрелую коробочку с семенами.

Она знала это солнце на небесах, иссиня-расплавленное, с белой огненной каймой, излучавшее пламя. И хоть светило оно всему свету, когда она лежала, сбросив одежду, оно устремлялось к ней. Это было одно из его чудес – солнце могло светить миллионам людей и все же оставаться лучезарным, великолепным и единственным солнцем, устремленным к ней одной.

Познав солнце, она, уверенная, что и солнце познало ее, в космическом, чувственном смысле слова испытывала отчуждение от людей, известное презрение ко всему роду человеческому. Они так далеки от стихий, от солнца. Так похожи на могильных червей.

Даже проходившие со своими ослами по древней каменной дороге крестьяне, хоть и почернели от солнца, все же не были пронизаны солнцем. Словно улитка в раковине, таилось в них мягкое белое ядрышко страха, где, съезжившись от страха смерти, от страха естественного сияния жизни, пряталась душа человека. Он не смел по-настоящему выйти наружу, вечно прятался внутри. Таковы все мужчины. Но к чему всерьез принимать мужчин!

В своем безразличии к людям, к мужчинам она теперь не так опасалась, что ее увидят. Маринине, которая покупала для нее в деревне продукты, она сообщила, что доктор прописал ей солнечные ванны. И довольно с них.

Маринине было за шестьдесят; высокая, сухая, державшаяся совершенно прямо женщина с поседевшими темными кудрявыми волосами, темно-серыми глазами, таившими мудрость тысячелетий, и тем смехом, что неизменно приходит, когда много прожито и пережито. Трагедия – порождение неопытности.

– Прекрасно, наверно, ходить на солнце, раздевшись, – сказала Маринина с мудрым смехом в глазах, гля-

дя на женщину пронизательным взглядом. Белокурые, коротко остриженные волосы Джульетты легким облачком курчавились у висков. Маринина была родом из Великой Греции,* и у нее была древняя память. Вновь взглянула она на Джульетту. – Но чтоб не оскорбить солнце, надо самой быть прекрасной. Так ведь? – добавила она.

– Кто знает, красива я или нет, – сказала Джульетта.

Но, красива ли, нет ли, она чувствовала, что любима солнцем. А это одно и то же.

Иногда в полдень, удалившись в тень, она спускалась по скалам вниз, минуя обрыв, вниз, в глубокую лощину, где в вечной тени и прохладе висели лимоны, и, сбросив в тишине пеньюар, быстро окуналась в одно из глубоких, ясных зеленых озерц; в тусклом зеленоватом сумраке под листвой лимонных деревьев она замечала, как розовеет ее тело, розовеет, переливаясь золотом. Словно она стала другим человеком. Она стала другим человеком.

И вспомнилось ей, что, как говорили греки, белое, незагорелое тело похоже на рыбье, в нем нет здоровья.

Слегка натерев кожу оливковым маслом, она бесцельно бродила в темном царстве под лимонными деревьями, положив на пупок цветок лимона, и смеялась сама с собой. Вероятно, ее мог бы увидеть какой-нибудь крестьянин. Но, увидев, он испугался бы ее больше, чем она его. Она знала это белое ядрышко страха, скрытое в одетых телах мужчин.

Знала даже в своем сынишке. Как он не доверял ей теперь, когда она, с напоенным солнцем лицом, смеялась над ним. Она требовала, чтобы он голенький гулял на солнце каждый день. И теперь его крошечное тело тоже порозовело, густые белокурые волосы откинута со лба, нежно-золотистую кожу загорелых щек заливает гранатово-алый румянец. Он был красив и здоров, и слуги, которым нравились красные, золотые, синие краски ребенка, называли его ангелом небесным.

* Так назывались в древности владения Греции в Южной Италии и на Сицилии.

Но матери он не доверял: она смеялась над ним. И в его широко открытых голубых глазах на слегка нахмуренном личике она видела то средоточие страха, боязни, что – теперь она была в этом уверена – таится в глубине глаз всех мужчин. Она называла это страхом перед солнцем.

«Он боится солнца», – говорила она себе, взглядываясь в глаза ребенка.

И, наблюдая, как он ковыляет на солнце, качаясь и падая с легким птичьим криком, она видела, что он сторонится солнца и прячется от него, замыкаясь в себе. Его дух, словно улитка в раковине, прятался у него внутри в сырой, холодной щели. Если б только она могла вывести его наружу, заставить его вырваться в беззаботной раскованности!

Она решила взять его с собой под кипарисовое дерево, окруженное кактусами. Из-за колючек придется наблюдать за ним, но там-то он уж, конечно, выйдет из своей раковинки. Личико его очистится от напряжения, порожденного цивилизацией.

Она расстелила для мальчика коврик и усадила его. Затем сбросила пеньюар и сама легла, следя за полетом сокола в синей вышине и склоненной вершиной кипариса.

Мальчик играл на ковре в камешки. Когда он поднялся на ножки, чтобы уйти, она тоже села. Он обернулся и посмотрел на нее своими голубыми глазами. Это был почти вызывающий, теплый взгляд настоящего мужчины. Он был хорош – алый цвет играл на золоте его белоснежной кожи. Только, по правде говоря, он не был белым. У него была золотисто-смуглая кожа.

– Осторожно, дорогой, там колючки.

– Колючки! – повторил ребенок, щебеча, словно птичка, по-прежнему в сомнении глядя на нее через плечо, будто голенький херувим на картине.

– Безобразные, противные колючки.

– Противные колючки!

Он шлепал по камням в сандаликах, дергая сухую дикую мяту. Когда он чуть было не наткнулся на колюч-

ки, она подскочила к нему стремительно, как змея. Это изумило даже ее.

«Да я, право, что дикая кошка!» – сказала она про себя.

Каждый день, когда светило солнце, она приводила его к кипарису.

– Слушай! – говорила она. – Давай пойдем к кипарису.

Если ж выдавался облачный день, дул ветер, трамонта, и она не могла пойти туда, ребенок щебетал без умолку:

– Кипарис! Кипарис!

Он скучал по дереву не меньше ее.

Это были не просто солнечные ванны, а нечто гораздо большее. Внутри у нее что-то раскрылось, распустилось, она была посвящена. Какой-то таинственной силой, сокрытой у нее внутри, глубже, чем доступно ее сознанию и воле, она соединилась с солнцем, и независимо от нее ток исходил из ее лона. Сама она, ее сознательное «я» стали чем-то второстепенным, второстепенным лицом, почти что сторонним наблюдателем. Истинная же Джульетта темным потоком изливалась из глубин своего сердца навстречу солнцу.

Она всегда была сама себе хозяйкой, сознававшей все, что делает, и пребывавшей в напряжении от своей собственной силы. Теперь она ощущала внутри совсем иную силу, нечто более могучее, чем она, изливавшееся независимо от нее. Теперь сама она стала неприметной, но обладала силой, не подвластной ей.

3

Конец февраля неожиданно оказался очень жарким. От малейшего дуновения цвет миндаля опадал, словно розовой снег. Распустились маленькие розовато-лиловые шелковистые анемоны; высоко, все в бутонах, поднялись асфодели, море отливало васильковой синевой.

Джульетта перестала волноваться о чем бы то ни было. Теперь они с ребенком почти весь день проводи-

ли на солнце, и это было все, чего ей хотелось. Иногда она спускалась к морю и купалась, часто бродила в лощинах, пронизанных солнцем, вдали от людских глаз. Иногда она видела крестьянина с ослом, и он видел ее. Но она шла с ребенком так свободно и просто, да и слава о целительной силе солнца – и для тела, и для души – уже разнеслась по округе, и потому встреча не вызывала волнений.

Оба, и она, и ребенок, покрылись теперь золотисто-розовым загаром с головы до пят.

– Я стала другим человеком! – говорила она себе, глядя на свою золотисто-румяную грудь и бедра.

Ребенок тоже стал другим существом, отмеченным какой-то особой, тихой, проморенной солнцем сосредоточенностью. Теперь он тихо играл один, и ей почти не приходилось следить за ним. Как будто он даже и не замечал, когда оставался один.

Не было ни малейшего ветерка, море отливало ультрамаринном. Она сидела у огромной серебристой лапы кипариса, разомлев от солнца, но ее чуткая грудь жила, налитая соком. Она начинала понимать, что в ней пробуждается энергия, которая приведет ее к новой жизни. И все же она не хотела понимать. Слишком хорошо знала она огромный холодный механизм цивилизации, от которого так трудно спастись.

Обогнув огромный раскидистый кактус, ребенок прошел несколько ярдов по каменистой тропинке. Она видела, как он, поистине золотисто-коричневое дитя ветров, с выгоревшими золотыми волосами и румяными щечками, рвал крапчатые мухоловки, укладывая их рядками. Сейчас он двигался уверенно и быстро справлялся со своими трудностями, точно молодой зверек, поглощенный безмолвной игрой.

Вдруг она услышала, как он позвал:

– *Посмотри, мамочка! Мамочка, посмотри!*

Какая-то нотка в его щебечущем голосе заставила ее резко податься вперед.

У нее замерло сердце. Он смотрел на нее через свое обнаженное плечико и мягкой ручкой показывал на змею, которая с шипением поднялась в ярде от него, изгибаясь к броску, в раскрытой пасти, словно тень, подрагивал мягкий черный раздвоенный язык.

– Посмотри, мамочка!

– Да, милый, это змея, – раздался ее медленный, грудной голос.

Он смотрел на нее широко открытыми голубыми глазами, не уверенный, надо бояться змеи или нет. Дарованное ей солнцем спокойствие успокоило и его.

– Змея! – прошептал он.

– Да, милый! Не трогай ее, она может укусить.

Змея опустилась на землю и, разматывая кольца, свернувшись в которые, она спала на солнцепеке, медленно извиваясь, потянула свое золотое с коричневым тело среди камней. Мальчик повернулся и молча наблюдал за ней. Потом сказал:

– Змея уходит!

– Да! Не мешай ей. Она любит быть одна.

Он все еще следил за медленным движением длинного ползущего тела, пока с безразличным видом та не скрылась.

– Змея ушел, – сказал он.

– Да, ушла. Пойди на минутку к маме.

Он подошел и сел к ней на колени. Обнаженная, она держала его пухлое, обнаженное тельце и гладила светлые, выгоревшие волосы. Она ничего не говорила, чувствуя, что все позади. Странная, умиротворяющая сила солнца, словно чудо, наполняла ее, наполняла все это место, и змея так же принадлежала к этому миру, как она и ребенок.

На другой день на одной из террас, где росли оливы, она увидела ползущую по сухой каменной ограде черную змею.

– Маринина, – сказала она, – я видела черную змею. Они опасны?

– А, черные – нет! А вот желтые – да! Если укусит желтая змея – умрешь. Но когда они мне попадают, я их боюсь, я их боюсь, даже черных.

Джульетта все равно ходила с ребенком к кипарису. Прежде чем сесть, она неизменно осматривала все вокруг, обследуя места, куда бы он мог пойти. Потом ложилась, открываясь солнцу, устремив вверх загорелые, похожие на груши груди. Она не предавалась размышлениям о завтрашнем дне. Ни о чем за пределами сада не желала думать и писем писать не могла, поручая это обычно сделать няне.

4

Наступил март, солнце набирало все больше и больше силы. В жаркие часы она лежала в тени под деревьями или даже спускалась вниз, погружаясь в прохладную глубину лимонной рощи. Вдалеке, словно поглощенный жизнью молодой зверек, бегал ребенок.

Однажды, испугавшись в одном из больших водоемов, она сидела на солнце на крутом склоне лощины. Внизу, под лимонными деревьями, продираясь сквозь заросли желтых цветов тенелюбивой кислицы, ребенок собирал опавшие лимоны; на его загорелое тельце падали пестрые тени – он был весь пятнистый.

Неожиданно высоко над кручей, на фоне залитого солнцем бледно-голубого неба показалась Маринина, повязанная черным платком, и тихо позвала:

– Signora! Signora Giulietta!*

Джульетта обернулась, встала; Маринина на миг смолкла при виде живо поднявшейся обнаженной женщины с похожими на облачко выгоревшими светлыми волосами. Затем проворная старуха спустилась по круто сбегавшей вниз тропинке.

Совершенно прямая, она стояла в нескольких шагах от женщины цвета солнца и внимательно разглядывала ее.

* Синьора! Синьора Джульетта! (*ит.*)

– До чего ж вы хороши, ах, до чего! – произнесла она невозмутимо, почти цинично. – Приехал ваш муж.

– Мой муж! – воскликнула Джульетта.

Старуха рассмеялась резким мудрым смешком, насмешливым смехом былых времен.

– Разве у вас его нет, мужа-то? – поддразнила она.

– Но где же он?! – воскликнула Джульетта.

Старуха поглядела через плечо.

– Шел следом, – сказала она. – Он бы один не нашел дороги.

И она вновь рассмеялась тем же резким смешком.

Тропинки сплошь заросли высокой травой, цветами и *peritella** и теперь напоминали звериные тропы в дикой, нетронутой глуши. Странная она, эта живая дикость древних очагов цивилизации, дикость, которая не навевает тоски.

Джульетта задумчиво посмотрела на служанку.

– Что ж, очень хорошо! – сказала она наконец. – Пусть идет.

– Пусть идет сюда? Сейчас? – спросила Маринина, устремив взгляд смеющихся дымчато-серых глаз в глаза Джульетты. Потом легонько передернула плечами. – Хорошо, как угодно. Для него это в самый раз!

Она открыла рот в беззвучном и радостном смехе. Потом показала на ребенка, который собирал внизу лимоны, прижимая их к груди.

– Поглядите, до чего хорош ребенок! Уж это наверняка порадует беднягу. Так я приведу его.

– Приведи, – сказала Джульетта.

Старуха вновь быстро вскарабкалась по тропинке. С серым лицом, в серой фетровой шляпе и темно-сером костюме, Морис в растерянности стоял посреди виноградника, уступами уходившего вниз. В ослепительном сиянии солнца, под сенью эллинского мира вид у него был донельзя жалкий и нелепый – словно чернильное пятно на бледном, раскаленном от солнца склоне.

* Кошачьей мятой (*ит.*).

– Идите сюда! – позвала его Маринина. – Она здесь, внизу.

И она быстро повела его, ступая проворно и размашисто, прокладывая путь в траве. На краю обрыва она вдруг остановилась. Далеко внизу темнели макушки лимонных деревьев.

– Ступайте, ступайте вниз, – сказала она; он поблагодарил ее, бросив на нее снизу быстрый взгляд.

Сорокалетний мужчина с серым лицом, гладко выбритый, очень спокойный и по-настоящему застенчивый, он вел свое дело, не ошеломляя успехами, но компетентно. И никому не доверял. Старуха родом из Великой Греции раскусила его с первого взгляда: он добрый, сказала она себе, только он не мужчина, бедняга.

– Синьора там, внизу! – сказала Маринина с таким жестом, точно она одна из парок.

С безжизненным взглядом повторив «Спасибо! Спасибо!», он осторожно ступил на тропинку. Маринина с радостью злоумышленника вздернула подбородок. Затем размашистым шагом удалилась к дому.

Продираясь по спутанным травам Средиземноморья, Морис шагал с осторожностью, так что не заметил жены, покуда не прошел небольшой поворот совсем рядом с ней. Обнаженная, она стояла во весь рост у выступа скалы, излучая солнце и теплоту жизни. Казалось, ее чуткая грудь вздымалась, прислушиваясь к чему-то; коричневые бедра, казалось, налились быстротой. Когда он появился, будто чернильное пятно на промокашке, она скользнула по нему быстрым и нервным взглядом.

Бедняга Морис заколебался и отвел взгляд в сторону. Отвернулся.

– Привет, Джули! – сказал он, нервно покашливая. – Великолепно! Великолепно!

Он приближался, отвернувшись в сторону, снова и снова бросая короткие взгляды на стоявшую поодаль жену, чья загорелая кожа отливала на солнце каким-то особым, шелковистым блеском. Во всяком случае, она

не казалась столь уж чудовищно обнаженной. Ее одевал золотисто-розовый солнечный загар.

– Привет, Морис! – сказала она, отстраняясь. – Не ожидала тебя так скоро.

– Да, – сказал он. – Да! Мне удалось удрать немножко пораньше.

И от ощущения неловкости он снова кашлянул.

Они стояли в нескольких ярдах друг от друга и молчали.

– Что ж! – сказал он. – А... великолепно, великолепно! Ты... а... великолепна! А где мальчик?

– Вон он, – ответила она, указывая вниз, где в густой тени голенький карапуз собирал в кучу опавшие лимоны.

Отец рассмеялся странным коротким смешком.

– Ах да! Вон он! Вон, значит, где наш мальчуган! Чудно! – говорил он. Его подавленную, нервную душу охватил настоящий трепет. – Привет, Джонни! – окликнул он мальчика, но зов его прозвучал довольно слабо. – Привет, Джонни!

Ребенок глянул вверх, выронив из пухлых ручек лимоны, но ничего не ответил.

– Думаю, лучше спуститься к нему, – сказала Джульетта, повернулась и уверенно пошла по тропинке. Муж последовал за ней, наблюдая, как быстро опускаются и поднимаются при ходьбе ее розовые легкие бедра, чуть раскачиваясь в талии, как на шарнире. Он был ошеломлен от восторга, но вместе с тем до смерти растерян. Что ему делать с самим собой? В темно-сером пиджаке и светло-серой шляпе, с серым монашеским лицом застенчивого бизнесмена, он абсолютно не вписывался в картину.

– Он хорошо выглядит, правда? – сказала Джульетта, когда они продрались сквозь целое море желтых цветов кислицы под лимонными деревьями.

– А!.. Да-да! Великолепно! Великолепно!.. Привет, Джонни! Ты узнаешь папочку? Ты узнаешь папочку, Джонни?

Он присел на корточки и протянул к мальчику руки.

– Лимоны! – прошебетал, как птичка, ребенок. – Два лимона.

– Два лимона! – подхватил отец, – Много лимонов.

Ребенок подошел и положил по лимону в раскрытые руки отца. Потом отступил назад и посмотрел.

– Два лимона! – повторил отец, – Иди ко мне, Джонни! Иди и поздоровайся с папочкой.

– Папа уезжает? – спросил ребенок.

– Уезжает? Ну... ну... не сегодня.

И он подхватил сына на руки.

– Снимет пиджак! Папочка снимет пиджак! – говорил мальчик, очаровательно отстраняясь от его одежды.

– Хорошо, сынок! Папочка снимет пиджак.

Он снял пиджак и аккуратно положил в сторонку, затем снова взял на руки сына. Обнаженная женщина смотрела на обнаженного ребенка, которого держал на руках мужчина в рубашке. Мальчик стащил с отца шляпу, и Джульетта посмотрела на прилизанные, черные с седьмой волосы мужа – не выбился ни один волосок. Совсем, совсем как в помещении. Она долго молчала, пока отец разговаривал с ребенком, обожавшим папочку.

– Что ты думаешь предпринять, Морис? – сказала она неожиданно.

Он быстро, искоса посмотрел на нее.

– А... в каком отношении, Джули?

– Да во всех! С этим вот! Я не могу вернуться назад на Сорок седьмую...

– А... – Он колебался. – Нет, полагаю, что нет... по крайней мере, не сейчас.

– Никогда, – сказала она; последовало молчание.

– Ну... а... не знаю, – сказал он.

– Думаешь, ты мог бы приезжать сюда? – спросила она.

– Да!.. Я могу остаться на месяц. Думаю, я могу выкроить месяц. – Он колебался. Затем осмелился вновь бросить на нее неизъяснимый, смущенный взгляд и вновь отвернулся, так что лица его не было видно.

Она посмотрела на него сверху вниз, ее чуткая грудь со вздохом вздымалась, словно ее колыхал легкий ветерок нетерпения.

– Я не могу вернуться домой, – произнесла она медленно. – Не могу уехать от этого солнца. Если ты не можешь приехать сюда...

Она оборвала на неоконченной ноте. Со все возрастающим восхищением он, все меньше смущаясь, снова и снова украдкой поглядывал на нее.

– Да! – сказал он. – Это как раз то, что тебе нужно. Ты великолепна! Да, полагаю, ты не можешь уехать.

Он думал о том, какая бледная, молчаливая была она в нью-йоркской квартире, как ужасно, как угнетающе действовала на него. Мягкая, робкая душа в отношениях с людьми, он был глубоко напуган после рождения ребенка ее жуткой, безмолвной враждебностью. Он понимал, что жена ничего не может с этим поделать. Так устроены женщины. Их чувства обращаются в свою противоположность, даже вопреки их собственной воле, это ужасно... ужасно! Ужасно, ужасно жить в одном доме с женщиной, чьи чувства обратились в свою противоположность даже вопреки ее собственной воле! Ему казалось, что он раздавлен жерновом ее ненависти, с которой она ничего не в силах поделать. Она и себя раздавила да и ребенка тоже. Нет, что угодно, только не это.

– А как же ты? – спросила она.

– Я? Ах, я!.. Я могу вести свое дело и... а... приезжать сюда в отпуск... пока ты захочешь оставаться здесь. Оставайся, сколько тебе хочется. – Он долгим взглядом уставился в землю, потом поднял смущенные глаза и почти с мольбой посмотрел на нее.

– Даже навсегда?

– Ну... а... да, если хочешь. Навсегда – это долгое время. Тут срока не установишь.

– И я могу делать все, что мне хочется? – Она смотрела с вызовом, прямо ему в глаза. Он был бессилен перед ее розовой, овеванной ветром наготой.

– А... да!.. Полагаю, что да! До тех пор, пока это не будет во вред тебе... или мальчику.

Опять он взглянул на нее с неизъяснимым, смущенным призывом – думая о ребенке, но и сам на что-то надеясь.

– Не будет, – быстро проговорила она.

– Нет! – сказал он. – Нет! Я и не думаю!

Наступило молчание. Колокола в деревне нетерпеливо отбивали полдень. Значит, время полдничать.

Она накинула пеньюар из серого крепа, завязала вокруг талии широкий зеленый пояс. Затем набросила на мальчика через голову голубую рубашечку, и они в гору стали подниматься к дому.

За столом она внимательно разглядывала мужа, его серое городское лицо, его приглаженные, черные с проседью волосы, его особую чинность за столом, его предельную умеренность в том, что он ел и пил. Иногда он украдкой поглядывал на нее из-под черных ресниц. Золотисто-серые глаза его напоминали глаза животного, пойманного совсем молодым и выросшего в неволе.

Пить кофе вышли на балкон. Внизу, поодаль, на соседнем *podere**, за узкой лощиной с отвесными краями, под деревцем миндаля, рядом с зеленой пшеницей, расположился крестьянин с женой. Они полдничали, расстелив на земле белую тряпицу. Огромный каравай хлеба, стаканы вина.

Джюльетта посадила мужа спиной к этой сцене, сама села лицом. Ибо в тот миг, когда они с Морисом вышли на балкон, крестьянин поднял глаза и взглянул.

5

Она знала его прекрасно – издали. Довольно полный, очень коренастый малый лет тридцати пяти, он жевал хлеб, откусывая его большими кусками. Его смуглолицая статная мрачная жена держалась настороженно.

* Владении, участке (*ит.*).

Детей у них не было. Вот и все, что удалось узнать Джульетте.

Крестьянин много работал один на соседнем podere. Неизменно чисто и опрятно одетый, белые брюки, цветная рубашка, старая соломенная шляпа. И он, и его жена имели вид спокойного превосходства, присущего не классу, а личности.

Привлекала в нем живость, особая бурная энергия, придававшая – при всей его полноте и приземистости – очарование его движениям. Вначале, еще до того, как она пристрастилась к солнцу, Джульетта неожиданно повстречала его среди скал, когда она перебралась на соседний podere. Он увидел ее раньше, чем она его, так что, когда она подняла наконец глаза, он снял шляпу, с гордостью и робостью глядя на нее большими синими глазами. У него было широкое загорелое лицо с коротко подстриженными темными усами и густыми темными бровями, почти такими же густыми, как усы, и сходящимися под низким широким лбом.

– Ах! – сказала она. – Можно мне здесь пройти?

– Конечно! – ответил он с той особой, жаркой поспешностью, которая отличала его движения. – Мой *radgone** разрешил бы вам ходить по его земле где угодно.

И он запрокинул голову с быстротой, живостью и робостью своей щедрой натуры. Она быстро пошла дальше, мгновенно постигнув безудержную щедрость его крови и столь же безудержную, *fagouche*** робость.

С тех пор издали она видела его ежедневно и поняла, что он из тех, кто по большей части держится сам по себе, точно быстроногое животное, и что жена любит его глубоко и ее ревность доходит порой до ненависти, потому, вероятно, что он все еще стремился отдать себя дальше, много дальше того предела, куда она могла следовать за ним.

* Хозяин, владелец (*ит.*).

** Дикую (*фр.*).

Однажды под деревом расположилась группа крестьян, и она увидела, как он быстро и весело кружит в танце с ребенком, – жена угрюмо наблюдала за ним.

Постепенно они с Джульеттой сблизились через разделявшее их расстояние. Они ощущали присутствие друг друга. Утром она угадывала миг, когда он появлялся со своим ослом. А стоило ей выйти на балкон, как он в то же мгновение оборачивался, чтобы посмотреть на нее. Но они никогда не здоровались. Однако ей недоставало его, когда он не приходил работать на свой podere.

Однажды жарким утром она наткнулась на него, гуляя, обнаженная, в глубокой лощине между двумя участками, – склонив к земле могучие плечи, он собирал хворост и грузил его на застывшего в ожидании осла. Подняв разгоряченное лицо, он увидел ее – она пятилась назад. Пламя полыхнуло в его глазах, и по ее телу пробежало пламя, плавя кости. Но она беззвучно пятилась, пока не скрылась в кустах, удалившись в ту сторону, откуда пришла. С легким возмущением размышляла она о том, как тихо мог он работать, скрытый кустарником. Словно дикое животное.

С тех пор в теле каждого отчетливо жила боль осознания, хотя ни один из них не желал признаваться в этом и виду не подавал, что знает. Но жена крестьянина инстинктивно обо всем догадалась.

Джульетта же размышляла: отчего нельзя мне побыть час с этим человеком и родить от него ребенка? Отчего моя жизнь должна быть привязана к жизни мужчины? Отчего не встретиться с ним на час, на столько, сколько продлится желание, – и не больше? Между нами уже вспыхнула искра.

Но ни разу не подала она ни единого знака. И видела теперь, как он посмотрел вверх, сидя у белой тряпицы напротив одетой в черное жены, посмотрел вверх на Мориса. Его сумрачная жена обернулась и тоже посмотрела вверх.

И Джульетта почувствовала, как ее охватила злость. Ей придется опять носить в себе ребенка Мориса. Она

прочла это в глазах мужа. И поняла по его ответу, когда заговорила с ним.

– Ты тоже будешь ходить на солнце раздетый? – спросила она.

– Отчего ж... а... да! Да, пока я здесь, я б хотел... полагаю, посторонним сюда вход воспрещен?

Его глаза затеплились отчаянной смелостью желанья, он смотрел, как вздымается под пеньюаром ее чуткая грудь. В этом смысле он тоже был мужчиной, он принимал вызов мира – его мужская смелость не была подавлена полностью. Он дерзнет ходить на солнце, даже если будет смешон.

Но он весь пропитался этим миром с его оковами и убудочной приниженностью. Помечен клеймом, которое не было знаком высокой пробы.

В этот миг, само совершенство, вся золотисто-розовая от солнца, но с сердцем, похожим на опавшую розу, она желала спуститься вниз, к горячему, застенчивому крестьянину и понести от него ребенка. Ее чувства поникли, как лепестки. Она видела, как играет кровь на его загорелом лице, видела пламя в синих южных глазах, и в ответ в ней вспыхнул огонь. Он мог бы стать для нее плодотворным солнечным омовением, которого она жаждала.

Тем не менее ее следующий ребенок будет ребенком Мориса. Такова уж роковая цепь неизбежности.

Печаль в раздумии

Лягушкой в дождливом мраке
Желтый лист поскакал от меня;
Что же вздрогнул я, как от боли?
Я видел ту, что меня
Родила, простертой во мраке
Спальной, в недвижной воле
Умереть: и лист быстрый меня
Рванул обратно к юдоли
Листьев, огней и асфальта, смешавших вокруг меня.

Рояль

Тихо, в полутемной гостиной женщина мне напевает,
Уводя меня в даль годов отошедших, пока я
Ребенка под роялем не вижу, в гудящем потоке нот,
Он ноги матери обнял, а она, улыбаясь, поет.

Против воли моей колдовство коварное пеня
Вновь предаст меня детству, и сердце плачет в томленьи
Снова быть дома, в вечер воскресный, с зимой за окном,
И гимны петь, как тогда, за звенящим роялем вдвоем.

Так что напрасно певица теперь раздражается криком
Перед черным лаком рояля *appassionato*. В тихом
Мареve детских дней я, прожитый век мой брошен
В стремнину памяти, вниз; как дитя, я плачу о прошлом.

Сумерки

Опять перед приходом смуглой тьмы
О бренности бормочет смутный голос,
Журчит о неизбежном охлажденье.
Тьма прибывает – и скрывает рифы,
И поглощает голоса, и чем-то
Солоноватым, теплым плещет в чресла.

Память Луны

Когда луна срывается в кровь человечью –
белая, скользкая – как в черную воду в порту –
и дробится, и трепещет у рёбер –

тогда шумный, грязный, дневной мир
умирает (да его и не было вовсе);
вместо него
сиянье – белое, влажное –
набегает на рёбра и отступает, серебром
омывая душу –
тёмное внутреннее море.

Из–под трепетных белых лунных
бичей–ресниц
в полосу прибоя ползут глубинные твари морские
и вспыхивают гневом – глубинным, без примесей,
гневом –
на ржавый катер, коптящий на запад:
за ним – объедки и пена, и не расчистить их за ночь.

Счастье быть одному

Для меня нет большего счастья, чем быть одному,
когда я могу постигать чистую радость луны,
путешествующей одиноко – сквозь время,
или величие ясеня на северном склоне холма,
где он стоит, одинокий, шурша под ветром.

Поиски истины

Не ищи ничего иного, кроме истины, –
только истину.
Хладнокровно ищи – и доберись до сути.
Доберись – и тотчас задайся вопросом:
а каков из меня получился лжец?

Сотворение

Тайна сотворения – в божественной жажде творить,
властной, необъяснимой жажде, не в Разуме.
Даже художник знает, его детище – не плод
размышлений,
мысль бессильна была, пока что-то не произошло.
В необъяснимом порыве он в схватку вступил,
и из этой схватки с материалом, в миг вдохновения,
возникло его созданье, начало быть, поднялось,
приветствуя разум.

Бог – это властная жажда творить, непостижимая,
дивная,
но он не предвидит результат.
Его вдохновение обретает плоть, и вот,
творение! Бог сам поражен, увидя его впервые.
Вот, существо, живое! Как удивительно!
Это надо осмыслить! Понять, что я создал!

Баварские генцианы

Не каждый может иметь генцианы в доме
в мягкие, медленные дни в конце сентября.

Баварские генцианы, большие и темные, сугубо темные,
темнящие день, подобные факелам дымной синевы
Плутонова царства,
острогранные и подобные факелам, с языками темного
пламени, стремящего свою синеву
вниз и слабеющего на остриях лепестков,
слабнущего при наступлении дня,
факелы–цветы темно–синего мрака, дымно–синие
пламена Плутона,
черные лампы чертогов Дита, лучезарная черная синева,
излучающая мрак, подобно тому, как бледные лампы
Деметры излучают свет,
так ведите меня, ведите же за собой.
Дайте мне генциану, дайте мне факел!
Пусть ведет меня синий огонь, языкастое пламя цветка
вниз по темным, все более темным ступеням, в глубь
синевы все более синей,
куда спускается Персефона, как раз теперь,
от сентябрьских заморозков
к невидимому царству, где мрак мрачнеет все ярче
и сама Персефона уже только голос
или незримая тьма, погружающаяся в глубокую тьму
объятий Плутона, в жаждающий и пронзительно жгучий
мрак,
среди блеска факелов тьмы, озаряющих тьмою
невесту и ее жениха, божественный брак.

Корабль смерти

1

Теперь осень – время падения плодов
и долгого путешествия в забвенье.

Яблоки падают, как большие капли росы,
и ранят себя, чтобы сквозь рану уйти из себя.

Время уходить, время говорить «прощай»
своему «я», время искать спасенья
из разбитого «я».

2

Готов ли твой корабль смерти? Ждет ли он?
Строй свой корабль смерти, не медли.

Скоро с морозами яблоки гулкой лавиной
обрушатся на затвердевшую землю.

Смерть близка, она всюду, как запах тленья.
Разве можно не заметить ее?
В израненном теле испуганная душа
сжимается, поживаясь от холода,
и выбирается через раны наружу.

3

Может ли человек добиться успокоенья
простым кинжалом?

Мечами, кинжалами, пулями можно пробить
отверстия в теле, сквозь которые вытечет жизнь,
но будет ли это покой? О, будет ли в этом покой?

Нет! Разве может душа обрести примиренье
через убийство себя?

4

Есть же покой настоящий, который нам в жизни
бывал иногда доступен: глубокий и нежный покой
сильного сердца в мире.

Как же теперь достигнуть такого покоя?

5

Строй свой корабль смерти. Тебе предстоит
томительное путешествие в забвенье.

Ты пройдешь сквозь смерть, долгую и мучительную
лежащую между старым и новым «я». смерть,

Уже твоё тело лежит, разбитое и негодное,
уже душа выступает из ссадин
разбитого тела.

Уже темный и бесконечный океан конца
сочится через открытые раны,
уже подступает прилив.

Так строй же твой корабль смерти, твой крошечный
наполняй его пищей, хлебами и вином, ковчег,
для темного ускользания в забвенье.

6

Мало–помалу тело умирает, и боязливая душа
пробует ногами прибывающую воду.

Мы умираем, умираем, все умираем,
не остановить вздымающегося в нас прилива,
он скоро зальет весь мир, лежащий вне нас.

Мы умираем, умираем, тело медленно умирает,
и сила покидает его,
и душа, голая, сидит, сжавшись под дождем над волнами,
вцепившись в последние ветки дерева жизни.

7

Мы умираем, умираем, и нам остается
только желать умереть и построить корабль
смерти для долгого путешествия души.
Маленький корабль с веслами и запасом еды,
со всеми припасами и снастями,
нужными отбывающей душе.

Спускай свой корабль, ведь тело уже умирает,
и жизнь отплывает, хрупкая душа
в хрупком кораблике отваги, ковчеге веры,
полном запасами посуды и пищи,
и необходимой одежды,
в пустыню волн,
в темные воды конца,
в море смерти, где мы плывем
наудачу, не смея рулить, ведь гавани нет в этих водах.

Гавани нет, нет цели, куда бы спешить,
только глубокая тьма, особенно темная там,
где море безбурно и неподвижно.
Тьма наплывает на тьму. Вверху и внизу,
и во все стороны тьма, и нет путей в этой тьме.
Там среди мрака корабль – его уже нет.
Он больше не виден, и некому видеть его.
Нет его больше, и все же он есть
где-то.
Нигде!

8

Нет ничего, тела совсем уже нет,
оно где-то внизу под водой.
Тьма высоты смыкается с тьмой глубины,
и между ними корабль,
которого больше нет.

Это и есть конец, это забвеньё.

9

Но смотрите, из вечности нить
протягивается через мглу,
горизонтальная нить,
бледная полоска поверх темноты.

Это иллюзия или все-таки бледное мерцанье
поднимается выше?

Смотрите, смотрите, но ведь это заря,
жестокая заря возвращения в жизнь
из плена забвенья.

Смотрите, смотрите, маленький корабль
скользит под бледно-пепельной полосой
встающей зари.

Смотрите, смотрите! струя желтизны
и чудо, о бедная продрогшая душа, розовый луч!

Розовый луч, и все начнется сначала.

10

Море отступает, и тело, как обточенная раковина,
появляется, милое и чужое.

И кораблик мчится домой, колеблясь и кренясь
на розовых водах,
и хрупкая душа вбегает в свой старый дом,
и сердце наполняется миром.

Наконец-то обновленное сердце в мире,
уже и забвенье не страшно.

Строй же свой корабль смерти. Готовь его,
скоро он будет необходим.
Долгий путь в забвение ожидает тебя.

Аргонавты

Не умерли, не умерли они!
Как лев, облизывая лапы, Солнце
не торопясь спускается с холма;
Луна (последняя, кто помнит и печётся
о прелести недолговечной плоти),
в сияющих вокруг полных икр котурнах,
перед вершиной медлит, поднимаясь
неспешно, как пристало
королеве,
и с высоты следит, ушёл ли лев, –

теперь, сейчас принадлежит им море.
Солёный ветер вдыхает Одиссей и правит прочь
от нашей пенной тверди.
О, погоди, не приноси кофейник –
свет не померк над морем, и «Арго»
ещё плывёт, ещё с террасы виден.

Греки идут!

Точка на смутной границе небес и воды
Парусом вдруг развернулась; приветственный клич
Ветер доносит: смотрите! – плывут корабли.
Гордо скользят по дуге (а фарватер – он стар, как холмы
синей пучины под килем) за солнцем вослед!
Это флотилия Хроноса делает крут,
Это Эгея галеры: кудрявобородых гребцов
Я различаю уже под розовым взглядом Гесперы...
Нет: это пена, всего только пена морская.
И пароход, словно жук в стальных белоснежных
надкрыльях,
Медленно и неуклюже ползёт по темнеющей толще
И на пурпурных перстах оставляет зловонные точки.

*Путевые очерки,
эссе*





Из книги «Сумерки Италии»

Театр

Во время карнавала в театре дают представление. На Рождество padrone подошел ко мне с ключом от своей ложи и пригласил пойти посмотреть представление. Театр, на самом деле, маленький, никудышный; развлечение для крестьян, сами понимаете; синьор Ди Паоли распростер руки и наклонил вбок голову, как мудрый попугай; но надо немного развлечься, добавил он, – un peu de divertiment. С этими словами он протянул мне ключ.

Я поблагодарил его, меня все услышанное вдохновило. Вот так запросто, на Рождество, чрезвычайно мило мне вручили ключ от ложи в театре – я сидел в просторной гостиной, окна которой выходят на серое озеро, – мне это пришлось по душе. К ключу на цепочке была прикреплена маленькая бронзовая пластинка, на которой была выбита крупная цифра 8.

И вот на следующий день мы пошли смотреть «I Spettri»*, настроившись на добротную простенькую мелодраму. Театр находится в здании церкви. С тех пор как великий «немой», кинематограф, подарил нам нервическую радость движения, скорости – образ возбуждения и скорости, подобной летающему атому, хаосу, – многие старые храмы в Италии обрели второе дыхание.

Эта старая церковь – прекрасное пристанище для театра. Я понял, как продуманно строили ее, чтобы все было подчинено драматическим религиозным мистериям. Восточный угол – круглый, стены без окон, звук прекрасно слышен. Все соответствует театральным канонам, разве что кроме каменного пола, двух колонн сзади и скамей, построенных для прихожан церкви.

* «Привидения» (ит.).

В театре два ряда маленьких лож, их около сорока, обитых алым бархатом с бахромой, а внутри – темно-красными обоями, как самые настоящие ложи в самом настоящем театре. Ложа моего синьора одна из лучших. В нее вмещалось три человека.

Мы заплатили за билет три пенса в каменном притворе и поднялись по ступеням. Я открыл дверь номер 8, и мы оказались в нашей маленькой ложе, из которой стали взирать на происходящее внизу. Я увидел брадобрея Луиджи, он кланялся нам усердно из ложи напротив. Непременный ритуал – поклоны во все стороны: ах, аптекарь в верхнем ряду, рядом с брадобреем; поклон хозяйке гостиницы, нашей доброй знакомой, она сидит чуть поодаль от нас в маленькой бобровой накидке; весьма прохладный кивок тучному деревенскому судье с длинной черной бородой, он наклонился вперед и уставился на сцену, а из-за его спины выглядывают чьи-то лица; теплые улыбки сородичам синьоры Джеммы, они в ложе напротив, поближе к сцене. После всего этого мы усаживаемся удобнее.

Не могу объяснить, почему я не выношу деревенского судью. Он выглядит, как на семейном портрете фламандского художника, сам – по центру, тучный, с длинной черной бородой, а остальные члены семьи – двумя группками, фоном. Полагаю, он рассердился, что мы появились здесь. Он республиканец, с большим мнением о себе. Но мы без труда затмили его – большой черной бархатной шляпой, черными мехами и воскресным платьем.

Внизу толпились крестьяне, перетекали, как медленное течение воды. Слева, повинувшись по инерции церковному порядку, сидели женщины, среди них в последнем ряду подле своей жены пристроился ее чудакватый муж. Справа на скамьях развалились берсальеры в своих серых военных формах и надетых набекрень шляпах с петушиными перьями; крестьяне, рыбаки; пара-тройка развязных девок тоже заняли места на мужской половине.

Сзади, мрачные и замкнутые, стояли деревенские хулиганы, кое-кто из них прислонился к колоннам. Черные фетровые шляпы надвинуты на глаза, плащи запахнуты наглухо, до самого рта; эти мрачные парни сбились в обособленную группку – молчаливые и спокойные, они начинали кричать и махать друг другу, когда что-нибудь задевало их внимание.

Все мужчины опрятны, в чистой одежде. Даже лохмотья нищего-носильщика по возможности приведены в порядок. Воскресенье – завтра, а местные мужчины бреются только по воскресеньям. Поэтому щеки и подбородок у них покрыты недельной черной щетиной. У них темные, ласковые глаза, беспечный и легкомысленный взгляд. Они легко, небрежно передвигаются на своих стучащих по полу *zoccoli**, с удивительной беспечностью подпирают стены или две колонны, не думая о грязных пятнах на одежде или голых шеях, кое у кого обвязанных красными шарфами. Непринужденно, спокойной они бродят по храму, переговариваются между собой или с глубочайшим вниманием наблюдают за происходящим в спектакле.

Они существуют сами по себе, в своей собственной атмосфере, при этом их душа словно открыта окружающим. Словно их недалекая натура распахнута чужому взгляду, и у них не хватает смекалки спрятаться. В них торжествует пафос физической чувственности и умственной отсталости. Их ум не поспевает за быстрыми, горячими ощущениями.

Мужчины держатся вместе, будто поддерживают друг друга, женщины тоже вместе, и те и другие сбились в сильное, плотное стадо. Казалось, что сила, мощь, триумф даже в этой итальянской деревушке сосредоточены в руках женщин, в их непреклонном, мстительном единстве.

А то, что толкает мужчин к женщинам, – лишь необузданная потребность, бремя страстей человеческих. Они

* Башмаки на деревянной подошве (*ит.*).

подчиняются этому импульсу словно под давлением, под принуждением. Они воссоединяются только в порыве гнева, в безумии разрушительной страсти. Между ними не бывает дружеских отношений или чего-то подобного, но лишь состояние борьбы, настороженности, враждебности.

Воскресным днем битый час стеснительный, взбодороженный парень нехотя прогуливается по людной дороге со своей возлюбленной недалеко от ее дома. Это необходимая прелюдия к замужеству. Никакого искреннего чувства, никакого ощущения счастья оттого, что они вместе, только волнение, возникшее на почве постоянной враждебности. Они немного флиртуют, но как-то вяло, даже порой злобно, словно это дуэль представителей разных полов. А вообще-то мужчины и женщины избегают друг друга, даже боятся. Муж и жена воссоединяются в своем ребенке, которого оба обожают. В каждом из них может проснуться глубокое благоговение к младенцу, благоговение к их отцовству и материнству, но никакой духовной любви между ними нет.

В браке мужчина и женщина ведут друг против друга незаметную, доставляющую им удовлетворение войну полов. Она дает им ощущение глубокого удовлетворения, тесной интимной близости. Но убивает радость, единокровные в повседневной жизни.

По воскресным дням стеснительный юноша битый час прогуливается со своей невестой по людной проселочной дороге. Потом вырывается – возвращается в мужскую компанию, будто из плена бежал. Воскресным днем или вечером замужняя женщина в сопровождении подружки или своего ребенка – одна идти не решается, боится, что вспыхнет беспощадная война полов между ней и ее пьяным мужем – тащит загулявшего домой на глазах соседей. Случается, муж ее поколотит, когда они доберутся до дома. Это часть ритуала. Но между мужчиной и женщиной нет объединяющей любви, есть только страсть, а страсть зиждется на ненависти, любовный акт – схватка, поединок.

Дитя, результат этой войны, – Божья благодать. Он – результат их единения, союза двоих. И хотя в смертельном поединке страстей одна душа сталкивается с другой, плоть воссоединяется с плотью в единое целое. Фаллос тоже Божья благодать. Но душа, разум мужчины – ничто.

И победу одерживают женщины. Вот они сидят в партере, тщательно причесанные волосы блестят, спины прямые, головы гордо подняты. Они вроде бы и не бросаются в глаза. Словно сидят на заднем плане. Но они столь же собраны и энергичны, сколь мужчины – расхлябаны и одиноки. Какая-то неведомая сила заставляет женщин быть подтянутыми, настороженными. Они словно опасное оружие. В них нет очарования или торжества, в лучших из них – красота материнства, в худших – желтая, ядовитая горечь плоти, подобная наркотику. И мужчинам они не по зубам. Дух мужчины, привыкший подчинять свою плоть любой прагматической, конкретной или социальной цели, сломлен. Женщина, став матерью, диктует правила жизни, становится высшим авторитетом. Авторитет мужчины, который проявляется в труде, в общественных делах, по сравнению с ним примитивен. Жалкий позор крестьянина заканчивается воскресным днем, великим днем его освобождения, когда его, пьяного и злобного, тащит домой жена, твердая, нестигаемая, слегка робеющая. Его пьяное сопротивление вызывает в ней жалость, ведь в женщине торжествует нестигаемая, неиссякаемая мощь!

Поэтому мужчинам пришлось уехать в Америку. Не ради денег, не из-за тайного желания восстановить свое достоинство мужчины, производителя, труженика, творца духа, а не плоти. Его гонит глубокое, тайное желание совсем избавиться от женщины, от тяжелой зависимости от секса, от фаллического культа.

Труппа актеров в маленьком театре приехала из городка, что стоит в долине позади Брешии. Занавес поднялся, все смолкли, погрузившись в глубочайшее, доверчивое, как у ребенка, внимание. И через несколько минут

я понял, что «I Spettri» – это пьеса Ибсена «Привидения». Крестьяне и рыбаки озера Гарда, даже стайка неугомонных ребятишек неотрывно следили за сюжетом норвежской драмы.

Актеры – крестьяне, их руководитель – сын помещика. У него диплом фармацевта, но он нигде не работает, предпочитает бродяжничать, вот и выбрал ремесло актера. Синьор Пьетро ди Паоли, пожав плечами, стал извиняться за их простонародный говор. Но мне было безразлично. Я старался свыкнуться с манерой игры актеров, ведь незадолго до этого я видел спектакль в Мюнхене в прекрасной и при этом вызывающей отвращение постановке.

Происходящее на сцене разительно отличалось от тяжелой, благовоспитанной, немного механической игры немцев и безупречной режиссуры, лучше которой я, казалось, и представить себе не мог; и вот сейчас я наблюдал за игрой итальянских крестьян, и мне требовалось время, чтобы настроиться на происходящее.

Матушка – приятная, милая женщина, чем-то очень напуганная, она и сама не понимала, чем именно. Рыжеволосый пастор – карикатурное подобие того персонажа, что был создан на северной сцене, вполне мирское существо. Крестьяне ни разу не засмеялись, они заворожено, как дети, и торжественно наблюдали за происходящим. Служанка – дерзкая, нахальная потаскушка, очень крикливая. А сын – актер и руководитель труппы, смуглый, румяный, ширококостный и тучный, явно крестьянской породы, хотя и немного образованный: он был на сцене самой важной фигурой, спектакль был его детищем.

Он вызывал у меня недоумение. Смуглый, румяный, крепкий, он никак не мог быть немощным сыном в «Привидениях», чахоточным, безмолвным отпрыском больного отца, воплощением северного типа характера. Его плотская итальянская страсть к сводной сестре была настолько убедительна, что зрителю становилось не по себе – ему нужна была эта связь, и он добьется ее непре-

менно, несмотря на то, что душа вопиет против этого, в глубине своего существа он противился этой страсти.

Именно противоречие, свойственное натуре этого человека, делало спектакль таким интересным. Пышущий здоровьем тридцативосьмилетний мужчина, напыщенный и самовлюбленный, каким может стать добившийся успеха в жизни итальянец, страдал неким тайным изъяном, подавлявшим его. Но то был не изъян его итальянской плоти, то была некая неразвитость, болезнь его души. Он жаждал плотского наслаждения, и он непременно добьется его, хотя в душе он не хотел этого, нет, вовсе не хотел. И, тем не менее, он должен поступать, сообразуясь со своими плотскими вожделениями, зовом плоти.

Его истинное существо, подлинное «я», было немощно. В душе он был слаб, зависим от других, несчастен. Он был инфантилен и зависел от своей матери. Его слова: «Gracia, mamma!»*, то, как он произносил их, разрывали душу любой матери. Он еще совсем ребенок и рыдает по ночам! Почему?

Потому что он был темпераментным, пышущим здоровьем, практически в расцвете сил, к тому же свободен, как только можно быть свободным в его положении. Он шел своим путем, не принимал никаких возражений. Он повелевал обстоятельствами – приехал в нашу деревушку со своей маленькой труппой, чтобы сыграть те спектакли, которые сам выбрал. И, тем не менее, то, чего он добился, не было для него жизненно важным, то было всего лишь непомерное упрямство, которое заставляет его быть столь по-мужски настойчивым. Им не станут повелевать женщины, ни одна из них не станет ему диктовать свои условия. А все потому, что его плоть поработила его.

Его подлинная душа мужчины, душа, что стремится вперед и строит из ничего новый мир, дремала. Она могла откликаться лишь на плотские ощущения. Его

* Спасибо, мама! (*ит.*)

божья благодать была заключена в фаллосе. Другая божья благодать мужчины, та, что пресуществляется в духе и творит в мире новый зародыш идеи, погибла в нем, была отринута. И этот дух кричал в нем беспомощно – в его легко воспламеняющейся плоти. Даже игра в этом спектакле была источником плотского удовольствия для него, в ней не было ни подлинного ума, ни духовности.

Это было так далеко от Ибсена, но так трогало зрителя! Ибсен вызывает волнение, нервические реакции. А этот спектакль по-настоящему трогал вашу душу, то был подлинный плач в ночи. Человек любит итальянский народ, от всего сердца стремится помочь ему. А когда он видит прекрасного Ибсена, как он начинает ненавидеть норвежский и шведский народы! Они вызывают в нем отвращение.

Такое впечатление, что они расковыривают потаенные уголки плоти – наглость, непочтительность, мерзость. В настоящем Ибсене есть некая невыносимая гадость, то же самое – в Стриндберге и в большинстве норвежских и шведских писателей. Они тоже культивируют фаллический идол, но этот культ ментальный, головной, извращенный: фаллос становится фетишем, к тому же он у них источник нечистоты, коррупции и смерти, Молох, которому поклоняются в безумии непристойности и порока.

И это невыносимо. Фаллос – символ творческой, созидательной божественности. Но он воплощает лишь часть созидательной божественности. А итальянец сделал его единственным носителем божественного. И в этом – причина его страданий, ибо ему пришлось разрушить в самом себе символ, суть собственной личности.

Поэтому итальянцы любят войну и не стыдятся этого. Отчасти причиной тому культ фаллоса, поскольку его функция – поглощать и поработать саму жизнь. Но это объясняется также тем, что они торопятся взглянуть в лицо смерти, познать смерть, которая способна разрушить в них слишком сильную власть плоти, освободить дух созидания, дух единения, способность упорядочить

хаос внешнего мира; так плоть творит новый порядок из хаоса, зачиная новую жизнь, даруя итальянцам путь к познанию и служению более высокой идее.

Крестьяне внизу сидели и внимательно слушали, словно дети, которые не понимают, что им говорят, но заморожены тем, что слышат. А дети тоже сидели на скамьях, поглощенные происходящим до конца спектакля. Они не сустились, их интерес не угасал. Они следили за мистерией, которая полностью захватила их, широко открытыми глазами, захваченные происходящим.

На самом деле Ибсен был безразличен крестьянам. Пусть себе играют его. На праздник Богоявления, в честь него, актеры ставили поэтическую пьесу Д'Аннунцио «La Fiaccola sotto il Moggio» – «Факел над мерой».

Глупая романтическая пьеска, весьма посредственная вещьца. В ней происходят убийства и полные театрального ужаса события. Но при этом, она – милая романтическая сказка, шарада.

Поэтому зрители любят ее. После спектакля «Привидения» я встретил брадобрюя, у него был странный, понурый вид, лицо – землистого цвета, словно он продрог до костей и был чем-то подавлен. Стерильное, холодное равнодушие, которое тоже присуще так называемым нациям–пассионариям, овладело им, и он брел по улице, растворяясь вдали, словно застывшее, мертвое существо.

А после пьесы Д'Аннунцио он был похож на человека, опьяневшего и согревшегося от сладкого вина.

– Ах, bellissimo, bellissimo!* – сказал он голосом опьяневшего от восхищения человека, завидев меня.

– Лучше, чем «I Spettri»? – спросил я.

Он приподнял руки, словно хотел дать понять мне, сколь глуп мой вопрос.

– О, это же был Д'Аннунцио... А другой...

– Ибсен, великий норвежец, – подсказал я, – всемирно известный драматург.

* Красиво, красиво! (*ит.*)

– Но знаете, Д’Аннунцио поэт – ах, как он прекрасен, прекрасен!

Ничего, кроме этих «bello–bellissimo», он не мог сказать.

Все дело в языке, в словах. Итальянцы обожают риторику, речь, обращенную к вашим чувствам, но не дающую пищу уму. Когда англичанин слушает кого-нибудь, он хочет хотя бы считать, что он ясно, без примеси эмоций, понимает услышанное. А итальянца волнуют только эмоции. Самое сильное для него впечатление, почти физическую радость ему доставляют сами слова. Разум почти не включен. Итальянец подобен ребенку, который слышит кого-то, реагирует, не понимая смысла. Ему достаточно чувственного ощущения. Поэтому Д’Аннунцио для итальянцев – божество. От его слов кровь ускоряет свой бег, и хотя многое из того, что он говорит, – чепуха, слушатель получает удовлетворение, он счастлив.

Карнавал длится до 5 февраля, поэтому каждый четверг проходит Serata d’Onore* одного из актеров. Ради одной из них, ведущей актрисы труппы, цену на билеты подняли, вместо трех пенсов он стоит четыре. Давали спектакль «Жена лекаря», современную пьесу, довольно любопытную, комедию, рассмешившую меня.

Героиней вечера была Аделаида, это был ее бенефис. Она была очень популярна, хотя уже и не молода. На самом деле, она мать того наглеца, персонажа из «Привидений».

Как бы то ни было, Аделаида, полная блондинка, мягкая и трогательная, – настоящая героиня театра, прима. Она так искренне плачет, что после этого мужчины, придя в неопишное волнение, начинают восклицать: «Bella, bella!». Женщины хранят молчание. Они застыли, как всегда, враждебные. Но, без сомнения, они тоже считают, что это подлинный образ несчастной, терзаемой рыданиями женщины, которой выпало столько

* Бенефис (*ит.*).

страданий. Поэтому восклицания мужчин «bella, bella!» после того, как они услышали рыдания героини, они принимают и на свой счет: это справедливое признание и их страданий – «за все платит женщина». Тем не менее в глубине души они презирали пышнотелую, мягкую Аделаиду.

Дорогая Аделаида, ее не в чем упрекнуть. Во все времена, во всех уголках земли, она дорога сердцу, по крайней мере, мужскому сердцу, – эта заливающаяся слезами, мягкая, несчастная блондинка. Ей суждено быть несчастной, обездоленной. Дорогая Гретхен, дорогая Дездемона, дорогая Ифигения, дорогая Дама с камелиями, дорогая Лючия ди Ламмермур, дорогая Мария Магдалина, дорогая, возвышенная, несчастная душа всех времен и народов, как мы любим тебя! В театре она расцветает, она – лилия сцены. Когда я был молод и неопытен, мое сердце разбивалось при виде ее не один раз. Я мог бы посвятить ей сонет, да, этой бледной, обливающейся слезами красавице в белом одеянии с распущенными волосами; я мог бы называть ее сотнями разных имен на сотне разных языков: Мелисандой, Елизаветой, Баттерфляй, Федрой, Миннегагой и т.д. Всякий раз, когда я слышу ее голос, в котором звенят слезы, мое сердце становится большим, его переполняет жар, моя плоть начинает плавиться. Я ненавижу ее, но бесполезно. Сердце начинает набухать, словно бутон под проливным дождем.

Последний раз я видел ее здесь, на озере Гарда, в Сало. Она была бледной, с тонкими ручками дочерью Риголетто. Я ненавижу ее, в ее голосе звучал неприятный скрежет. И все же сердце мое набухло в груди, оно готово было разорваться от любви. Я был готов выскочить на сцену, отхлестать гнусного, подлого любовника, предложить ей себя со словами: «Я знаю, ты ищешь подлинную любовь, она будет у тебя – я дам тебе ее».

Конечно же я знаю секрет магии Гретхен, она заключена в словах: «Спаси меня, Господь! О Боже, я твоя!». Ее робость, нежность, доверчивость, слезы придавали

мне храбрость и мощь. Ведь я – олицетворение доброй половины Вселенной. Но если бы произошло все это, я бы стал не более добрым, чем вторая половина Вселенной.

Аделаида – женщина в теле, а в голосе ее, влажном от слез, сокрушительная сила, от этого вас охватывает дрожь вожделения. И в тот момент, когда она выходит на сцену и оглядывается – немного испуганная, – она – это Она, Электра, Изольда, Зиглинда, Маргарита. Она в черном платье, похожа на леди, рыдающую на судебном процессе. Она в современном платье. Античное одеяние – белое, со шлейфом, в светлых волосах, затянутых на затылке, – цветок. А в сегодняшнем дне она в черной вуали и с носовым платком.

У Аделаиды всегда в руках платок. И всякий раз я реагирую на него. «Да это всего лишь платок!» – убеждаю себя. Но через две минуты он начинает действовать на меня. Она сжимает его в своей пухлой руке, как только слезы подступают к глазам; Судьба, или мужчина, беспощадна, безжалостна. Вздых, плач; она подносит руку с платком к глазам – к одному, к другому. Она плачет по-настоящему, слезы льются из глубины ее мягкого, ранимого, истерзанного существа. Я не в состоянии это выдержать. Я сижу в маленькой красной ложе *ragone* и сдерживаю себя, повторяя: «Позор, парень, позор!» Она старше меня в два раза, но какое это имеет значение?! «Твой бедный платочек, он уже промок от слез. Да не плачь же ты! Все будет хорошо. Я позабочусь об этом. Не все мужчины скоты, поверь мне!» И вот я уже бережно обнимаю ее, чтобы защитить от обидчика, скоро я осыплю ее поцелуями, чтобы утешить в пылу сочувствия, охваченный отвагой, осыплю поцелуями ее мягкие, полные щеки и шею, поцелуи станут все жарче, а мое желание утешить ее – все настойчивее и настойчивее.

Мне отведена очень приятная и волнительная роль в пьесе. Роберт Бернс довел ее до совершенства в своих строках:

С тобой топтали мы вдвоем
Траву родных полей...*

Сколько раз уже говорили эти строки всем офелиям
и гретхен мира:

Но не один крутой подъем
Мы взяли с юных дней.

Какой страстью пылает мужчина к женской груди!
От одного взгляда на блузку его охватывает прилив силы
и гордости.

Но почему в реальности женщины так бездарно
играют эту роль Офелии и Гретхен? Почему они не го-
товы терять рассудок и погибать ради нас? На сцене они
это совершают постоянно.

Но, быть может, это объясняется тем, что сочиняем
эти пьесы мы? Какой же я негодяй, чернобровый, страст-
ный, жестокий негодяй по отношению к этой героине
на сцене, а с другой стороны, какой же я молодчага, ге-
рой, воплощение рыцарского великодушия и веры! Я –
кто угодно, только не скучный, законопослушный граж-
данин. Я Галахад, воплощение чистоты и духовности,
Ланселот, рыцарь мужества и страсти, я скрещиваю на
груди руки или сдвигаю на бок шляпу – в зависимости от
обстоятельств – но я становлюсь самим собой. Только не
почтенным гражданином, только не им, – в это мгнове-
ние моей славы и моей свободы.

О Небеса, как рыдала Аделаида, ее голос звучал как
скрипка, бился о мою безжалостную мужскую жесто-
кость. Господи, как она рыдала, надеясь найти утешение
на моей груди! И как я наслаждался моим двуличием! Как
восхищался собой!

Аделаида выбрала «Загубленный талант» для свое-
го бенефиса. Всю следующую неделю – шквал цветных
афиш: «Грандиозный бенефис Энрико Персевалли».

* Перевод С.Маршака

Это – ведущий актер и руководитель труппы. Что же он выберет для такого выдающегося события, этот коренастый, плотный отпрыск зажиточных крестьян? Никто не знал. Название спектакля не обнародовали.

И мы остались дома – было холодно и сыро. Но в четверг вечером к нам ворвалась *maestro** – неужели мы не пойдем в театр на «Amleto»**?

Бедняжка, у нее ужасная желтая кожа, ей около пятидесяти, но темные глаза по-прежнему горят обжигающим пламенем. Когда ей исполнилось двадцать один, она была помолвлена с лейтенантом кавалерийских частей, но тот утонул. С тех пор она так и осталась незрелым плодом, который никто не сорвал с дерева, кожа ее становилась ужасной, покрывалась желтизной.

– «Amleto»! – говорю. – *Non lo conosco****.

В глазах у нее появился страх. Она же школьная учительница и больше всего на свете боится ошибиться.

– *Sì*, – воскликнула она в замешательстве, с мольбой в голосе. – *Una drama inglese*****.

– Английская! – повторяю я.

– Да, английская пьеса.

– А как пишется?

Вне себя от волнения, она достает из сумки карандаш и с унылой тщательностью пишет слово «Amleto».

– Гамлет! – с изумлением восклицаю я.

– *Ecco, Amleto!* – восклицает учительница, во взгляде – благодарность и согласие.

Так я узнаю, что синьор Энрико Персевалли хочет видеть меня среди зрителей. Его бенефис будет испорчен, если на спектакль не придет англичанин.

Я быстро собрался и под дождем побежал в театр. Я понимал, что он с тяжелым сердцем отнесся к тому

* Учительница (*ит.*).

** «Гамлет» (*ит.*).

*** Не знаю такую (*ит.*).

**** Да, это английская пьеса (*ит.*).

факту, что в день его бенефиса пошел дождь. Он считал себя человеком, которому не везет в жизни.

– Sono un disgraziato, io*.

Я опоздал. Первый акт близился к концу. Но спектакль пока что не воодушевил ни актеров, ни публику. Я тихо закрыл дверь ложи и подошел к краю. Беспокойный взгляд Гамлета–итальянца остановился на мне. И датский двор ожил от этого импульса.

Энрико смахивал на тупого болвана в своем траурном черном одеянии. Камзол был ему тесен, отчего он выглядел толстым и вульгарным, штаны до колен усугубляли простоватость его толстых, коротких ног–подпорок. Он таскал за собой длинную черную тряпку вместо плаща – для усиления эффекта. Лицо его застыло в напыщенной гримасе печали и философической глупокомысленности. Гримаса была карикатурой на всепоглощающую печаль Гамлета.

Я наклонился, чтобы пододвинуть скамейку для ног и справиться с собой. Я пытался не усмехаться. Прежде всего, Энрико, облаченный в черный шелк, символ философической печали, был похож на деревенского дурака. Его коротко подстриженная голова, напоминающая голову какого-то животного, была вульгарна, что особенно подчеркивал изящный камзол, а коренастая фигура простолудина и попытки актера изображать меланхолию граничили с абсурдом.

Все актеры тоже совершенно не соответствовали своим образам. Король и королева Дании были весьма трогательными. Королева, толстая маленькая крестьянка, мучилась в своем розовом атласном платье. Энрико был беспощаден к ней. Он знал, что ей куда привычнее быть в роли сварливой бабы или домохозяйки с повязанным на голову платком, настырной и вульгарной. А в спектакле ее нарядили в роскошное атласное платье, la Regina**. В самом деле, Regina!

* Я такой невезучий (*ит.*).

** Королева (*ит.*).

Она покорно старалась изо всех сил изображать величие. На самом деле она вошла в образ; она с достоинством поглядывала на зрителей, готовая к тому, чтобы ее воспринимали как важную благородную даму, если они проникнутся к ней должным почтением. Голос ее был хриплым, как у простолюдинки, но не знаю, отчего он звучал так хрипло – то ли от контраста с атласным платьем, то ли от холода.

Она, почти как ребенок, боялась двигаться. Прежде чем начать монолог, она глядела себе под ноги и резким движением поддегивала юбку, словно хотела убедиться, что платье в порядке. Потом приступала. Она была толстой шестидесятилетней низенькой женщиной, казалось, что, того и гляди, она надает Гамлету пощечин.

Ей нравилось быть королевой, когда она восседала на троне. Она с величайшим удовольствием устраивалась на нем, шлейф роскошно ниспадал по ступеням. Ее, как ребенка, переполняла гордость, она была похожа на королеву Викторию в день королевских торжеств.

Королю, ее благородному конурту, тоже оказывали высокие почести, он был в подобающем его положению платье. Правда, оно абсолютно не подходило ему. Платье существовало как бы самостоятельно, отдельно от него. Но куда бы он ни шел, оно следовало за ним, что ставило в тупик окружающих.

Он был худощавый, болезненный крестьянин, жалостный и очень кроткий. В нем было что-то чистое и приятное, он был таким кротким и по натуре весьма обходительным. Только королевской особой он себя не ощущал, исполнял свою роль с впечатляющим, простым достоинством.

Энрико Персевалли ни разу не попал в цель с актерами, но в своем образе он промахнулся безнадежно. Его герой был неуклюжим парнем, слоняющимся по сцене, втянув голову в плечи, он цеплялся к другим, юлил между ними, следил за ними, ставил им ловушки, был полностью поглощен собственной важной персоной. Ноги в черных коротких штанах, казалось, способны пе-

редвигаться только очень-очень медленно; и из-за этой черной тряпки-плаща, которую он постоянно таскал за собой, он дергался в разные стороны, как дергалась его порочная, низменная душа.

Я всегда испытывал отвращение к Гамлету: крадущееся, нечистое существо, на мой взгляд, даже в исполнении Форбса Робертсона и любого другого. Его гадкая слежка за матерью, ловушки, которые он расставляет королю, самодовольство и какое-то извращенное чувство по отношению к Офелии делали его для меня всегда невыносимым. Образ, отталкивающий по своей сути, его раздирают вечное недовольство собой и разрушительная двойственность.

Полагаю, что это чувство вечного недовольства, недовольства собой, свойственно многим художникам Возрождения, в том числе позднему Шекспиру. У Шекспира это происходит от порочности плоти и осознанного бунта против нее. Ощущение порочности повергает Гамлета в ужас, ибо он ни за что не согласится, что это именно он порочен. То же самое произошло и с Леонардо да Винчи, но Леонардо упивался пороком. Микеланджело отвергал порок, он боготворил плоть, только плоть. Эта реакция того же происхождения, только направлена в обратную сторону. Но так было четыреста лет тому назад. Энрико Персевалли добился своей цели. Он на самом деле Гамлет, а потому испытывает величайшее удовольствие. Он современный итальянец, подозрительный, замкнутый, питающий к самому себе отвращение, раб своих пороков. Но он никогда не признает, что это он порочен. Он крадется среди людей – самодовольный, переносящий ненависть к самому себе на окружающих. С каким злорадством он обнаруживает пороки в своих ближних! Он сообщает матери, что знает о ее инцесте, ее порочности, злорадствует, издевается над королем-кровосмесителем. Среди всех этих низких персонажей Гамлет – самый низменный. Но он обвиняет только других.

«Знаменитые монологи» не получились у Энрико, во всем остальном Гамлет Энрико воплощает муки физиче-

ской ненависти к самому себе, ненависти к собственной плоти. Эта пьеса – свидетельство самой важной философской доктрины Возрождения. Гамлет гораздо более уравновешенная натура, чем его прототип Орест, он разумная, отрицающая плоть и плотские чувства личность. Сама пьеса – это трагедия разума, причина страдания которого – плоть, трагедия духа, трагедия жертвы природы, реакция высокого аристократического взгляда на подлинно демократический взгляд на мир.

Простой смертный, повинувшись своим чувствам, оказавшись на месте Гамлета, решил бы убить своего дядю или уехал бы прочь. Гамлету не пришлось бы убивать свою мать. Если бы он убил дядю, это стало бы актом кровной мести. Но таков взгляд аристократа.

Орест оказался в аналогичной ситуации, но произошло это две тысячи лет тому назад, опыт, накопленный за прошедшие с тех пор две тысячи лет, был ему неведом. И поэтому смысл произошедшего не был для него так запутан, как для Гамлета, ибо Орест не был способен к бесконечным мучительным размышлениям. Вся жизнь греков строилась на идее верховенства личности, причем мужчины. Орест был сыном своего отца, и кто бы ни был его матерью, он оставался бы таким же. Мать была всего лишь средством, почвой, в которую упало отцовское семя. Когда Клитемнестра убила Агамемнона, для греков это было равносильно тому, что простой смертный убил Бога.

Но Агамемнон, Царь и Бог, не был безгрешен. Он был грешен. Он пожертвовал Ифигенией ради победы на войне, ради самоутверждения, а с другой стороны, он вступал в жестокие схватки, чтобы спасти своих наложниц, попавших в плен. Отцовская плоть – грешна, небожественна. Находясь в ее тисках, он стремится к более низким целям, чем слава, война, рабы, она заставляет его изменять собственной натуре. Орест сходит с ума от фурий своей матери, потому что они воплощают справедливый суд. Тем не менее, в конце концов он прощен. Третья часть трилогии почти глупа – таковой ее делают болтливые боги. Но смысл очевиден – согласно греческому миропо-

ниманию, Орест – прав, а Клитемнестра – совершенно не права. В конечном счете безгрешный Царь, безгрешный мужчина погиб в Оресте, его убили фурии Клитемнестры. Он успокаивается, в душе воцаряется мир после того, как он отказался от своей плотской греховности, но он никогда не станет идеальным Повелителем, каким был Агамемнон. Орест обретает покой, став простым смертным. С него начинается неаристократическое христианство.

Отец Гамлета, как и Агамемнон, – король-воин. Но, в отличие от Агамемнона, он безупречен по отношению к Гертруде. И, тем не менее, Гертруда, как Клитемнестра, – потенциальная убийца своего мужа, как убийцы леди Макбет и дочери Лиры. Женщины убивают высшее существо, мужчину, идеальную Личность, Короля и Отца.

Над этой трагической ситуацией Шекспир, вероятно, долго размышлял. Женщина отказывается признать, отвергает идеальную Личность, которую олицетворяет для нее мужчина. Его высшее олицетворение, Король и Отец, убит Женой и Дочерьми.

В чем причина? Гамлет лишается рассудка в приступе гнева и ненависти. А женщины–убийцы в его воображении олицетворяют высший суд. В глубине души Гамлет решает, что высшие ипостаси личности – Отец и Король – должны погибнуть. Это самоубийственное решение, к которому он приходит невольно. Но оно неизбежно. К такому решению привело его течение религиозной, философской мысли, столь укрепившееся в Средние века.

Вопрос «быть или не быть», который Гамлет задает сам себе, не означает «жить или не жить». И задает этот вопрос не простой смертный, а высшее «Я», Король и Отец. Быть или не быть Королем, Отцом, высшим проявлением Личности? И ответ – не быть.

Таков неизбежный философский вывод, к которому пришло Возрождение. Глубочайшее переживание человека – религиозное переживание – заключено в стремлении стать бессмертным, бесконечным, достичь высшей цели. И это переживание находит свое удовлетворе-

ние в реализации идеи, в неуклонном движении вперед. В движении вперед человек находит удовлетворение, кажется, он достигает своей цели, этой бесконечности, этого бессмертия, этого вечного существования, и с каждым шагом он становится ближе к заветному.

И вот, в соответствии со своей идеей высшего совершенства человек выстраивает весь порядок жизни. Если путь к высшему совершенству – это путь к созданию неведомой ранее божественной личности внутри меня, значит, я приступаю к реализации высшей идеи личности, высшей концепции моего «Я», а мой уклад жизни тогда станет королевским, имперским, аристократическим. И в политическом, общественном плане я достигну апогея, ибо мне будут сопутствовать слава, божественные сила и власть Короля, Императора. На своей политической, общественной стезе я буду стремиться стать королем, императором, тираном, прославленным, всемогущим, и, став им, достигну полной самореализации и совершенства. Это неизбежно!

Но в Средние века борьба в пределах этого языческого, необычного преображения, преображения «эго», была сопряжена с недовольством, вызывала противоречивые чувства. Богоматерь с младенцем Иисусом оказалась в толпе пышных королей и святых отцов. Царь Иисус постепенно сдавал свои позиции. На его месте оказался беспомощный, зависящий от жестокого мира Младенец Иисус. Или распятый Христос.

Путь преображения древних, путь к совершенству «эго» у древних, экстаз Давида, воплотившего в себе всю силу и славу мира, путь к бесконечности через способность «эго» впитать в себя все сущее постепенно стал казаться несовершенным. Такой путь не вел к бесконечности, к бессмертию. Он вел к вечной смерти, обрекал на вечные муки.

Идеалом стал монах, преисполненный экстаза совсем иной природы, христианского экстаза. Надо звать смерть, чтобы умереть, – плоть, человек, должна умереть, чтобы восстал его дух, бессмертный, вечный, бес-

предельный. Я, простой смертный, умру, но буду жить в Вечности. Больше нет моего конечного «Я», лишь Беспредельность, Вечность.

В эпоху Возрождения эта гигантская полуправда заменила собой другую гигантскую полуправду. Христианская Бесконечность, путь к которой лежал через великий отказ, через процесс исчезновения, растворения, распыления в великом «Не-Я», пришла на смену языческой Вечности, какой ее понимали древние, считая, что личность, как корень, от которого идут ветви и маленькие корни, заполняет собой всю Вселенную, становясь Единым целым.

Осталось лишь одно представление о Бесконечности, сокрушается мир, – великая Христианская бесконечность самоотречения и растворения в безличном. То, что проповедовали древние, было предано проклятию. Самый страшный грех – Гордыня, она ведет в ад. А ведь древние строили свое миропонимание на гордости.

И согласно этому новому представлению о Вечности, путь к которой – через отказ и растворение в Других, в Ближнем, человек обязан строить свой образ жизни. С помощью Савонаролы и Мартина Лютера действующая Церковь преобразовалась, потому что в Римской Церкви все еще было живо языческое начало. Генрих VIII просто говорил: «Церкви нет, есть только Государство». Но при Шекспире изменения коснулись и самого Государства. Король, Отец, предстоятель, Высшее начало, величайшее воплощение самой жизни, идеал совершенной личности, воплощение Высшего, Божественного, Вечного должен погибнуть, исчезнуть. Эта Вечность вовсе не вечность, это совершенство личности вовсе не совершенство, все грешно и фальшиво. Все прогнило, распалось. Должно погибнуть. Но Шекспир сам был частью того мира. Отсюда его ужас, безумие, ненависть к самому себе.

Король, Император убит в душе человека, старый мир рухнул, а старое древо прогнило до корня. Так говорил Шекспир. В конечном счете это привело на историческую сцену Кромвеля. Карл I считал себя правителем,

получившим королевскую власть свыше. Как и отец Гамлета, он был во всем прав. Но он представитель старого мира, который нынче человечество ненавидит, за это его следовало казнить, сбросив с престола. Казнь короля стала символическим актом.

Мир, наш европейский мир, и в самом деле повернулся к новой цели, к новой идее – путь в Вечность лишь в самоотречении. Господь – это все то, что «Не-Я»: ближний, враг, великое Прочее. Только таким путем я достигну совершенства.

И, руководствуясь этой новой доктриной, мир постепенно начал выстраивать новое Государство, новую форму правления, в которой Личность должна отсутствовать. Долой королей, лордов, аристократов! После Французской революции, после Шелли и Годвина, мир продолжал развиваться согласно своей новой религиозной догме. Долой Личность! Высшим авторитетом объявлялось то, что «Не-Я», другой. Определяющим фактором государства была идея благополучия других, то есть Общего Благоденствия. И со времен Кромвеля это стало доминирующим, основополагающим принципом.

До Кромвеля главной идеей было «За Короля!», потому что каждый видел вершину своего совершенства в единении с Королем. После Кромвеля: «Во имя блага народа!» или «Во имя всеобщего блага!». Это стало нашим основным принципом, который определял в той или иной степени наше существование.

А теперь и это миропонимание рухнуло. Теперь мы утверждаем, что Христианское понимание Вечности несостоятельно. Подобно Ницше, мы готовы вернуться в прошлое, к языческому пониманию Вечности, утверждать, что древние были правы. Или же, как англичане и прагматики, утверждаем: «Вечности нет, Абсолюта нет. Единственный Абсолют – выгода, единственная реальность – твое сиюминутное ощущение». Но мы можем настаивать на этом, даже соответственно вести себя, *à la Sanine**. Мы никогда не поверим в это.

* Как Санин (*фр.*).

Что на самом деле является Абсолютом, так это мистический Разум, соединяющий обе Вечности, Святой Дух, присущий обоим ипостасям Господа. Если мы хотим построить жизнеспособное, реальное государство, мы должны следовать идее Духа Святого, высшего Связующего звена. Должны сказать, что языческая Вечность – вечна, Христианская Вечность – тоже: есть два пути к достижению высшей цели, любой из них приведет нас к совершенству. А то, что объединяет их, и есть Абсолют.

Этот Абсолют Духа Святого мы можем назвать Истиной, или Справедливостью, или Правом. Это не совсем точные названия, они недостаточны и неудовлетворительны, если не сохранить знание о двух Вечностях, языческой и христианской, которые они соединяют.

– Essere, o non essere, e qui il punto*.

«Быть или не быть» – вопрос, который должен был решить Гамлет. Это не к нам вопрос, во всяком случае, для нас в нем заключен другой смысл. Когда встает вопрос о смерти, то юный щеголь-самоубийца заявляет, что факт его самоуничтожения – окончательное доказательство бесспорности его бытия. А что касается небытия в нашей общественной жизни, мы добиваемся этого в той степени, в какой сами хотим и в какой это представляется необходимым. В личной же жизни это становится результатом превращения мелкого эгоизма в мировоззрение. А на войне подобный поступок означает решение занять нейтральную позицию или превратиться в ничто. Это вопрос «*как быть*» и «*как не быть*», ибо мы должны пройти через то и через другое. Энрико отвратен в монологе «Essere, o non essere». Он шепчет эти слова хриплым голосом, словно собирается совершить убийство в мелодраме. На самом деле он отлично знает и всю жизнь знал, что языческая Бесконечность, преобразование его существа и достижение высшего совершенства в отцовстве – ерунда. Всю жизнь он действительно преклонялся перед представлением северных народов

* Быть или не быть – вот в чем вопрос (*ит.*).

о Вечности, к которой можно приобщиться лишь путем отрицания Личности, хотя продолжал оставаться итальянцем, для которого Личность – культ. Но то было всего лишь привычкой, притворством.

Откуда ему знать что-то о бытии и небытии, ведь он всего лишь грешник, проливающий слезы раскаяния, пример чего-то среднего между бытием и небытием, и ему ничего не нужно иного, лишь быть вот таким слезливым кающимся грешником. Он не то и не другое. Он, подобно монахам, – существо двуликое. Он вызывает отвращение, когда читает такой искренний монолог Гамлета. Ему еще предстоит узнать, что такое *не быть*, прежде ему надо познать, что такое *быть*. Пока он не прошел христианское самоотрицание и не познал христианское пресуществление, он просто бесформенное, аморфное нечто.

Ведь монологи Гамлета глубоки, добираются до глубины души и искренни по своей сути, как Святой Дух. Но, слава богу, болото, которое готово затянуть Гамлета, почти позади.

Такое странное впечатление на вас производит человек, если он говорит, закрыв лицо руками, как значителен и пронзителен он, если он незряч! Дух, приходящий к этому Гамлету, очень прост. Он до колен завернут в большую белую накидку, а на лицо наброшена шерстяная шаль. Но наивная, слепая беспомощность и правдивость его голоса чрезвычайно убедительны. Он кажется самым правдоподобным персонажем в спектакле. От колен до полу – он Лаэрт, потому что он в белых штанах Лаэрта и в открытых кожаных шлепанцах. И, тем не менее, он очень правдоподобен, этот голос из тьмы.

Дух, на самом деле, одна из неудач спектакля, он тривиален, бездушен и вульгарен. Мне это стало ясно с первого взгляда. Когда я был еще ребенком, я пошел на спектакль бродячих актеров – посмотреть за два пенни «Гамлета». Дух был в шлеме и кольчуге. Я сидел, охваченный ужасом.

– Амлет, Амлет, я дух твоего отца!

И тут раздается голос из темных, молчаливых рядов, словно безжалостный клинок пронзает мою чуткую душу:

– Чего врешь! Я узнал твой голос.

Крестьяне полюбили Офелию – она в белом, волосы ниспадают с плеч. Бедняжка, она такая жалкая, безумная. И не удивительно, что они особенно прониклись к ней после слов Гамлета:

О, если б этот плотный сгусток мяса
Растаял, сгинул, изошел росой!

Гамлет с ней ужасен. Крестьяне всей душой жалели ее. В конце этой сцены послышался хриплый крик – полный возмущения, гнева и страсти.

Сцена с могильщиками тоже имела у зрителя большой успех, но мне был по-прежнему отвратителен Гамлет. А могильщик, читавший на итальянском свой монолог, выглядел просто клоуном. Из-за итальянского языка мне вся сцена показалась фарсом.

– Questo cranio, Signore...*

И Энрико, этот болван, взял его и спрятал под свой черный плащ. Ведь он итальянец, будь его воля, он не притронулся бы к нему. Череп грязный. Энрико, толстый болван, пытался изобразить тоску. И при этом был напыщен и значителен, как персонаж Д'Аннунцио.

Занавес закрыли. Крестьяне устроили бурные овации после сцены с могильщиками. А когда спектакль закончился, они встали и двинулись к выходу, словно торопились поскорее уйти, не обращая внимания на последний подвиг Энрико: он упал на спину, провалился сквозь три ступени трона на пол. Но доски и тугие мышцы спружинили, и синьор Амлето высоко подпрыгнул.

«Амлето» закончился, к моей радости. Но мне понравился театр, понравилось смотреть вниз на крестьян, полностью захваченных спектаклем. В конце сцен муж-

* Этот череп, синьор... (ит.)

чины снимали с себя свои черные шляпы и с волнением разглаживали брови. А женщины начинали ерзать.

Только один мужчина был с женой и ребенком, он был той же народности, что и повстречавшаяся мне старуха в Сан-Томазо. Красивый, худощавый, светлый – словом, житель гор, словом, не от мира сего. Казалось, он привел жену и ребенка туда, где воздух чище, как в горах. Настоящий Иосиф, отец младенца. У него был свирепый, отсутствующий взгляд, дикий и непокорный, как у орла, который стережет свое гнездо, взгляд свирепый и полный любви. Он вышел, чтобы купить маленькую бутылку лимонада за пенни, мать с ребенком стали пить из нее крошечными глотками, а он наклонился над ними, словно орел, который распростер над своим гнездом крылья.

Яростный дух «эго», истоки которого – в Вечности древних, но независимый, отчужденный; аристократ. Нет, он не смуглый итальяшка. Красивый, твердый, как сталь, в жилах его течет кровь горца. Он такой же, как моя старая пряха. Удивительно, как ему удалось создать в этом театре отдельный маленький мир для себя, жены и ребенка, так орел вьет гнездо высоко в сияющем небе.

Берсальеры сидят тесными группками, между ними тоже какое-то странное единение. Они коротко стрижены, смуглы, головы напоминают немного головы животных, мощные плечи, на каждом лежит мощная, смуглая рука соседа. Когда спектакль закончился, они надели шляпы, предмет их гордости, накинули плащи и вышли из зала. Они состоятельные люди, эти берсальеры.

Они напоминают молодых полудиких бычков, эти сильные, крепкие, смуглые парни, коренастые, с тяжелыми головами, словно молодые мужчины–атланты. Они держатся друг друга, повинувшись какому-то инстинкту. Они совершенно не женственны. Их связывает некая сосредоточенность, погруженность в себя, состояние наподобие транса, отчего их разум дремлет. В том, как они надели свои шляпы с перьями и вышли одновременно из зала, ни на шаг не отступая друг от друга, словно их

тела непременно должны соприкоснуться, было какое-то странное, гипнотическое единодушие. И в этом глубоком, физическом трансе они ощущали себя в безопасности, испытывали радость. Они любили друг друга, юноши любили юношей. Они чурались тех, кто сидел в партере, чужаков, всех тех, кто не был берсальером из их казарм.

Один из них был вожаком. Стройный и крепкий, крепкий, как стена, в нем угадывалась нестигаемая воля. Петушинные перья свисали почти до плеч мощной, тяжелой волной с его шляпы цвета черной маслины. Он повернулся. Перья заплясали. Потом он пошел в притвор, перья безудержно прыгали и метались. Наверно, он богатый. Берсальеры сами покупают себе перья черных петухов, бывает, платят по двадцать–тридцать франков за такое украшение, сказала мне учительница. А у бедных на шляпе лишь жидкие, тонкие перья.

В этих мужчинах было что-то весьма примитивное. Они напомнили мне солдат Агамемнона, высадившихся на берег, – толпа мужественных, энергичных, жизнерадостных мужчин. Но эти итальянцы-солдаты словно находились под тяжким бременем, словно они кариатиды, – такой груз им приходилось держать на голове, отчего разум их был придавлен, оглушен, он спал. У них были такие лица, словно их разум и в самом деле оглушен, словно они существовали в другом мире.

Отдельно ото всех – Пьетро, парень, который постоянно торчит на пристани, – он разгружает пароходы. Он вострепенулся ото сна, словно дикий кот, когда его кто-то хлопнул по плечу. Человек, у которого кругом враги. Он в любую минуту может стать преступником. Может, и в тюрьму угодит? Он деревенский *gamin**, его все ненавидят.

Ему двадцать четыре года, он тощий, темный, смазливый, по-кошачьи легок и грациозен, но на лице – отталкивающее, злое выражение *gamin*. Все такие чистые

* Беспризорник, уличный мальчишка (*фр.*).

и аккуратные, а он – в грязных лохмотьях. Недельная черная щетина покрыла впалые щеки. Он теперь ненавидит того, кто разбудил его, хлопнув по плечу.

Пьетро уже женат, а ведет себя так, будто холостой. Он явился сюда с развязной бабенкой, женой брадобрея с Сицилии, у которого кожа цвета лимона. Уселся на той стороне рядов, где располагались женщины, позади девушки из Больяко, тоже с дурной репутацией, и начал с ней болтать. Наклонился вперед, положив руки на переднее сиденье, по-кошачьи извиваясь. «Моя *padrona* не выносит его – *ein frecher Kerl*»*, – говорит с презрением и отворачивается. Ей противно смотреть на него.

В деревне есть клерикальная партия, в нее входит большинство жителей, а есть антиклерикальная, остальные нигде не состоят. Члены клерикальной партии – люди мрачные, набожные и хладнокровные; в них какое-то необычное хладнокровие, безысходное уныние – они такие нравственные и печальные! А антиклерикальная партия под руководством Синдако – буржуазная, респектабельная (это касается ее членов, мужчин среднего возраста, весьма банальных, почтенных господ, будто стеной отгородившихся от клерикалов). Молодые антиклерикалы, горячие головы, собираются каждый вечер в более дорогом и менее респектабельном кафе. Молодые люди все как один – вольнодумцы, танцоры, певцы, гитаристы. Они безнравственны и даже циничны. Их вожак – молодой хозяин магазина, развязный малый, он жил в Вене, но за показушной иронией таится добрая душа. Он состоятелен и устраивает балы, на которые ходят лишь девушки легкого поведения и веселятся там с этими беспечными молодыми людьми. Еще он устраивает приемы и вечеринки, это он пригласил труппу бродячих актеров на карнавал. Молодых людей недолюбливают, но они принадлежат к числу влиятельных лиц деревни, они состоятельны, и потому управляют местной жизнью по своему усмотрению.

* Наглый парень (нем.).

Крестьяне-клерикалы сообразуют свои поступки и помыслы со священником, они добронравны, потому что бедны, пугливы и суеверны. И наконец, в деревне живет женщина легкого поведения, у нее таверна, куда заходят солдаты пропустить рюмку-другую. Вообще-то такие женщины держатся особняком. Они знают, кто они такие, и не притворяются добропорядочными. Обходят всех стороной, стараются никому не подпортить его честное имя.

И совсем отдельно держатся монахи-францисканцы в своих коричневых рясах, они такие робкие, такие молчаливики, такие неприметные, когда стоят у задней стены в магазине и ждут, пока подойдет их черед купить хлеб для монастыря, ждут тихо, стараясь быть незаметными, пока ни единой души не останется в магазине. Местные женщины говорят с ними ровным, официальным, немного презрительным тоном. Они отвечают тихими, униженными голосами, но вполне внятно.

В театре спектакль закончился, крестьяне в черных шляпах и плащах столпились в притворе. Один лишь Пьетро, грузчик с пристани, без плаща, на голову нахлобучил вместо черной фетровой шляпы какую-то кепку. Одежда на нем холодная, болтается на тощем, сильном, кощачьем теле, он продрог, но даже не замечает этого. Руки вечно в карманах, плечи немного приподняты.

Несколько женщин уже ускользнули домой. В баре маленького театра богатые молодые атеисты заказали еще выпивку. Правда, особенно не разорились. Бокал вина или стакан вермута стоит пенни. Вино молодое, но чудовищное на вкус. Молодой пекарь Агустино сидит на скамейке, на коленях – бледный младенец, он поит его. А малыш пьет, прикрыв глаза, словно только что оперившийся птенец.

Наверху сливки общества обмениваются приветствиями: чета Синдако, преуспевающие австрийцы-полукровка, владельцы деревянных складов, чета Бертолини демонстрируют свои дружеские чувства друг к другу; наш синьор Пьетро Ди Паоли нанес визит сво-

им родственникам Грациани, сидевшим в ложе рядом со сценой, а два перерыва был с нами; тем временем его два крестьянина смотрели снизу на нас – жалкие *contadini**, будто из седой старины, напоминавшие старые, побитые ветром камни, – смотрели, точно мы ангелы на небесах, благоговейно, преданно, они были где-то очень далеко внизу, у проема задней стены.

Аптекарь, бакалейщик и школьная учительница тоже обменялись приветствиями. Они сидели с важным видом у барьера своих лож, напоминая фотографии в рамке. Второй бакалейщик и пекарь нанесли друг другу визит. Брадобрей кинул взгляд сначала на плотника, потом вниз на толпу. Классовые границы тут очень четкие. Мы пошли к выходу с хозяином отеля, баварцем, по пути остановились переговорить с нашими хозяевами Ди Паоли. Они обменялись дружескими рукопожатиями, потом побеседовали о чем-то вежливо, правда, сути разговора мы не уловили; издали поклонились Марии Самуэли. Мы поняли нашу ошибку.

Брадобрей, не тот, что с Сицилии, а толстенький, маленький, кудрявый Луиджи, с массивным кольцом, был в курсе всех сплетен об этом театре. Он сказал, что у Энрико Персевалли есть любовница Карина, она играет служанку в «Привидениях», худой, благородной внешности старый король в «Гамлете» – муж Аделаиды, а Карина их дочь, старая, костлявая, маленькая королева – мать Аделаиды, они все очень любят Энрико Персевалли, потому что он очень умный, а Комик, Иль Бриллианте, Франческо – бездарь.

За три представления во время Богоявления труппа заработала двести шестьдесят пять франков, это очень много. Руководитель труппы, Энрико Персевалли, и Аделаида заплатили по двадцать четыре франка за каждый спектакль, то есть за вечер, когда шел спектакль, – это плата за аренду помещения и свет. Труппа очень довольна тем, как ее принимали в Лаго ди Гарда.

* Крестьяне (*ит.*).

Вот и все. Берсальеры помчались домой, потому что было уже полодинадцатого. Ночь была очень темной. Около четырех миль вверх по озеру прожекторы с австрийской границы бороздили воду, выискивая контрабандистов. А так темень кромешная.

Итальянцы в изгнании

Когда я оказался в Констанце, стоял туман, было мрачно и уныло, так что плавать по большому плоскому пустынному озеру не было никакого желания.

Из Констанца я плыл на маленьком пароходике по Рейну до Шафхаузена. Как красиво! Правда, туман висел над водой, над широкими отмелями реки, и солнце, вставшее утром на небе, заливало дивным желтым светом все округ, прорываясь сквозь голубоватый туман, казалось, что наступил час сотворения света. Ястреб сражался в вышине с двумя воронами, а может, грачами. Немцы с интересом наблюдали, стоя на палубе, как ястреб взмывал все выше и выше, а ворон увертывался от него, этот поединок казался странным символом в небе.

Потом мы поплыли дальше, меж поросших лесами берегов, под мостами, возле которых сгрудились деревеньки, будто сохранившиеся со времен рыцарских романов, под красными черепичными крышами с разноцветными гребешками, такие тихие, далекие, заблудившиеся в прошлом. Невозможно было верить, что они реальные. Даже когда пароход причалил к берегу и береговая охрана пришла проверить нас, деревня так и осталась в романтическом прошлом Верхней Германии, Германии сказок, менестрелей и ремесленников. Ощущения прошлого было невыносимо острым, оно разлилось всеми цветами радуги над затуманенной рекой.

За нами плыло несколько пловцов, их тела колыхались под водой возле нашего парохода. Один мужчина с круглой светловолосой головой поднял из воды лицо и руку и стал приветствовать нас, казалось, он нибелунг, который машет нам белокожей рукой, он смеялся, свет-

лые усы нависли над смеющимся ртом. Потом он нырнул глубже и пропал из виду.

Шафхаузен – городок наполовину старинный, наполовину современный, с пивоварнями и фабриками, он тоже не очень реальный. Водопады Шафхаузена – просто уродливые, в центре разместились фабрика, а внизу – отель, они производят какое-то кинематографическое впечатление.

Днем я отправился на прогулку от водопадов в сторону Италии, через всю Швейцарию. Помню большие, тучные, довольно мрачные поля этой части Бадена, они болотистые, здесь никто не живет. Помню, нашел несколько яблок под деревом в поле, что было возле железнодорожной насыпи, потом несколько грибов, я съел их. Потом вышел на длинную, пустынную дорогу, вдоль которой росли хилые деревца и тянулись огромные поля, а на них тут и там трудились группы мужчин и женщин. Они стали разглядывать меня, пока я шел по длинной дороге, один, у всех на виду, шел прочь от их мира.

Помню, в приграничной деревне меня никто не вышел проверить, я прошел беспрепятственно дальше. Вокруг – тишина, никаких признаков жизни, уныло, огромные полосы чернозема.

До заката, ярко-красного, пурпурного, я шел, не останавливаясь, и вдруг из мрачных полей я попал снова в Рейнскую долину, неожиданно для себя словно попал в другой сияющий мир.

Вдоль высоких, загадочных, романтических берегов текла река, на высоких, холмистых берегах были виноградники. И деревня с высокими, старинными домами, поблескивающая огоньками над глубокой рекой, объята тишиной, которую нарушал лишь бег воды.

Через реку был переброшен очень темный, под красным навесом мост. Я дошел до его середины и посмотрел в проем вниз на темную воду, на панораму квадратных огоньков, на передние домики одинокой деревни, молча высящиеся над рекой. По обе стороны реки тянулись холмы, а внизу раскинулся маленький, забытый,

прекрасный мир, принадлежащий жителям этой одинокой деревеньки и бродячим менестрелям.

Я вернулся в постоялый двор «Золотой олень», поднявшись по лестнице, громко постучал. Ко мне вышла женщина, я попросил накормить меня. Она провела меня через помещение, заставленное огромными бочками диаметром в десять футов, лежавшими прямо на полу, потом через большую, чистую, выложенную из камня кухню, с сияющими кастрюлями, старыми, со времен мастерзингеров, потом мы поднялись на несколько ступенек и оказались в большой гостевой зале, там было уже накрыто к ужину.

Несколько посетителей ужинали. Я попросил пива «Абендессен» и, сев у окна, стал смотреть на темную реку, на мост под навесом, на темный холм, возвышающийся по ту сторону реки, украшенный редкими огоньками.

Потом съел суп с огромным количеством тефтелей, много хлеба, выпил пива и страшно захотел спать. Зашла пара деревенских мужчин, но скоро ушли; все здесь будто вымерло. Только подле длинного стола на противоположной стороне комнаты сидели человек семь или восемь, оборванные, наглые отбросы общества, – еще один пришел позднее; хозяйка принесла им густой суп с клецками, хлеба и мяса, обслуживала она их торопливо, с пренебрежением. Эти восемь или девять бродяг, нищих, бездомных, безработных, ели весело и неаккуратно, жадно, оглядываясь по сторонам и усмехаясь, испуганные, подавленные, но при этом наглые. В конце трапезы один громко спросил, где ему ложиться спать. Хозяйка позвала молоденькую служанку, и та с классическим немецким выражением неодобрения и суровости повела их по каменным ступеням в отведенную для них комнату. Они шли по трое и по двое, униженные и несчастные. Еще не было и восьми часов вечера. Хозяйка беседовала с бородатым, степенным и строгим мужчиной, при этом безостановочно что-то вязала.

Выходя из комнаты, кто-то из этих нищих крикнул весело и нагло:

– Nacht, Frau Wirtin – G’Nacht, Wirtin – ‘te Nacht, Frau!*

Хозяйка всем отвечала «Gute Nacht», не поворачивая головы от вязания, ни единым жестом не давая понять, что она обращается к мужчинам, толпившимся на пороге.

Комната опустела, остались только хозяйка с вязанием да степенный, пожилой мужчина, с которым она говорила на неприятном диалекте, да молоденькая служанка, которая унесла тарелки и чашки со стола бродяг и нищих.

Потом и мужчина ушел.

– Gute Nacht, Frau Seidl, – сказал он хозяйке. – Gute Nacht, – бросил небрежно мне.

Я стал читать газету. Попросил хозяйку принести мне сигареты, не зная, как завести с ней разговор. Она подошла к моему столу, и мы заговорили.

Мне нравился мой образ романтического скитальца, она сказала, что у меня «schon»** немецкий, только немного медленное произношение.

Я поинтересовался у нее, кто те люди, что сидели за длинным столом. Она сразу стала сдержанной и немногословной.

– Они ищут работу, – ответила она так, словно ей неприятно было говорить об этом.

– А почему они сюда пришли, да еще так много их? – спросил я.

Она ответила, что они уезжают из страны, а ее деревня – приграничная; в каждой деревне социальный работник дает им талон на бесплатные ужин, постой, хлеб утром, они могут прийти с ним в указанный постоялый двор. Ее постоялый двор предназначен для таких бродяг. Хозяйке платят четыре пенсы за человека, думаю, за каждого из этих бродяг.

* Спокойной ночи, фрау Уиртин, спокойной ночи, Уиртин, спокойной ночи, фрау! (нем.)

** Хороший (нем.).

– Не густо, – заметил я.

– Копейки, – ответила она.

Ей совсем не хотелось говорить на эту тему. Отвечала она исключительно из уважения к моей персоне.

– Bettler, Lumpen, und Taugenichts!* – сказал я весело.

– И люди, оставшиеся без работы и возвращающиеся домой, – сказала она мрачно.

Мы поговорили недолго, и я пошел спать.

– Gute Nacht, Frau Wirtin.

– Gute nacht, mein Herr.

Я поднялся по лестнице, потом еще по одной в сопровождении молоденькой служанки. Дом был большой, очень высокий, старый, запущенный, с бесконечными, однообразными дверями.

Потом где-то на самой верхотуре я оказался в отведенной мне спальне с двумя кроватями, голым полом и жалкой мебелью. Я посмотрел вниз на реку, на мост под навесом, на дальние огоньки на холме напротив. Как странно мне было здесь, в этом Богом забытом месте, спать под одной крышей с бродягами и нищими. Не исключено, что они украдут мои ботинки, если я поставлю их за дверь. Но я рискнул. Щеколда громко звякнула, шум разнесся по пустому дому, заброшенному, всеми забытому. Интересно, где устроились восемь бродяг и нищих. Дверь в случае чего даже нечем было заставить. Но я почувствовал, что если мне и суждено быть ограбленным и убитым, то не этими бродягами и нищими. И я задул свечу и лег под огромное перьевое одеяло, прислушиваясь к бегу и шепоту средневекового Рейна.

Когда я проснулся, было солнечно, утренний свет залил холм напротив, а река внизу была пока в полумраке.

Бродяги и нищие ушли: они должны были освободить помещение до семи утра. Так что постоялый двор

* Попрошайки, оборванцы, дармоеды! (нем.)

был в полном моем распоряжении – тут оставались со мной только хозяйка и служанка. Было очень чисто, все пропитано немецкой утренней энергией и жизнерадостностью, у латинян утро начинается совсем по-другому. Итальянцы по утрам вялые и апатичные, немцы – энергичные и веселые.

На душе стало радостно, когда я любовался быстрой рекой внизу, красивым, под навесом мостом, берегом и холмом напротив. Потом с холма по петляющей дороге стал спускаться кавалерийский отряд, всадники в голубых мундирах. Я вышел посмотреть на них. Они нырнули в темный, скрытый под навесом тоннель моста, копыта романтично застучали по брусчатке, и всадники выскочили к деревне. Все было пропитано утренней веселой свежестью – и появление отряда кавалеристов, и бегущие навстречу радостные селяне.

Швейцарцы не военная нация – ни в одежде, ни в поведении. Маленький отряд кавалеристов больше смахивал на мужскую компанию всадников, отправившихся по какому-то общему делу, чем на армейское подразделение. Они держались очень свободно и похожи были на республиканцев. Офицер-командир, похоже, был одним из них, его власть была получена им по общему согласию его товарищей.

Все было очень мило и естественно, легко и мирно, совсем не так, как в механических, немного мрачных военных маневрах немцев.

Деревенский бакалейщик и его помощник, распаренные, обсыпанные мукой, шествовали от пекарни с огромной корзиной свежее испеченного хлеба. Кавалерия спешила у моста, сели закусывать и выпивать, как обыкновенные гражданские люди. Селяне подходили поздороваться с друзьями: один солдат поцеловался со своим отцом, тот подошел к сыну в кожаном фартуке. В школе зазвенел звонок, ребятишки робко пробрались меж лошадей, пасшихся табуном, с неохотой брели с учебниками в школу. Река неслась, солдаты, чувство-

вавшие себя очень неловко в мешковатых мундирах, откусывали хлеб большими кусками и жевали, набив полный рот; молодой лейтенант, который, похоже, был выбран командиром своими товарищами, мрачно стоял у моста. Солдатики были очень серьезными и довольными собой, в них не было и тени торжества. Все было как во время деловой поездки штатских людей, безопасно и скучно. Мундиры на них выглядели нелепо, как будто с чужого плеча, не к месту.

Я закинул на плечо рюкзак и тронулся в путь, по мосту через Рейн и вверх по холму напротив.

В этой стране какая-то мертвечина во всем. Помню, подобрал яблоки с травы у дороги, некоторые были очень сладкими. А так на мили тянулась мертвая, бездушная страна – бездушная, такая безликая и обыкновенная, что несла в себе разрушительную силу.

Когда попадаешь в Швейцарию, тобой непременно овладевает это чувство, исключение составляют горы, – чувство абсолютной, мрачной ординарности, что-то невыносимое. Миля за милей, до самого Цюриха, – одно и то же. И в трамвае, и в городе, в магазинах, ресторане. Все – воплощение ординарности и благополучия, ординарности, равносильной деградации. Город красивый, но это не имеет никакого значения, он воспринимается как самый что ни на есть обыкновенный, без изюминки, человек в старом костюме. Место просто убийственное.

Часа два я бездельничал – перекусил в ресторане, побродил по набережной и рынку, посидел возле озера, потом выяснил, каким пароходом можно уплыть. Я всегда впадаю в такое состояние в Швейцарии – единственное мое чувство тут – чувство облегчения, что я скоро покину ее, для меня главное – покинуть ее. Чудовищная безликость вокруг, ни цветка, ни намека на душевное тепло, на высшие силы, чудовищная, воинственная обыкновенность, – все это мне невыносимо.

Я поплыл на пароходу по озеру, окруженному низкими серыми холмами. Был субботний день. Шел сильный

дождь. Мне казалось, что лучше бы я очутился в огненном аду, чем оставаться в этой мертвой обыденности.

Я вышел где-то на правом берегу, проплыв три четверти пути. Почти стемнело. Но мне надо было еще идти вперед. Я поднялся на холм, добрался до вершины, посмотрел вниз, в темную долину, и спустился в полной тьме в безлюдную деревню.

Было уже восемь часов, дальше идти я не мог. Надо же и поспать, наконец. Я нашел Gasthaus zur Post*.

Гостиница была маленькая, совсем примитивная, без удобств, с одной лишь общей комнатой, в которой стояли не покрытые скатертью столы; хозяйка гостиницы – низенькая, плотная, мрачная, весьма грубая женщина, хозяйина – с взъерошенными волосами – бил алкогольный озноб.

Они могли предложить мне лишь отварную свинину, я съел ее, выпил пива, пытаясь переварить холодный, расчетливый материализм Швейцарии.

Я сидел спиной к стене, бездумно поглядывая на дрожащего хозяйина, который в любую минуту мог впасть в бешенство, и на суровую хозяйку, которая способна была тут же призвать его к порядку; в зал вошла смуглая эффектная итальянка с мужчиной. На ней были блузка с юбкой, а шляпы не было. Волосы уложены в прекрасную прическу. Да, это истинная Италия! Мужчина был спокойным, смуглым, с годами он располнеет, станет *traru*** , будет чем-то напоминать Карузо. А пока что он был спокойным, эмоциональным, красивым юношей.

Они сели с пивом за длинный стол, что стоял в стороне, и тотчас же в комнате возникла еще одна страна. Пришел другой итальянец, светловолосый, полный, медлительный, житель Венецианской провинции, потом третий – маленький тощий паренек, смахивающий на швейцарца, если не обращать внимания на его подвижность.

* Гостиница возле почты (*нем.*).

** Коренастый, приземистый (*фр.*).

Пришедший последним паренек первым заговорил с немцами. Другие только произнесли лаконично: «Пива!». А маленький посетитель тут же заговорил с хозяйкой.

В конце концов за столом собралось шесть итальянцев, они о чем-то шумно и дружелюбно беседовали. Медлительные, спокойные немцы-швейцарцы за другими столиками время от времени поглядывали на них. Хозяин с глазами, переполненными ненавистью, бросал на них злобные взгляды. А они легко и весело взяли свое пиво в баре, сели за столик, и в этой примитивной, безликой гостинице возник очаг жизни.

И вот они покончили с пивом и пошли по коридору. Комната стала пустой и мрачной. Я не знал, куда себя деть.

Потом я услышал вопли и проклятия хозяина, доносившиеся с кухни, он орал, как бешеная собака. А швейцарцы, завсегдагаи этого заведения в субботние вечера, продолжали невозмутимо курить за столиками и беседовать на своем чудовищном диалекте, не обращая никакого внимания на скандал. Потом вошла хозяйка, за ней – хозяин: рубаха без воротничка, шюртук расстегнут, горло голое, толстый живот свисает над ремнем. Ноги у него худые, он с трудом удерживается на них, кожа на лице обвисла, глаза полыхают безумием, руки дрожат. Он подсел к приятелю поговорить. Вид у него был отталкивающий, никто не обращал на него внимания, только хозяйка с мрачным видом следила за ним.

Из глубины дома послышались громкие крики радости и волнения, хлопанье и стуки. Когда дверь нашей комнаты открылась, я увидел в конце темного коридора на противоположной стороне другую освещенную дверь. Потом вошла полная, светловолосая итальянка и попросила пива.

- Что там за шум? – спросил я наконец у хозяйки.
- Там итальянцы, – ответила она.
- А что они делают?
- Играют.

– Где?

– В дальней комнате, – ответила она и кивнула головой.

– Можно мне пойти посмотреть?

– Думаю, можно.

Хозяйка внимательно следила, как я выхожу из комнаты. Я прошел по каменному полу коридора и обнаружил большую полуосвещенную комнату, которую можно было бы использовать для проведения встреч и митингов, мебель была свалена в кучу у одной стены. У другой было возвышение или сцена. На ней стоял стол с лампой, вокруг которой сгрудились итальянцы, они оживленно размахивали руками и смеялись. Кувшины с пивом стояли на столе и на полу, маленький шустрый паренек внимательно изучал какие-то бумаги, остальные наклонились над столом и следили за ним.

Они подняли головы, когда я вошел в комнату, взглянули на меня, застывшего в полумраке, я был для них чужаком, они, видно, ждали, чтобы я убирался. А я спросил по-немецки:

– Можно посмотреть?

Они не откликнулись, не желая видеть и слышать меня.

– Что? – спросил малыш.

Остальные выжидали, немного растерянные, насто-рожившись, словно звери.

– Может, вы позволите мне посмотреть? – спросил я по-немецки, потом с трудом по-итальянски: – Хозяйка сказала мне, что вы репетируете пьесу.

Позади меня была большая темная комната, маленькая группа итальянцев столпилась на сцене в свете лампы, которая стояла на столе. Они следили за мной невидящим, недружелюбным взглядом – я был чужаком, вторгшимся к ним.

– Мы еще только разучиваем текст, – сказал малыш.

Они хотели, чтобы я ушел. А я хотел остаться.

– Можно мне послушать? – спросил я. – Мне не хочется там оставаться. – И я кивнул в сторону залы.

– Можно, – сказал молодой, интеллигентного вида человек. – Но мы только читаем наши роли.

Они стали чуть дружелюбнее относиться ко мне, значит, приняли меня в свой круг.

– Вы немец? – спросил юноша.

– Нет, англичанин.

– Англичанин? А живете в Швейцарии?

– Нет, просто иду пешком в Италию.

– Пешком?

Они посмотрели на меня с интересом.

– Да.

Я рассказал им о своем путешествии. Они были озадачены. Не понимали, почему это я решил идти пешком. Но сама идея дойти до Лугано, Комо и Милана пешком привела их в восторг.

– А вы откуда? – спросил я.

Они все были жителями деревень, находившихся между Вероной и Венецией. Бывали на озере Гарда. Я рассказал им о своей жизни там.

– Эти горные крестьяне, – тут же заметили они, – не-образованные люди. Совсем дикие.

Они говорили о них с пренебрежением и юмором.

Я подумал о Паоло, Грубияне, синьоре Пьетро, о нашем *ragione*, и слова этих работяг возмутили меня.

Я пристроился на краю сцены, пока они репетировали. Маленький, худой интеллигентный паренек, Джузеппино, был их руководителем. Они читали свои роли с крестьянским усердием, несвязно, словно могли осмыслить лишь одно слово, а только потом, со следующей попытки собрать слова вместе, чтобы в них прозвучал какой-то смысл. Пьеса была мелодрамой, написанной любителем, напечатана в грошовом буклете, предназначенная для постановки во время карнавалов. Сейчас происходило второе чтение; смазливый, смуглый, неотесанный паренек, стоявший перед девушкой как вкопанный, смеялся, краснел, спотыкался, не понимая, что происходит, так что Джузеппино приходилось ему все втолковывать. Толстый, светловолосый, медлительный человек

был более сообразителен. Он потрудился над своей ролью. Двое других исполняли второстепенные роли.

Убедительнее всех играл толстый, светловолосый, медлительный человек по имени Альберто. Роль была у него не самая главная, так что он мог присесть около меня и перекинуться парой словечек.

Он рассказал мне, что они все работают на фабрике – кажется, шелковой, – в деревне. Итальянцев здесь целая колония – тридцать, а то и больше семей. Все они приехали сюда в разное время.

Джузеппино дольше всех здесь живет. Приехал сюда, когда ему было одиннадцать лет, с родителями, учился в швейцарской школе. Поэтому говорит на немецком прекрасно. Он был неглупым, был женат, имел двух детей.

Он-то сам, Альберто, прожил семь лет в долине, девушка Маддалена – десять, смуглый парень, Альфредо, постоянно плававший румянцем из-за нее, прожил здесь около девяти лет, он один из всех остальных – холост.

Все женаты на итальянках, живут в большом доме с освещенными окнами возле грохочущей фабрики. Они держатся замкнуто – никто не говорит по-немецки, разве что знает несколько слов, кроме Джузеппино, тот как местный житель здесь.

Странно было оказаться среди итальянцев, живущих в изгнании в Швейцарии. Альфредо, смуглый холостяк, – парень, воспитанный в старых традициях. Но даже он – объект, достойный внимания для новых целей, такое впечатление, что всем руководит некая сильная, новая воля, поработившая и его, впечатлительного и бездумного. Словно он согласился на какие-то условия, поставленные перед ним. В этом он отличался от Грубияна, в этом он находился в подчинении неких инородных понятий.

Странно было следить за ними, за тем, как эти итальянцы, в постоянном движении, податливые, горячие, впечатлительные, двигались по сцене, будучи инструментом в руках Джузеппино, сохранявшего спокой-

ствии, собранного, отстраненного. На его лице было выражение целеустремленности, почти самозабвения, что выделяло его из всех прочих, делало его среди прочих символом стабильности и постоянства. Они ссорились между собой, он выжидал до определенного момента, потом осаживал. Он разрешал им играть по собственному усмотрению, пока они хоть как-то оставались верны его замыслу, пока придерживались общего рисунка пьесы.

Они беспрерывно пили пиво и курили. Альберто был у них барменом: то и дело выходил с пустыми стаканами. У Маддалены был маленький стакан. Вот так в свете лампы, падавшем на сцену, эта маленькая труппа читала, курила и репетировала перед пустой темнотой большой комнаты. Крошечная, трогательная волшебная земля была такой необычной и изолированной от безликой, пустой Швейцарии. Я даже поверил в старые сказки, в которых, когда открывается вход в пещеру, откуда появляется волшебное подземное царство.

Альфредо, пылающий румянцем, возбужденный, красивый, очень мягкий, объятый жаром, смеялся и принимал разнообразные позы, смех его был глупым, но в конце концов он целиком отдался игре. Альберто, медлительный и тяжеловесный, не без искры живости и естественного напряжения, отвечал ему и жестикулировал; Маддалена опустила голову на грудь Альфредо, другие участники вступили в игру, и пьеса почти полчаса жила своей жизнью на сцене.

Быстрый, живой и сообразительный, маленький Джузеппино был постоянно в центре. Но казался почти невидимым. Вспоминая этот эпизод, я почти не представляю его, только других, свет лампы на их лицах и полных руках, которыми они оживленно жестикулировали. Представляю Маддалену, довольно грубую, отгалкивающую, суровую, произносящую свои слова громким, почти бесстыдным голосом, припавшую к груди Альфредо, такому мягкому и впечатлительному, женственному, горящему румянцем, с влажными губами и глазами, находящему-

ся в сильнейшем волнении. Я представляю Альберто, медлительного, тяжеловесного, с естественной, изначальной простотой всех движений, что придавало его полноватой, обычной внешности красоту. Потом передо мной возникали двое других – робкие, вспыльчивые, неинтеллигентные, с неожиданными чисто итальянскими вспышками страсти. Их лица отчетливо видны в свете лампы, а их тела – осязаемые и впечатляющие.

Но лицо Джузеппино напоминает бледное пламя, проблеск среди красного света, а его фигура незаметна, будто тень. И все его существо довлечет над остальными, исключение составляет женщина, она жесткая, не поддающаяся чужой воле. Мужчины кажутся уменьшенными в размерах под напором воли их маленького руководителя. Но они очень мягкие, податливые, хоть и вспыльчивые.

Девушка, племянница хозяйки, спустилась в комнату и что-то крикнула.

– Мы сейчас уходим, – сказал мне Джузеппино. – Они в одиннадцать часов закрываются. По соседству есть другая гостиница, она открыта всю ночь. Пойдемте с нами, выпьем вина.

– Но вы предпочитаете остаться без посторонних, – ответил я.

Напротив, они стали уговаривать меня пойти с ними, сказали, что настаивают, чтобы я пошел, они жаждали развлечь меня. Альфредо, румяный, с влажными губами, разгоряченный, требовал, чтобы я выпил вина, настоящего красного итальянского вина из их родной деревни. Они и слышать не хотели мои отказы.

Я сказал об этом хозяйке. Она предупредила меня, что я должен вернуться не позднее двенадцати часов.

Ночь была очень темной. Под дорогой бежал ручей, на его другой стороне стояла большая фабрика, от которой падали рябые отблески света, а сквозь освещенные окна можно было увидеть неясные контуры работающих станков. Рядом стояло высокое здание, в котором жили итальянцы.

Мы прошли мимо беспорядочно разбросанных убогих домиков деревни, тянувшейся вдоль ручья, перешли небольшой мостик, поднялись наверх холма, с которого я спустился раньше.

И добрались до кафе. Внутри все было совсем не так, как в немецкой гостинице, но и не так, как в итальянском кафе. Зал был ярко освещен, чистый, новый, на столиках – красно-белые скатерти. Нас встретили хозяин и его дочь, рыжеволосая девица.

Они поздоровались живо, открыто, в итальянской манере. Но в этой открытости присутствовала и другая нота – легкий отголосок сдержанности, ведь они оберегали себя от внешнего мира, создавая свою особую общность людей, свое землячество.

Альфредо стало жарко, он снял плащ. Мы сели за длинный стол, а рыжеволосая девушка принесла кварту красного вина. За другими столиками мужчины играли в карты, в забавные неаполитанские карты. Они тоже говорили по-итальянски. Здесь был островок теплой, пышущей здоровьем Италии посреди холодной тьмы Швейцарии.

– Когда вы окажетесь в Италии, – говорили они мне, – поприветствуйте ее от нас, поклонитесь солнцу и земле, поклонитесь l'Italia*.

Мы выпили за здоровье Италии. Они посылали со мной свои приветствия своей стране.

– Знаете, в Италии всегда солнце, солнце, – сказал мне Альфредо взволнованно, губы его были влажными, он немного опьянел.

Я вспомнил Энрико Персевалли и его преисполненный ужаса крик: «Il sole, il sole!»**

Мы поговорили немного об Италии. Они испытывали к ней нежность, в которой проскальзывали боль и грусть, но говорили они о ней сдержанно, будто таясь от кого-то.

* Италия (*ит.*).

** Солнце, солнце! (*ит.*)

– А вы не собираетесь вернуться? – спросил я, надеюсь услышать от них определенный ответ. – Не хотите когда-нибудь вернуться?

– Да, – ответили они. – Обязательно вернемся.

Но отвечали они сдержанно, неохотно. Мы говорили об Италии, о песнях, карнавале, об итальянской кухне, о поленте, о соли. Они смеялись, когда слушали, как я пытался однажды разрезать поленту бечевкой, это их очень развеселило, они мысленно перенеслись в *mezzogiorno**; когда на часовне звонят колокола, а они после тяжелой работы в поле обедают.

В их смехе звучали легкая боль, и насмешка, и любовь – каждый из нас испытывает подобные чувства к своему прошлому после того, как он распрощался с ним, с обстоятельствами, определявшими его жизнь раньше.

Они страстно любили Италию, но туда они ни за что не вернутся. Душой и телом они оставались итальянцами, они тосковали по итальянскому небу, по родной речи, по эмоциональной, чувственной жизни. Ведь они были способны жить только чувствами. Их ум дремал, в умственном развитии они оставались детьми, любящими, наивными, хрупкими детьми. Но чувствами они были мужчинами – чувства их были зрелыми.

И, тем не менее, в них прорастал новый крошечный цветок – цветок нового духа. Суть Италии всегда была языческой, чувственной, а самый мощный символ ее – сексуальный. И младенец на самом деле не был для них христианским символом, а знаком торжества вечной жизни, которую обретают люди, продолжая свой род. Поклонение Кресту никогда не был святыней в Италии. Христианство Северной Италии там не прижилось.

И теперь, когда Северная Европа отворачивалась от своего христианства, отрицая его, итальянцы восстали со всей мощью и энергией против чувственного духа, довлеющего над ними. Когда Северная Европа, независимо

* Полдень (*ит.*).

от того, ненавидела она Ницше или нет, начала взывать к дионисийскому экстазу, обучаясь ему на практике, Южная Европа стала освобождаться от культа Диониса, от идеи победы жизни над смертью, обретения бессмертия в продолжении рода.

И я понял, что эти сыны Италии никогда не вернуться на родину. Паоло, Грубиян и подобные им парни уехали для того, чтобы непременно вернуться домой, пусть и не в старую Италию. Власть привычного уклада была слишком сильной для них. Назовите это любовью к стране или к деревне, *campanilismo**, или к чему-то еще, это была власть старой языческой формы, старая идея бессмертия в продолжении рода – в противовес христианской доктрине бессмертия в умерщвлении собственного «я» и в любви к ближнему.

«Джон» и итальянцы, жившие в Швейцарии, были поколением более молодых людей, и они ни за что не вернутся, по крайней мере не вернуться в старую Италию. Может, им и приходилось страдать, они действительно страдали, дрожа всеми фибрами души от холодной, материалистической бесчувственности северных стран и Америки, но они будут и впредь претерпевать эти страдания во имя других желаний. Они готовы даже принять на себя физические муки, как «Джон», когда он дрался с уличными хулиганами; мои собеседники годами испытывали мучения, загнанные в черную, мрачную, холодную швейцарскую долину, работая на фабрике. Но в результате в горниле страданий рождался новый дух.

Даже Альфред поддался новым веяниям, хотя по характеру он был точно такой, как Грубиян, – воплощение эмоций и глупости. Но под влиянием Джузеппино он, как непаханая целина, попал под плуг новых веяний.

А потом, когда все захмелели, Джузеппино заговорил со мной. В нем горело негасимое пламя, негасимое, негасимое пламя рассудка, духа, чего-то нового и чисто-

* Любовь к родному месту (*im.*). Дословно – любовь к своей колокольне (*campanile* – колокольня).

го, чего-то, что покоряло даже пустоголового, эмоционального Альфредо, не говоря уж об остальных, а ведь Альфредо был совсем пустоголовым парнем.

– *Sa signore*, – сказал мне Джузеппино тихо, почти незаметно, неслышно, словно ко мне обращался дух, – *l'uomo non ha patria*, у человека нет родины. Что итальянское правительство сделало для нас? Что вообще такое – правительство? Оно заставляет нас работать, отбирает у нас часть заработанного нами, отправляет нас в армию – зачем? Для чего нужно такое правительство?

– Вы служили в армии? – перебил я его.

Нет, и никто из приятелей не служил, поэтому им дорога в Италию заказана. Теперь мне стало все ясно, этот факт отчасти объяснял их странную сдержанность, когда они говорили о своей любимой стране. Они потеряли родителей и родину.

– Что делает правительство? Собирает налоги, у него армия и полиция, строит дороги. Но нам не нужна армия, мы сами себе полиция и сами можем строить дороги. Что это за правительство такое? Кому оно нужно? Только негодяям, которые норовят нагреть руки на других. Правительство – инструмент несправедливости и зла.

– Зачем нам правительство? Здесь в деревне около тридцати итальянских семей. У них нет никакого правительства, и итальянского тоже нет. И нам в нашем земледельчестве живется лучше, чем в Италии. Мы стали богаче и свободнее, у нас нет полиции, нет глупых законов. Мы помогаем друг другу, и среди нас нет бедняков.

– Почему правительства вечно делают то, чего нам и не нужно? Мы бы не стали сражаться в Киренаике, если бы мы были все итальянцами. Это козни правительства. Они мелют языком и крутят нами, но нам они не нужны.

Его приятели, захмелев, сидели вокруг стола с невыразимой серьезностью детей, которых в чем-то обвиняют, а они даже не понимают, о чем идет речь. Они ерзали на стульях, отворачивались, вид у них был, как у узников тюрьмы. Только Альфредо, положив свою руку на мою, легко и радостно смеялся, а лицо его пылало. Вот такой

Альфредо может испугать любое правительство, стоит ему только повести своими могучими плечами. Он смеялся до слез.

Джузеппино терпеливо выслушивал пьяную исповедь своих друзей, его бледный, чистый цвет красивого лица не менялся, напоминая свет звезды, а его милостивый, глуповатый приятель Альфредо пылал ярким румянцем. Джузеппино терпеливо ждал, поглядывая на меня.

Но я не хотел больше его слушать: не хотел отвечать. Я чувствовал в нем иной, новый дух, нечто непривычно чистое и немного пугающее. То, к чему он призывал, мне было неподвластно. Душа моя обливалась слезами, беспомощно рыдая, как младенец в ночи. Я не мог отвечать, потому что у меня не было для него ответа. Он смотрел на меня, англичанина, человека образованного, ища поддержки и одобрения. Мне был понятен пафос новой справедливой борьбы за рождение истинного, подобного звезде, духа. Но я не мог поддержать его монолог, в моей душе не было отклика. Я не верил в совершенство человека. Не верил в идеальную гармонию людей. Эта вера была его путеводной звездой.

Скоро полночь. В кафе зашел швейцарец, заказал пива. Итальянцы, сидевшие в зале, замкнулись в себе, примолкли, превратившись в странное темное пятно. Мне пора уходить.

Они дружелюбно, сердечно распрощались со мной, испытывая ко мне, носителю каких-то новых знаний, полное доверие. Но на лице Джузеппино появилось выражение стойкой, спокойной решимости, негибимой веры, которую не сломить разочарованием. Он протянул мне маленькую газету анархистов, выходящую в Женеве. «L'Anarchista»* – так, кажется, она называлась. Я полистал ее. Она была на итальянском языке, наивная, простая, но в ней было много риторики. Значит, эти итальянцы все анархисты.

* «Анархист» (ит.).

Я сбежал с холма в кромешной швейцарской тьме – пересек мост, потом пошел по кривым, выложенным булыжником улицам. Не хотелось ни о чем думать, ничего знать. Хотелось умерить свою активность, попридержаться ее до нужного момента, до следующего приключения.

Я подошел к каменным ступенькам, ведущим в мою гостиницу, и заметил в темноте две фигуры. Они тихо попрощались и расстались, девушка принялась стучать в дверь, а юноша удалился. Это племянница хозяйки рассталась со своим возлюбленным.

Мы стали ждать подле запертой двери на крыльце, во тьме ночи. Внизу журчал ручей. Изнутри слышались крики и неразборчивая брань, но щеколду так и не отодвинули.

– Это господин, тот самый странный господин! – крикнула девушка.

Снова загремели дикие вопли хозяина.

– Вон отсюда, вон отсюда! Я не открою вам дверь!

– Это тот самый странный господин! – повторила девушка.

Послышался шум, внезапно дверь распахнулась, хозяин бросился на нас, размахивая метлой. Необычная возникла картинка на фоне полусвещенного проема. Я, ничего не понимая, смотрел на него с крыльца. Хозяин опустил метлу и, глядя на меня, сник, словно по волшебству, правда, продолжал бормотать что-то невнятное. Девушка проскользнула мимо меня, хозяин снова завопил. Потом поднял метлу, не переставая кричать:

– Вы опоздали, дверь заперта, мы ее не откроем. Мы вызовем полицию. Сказано – двенадцать часов, в двенадцать часов дверь закрывается, и ее вам не откроют. Раз опоздали, оставайтесь на улице...

Он отправился к себе на кухню, продолжая кричать все громче и громче.

– Вы сразу к себе в комнату подниметесь? – спросила спокойно хозяйка. И повела меня наверх.

Окна моей комнаты выходили на улицу, в ней было чисто, но страшно неудобно; там стояла огромная жестя-

ная банка то ли из-под свинины, то ли из-под швейцарского молока – она служила умывальником. Но постель оказалась вполне сносной, а это самое главное.

Я слышал вопли хозяина, с глухим стуком что-то где-то падало: бух, бух, бух – раздавались удары. Интересно, что это может быть? Непонятно, откуда именно доносятся этот грохот, – моя комната находилась за другой большой комнатой, мне пришлось пройти через нее, обогнув две кровати, чтобы попасть в свою; я совсем не ориентировался, где что в доме находится.

Я уснул, тщетно пытаясь понять это.

Проснулся утром, умылся в жестянке. По улице напротив неторопливо прогуливались редкие прохожие – наступило праздное воскресное утро. В Англии по воскресеньям так же; я вовсе не горел желанием делить с ними эти часы безделья. Не хотел видеться с итальянцами. Фабрика, большая и мрачная, стояла неподалеку, возле ручья, рядом с ней здания из серого камня. Вся остальная деревня умещалась на одной кривой улице, годы не изменили ее.

Хозяин был тихим, рассудительным, даже дружелюбным. Норовил побеседовать со мной; первым его вопросом было – где я купил ботинки. В Мюнхене, сказал я. А сколько они стоят? Двадцать восемь марок. Они поразили его воображение: какие отличные ботинки, мягкие, кожа крепкая, красивая, давненько он таких не видел.

Потом я узнал, что он мне их почистил. Я представил себе, как он щупает их, любитесь ими. Он мне даже стал нравиться. Наверно, когда-то у него было богатое воображение и тонкая натура. Пьянство погубило его, теперь ничего человеческого в нем не осталось. Эта деревня мне стала ненавистна.

К завтраку дали хлеб с маслом и куском сыра весом около пяти фунтов, большие, свежеспеченные, сладкие булки. Я остался доволен завтраком – кормили тут прекрасно.

Пришла пара юношей в праздничной одежде. Они вели себя по-воскресному чинно, скованно. Их поведе-

ние напомнило мне чопорность и забавную самоуверенность, которые овладевают всеми англичанами в выходные дни. А хозяин сидел в распахнутом сюртуке, рубаха обтягивала его толстый живот, он, опустив свое разрушенное пьянством лицо, говорил, говорил без передышки, обуреваемый любопытством.

Через несколько минут я был снова в пути, благодарил Господа за то, что он благословил меня на путешествие по дороге, никому не принадлежавшей, – я шел прочь от людей.

Не хотел больше встречаться с итальянцами. Что-то мешало мне, я не выдержал бы свидания с ними; но по какой причине мой мозг замирал, как часовой механизм, как только я начинал думать о них, о том, как они будут жить, об их будущем, – непонятно. Словно странная отрицательная магнитная сила сковывала мой мозг, не давая ему работать, в то самое мгновение, когда я вспоминал итальянцев.

Не понимаю, почему так произошло. Но я не смог писать им, думать о них, даже не смог прочитать газету, которую они мне дали, хотя долгие месяцы она валялась у меня в ящике стола в Италии и я частенько прочитывал не больше шести строчек оттуда. И часто, очень часто в своих воспоминаниях я возвращался к той компании, к пьесе, которую они репетировали, к вину в уютном кафе, к ночи. Но в то самое мгновение, когда в моей памяти всплывает все это, душа моя замирает; нет, я не могу обо всем этом думать. Даже и теперь я не могу о них думать.

Я против своей воли отстраняюсь от этих воспоминаний. Не понимаю, отчего это происходит.

Из книги «Утро Мексики»

Корасмин и попугаи

Говорят – Мексика, а, в сущности, имеют в виду городок на юге республики, в нем – покосившийся домик из необожженного кирпича, садик – patio, заключенный между стенами домика, на большой затененной веранде, смотрящей на деревья, – стол из оникса, три кресла-качалки и небольшой деревянный стул, а еще – ваза с гвоздикой и человек с авторучкой в руке. Мы торжественно возвещаем: «Утро Мексики», начертав эти слова прописными буквами. А всего-то человек, поглядев на клочок неба, пропускающего сквозь листву, опускает глаза и принимается писать.

Обидно, что мы редко об этом помним. Когда в свет выходят книги с громкими названиями, вроде «Будущее Америки» или «Положение в Европе», обидно, что в нашем воображении тотчас же не возникает худой или плотный человек, на стуле или в постели, диктующий что-то стенографистке с короткой стрижкой или сам делающий какие-то пометки авторучкой.

И все-таки – утро, Мексика. Светит солнце. Зима, но здесь оно и зимой постоянно светит. Приятно сидеть на открытом воздухе и писать, погода в меру прохладная и в меру теплая. На следующей неделе Рождество, так что все должно быть хорошо.

Легкий запах гвоздики – ваза стоит совсем рядом. Смолистый запах дерева, запах кофе, листьев, утра, даже запах Мексики. Ведь, что ни говори, у Мексики свой слабый, но ощутимый аромат, – как и у каждого человека. И этот аромат – удивительный, невыразимый, впитавший запах смолы, и пота, и выжженной солнцем земли, а к тому же еще мочи.

Петухи продолжают кричать. Лениво пыхтит маленькая мельница, на которой местные жители мелют зерно. На дороге, ведущей к дому, о чем-то судачат женщины, поэтому два ручных попугая, пристроившись на ветвях, начинают вторить им свистом.

Попугай, даже если я их не слушаю, действуют на меня завораживающе. В груди начинает kloкотать смех, диафрагма вибрирует сама собой. Это парочка обыкновенных зеленых птичек, с голубыми и красными пятнышками, с круглыми глазками, полными разочарования, с тяжелыми, свисающими вниз клювами. Но они внимательно ко всем прислушиваются. И все повторяют. Они сейчас передразнивают Розалино, который насвистывает, подметая patio метлой из прутьев. Когда кто-нибудь из нас поблизости, он свистит не так громко, поэтому сейчас все озираются, ища его взглядом. А заметив его черную голову, склонившуюся над метлой, дружно хохочут.

Попугай свистят точь-в-точь как Розалино, только немного более отчетливо. И это «немного-более-отчетливо» потрясающе смешно. Они передразнивают Розалино, и хотя свистят «немного-более-отчетливо», их печальные головки на шейках с отвисшим зобом совершенно неподвижны, а в безжизненных глазах застыло разочарование. Розалино, подметая patio метлой из прутьев, сгребая в мелкие кучки шуршащие листья, постепенно исчезает в облаке пыли, поднятым им самим. Он не возмущается. Он бессилен в этой ситуации. Утро прорезает дикий, переливчатый индейский свист, мощный, заряженный нечеловеческой энергией, придающей ему такую силу. И всегда, всегда чуть более реальный, чем сама реальность.

Потом попугай вдруг начинают увлеченно болтать, вероятно, они поднимают свои неуклюжие лапки, может, висят на ветках, ухватившись клювиком за нижнюю, вцепившись холодными негнуцимыми когтями в ту, что повыше, – словно лохматые красновато-зеленые буро-

ны, тянущиеся к солнцу. И внезапно раздаются их пронзительные, демонические, издевательские голоса:

– Perro! Perro! Perro! О, Perro!

Это они передразнивают кого-то, кто кличет собаку. Perro – по-испански означает «собака». Но не укладывается в голове, что кто-нибудь мог звать собаку таким голосом, полным почтительного, вежливо-ядовитого сарказма. Снова диафрагма начинает дрожать от приступов смеха. И думаешь: «Неужели? Неужели мы так бесконечно, так *ab ovo** смешны?»

Более того, это очевидно. И мы прячем лицо от смущения.

Теперь попугаи лают по-собачьи – точь-в-точь как Корасмин. Корасмин – маленький, толстенький, лохматый белый песик, только что он грелся на солнышке, а теперь перебрался на веранду в тень, шел медленно, понуро, а потом лег у стены возле моего стула.

– Ав-ав-ав! Вуф! Вуф! А-а-ав! – заливаются лаем попугаи, точь-в-точь как Корасмин, когда какой-нибудь незнакомец приходит в *zaguan***, только «немного-более-отчетливо».

Я с усмешкой смотрю на Корасмина. А Корасмин смотрит на меня своими желтыми глазами с молчаливой, смущенной покорностью и легкой тенью упрека. У него маленький белый носик, под глазами – темные отметины, как у существа, много повидавшего на своем веку. Весь день он только и делает, что прячется от солнца, когда оно начинает палить, и уходит из тени, когда там становится слишком прохладно. И без всякого результата покусывает блох.

Старый, бедный Корасмин, ему всего лишь шесть лет, но он сдал, безнадежно сдал. Но не выглядит жалким. Он не покорился своей участи. Хоть он и растянулся на земле, его дух высок.

* Здесь: изначально (*лат.*).

** Прихожая (*исп.*).

– Perro! O, Perro! Per-ro! Per-ro! – кричат попугаи с таким необъяснимым, пронзительным старческим злорадством, что кажется, даже деревья затыкают себе уши. Этот звук пронзает грудь, которая имела у нас испокон века, задолго до того, как придумали, что у нас есть еще и мозги. И Корасмин снова прячет острый маленький носик под хвостом, закрывая глаза, чтобы не видеть мою ухмылку, начинает дремать, а потом с остервенением принимается кусать себя там, где его заели блохи.

– Perro! Perro! – и покорный, затихающий лай. Дьявольское, раскатистое «г» злорадно вырывается из глубины жестоких исчезнувших веков. Следом – тихий лай маленькой лохматой собачки. Попугаи умеют лаять потрясающе тихо и безобидно, прямо как маленькая лохматая собачонка. А потом сопровождать свой лай звенящим, раскатистым испанским «г», рвущимся вверх по лестнице солнечных лучей и улетающим к звездам.

Корасмин медленно уходит с веранды, опустив голову, и перемещается на солнце. Нет! Он снова поднимается, из последних сил сохраняя контроль над собой, легонько скребет землю, чтобы удобнее устроиться. И снова плюхается вниз.

Invictus!* Непокоренный Корасмин! Грустный маленький белый лохматый маятник все медленнее раскачивается между тенью и солнцем.

В когтях судьбы-злодейки
Не плачу я и не рыдаю,
Пусть кровью весь я истекаю,
Но головы пред нею не склоняю.

Эти высокопарные слова – слишком несправедливая насмешка над Корасмином. Ясные желтые глаза бедняги старика Корасмина! Он остается хозяином положения, не поддаваясь насмешкам, которыми попугаи осыпают

* Непобежденный! (*лат.*)

его. Он не собирается пьжиться, жалея самого себя. Это удел следующего этапа эволюции.

Я жду того дня, когда попугаи начнут обстреливать нас английскими фразами, целясь прямиком в пупок. Они, подняв головы, уже прислушиваются к нашей болтовне. Но пока что они не усвоили нашу речь. Она озадачивает их. Кастильское наречие, язык Корасмина и Розалино им доступнее.

Я-то лично не верю в эволюцию, которая, словно длиннющая леска, тянет на своем крючке Первопричину по бурному потоку времени. Я предпочитаю верить в то, что ацтеки называют Солнцами, то есть в то, что разные миры были сначала один за другим сотворены, а потом уничтожены. Солнце бьет дрожь, и миры угасают как свечи, когда кто-то рядом с ними начинает кашлять. Потом мистическим образом Солнце снова бьет дрожь, и тогда возникают и мерцают новые миры.

Такое объяснение больше подходит моему воображению, чем долгая, утомительная, извивающаяся леска Времени и Эволюции, которая держит на крючке Первопричину. Мне больше нравится представлять себе зрелище целиком: бах! – и ничего, кроме хаоса, и все разлетается в клочья. А потом из тьмы встают крошечные новые огоньки, неведомо откуда, неведомо как.

Мне по душе идея, что мир словно выстрелил, потому что ящеры выросли до необъятных размеров и надо было их прикончить парой снарядов. Потом маленькие щебечущие птички засверкали в темноте, и из темных недр выпорхнул сонм птиц: фламинго, будто занимающаяся заря, встали на одной ноге, в полдень закричали попугаи, готовые вот-вот заговорить, потом павлины раскрыли хвосты, словно ночь – свое звездное опахало. Но кроме этих маленьких чистых птах появилось множество огромных, с голыми шеями монстров, они были крупнее крокодилов и стали пробираться сквозь мхи, пока не пробил час остановить их. Тогда кто-то таинственным образом дотронулся до кнопки, Солнце взорвалось, и осколки птиц полетели врассыпную. А яйца по-

пугаев, павлинов и фламинго были спрятаны в безопасном месте, и вот на следующий День, когда пробудились все твари, из этих яиц проклюнулся новый выводок.

Слон затрубил, сбрасывая со спины лепешку гризи. Птицы наблюдали за ним в полнейшем оцепенении. Что это? Что это за старик-пришелец такой – без крыльев и без клюва?!

Не к добру это, птицы! Лохматый маленький белый Корасмин с лаем выскочил из кустов, теперь это были новые кусты, а попугаи испугались и улетели в свои самые старые укромные места. Потом впервые послышалось ужасающее ржание дикой лошади в сумерках и рев львов в ночи.

А птицы погрустнели. «Что это?» – спрашивали они. Оглушающий шум новых звуков. Вселенная новых голов.

Потом птицы, притаившиеся в листве, свесив вниз головы, просто онемели.

– Не стоит нам петь, – сказали они. – Ведь нас изгнали.

Огромные, страшные, полуголые птицы–чудища погибли, разбившись вдребезги. И лишь маленькие птички, одетые в перья, снова появились на белый свет. Это служило утешением. Жаворонки и прочие певчие птички повеселели и начали тихонько щебетать, перелетев из страны старого Солнца, приветствуя новое Солнце. Но павлин, индюк, ворон и прежде всего попугай не смогли смириться со случившимся. Потому что в прежние времена Солнца Птиц они были главными. И попугай был вожаком стаи. Ведь он такой умник!

А теперь его загнали на дерево. Он не смел спуститься вниз – там ковылял старый маленький лохматый Корасмин, бродили ему подобные. Этот бескрылый, бесклювый, без перьев уродец Корасмин захватил землю и теперь разгуливал повсюду, а Его Сиятельство, старый Граф с массивным клювом, должен был прятаться на дереве – у него все отобрали.

И, подобно черни, сбившейся на галерке в театре, он начал свистеть и шикать сверху, из райских куц исчезнувшего Солнца.

– Ав-ав! – тьякнул его новый властелин, маленький Корасмин.

– Господи! – вскричал попугай. – Послушайте его! Он тьякает «Ав-ав!» О Солнце Птиц, послушай его! «Ав-ав!» Perro! Perro! О, Per-ro-o-o!

Попугай нашел выход. Старый Граф с твердым клювом, с массивным клювом, он ни за что не уступит и не запоет новую песенку, подобно этим глупым коричневым дроздам и соловьям. Пусть они верещат и заливаются трелями. Попугай – джентльмен, он воспитан в старых традициях. Он будет издеваться над всеми! Как истинный, старый, хотя и лишившийся власти аристократ!

– Perro! О, Perr-r-o!

Ацтеки говорят, что всего было четыре Солнца, а наше – пятое. Первое Солнце исчезло: тигр или ягуар-чудовище с темными пятнами, воплощение ярости, возникший ниоткуда, поглотило Солнце вместе с огромными, теперь уже, к счастью, преданными забвению насекомыми. Второе Солнце появилось в порывах ветра, это произошло, когда погибали огромные ящеры. Третье Солнце возникло во время Потопа и утопило многих животных, тех, кого сочло нужным утопить, а заодно свело к нулю первые достижения доисторического человека.

Из Потопа восстали наше Солнце и немощный нагой человек.

– Привет! – сказал старый слон. – Что за шум? – и поднял уши, прислушиваясь к новым звукам земли. К звукам человека и его словам – в первый раз в жизни. А потом, поджав хвост, слон умчался в глубину джунглей и затаился там, опустив хобот.

Но маленький белый лохматый Корасмин был в восторге.

– Ко мне! Perro! Perro! – скомандовал нагой двуногий.

И охваченный восторгом Корасмин сказал сам себе: «Перед этим именем невозможно устоять. Я должен идти!» – и подскочил к ногам нагого. А потом подошла лошадь, потом слон, замороженные тем, что им тоже дали имена. Другие звери в страхе разбежались кто куда, им предстояло бороться за свою жизнь в одиночку.

Тем временем в сумерках Змей, самый старый царь всех живых существ, лишившийся трона, в очередной раз укусив себя за хвост, сказал сам себе: «Еще один пожаловал! Несть конца этим самозванцам – повелителям земли! Но я-то укушу его за пятку! Туда ему и дорога, следом за яйцами попугая, которые я проглотил, и щенками Корасмина, которых я тоже сцапал».

А попугай, притаившись в кустах, сказал сам себе: «Ого! Это что еще за новая полуптица?! Гляди-ка, Корасмин вертится у него под ногами! Небось, новый властелин. Надо послушать, что он там говорит, глядишь, я смогу его перехитрить».

– Perro! Perro-ro! О, Perro!

И попугай перехитрил его.

Обезьянка, самая умная из всех тварей, взорвалась от ярости, услышав человеческую речь.

– А почему же я не умею? – запричитала она.

Но что поделаешь – она принадлежала Старому Солнцу. Тогда она присела и перескочила через невидимый поток времени, попав в «другое измерение», о котором умники любят потрещаться, называя его «четвертым измерением», будто его можно измерить линейкой, равно как и три другие.

Если вы задумаетесь над этим, наблюдая за обезьянкой, вы как раз увидите в ней воплощение другого измерения. Длина, ширина и высота у нее обыкновенные, и она находится в том же Пространстве и в том же Времени, что и вы. Но все равно она из иного измерения. И сама она иная. Вас с обезьяной не соединяет одна эволюционная цепочка, подобная леске. Нет! Между нею и вами – катаклизм и иное измерение. И это плохо. Вы не

сможете соединиться с ней. Никогда не сможете. Иное измерение.

Она смеется над вами, издевается, передразнивает вас. Порой она даже больше похожа на вас, чем вы сами. Это забавно, и вы посмеиваетесь, глядя на свою копию. Но это же иное измерение.

Она – в одном Солнце, а вы в другом. Она машет своим хвостом в один день, а вы вертите головой – в другой. Она смеется над вами и боится вас. Вы смеетесь над ней и боитесь ее.

– Какие длина и ширина, высота и глубина разделяют тебя и меня? – спрашивает обезьянка.

Вы достаете линейку, а она начинает издеваться над вами.

– Тут иное измерение. Убирай свою линейку, она не поможет.

– Perro! O, Perr-ro! – кричит попугай.

Корасмин смотрит на меня, словно хочет сказать: «Это иное измерение. Ничего не поделаешь. Надо смириться».

А я заглядываю в его желтые глаза и говорю:

– Ты абсолютно прав, Корасмин, это иное измерение. Мы с тобой понимаем это. Но попугай не хочет понимать, и обезьянка не хочет, и крокодил, и ухвертка. Они бесятся и мечутся в своей клетке другого измерения и ненавидят ее. Кто может кричать – кричит, у кого есть пасть – кусается, а у насекомых ведь даже пасти нет, так они поднимают хвост и машут им, или жалят вас. Словом, ведут себя по законам своего измерения, я считаю, что такое их поведение именно этим и объясняется – иным измерением.

Корасмин повилял легонько хвостом и посмотрел на меня с неподдельной мудростью. Мы с ним понимаем друг друга, потому что мы обязаны своей мудростью иному измерению.

Но у попугая с плоскими и круглыми, как блюдца, глазами, нет мудрости иного измерения.

– O, Perro! Per-ro! Per-rro-ooo! Ав-ав-ав!

Розалино, индеец–mozo*, смотрит на меня глазами с темной поволокой. Мы не понимаем друг друга, он тоже не обладает мудростью, поэтому прячется и отказывается смириться с этим. Между нами поток иного измерения, а он собирается преодолеть его с помощью линейки для измерения трехмерного пространства. Хотя знает, что это невозможно. И я знаю. И каждый из нас знает, что другой знает.

Но он умеет подражать мне, у него получается «немного–более–отчетливо». А попугай подражает ему. Ну а мне остается смеяться над самим собой в исполнении Розалино, над моим немного другим лицом, когда я ловлю его взгляд, направленный на попугая, когда тот передразнивает его. С улыбкой, со смехом мы платим дань иному измерению. Но Корасмин умнее нас. В его ясных желтых глазах светится полное понимание и приятие происходящего.

Ацтеки говорят, что мир, наше Солнце, когда-нибудь взорвется изнутри, потому что земные толчки погубят его. А что же тогда будет в новом измерении, после того как нам на смену придут другие?

Базарный день

Последняя суббота перед Рождеством. Следующий год будет важным, это чувствуется. А старый год вот-вот кончится. Рассвет был ветреным, с деревьев летели листья, солнце светило сквозь желтое облако. Но его лучи касались желтых цветов, растущих над оградой patio, трепещущей ослепительно-красной россыпью бугенвиллеи, ярко-красных огоньков пуансетий. Пуансетии очень красивы, с крупными, алыми, ровной окраски цветами. Их зовут здесь poche buenos, цветами сочельника. Они выбрасывают пучки алых стрел, будто красные

* Слуга (*исп.*).

птицы мечутся на ветреном восходе, купаясь в потоках света и испуганно топорща перышки. Они распустились к Рождеству вместо остролиста. Рождество достойно алого предвестника.

Юбка – высоченная, выше нашего дома. Она тоже вся в цветах, свисающих на длину руки мягкими кремовыми колокольчиками, будто покрывшими пеной виноградных гроздьев весь двор. И ветер ломает стебельки восковых колокольчиков, а они бесшумно падают, отделяясь от кремовой пены, чуть-чуть дрожа.

Краснеют кофейные ягоды. Розовые цветы гибискуса раскачиваются на тонких веточках, каждый – в светлораскрасной чашечке.

Во втором ратио растет высокое дерево хрупкой акации. Она тянет вверх, к голубому небу, беловатые пальцы-цветы. А на ветру эти пальцы-цветы на фоне чистого голубого неба раскачиваются в такт круговому движению крон.

Беспокойное утро, тучи все ниже, они тоже движутся по кругу. Все движется. Лучше всего выйти и начать медленно кружить, подобно ястребу.

Кажется, что все движется по кругу и стремится к одной центральной точке – тучи, горы на краю долины, пыль, большие, красивые, с белой подпушкой ястребы – *gabilanes*, даже белоснежные хлопья цветов на дымчатом *palo-blanco*. Даже кактусы-органы, вздымающие вверх свои наросты, и кактусы-канделябры вращаются рядом с центром по замкнутому кругу.

Странно, что наша мысль развивается линейно, ведь в природе нет прямых линий, мы говорим о конкретных однозначных делах, тогда как каждое дело рано или поздно постарается выйти на кривую, начать двигаться по кругу, стремясь к центру. Космос изогнут, представляет собой сферу в сфере, а путь от одной точки к другой непременно должен обогнуть препятствия: так края широких крыльев ястреба устремляются вперед, они парят в воздухе, опираясь на него, словно на невидимую половину эллипса. А если мне надо пойти куда-то, моя дорога

непреренно обогнет препятствие, стремящееся к центру. Славное, ясное дело выживает, преодолевая сопротивление мира, но на нем остаются рубцы ран.

Пыль движется, будто призрак, по дороге, бегущей в долине. Высохшее торфяное ложе долины сверкает, словно мягкая кожа цвета розоватой охры; залитая солнцем, она раздольно раскинулась меж гор, которые будто излучают тьму, темно-синюю прозрачность дымки, прячущей их от горбатых вершин предгорья. Молчаливые, в бесчисленных складках, горы Мексики.

А поодаль, у подножия гор, в озере деревьев просвечивают белые пятна Хуайапа. Суббота, и белые точки людей ползут по голым склонам вниз, в долину, за ними крохотными пятнышками мелькают ослы, а среди них – темная, склоненная, ритмично покачивающаяся в такт движению голова женщины: она едет верхом на осле, подвесив к его бокам две корзины. Суббота, базарный день, утро, поэтому белые пятна людей, точно чайки на пашне, плывут, поблескивая на солнце, спускаясь на желтовато-коричневый, волнистый простор долины.

Они одеты в белоснежные хлопчатые одежды, идут за ослом, на котором сидит женщина с двумя огромными корзинами, а на ее смуглой груди – младенец, надежно и туго стянутый *reboso**. Мужчины идут, высоко поднимая колени, как все индейцы. Рядом торопливо семенят девочки в длинных, перепачканных хлопчатых юбках, они то подбегают, то отбегают, как вода во время отлива, едва поспевая за неровной поступью осла. Люди спускаются семьями, группками, в одиночку, спешат, катясь будто волна, бегом, босоногие, бесшумно плывут к городку, раздувающему пузыри церковных колоколов над вялой зеленью деревьев, лежащему вдали, под желтовато-коричневыми горами.

Внизу, посередине долины, пролегла большая, почти прямая дорога. Вы угадаете ее по высокому облаку пыли, оно тоже спешит в город, обгоняя, оставляя позади себя

* Платок (*исп.*).

всех и вся. Обгоняя маленькие темные фигурки и белые пятна, что медленно ползут, точно карлики в подземном мире, устремляясь к городку.

Из деревень, разбросанных по долине и в горах, идут крестьяне и индейцы со своей поклажей, дорога напоминает путь паломников, окутанных пылью, спешащих, торопящихся в город. Темноухие ослы, бегущие мужчины, бегущие женщины, бегущие девушки, бегущие парни, иноходь осликов, легко ступающих красивыми изящными ножками, навьюченных корзинами-близнецами с помидорами и тыквами, большими сетками с пузатыми кувшинами, парой аккуратных, ровных, как пачка сигарет, вязанок дров, двумя мешками угля. Ослы и мулы движутся вперед, а большие корзины ритмично подрагивают под сидящей верхом женщиной, и огромные вязанки бьют по бокам тонконового ослика. Малыш-ослик трусит за грузной маткой, за ним торопится молчаливый, как все индейцы, мужчина в белой одежде и в сандалиях, а рядом бежит резвая девчушка.

Вперед устремлен этот странный торопливый поток. А среди пеших паломников медленно катит повозка, запряженная быками, мерно крутятся большие высокие колеса. Медлительные быки, низко опустив голову, так, что мордой достают до земли, качают, качают своими огромными рогами, напоминающими извивающихся змей, а оглобли из крепкого дерева, в форме лопаты, давят им на шею. Вперед, вперед, между выжженным торфяником и мощной, победоносной зеленью кактусов-органов. Мимо скал и плавающих цветов palo-blanco, мимо тянущейся следом, как судно на буксире, пыли с мескитовых кустов. А пыль, спеша вперед быстрее всех, вновь поднимается вверх, потом мгновенно покрывает дорогу, обволакивая маленькие фигурки людей, – словно смерч в пустыне.

Мужчины, почти все коротышки, из племени заротес, низкорослые, грудь колесом, энергично поднимающая колени, шагают вперед в облаке пыли. И тихие маленькие круглоголовые женщины бегут рядом босиком,

обмотав голубое rebozo вокруг плеч, часто привязав им и младенца. Хлопчатые одежды мужчин такие белые, что их лица, темные пятна под полями больших шляп, почти не различимы. Тьма на белом, лики ночи. Молча, быстро, с неукротимой энергией приближаются они к городку.

А многие *señanos*, индейцы с гор, – в маленьких черных фетровых шапочках, словно на голову им спустилась ночь, пристроившись на их прямые белые плечи. Кое-кто идет издалека, проведя в дороге весь вчерашний день, в маленьких черных шапках и черных сандалиях. Завтра они двинутся в обратный путь. А глаза их на темных лицах будут такими же – темными, яркими и дикими. У них нет цели, как ее нет у ястребов в небе, нет причины куда-то бежать, как и у облаков.

Базар – огромное сооружение под навесом. Самое поразительное здесь – шум, который несется с базара, пока вы приближаетесь к нему по переулку. Назойливый, но на него можно и не обратить внимания. Такое впечатление, что привидения сбежались со всего света и во тьме о чем-то судачат друг с другом. Шум базара напоминает шепот дождя, шелест банановых листьев на ветру. Он заполнен индейцами – темнолицыми, неслышно ступающими, тихо переговаривающимися, зажатými в толпе. Непривычные шипящие звуки наречия племени *zarotec*, влетающие в испанскую речь, спокойные голоса *mixtecas* в стороне.

Купить и продать, но прежде всего – встретиться, собраться вместе. В Старом Свете люди придумывают себе серьезные причины, побуждающие их собраться вместе где-нибудь в центре и свободно перемещаться в разношерстной, не внушающей опасения толпе. Базар и религия. Лишь эти два стимула собирают их вместе без оружия, собирают со времен Сотворения Мира. Вязанка дров, тканое одеяло, несколько яиц и помидоров – вот и все, ради чего мужчины, женщины и дети идут пешком долгие мили по долинам и горам. Купить, продать, обменять. И прежде всего – обменяться приветствиями и пообщаться с ближними. Поэтому люди

так любят торговаться, даже если речь идет об одном centavo. В центре крытого рынка устроен небольшой водоем, а в нем цветы: красные, розовые, белые розы, разноцветные маленькие гвоздики, маки, шпорник, лимонного и апельсинового цвета бархатцы, белые лилии, анютины глазки, незабудки. Сюда не приносят тропических цветов. Только дикие лилии с гор и фиолетово-красные орхидеи.

– Сколько стоит этот букет гелиотропов?

– Пятнадцать centavos.

– Десять.

– Пятнадцать.

Вы кладете назад гелиотропы и отходите. Но женщина довольна. Общение, пусть и совсем краткое, поднимает ей настроение.

– Гвоздики?

– Красные, сеньорита? Тридцать centavos.

– Нет, я не хочу одни красные. Мне нужны разные.

– Ага! – женщина берет охапку разноцветных гвоздик, бережно складывает их в букет. – Посмотрите, сеньорита. Еще?

– Нет, достаточно. Сколько с меня?

– Столько же. Тридцать centavos.

– Дорого.

– Да не дорого, сеньорита. Посмотрите на маленький букетик. Он стоит восемь centavos. – Протягивает жалкий букетик. – Ну ладно. Двадцать пять.

– Нет, двадцать два.

– Посмотрите! – она берет три-четыре цветка и подкладывает их в букет. – Два reales, сеньорита.

Это торг. И вы отходите с букетом разноцветных гвоздик, а женщине выпали мгновения общения с незнакомцем, чужаком из далеких краев. Гул голосов, смещение желаний. Это жизнь. Centavos лишь предлог.

Прилавки идут ровными рядами: направо – к роскошным овощам, налево – к хлебу и сладостям. В конце одного ряда – сыр, масло, яйца, цыплята, индюшки, мясо. В конце другого – мексиканские одеяла, rebozo,

юбки, рубашки, носовые платки. В самом дальнем углу – сандалии и изделия из кожи.

Мужчины в сагаре следят за вами, свистят, точно хищные птицы, кричат:

– Сеньор! Сеньор! Посмотрите!

Потом кто-нибудь из них с воодушевлением раскидывает перед вами одеяло, а другой свистит еще резче и громче, чтобы заставить вас взглянуть на его одеяло. Пятачок, где мужчины в сагаре торгуют сложенными в стопки прямо на земле одеялами. Словно в логове львов и тигров. Вы качаете головой и уходите.

И тут же оказываетесь в ряду, где торгуют кожаными изделиями.

– Сеньор! Сеньор! Посмотрите! Huaraches! Отлично, отлично сделано! Посмотрите, сеньор!

Толстый продавец кожи подсакивает к вам, прижав к груди пару сандалий. Они из тонких плетеных полосок кожи, последний писк парижской моды, а для местных – древний, как мир, фасон. Вы берете их, рассматриваете с любопытством, а толстуха-жена продавца сандалий приговаривает:

– Очень хорошая работа. Очень. Много работы!

Продавцы кожи обычно всегда приходят на базар с женами.

– Сколько стоит?

– Двадцать reales.

– Двадцать?! – произносите с удивлением, обидой и возмущением.

– А сколько вы дадите?

Вы не отвечаете. Подносите сандалии к носу. Мужчина, продавец сандалий, смотрит на жену, потом начинает громко смеяться.

– Они пахнут, – говорите вы.

– Нет, сеньор, не пахнут! – и оба заходятся от смеха.

– Да пахнут же. Это не американская кожа.

– Американская, сеньор. И они не пахнут, сеньор. Нет, не пахнут, – убеждает он вас, пока вы не начинаете сомневаться.

- Нет, пахнут.
- Сколько дадите?
- Ничего не дам, потому что они пахнут.

Вы снова приноживаетесь, хотя в этом нет никакой необходимости. И не обращая внимания на ваш отказ продолжать торговаться, мужчина с женщиной снова смеются, наблюдая, как вы усердно приноживаетесь.

Потом вы кладете сандалии на прилавок и отрицательно качаете головой.

- Сколько дадите? – весело спрашивает мужчина.

Вы мрачно качаете головой и отходите. Продавец кожи переглядывается с женой, и они снова начинают хохотать, потому что вы нюхали *huaraches* и сказали, что они дурно пахнут.

Они и в самом деле воняли. Туземцы используют экскременты человека, чтобы кожа задубела. Когда Бернал Диас приехал с Кортесом на большой рынок в Мехикосити, в день памяти Монтесумы, он увидел на прилавках маленькие глиняные горшки с экскрементами человека – их продавали, а кожевники ходили вокруг и приноживались, выбирая то, что получше. Это даже в XV веке изумило испанцев. А мой продавец кожи с женой сочли чудовищно забавным, что я нюхаю *huaraches*, прежде чем купить их. У всех вещей свой запах, а естественный запах сандалий – такой. С таким же успехом можно сосориться из-за того, что лук пахнет луком.

Несусветная давка, вокруг множество тихих туземцев, кое-кто в чистой яркой одежде, многие в старых лохмотьях, сквозь дырки в грязной материи проглядывает коричневое тело. Много горцев в маленьких фетровых шапках, с дикими, пристально смотрящими на вас глазами. Они в нерешительности толпятся возле прилавка с головными уборами, скованные робостью, – никак не могут попросить примерить шапку. Темные, иссиня-черные, блестящие волосы падают густыми прядями на лоб, точно сверкающие сине-черные перья. И вспоминаешь Будду с синими волосами и лотосом в пупке.

Кажется, под одежду уже забрались блохи. Базар длится весь день. Постоялые двory в здешних местах – большие грязные площадки с небольшими навесами и конурами-комнатками по краям их. Кое-кто – один или с семьей, те, что пришли издалека, – останется на ночь в этих напоминающих стойла комнатках. Многие заснут на камнях, на земле, возле рынка, – словом, где придется. Зато здесь, на постоялых дворах, полно ослов, они прядают ушами с вечным терпением животного, знающего лучше любого другого, что всякая дорога поворачивает вспять, а значит, придется возвращаться в ту же самую точку, а ходьба туда-сюда – пустое занятие.

И к вечеру пыльная дорога снова запружена смуглыми людьми, и порожними ослиами, и мулами с новой поклажей, они молча, торопливо вышагивают к себе в деревню, повернувшись спиной к городу, радуясь, что уходят оттуда и увидят кактусы, и складчатые горы, и деревья – а значит, деревню. В какой-нибудь деревушке они устроятся под деревом или под стеной чьего-нибудь дома и уснут. А на следующий день вернутся к себе.

То, ради чего они шли на базар, они сделали. Продали и купили. Но важнее для них другое – они общались друг с другом, попав в центростремительный поток. Они очутились в плотной людской толпе, стремившейся к центру, к водовороту людей, пришедших на базар. И там они почувствовали себя в гуще жизни, их зажали мягкие горячие тела незнакомых людей, пришедших издалека, они услышали голоса этих незнакомцев, к ним обращались, а они отвечали им – как-то по-иному.

Тут нет конечной цели, это не постоянное место, тут ничего не строят на века, даже башни собора, которые медленно наклоняются, словно высматривают дорогу назад. Так и туземцев сначала кружит и затягивает в мощный поток, вливающийся в водоворот рынка. А потом сильный толчок выбрасывает их наружу, они поворачивают и устремляются прочь, в открытое пространство.

Просто прикосновение, больше ничего, вспышка встречи. Пусть она и мимолетна, но это единственное бесценное сокровище. Приход, уход, поиск пути.

Правда, под рубашкой лежат завернутые в носовой платок медные centavos, а может, и несколько pesos. Но они тоже исчезнут, как с восходом солнца исчезают звезды, они и должны исчезнуть. Все исчезнет. Каждая кривая в конце концов переходит в спираль, в водоворот, пропадает в нем, а потом возникает вновь – явно и зримо, чтобы устремиться в открытое пространство, в космос, и исчезнуть там.

И только это движение, пусть и неуловимое, имеет значение. Контакт, вспышка встречи. И ее, эту искру встречи, никогда, во веки веков, не удержать и не погасить.

Как вечернюю звезду, когда еще не настала ночь и не истек день. Как вечернюю звезду, меж солнцем и луной, не подвластную ни солнцу, ни луне. Вспышка переходного мгновения, вечерняя звезда, которая появляется лишь на разломе дня и ночи, но она самая красивая.

По поводу романа «Любовник леди Чаттерли»

Существование нескольких пиратских изданий романа «Любовник леди Чаттерли» подвигло меня опубликовать во Франции в 1929 году дешевое издание этого романа, по шестьдесят франков за книжку, чтобы удовлетворить, по крайней мере, хотя бы европейский спрос. Пираты-издатели, особенно в США, действовали быстро и энергично. Первое пиратское издание появилось на прилавках Нью-Йорка спустя месяц после выхода во Флоренции первого легального. Это было факсимиле оригинала, изданное фотографическим способом, и продавалось оно доверчивой публике как оригинальное издание даже вполне respectable книготорговцами. Пиратские копии стоили пятнадцать долларов, а законно изданный тираж продавался по десяти долларов за книгу. И покупатель оставался в блаженном неведении, что платит свои деньги за подделку.

За этим галантным деянием последовало еще несколько. Мне рассказали, что вышло еще одно факсимильное издание, не то в Нью-Йорке, не то в Филадельфии; у меня самого есть дрянная книжонка в блекло-оранжевом коленкоровом переплете, с зелеными выходными данными, неряшливо воспроизведенными фотокопированием, в ней даже моя подпись, грубо подделанная блудным отпрыском пиратского семейства. Эти книжки прибыли из Нью-Йорка в Лондон в конце 1928 года и продавались по тридцати шиллингов за штуку. Вот тогда я и издал во Флоренции второе издание крошечным тиражом в двести экземпляров по цене в одну гинею. Я хотел повременить с этим изданием год-другой, но пришлось поторопиться, очень меня возму-

тил грязно-оранжевый пират. Но мой тираж был слишком ничтожен, и пират продолжал торжествовать.

Потом мне в руки попал траурного вида том, переплетенный в черное и вытянутый в длину – не то Библия, не то сборник церковных гимнов, словом, что-то мрачное. Этот пират был не только трезв, но и очень серьезен. У книжки два титульных листа, на каждом американский орел, вокруг лысой головы шесть звезд, в одной лапе молния, и все это обрамлено лавровым венком – как видно, в честь последнего подвига на поприще литературного бандитизма. В целом вид у тома зловец – как есть капитан Кидд с зачерненным лицом, читающий молитву для несчастных, которых вот-вот сбросят в океанскую бездну. Почему пират удлинил верх страниц, не знаю. Вид удручающий, зловец-высокомерный. Издание тоже, конечно, фотокопия, но без моей подписи. Мне сказали, что этот прискорбный фотопродукт продается за десять, двадцать, тридцать, пятьдесят долларов в зависимости от прихоти книготорговца и простодушия покупателя.

Таким образом, в Соединенных Штатах вышло по крайней мере три пиратских издания. Краем уха слышал, что есть и четвертое, тоже факсимильное. Но сам не видел, и потому не хотелось бы верить в его существование.

Есть и европейское пиратское издание, тираж сто пятьдесят экземпляров. Издано французской фирмой книготорговцев. На нем указание: «Imprim'e en Allemagne», т. е. напечатано в Германии. В Германии или нет, но продукция, несомненно, типографская, не фотокопия, поскольку некоторые опечатки оригинала исправлены. Вид у издания весьма респектабельный, точное воспроизведение оригинала, но без подписи автора, выдал же себя пират желто-зеленым шелковым корешком. Издание было продано торговцам из расчета сто франков за книжку, а публике предложили цену – три, четыре, пять сотен франков. Совсем уж бессовестные книготорговцы, как я слышал, подделывают мою подпись и выдают подделку за оригинал. Будем надеяться,

что это неправда. Конечно, все это не очень красит нашу книготорговлю. Но существует и добрый знак. Есть книготорговцы, которые отвергают пиратские издания, – в них говорит нравственное чувство и профессиональная гордость. Другие не отвергают, но все же чувствуют себя неловко. Уж наверное, они предпочли бы торговать легальным изданием. Так что недовольство пиратами есть, но не такое сильное, чтобы малопочтенная практика прекратилась.

Ни одно пиратское издание не получило от меня согласия, и ни один пират не заплатил мне ни пенни. Полураскаявшийся книготорговец из Нью-Йорка прислал все же сколько-то долларов. По его словам, это десять процентов от денег, полученных от продажи всех моих книг. «Я понимаю, конечно, – написал он, – это капля в ведре воды». Он, конечно же, хотел сказать: «капля, взятая из ведра воды». Судя по этой весьма внушительной капле, можно представить себе, каких размеров было ведро, доставшееся пиратам!

Получил я и запоздалое предложение от европейских пиратов, которым надоела жестоковийность книготорговцев. Они обещали заплатить определенный процент от всех проданных книг и предложили платить дальше, если я поставлю подпись под их изданием. «Ладно, – подумал я. – Раз уж мы живем в мире, где либо ты в нокауте, либо твой противник, почему бы не согласиться?» Я взялся за перо, но во мне вдруг разыгралась гордость. Понятное дело, Иуда всегда готов одарить поцелуем. Но чтобы и я ответил ему тем же!..

Затем мне удалось опубликовать дешевое французское издание небольшим тиражом. Это была фотокопия оригинала, и я предложил продавать ее за шестьдесят франков. Английские издатели уговорили меня выбросить из книги самые лихие места и словечки, обещая огромные деньги, может, даже небольшое ведерко – с таким дети играют в песочек на морском берегу. «Мы просто обязаны, – говорили издатели, – показать читателю, какую превосходную книгу вы написали». Поддавшись

соблазну, я приступил к работе. Но бесполезно! Это все равно что ножницами обкорнать для красоты собственный нос. Книга начала кровоточить.

Несмотря на ожесточенную критику, я уверен, что написал честную, чистую книгу, которая всем сегодня очень нужна. Слова, что поначалу шокируют, спустя время перестают шокировать. Не потому ли, что привычка развращает ум? Нет, конечно. Слова шокируют не ум, а глаза читателя. Те, у кого нет ума, будут без конца возмущаться, но они не в счет. Умные люди скоро осознают, что возмущаться-то нечем, что они и прежде не возмущались, и принимают книгу как должное.

И в этом все дело. Очень важно понимать, что сегодня мы, человеческие существа, давно переросли табу, заложенные в нашу культуру. Возможно, для крестоносцев самые слова обладали мощной побудительной силой, превосходящей наше воображение. Возбуждающая сила «грязных» слов была, наверное, чрезвычайно опасна для сумеречного ума темных, буйных натур Средневековья и, пожалуй, все еще слишком велика для неумных, еще не проснувшихся натур сегодня. Но люди истинной культуры сохраняют за словами силу возбуждать только те ментальные и образные фантазии, коими заведует ум. Истинная культура спасает нас от буйных, неуправляемых, плотских реакций, способных погубить нравственные устои общества. В прошлом человек обладал слишком слабым и грубым умом и потому, размышляя о своем физическом теле и его функциях, поддавал под дурное воздействие переполнявших его эмоций. Теперь это не так. Культура и цивилизация научили нас разделять возникающие реакции. Мы теперь знаем, что за мыслью не обязательно следует действие. В сущности, мысль и действие, слово и дело – две различные формы сознания, две различные формы жизни. Мы нуждаемся, спору нет, поддерживать между ними связь. Когда мы думаем, мы не действуем, а когда действуем – не думаем. Так что абсолютно необходимо действовать в согласии с мыслями и мыслить в со-

гласии с действиями. Но пока мы заняты мыслями, мы не можем по-настоящему действовать, а действуя, по-настоящему думать. Два состояния – раздумье и действие – взаимно исключают друг друга. И при этом они должны находиться в гармонии.

Об этом, в сущности, моя книга. Я хочу, чтобы мужчины и женщины думали о сексе честно, ясно, полностью и до конца.

Даже если мы не можем сексуально действовать до полного удовлетворения, так давайте хоть честно думать о сексе, не оставляя белых пятен. Все эти разговоры о юных девушках, девственности, о чистом листе бумаги, которого никто не касался, полная чепуха. Невинная девушка, не имевший сексуального опыта юноша пребывают в состоянии мучительного смятения. Они в плену у разъедающих душу эротических чувств и мыслей, которые только с годами обретают гармонию. Годы честных размышлений о сексе, поражений и побед в конце концов приводят к желаемому результату – истинной, прошедшей все испытания чистоте, когда половой акт и представления о нем начинают существовать гармонично, не мешая друг другу.

Я и не думал советовать женщинам искать возлюбленного среди лесничих. Да и вообще среди кого бы то ни было. Нынче так много мужчин и женщин, которые счастливы тем, что живут в чистом воздержании и все же понимают секс несравненно более полно. Сегодня мы больше созерцаем, чем действуем. В прошлом люди, желая набраться сексуального опыта, бездумно предавались плотской любви – бесконечному, бессмысленному повторению одного и того же. Наш удел – осмыслить, осознать секс. Осознанное восприятие секса даже более важно, чем самый акт. После столетий блуждания с завязанными глазами ум желает знать все до конца. Тело на самом деле задвинуто на задворки. Когда современный человек участвует в половом акте, он зачастую лицедействует, думая, что именно это от него ожидают. И ведет себя, как интересно и важно уму, а тело только выпол-

няет его команды. Наши предшественники так долго и прилежно занимались сексом, ничего в нем не смысла, что это занятие стало скучнейшим, механическим, разочаровывающим. И гальванизировать его может только полное его осмысление.

Ум не должен отставать от секса, как и от других физических действий. Наше сексуальное сознание заморочено, мы подавлены унижительным подсознательным страхом, унаследованным, по-видимому, от далеких предков. Ум наш не успел развиваться единственно в этом отношении – сексуально-физическом. Пришло время восполнить пробел: сбалансировать осознание чувств и ощущений тела с самими чувствами и ощущениями. Сбалансировать осознание эротического опыта с самим опытом. Восстановить между ними гармонию. Это значит, что мы должны почтительно относиться к сексу, испытывать благоговейный восторг перед странным поведением плоти. Должны включить в литературный язык «непечатные» слова, поскольку они – неотъемлемая часть наших мыслей, обозначающая определенные органы тела и его важнейшие функции. Ощущение непристойности рождается только в том случае, если разум презирает тело и боится его, а тело ненавидит разум и сопротивляется ему.

Пример, иллюстрирующий нынешнюю ситуацию, – история с полковником Баркером. Полковник Баркер оказался женщиной, выдающей себя за мужчину. «Полковник» женился и прожил с женой пять лет в счастливом супружестве. И бедная жена все пять лет была уверена, что ведет нормальную брачную жизнь. Она была счастлива и не сомневалась, что муж у нее, как у всех. Открытие было настоящим ударом для бедняжки. Чувовищная ситуация. Однако сегодня найдутся тысячи женщин, которых можно так же легко обмануть, и обман будет длиться годами. В чем же дело? А в том, что они ничего не знают о сексе, никогда не думали о нем и в любви – слабоумные идиотки. Очень полезно дать почитать мою книгу всем девицам, достигшим семнадцати лет.

Или вот еще одна история, с почтенным учителем и священником, который многие годы слыл человеком «достойным и праведным», а в шестьдесят пять лет предстал перед судом за развратные действия в отношении маленьких девочек. Это случилось как раз в тот момент, когда министр внутренних дел, сам уже человек почтенного возраста, категорически потребовал, чтобы люди во всеуслышание перестали распространяться о сексе. Может, история с достопочтенным старцем хоть чему-то его научит?

Вот так обстоят дела. В сознании гнездится древний, унижительный страх тела и его возможностей. Так что именно сознание мы должны цивилизовать, освободить. Этот страх довел до безумия, вероятно, гораздо больше людей, чем мы думаем. Безумие, погубившее Свифта, можно, пожалуй, в какой-то мере свести именно к этой причине. В поэме, посвященной его любовнице Силии, имеется умопомрачительный рефрен: «Но Силия, Силия, Силия с...т!» (слово рифмуется со словом «рот»).

Вот что делает с великим умом иррациональный страх!

Великий насмешник Свифт не видел, как смешон он сам. Разумеется, Силия с...т! А кто нет? Было бы гораздо хуже, если бы она не могла. Просто слов нет. Бедная Силия, виноватая в глазах любовника только потому, что ей приходится отправлять естественную потребность организма. Чудовищно! Этот страх порождается, во-первых, словами, на которые наложено табу, и, во-вторых, неразвитым сексуальным мышлением.

В противовес пуританскому лицемерию, которому общество обязано существованием безмозглых идиотов во всем, что касается секса, появились высокомерные «джазовые» юнцы, которые всех и вся презирают и делают что взбрдет в голову. Боясь своего тела, отрицая его важность, эти эмансипированные снобы впадают в другую крайность – они относятся к телу как к игрушке, немного, пожалуй, непристойной игрушке, но которой можно забавляться... до поры до времени. Они ирони-

зируют над важностью секса, относятся к нему как к бокалу коктейля, дразня и мучая взрослых. Это нынешние супермены. Они презирают книги, подобные «Любовнику леди Чаттерли». Слишком такая книга проста и банальна для них. Непечатные словечки их не шокируют, а отношение к любви в ней допотопное. Стоило поднимать такой шум! Принимайте ее как бокал коктейля. Эта книга, говорят они, свидетельствует, что у автора интеллект четырнадцатилетнего подростка. Но, думается, четырнадцатилетний подросток, который все еще питает перед сексом естественную робость и священный трепет, более нормален и здоров, чем безусый любитель коктейлей, чей ум занят только побрякушками, самая занятая из которых – секс. Он и предается сексу и мало-помалу дичает.

Словом, среди затхлых пуритан, способных на старости лет впасть в грех сластолюбия, среди «джазовых юнцов», чей лозунг: «Запретов нет, подумал о чем-то – сделай», и простолюдинов с грязным умом, что по бескультурью ищут грязи и лезут в нее, книге моей, понятное дело, места нет. Всем им скажу одно: «Цепляйтесь за свои извращения, если они вам нравятся, – извращения пуританства, изысканного разврата, грязных помыслов. Сам я придерживаюсь принципа, провозглашенного в этой книге. Жизнь только тогда выносима, когда разум и тело существуют в гармонии, равновесии и взаимном уважении».

Совершенно очевидно, что нынче нет ни гармонии, ни равновесия. Тело, в лучшем случае, инструмент ума, в худшем – игрушка. Бизнесмен тренирует тело, чтобы оно было в рабочем состоянии; современный молодой человек тратит много времени в гимнастическом зале из застенчивой самовлюбленности – разновидности нарциссизма. Ум располагает сложившимся набором идей и «ощущений», а тело обязано подчиняться его командам, как дрессированный пес, который просит кусочек сахара, когда не хочется, и подает лапу руке, которую с наслаждением бы тяпнул. Тело сегодняшних

мужчин и женщин – точь-в-точь хорошо обученный пес. Всех превзошли в этом эмансипированные юнцы. У них, как ни у кого, тело сравнимо с послушным псом. А коль нынешние псы обучены действиям, о коих старомодные понятия не имели, то они считают себя свободными людьми, тонкими штучками. Вот уж поистине Гелиогабал*.

И вместе с тем они знают, что все это фальшь. Так же, как знает бизнесмен, что бывает не всегда прав. Мужчины и женщины на самом-то деле не собаки, они только похоже себя ведут. И потому в глубине души их грызет досада и неудовлетворенность. Их тело – его естественная сущность – парализовано, даже мертво. Оно живет искусственной жизнью цирковой собачки, делает трюки, ходит на задних лапах и в конце концов испускает дух.

Возникает вопрос – какой жизнью должен жить организм? Жизнь организма, тела – это чувства, эмоции. Тело чувствует голод, жажду, его радуется солнце, снег, аромат роз, куст цветущей сирени. Гнев, печаль, любовь, нежность, тепло, страсть, ненависть, горе – все это истинные чувства. Они принадлежат телу, но осознаются умом. Услыхав печальную новость, мы чувствуем в начале только возбуждение ума. И лишь спустя время, скорее всего во сне, новость достигнет нервных центров, и сердце готово разорваться.

Как все-таки они различны – умственные чувства и чувства истинные! Сегодня многие люди живут и умирают, так и не познав истинных чувств, несмотря даже на то, что вели жизнь, богатую эмоциями, вероятнее всего умственными. Но все это суррогат. В магии одна из оккультных картинок изображает человека, стоящего, надо думать, перед лежащим на столе зеркалом, отражающим его от пояса до головы, так что на картинке

* Финикийский бог солнца. Так себя называл римский император Варий Авитус Вассиан, известный бесстыдным, аморальным поведением.

мы видим человека, состоящего из двух половинок – от головы до пояса и вниз от пояса до головы. Что бы это ни значило в магии, для меня это сегодняшний человек – существо, у которого отсутствует нижняя половина, полная мощных эмоций, она лишь отражение, направленное умом снизу вверх. С молодых ногтей учат нас определенному набору эмоций: что следует чувствовать, чего не следует, как испытывать эмоции, которые позволено испытывать. Все остальное просто не существует. О каждой новой хорошей книге поверхностные критики говорят: «Конечно, так в жизни никто не чувствует!» Люди позволяют себе некое количество общепринятых чувств. Именно это мы видим в девятнадцатом веке. Но дозволенные чувства со временем убивают способность чувствовать искренне и по более высокому счету люди черствеют. Что и произошло в нашем столетии. Истинные чувства умерли. А значит, как ни прискорбно, их надо подделывать.

Под истинными чувствами мы разумеем любовь во всех ее проявлениях: неподдельную страсть, нежную привязанность, любовь к ближнему, любовь к Богу. Разумею радость, восторг, надежду, праведный гнев, страстное чувство справедливости и несправедливости, истины, лжи, чести и бесчестия, истинную веру во что угодно, ибо веру ум снисходительно приемлет. Все это нынче более или менее мертво. Вместо них – кричащие сентиментальные подделки.

В истории не было века более сентиментального, более бедного истинными чувствами, более замороженного ложными, чем наш двадцатый век. Сентиментальность, поддельные чувства стали своего рода игрой, каждый старается изо всех сил перещегоолять своего соседа. Радио и кинофильмы без передышки поставляют публике эту фальшь. Не отстают пресса и литература. Люди тонут в фальшивых эмоциях. Захлебываются в них. Живут в них и ими. Насыщены ими, как губка водой.

Порой кажется, что они процветают на такой пище. Но вот отрицательный эффект накопился, человек сло-

ман, и тогда все летит к черту. Можно долго обманывать себя, забавляясь фальшивыми чувствами. Но не вечно. Рано или поздно организм отомстит, и отомстит жестоко.

И так со всеми людьми. Можно без конца обманывать многих, можно долго обманывать всех, но вечно обманывать нельзя, фальшивые чувства себя обнаружат. Молодая пара попала в сети фальшивой любви, морочит голову себе и ближним. Увы, фальшивая любовь – красивое пирожное, но очень плохой хлеб. Она вызывает сильнейшее эмоциональное расстройство. Таков современный брак и еще более современный развод.

Беда с фальшивыми чувствами в том, что они никого не делают счастливым. Они никому не приносят отрады. Страшнее фальшивых чувств нет ничего, от них ищут спасения. Бегут от фальшивой любви Питера к фальшивой любви Адриана, от поддельной страсти Маргарет к поддельной страсти Вирджинии; мечтают между кинематографом и радио, между Истборном и Брайтоном; но куда ни беги, везде одно и то же.

Любовь в наши дни обманна больше, чем любое другое чувство. Первый встречный юнец вам скажет, что величайший в мире обман – любовь. Если, конечно, относиться к любви всерьез. Если же относиться как к развлечению, то с ней все в порядке. Примете серьезно любовь, и катастрофы не миновать.

Девушки говорят: некого полюбить, настоящих мужчин нет. Юноши вторят: не в кого влюбиться, нет настоящих женщин. Вот они и влюбляются в ненастоящих: раз нет истинных чувств, будут фальшивые; ведь существуют эмоции, на которые люди обречены, и одна из них, конечно, – любовь. Но есть еще юноши и девушки, которые хотят изведать настоящее чувство и до смерти изумляются, что не могут. Особенно в любви.

Да, особенно в любви существуют нынче только поддельные чувства. Нас всех учили не доверять никому, начиная с родителей и кончая ими же. Не возлагайте настоящих чувств ни на чей алтарь, если, конечно, они

имеются. Такова современная заповедь. Доверяйте деньги, но никогда – чувства. Они будут растоптаны.

Мне представляется, не было в истории времени, когда люди меньше бы доверяли друг другу. Правда, в быту мы умеем себя вести пристойно. Мало кто из моих знакомых стянет у меня кошелек или подставит сломанный стул. Но осмеять настоящее чувство – на это они способны. И нет виноватых, это знамение времени. Так уходит любовь, исчезает дружба: ведь любовь и дружба немислимы без участия. Отсюда поддельные чувства, и деваться от них некуда.

Но секс – камень преткновения для фальшивой любви. Секс – единственное, что не подделаешь. И самая скверная подделка – фальшивое чувство. Когда дело дойдет до секса, обман непременно откроется. Чем ближе секс, тем сильнее фальшь. Но вот тяготение сработало. И тогда все, конец.

Секс страшно мстит неискренним чувствам. Он беспощаден, губителен для фальшивой любви. Особая ненависть людей, не любивших друг друга, но делавших вид (даже веривших), что любят, – примета нашего времени. Такое бывало и в прошлые века. Но сегодня это всеобщее бедствие. Люди верят, что любят, идеальное супружество тянется годы. И вдруг на тебе – ненавидят один другого лютой ненавистью. Если ненависть не вспыхнула в середине пути, она подождет, пока счет годам подойдет к пятидесяти – великому сексуальному рубежу. И тогда крах!

Нет ничего более поразительного, необъяснимого, чем ненависть, которую испытывают мужчина и женщина, совсем недавно так сильно «любившие» друг друга. Она проявляется самым невероятным образом и во всех сословиях. Уборщица, герцогиня, жена полицейского – все ненавидят одинаково.

Это было бы слишком чудовищно, если не знать, что в этих мужчинах и женщинах действует врожденное сопротивление ненастоящей любви. Сейчас любовь фальшива. Это стереотип. Юноши и девушки прекрасно знают, что в любви чувствовать, что и как делать. Они так

и чувствуют, и так же себя ведут. Но это подделка. И грозное возмездие неизбежно. Секс, сексуальный механизм мужчины и женщины – после того как подсунута фальшивая любовь, пусть даже в ответ на столь же фальшивое чувство, – накапливает разрушительную, убийственную ненависть. Фальшивая составная любви убивает глубокий секс, в буквальном смысле слова сводит с ума. Пожалуй, вернее сказать, что фальшь – всегда – ввергает секс в бешенство и в конечном итоге убивает его. Период бешенства есть всегда. И самое странное, что главный обидчик в этой игре, как правило, впадает в наисильнейший гнев. А тот, чья любовь хоть сколько-то искренна, гораздо мягче, хотя именно он – самая большая жертва обмана.

Но трагедия в том, что каждый из нас не однородный слиток – никто не состоит только из фальши или неподдельной любви. И во многих супружествах, несмотря на ложь, может вспыхнуть слабое пламя настоящей любви, как в женщине, так и в мужчине. И трагедия в том, что в наш век, когда кругом лицедейство, когда во всех подозреваешь неискренность, ложь, особенно в сексе, ненависть и недоверие могут задуть маленький живой огонек настоящей любви, способный принести двоим людям счастье. Опасность в том, что все вокруг говорят о фальши и лицедействе, «передовые» писатели только об этом и пишут. Хотя, конечно, их можно понять, этим они противодействуют более увесистому обману «сладких» сентиментальных писателей.

Попробую объяснить мое отношение к сексу, которое так скучно сейчас критикуют. Подходит ко мне на днях молодой человек и говорит: «Знаете, я как-то не могу поверить в то, что Англию спасет секс». На что я ему: «Не сомневаюсь, что не можете». У бедняги нет секса, это расслабленный, застенчивый, самовлюбленный Нарцисс-монах. И он, конечно, не знает, что такое секс. Для него люди делятся на тех, у кого ум есть, и на тех, у кого нет. У большинства его нет, и существует оно лишь затем, чтоб было кого осмеять, вот бедняга и бродит кру-

гом – в поисках истины (безуспешно) и зубоскальства, втиснутый в свое Эго.

Когда томные высокомерные юнцы затевают со мной разговор о сексе, я обычно отмалчиваюсь. Да и что тут скажешь? И я вдруг впадаю в тоску. Секс для них дело простое и ясное. Главное – женское белье, в котором легко запутаться. Они читали про любовь все романы, даже «Анну Каренину» и прочее; они видели все статуи и картины, изображающие Афродиту. Весьма похвально, да что толку? Когда дело доходит до жизни, секс для них – бессмысленная девица в роскошном нижнем белье. Это относится и к выпускнику Оксфорда, и к простому рабочему. Типичный пример – подслушанный мной рассказ, характеризующий нравы модного курорта. Отдыхающие дамы нанимают на сезон в качестве партнера для танцев местных парней. Конец сентября, дамы разъехались. Молодой фермер Джон, простившись со своей «леди из города», болтается один. «Привет, Джон! – встречается его приятель. – Соскучился по своей леди?» – «Нет, – пожимает плечами Джон. – Но какое у нее было белье!»

Вот и весь секс – кружавчики, оборочки. И такой секс спасет Англию? Сохрани Господи! Бедная Англия, это она должна сперва возродить секс в собственных сыновьях, а уж потом они ее будут возрождать. Не Англия нуждается в спасении – ее молодежь.

Меня обвиняют в варварстве. Я хочу низвести Англию на уровень дикарей. А я нахожу варварством и дикостью грубый идиотизм, мертвечину, слышимые в разговорах о сексе. Мужчина, который считает нижнее белье самой волнующей частью женщины, – бесспорно дикарь. Дикари именно такие и есть. Мы недавно читали о женщине–дикарке, которая напяливала на себя три пальто, одно поверх другого, чтобы возбудить мужа. И преуспевала в этом. Омерзительная грубость – видеть в сексе только некий физиологический акт и копание в предметах женского туалета; это и есть, на мой взгляд, самая низшая ступень варварства – пещерная дикость. Наша цивилизация в отношении секса находится на ста-

дии грубой, варварской, омерзительной дикости, особенно Англия и Америка.

Послушайте Бернарда Шоу, одного из величайших хулителей нашей цивилизации. Он говорит, что одежда возбуждает секс, а отсутствие убивает его, – это он о затянутых в нарядное платье женщинах прошлого и их нынешних сестрах с обнаженными руками и ногами. Шоу посмеивается над Папой Римским, он-де хочет одеть полуобнаженных женщин: Главный Святой Отец Европы ничего не понимает в сексе, поговорил бы на сей предмет с Главной Проституткой Европы, если таковая существует, она в этом деле кое-что смыслит.

Таково вульгарное легкомыслие наших главных мыслителей. Да, конечно, нынешние полуголые дамы не возбуждают сильного сексуального чувства у наглухо запрятанных в костюмы мужчин, которые, кстати сказать, и сами не возбуждают у женщин сильного чувства. Но почему? – позволительно спросить. Почему сегодня обнаженная женщина возбуждает гораздо меньше, чем застегнутая на всевозможные крючки и пуговицы женщина восьмидесятых Бернарда Шоу, скрытых от нас за семью печатями? Негоже оставлять за семью печатями и этот вопрос.

Если сексуальное начало в женщине живо и динамично, тогда оно само по себе сила, и женские уловки здесь ни при чем. Оно само источает некое очарование, возбуждающее в мужчине первые восторги желаний. И женщина должна защищать себя, тщательно прятать. Глухая одежда вызвана ее скромностью, пугливостью, ведь мужчин притягивает ее пол – могучее оружие само по себе. Если женщина, в которой сексуальное чувство живо и положительно, выйдет на улицу обнаженной, мужчины, обезумев, как один, побегут за ней. Так обезумел Давид, увидев моющуюся Вирсавию.

Но если сексуальное чувство утратило в женщине притягательную силу, умерло или заснуло, она начинает хотеть привлекать мужчин по самой простой причине: сама по себе она их больше не привлекает. И поведение,

которое было естественно, неосознанно и потому прекрасно, стало сознательным и отталкивающим. Женщины все больше и больше оголяют плоть и становятся сексуально все менее привлекательны. Но не следует забывать, что мужчины к тому же социальные существа: социально они восхищаются, а сексуально воротят нос. Сегодня эти две стороны жизни противоположны. Социально мужчинам нравится видеть на улице полуобнаженную женщину. Это – шикарно, знак вызова и независимости; это современно, видимость свободы вообще и свободы общения, потому что, строго говоря, это асексуально и антисексуально. Ни мужчинам, ни женщинам не нужно сегодня настоящее сексуальное желание. Их волнует фальшь, подделка, умственный суррогат.

Мы, люди, – неоднозначны, в нас множество разных, подчас противоположных желаний. Те самые мужчины, что поощряют женщин вести себя вызывающе, антисексуально, жалуются особенно горько, что женщины перестали быть женщинами. То же и с женским полом. Те, кого безумно восхищает в мужчинах социальный лоск и внешнее отсутствие пола, ненавидят их именно за то, что они не «мужчины». И в жизни людей пробивает час, когда они начинают безумно, смертельно ненавидеть фальшивый секс и его участницу или участника. Знаменательно, что те, кто больше всего фальшивил, ненавидит всего свирепее.

Нынешние девицы могут закутать себя до глаз, носить шиньоны и кринолины, и хотя они вряд ли сильнее ожесточат сердце мужчины, чем полуобнаженные дамы, но и они не вызовут в мужчинах настоящего вожделения. Если нечего прятать, маскарад не поможет. Впрочем, иногда помогает. Мужчина часто и сам готов обмануться – на время – даже маской, под которой ничего нет.

Дело в том, что когда в женщине жив трепет, секс, когда она беспомощно-притягательна, сколько бы ни боролась с собой, она всегда одета в элегантное, но глухое платье. Непомерные турнюры 1880-х были только пред-

течей приближающейся бесполости. Когда секс – сам по себе сила, женщины прибегают к милым защитным ухищрениям, а мужчины токуют не хуже глухарей.

Когда Папа взывает к женщинам, чтобы они приходили в храм, не обнажая телес, он выступает не против секса, а против асексуального поведения бесстыдниц. Папа, священники понимают, что выставление напоказ обнаженного женского тела на улицах и в церквях настраивает на дурной, «неправедный» лад и мужчин, и женщин. И они правы. Но не потому, что обнажение вызывает похоть, оно ее не вызывает или вызывает редко, это известно даже м-ру Шоу. Если женская плоть не возбуждает, значит, здесь что-то не так! Совсем не так, к великому прискорбию. Обнаженные руки женщин сегодня говорят о цинизме, неуважении, дурном вкусе, а это, конечно, отнюдь не те мысли и представления, с какими надо ходить в церковь, если, конечно, вы уважаете свою веру. Обнаженные руки в итальянских церквях действительно святотатство, с традицией не поспоришь.

Католическая церковь, особенно на юге, не против секса, как северные церкви, не отстаивает асексуальность, как м-р Шоу и другие социальные писатели. Она признает секс, почитая брак таинством, основанным на союзе полов, цель которого – воспроизводство потомства. Но воспроизводство на юге не есть только голый научный факт и биологическая потребность, как мы видим на севере. Зачатие на юге и по сей день великая тайна исключительной важности – наследие давнего прошлого. Человек – потенциальный творец, и в этом его величие. Все это отмели северные церкви и тривиальная логика Бернарда Шоу. Но то, что погибло на севере, Церковь сумела сохранить на юге, понимая, что в этом и заключается фундаментальный смысл бытия. Мужчине в каждодневной жизни необходимо ощущать себя потенциальным творцом и законодателем, отцом и мужем, только тогда он будет получать от нее полное удовлетворение. Сознание нерасторжимости брака обеспечивает, как мне кажется, душевный покой и мужчине, и женщи-

не. Пусть в этом есть нотка роковой обреченности, все равно нерасторжимый брак обязателен. Католическая церковь не тратит попусту время, напоминая людям, что на небесах нет ни бракосочетаний, ни разводов. Она решительно заявляет: если вы женились, то навсегда! И люди принимают этот вердикт, обреченность и благочестие. Для католического священника секс – это ключ к браку, брак – ключ к земной жизни, а сама Церковь – ключ к жизни небесной.

Так что сексуальный соблазн – не смертный грех для Католической церкви. Куда более грешно антисексуальное обнажение рук, вызов устоям, «свобода», высокомерие, цинизм. Секс в церкви может быть неприличным, даже святотатственным, но никогда – циничным или безбожным. А сегодня обнажать руки и ноги – цинично, безбожно. Это опасная, вульгарная форма безбожия. И, естественно, Церковь выступает против. Главный Святой Отец Европы знает о сексе все-таки больше, чем м-р Шоу, потому что ему ведома глубинная природа человеческого существа. Исторически – у него тысячелетний опыт. А м-р Шоу умник без году неделя. Он выскочил со своими пьесами, в которых показывает публице парадоксы фальшивого секса. Нет сомнения, он это умеет. Впрочем, это умеет и самый дешевый фильм. Но нет сомнения и в том, что м-р Шоу не умеет изображать истинный секс настоящих людей, о чьем существовании он вряд ли подозревает.

В параллель себе м-р Шоу предполагает, что Главная Проститутка Европы могла бы консультировать по вопросам секса – правда, разумеется, не Главного Святого Отца. Параллель справедлива. Главная Проститутка Европы, наверное, знает о сексе столько же, сколько сам м-р Шоу. Это немного. Подобно м-ру Шоу, Главная Проститутка знает великое множество дешевых трюков фальшивого секса. И, как он, понятия не имеет об истинном сексе человека, подчиненном ритму времен года, годовому коловращению, зимнему критическому солнцестоянию, пасхальным страстям. Это Главной Прости-

тутке неведомо, ведь чтобы стать проституткой, ей надо было забыть об этом. И все же она знает о сексе больше, чем м-р Шоу. Она знает, что в мужчине существует внутренний сексуальный ритм. Она знает, потому что ей не раз приходилось ему противоборствовать. Вся мировая литература засвидетельствовала сексуальную импотенцию проституток, они не могут удержать мужчину, ненавидят глубинный инстинкт верности в мужчине, который, как показала история, чуть глубже и гораздо мощнее, чем инстинкт случайных сексуальных связей. Мировая литература показала, как силен у мужчин и женщин инстинкт верности, как мужчины и женщины страстно желают его удовлетворения и как досадуют, что не способны найти истинный модус верности. Инстинкт верности, пожалуй, самый глубокий инстинкт в огромном явлении, которое мы именуем сексом. Настоящий секс – гарантия верности. Проститутка это знает, потому что она и против настоящего секса. Она в состоянии удержать мужчину, знающего только фальшивый секс, но таких она презирает. Истинно сексуальный мужчина обязательно расстанется с ней: она не может удовлетворить его страсть.

Главная Проститутка все это знает. Столько же знает Римский Папа, если удосужится подумать о сексе: в историческом сознании Церкви все это есть. Но Главный драматург не знает. По этой части у него пробел. Для него весь секс – в неверности и только неверность – секс. В супружестве секса нет, нуль. Секс являет себя лишь в измене, и королева секса – Главная Проститутка. Если в браке заговорил секс, значит, один из партнеров влюбился в кого-то и подумывает об измене. Секс – это измена, и проституткам это известно. Женам ничего не известно, и сами они в рассуждении секса – ничто.

Таково воззрение Главных драматургов и Главных мыслителей нашего поколения. И покорная публика полностью с ними согласна. Секс – это вещь, годная для одного: чтобы всем досадить. Помимо этого, то есть помимо неверности и прелюбодеяния, в сексе ровным

счетом ничего нет. Наши главные мыслители, парад которых завершает легкомысленно–задиристый м-р Шоу, внушают эту чушь столь настойчиво, что она уже стала почти что правдой: секс не существует, разве только ложный секс проституток и мелкое прелюбодеяние. А супружество – так, пустота, вакуум.

А между тем вопросы секса, супружества имеют первостепенную важность. Жизнь общества зиждется на семье, а семья, утверждают социологи, держится собственностью. Считается, что семья – лучший способ упрочения собственности и стимулятор производства. Этим, казалось бы, сказано все.

Все ли? Мы сейчас переживаем бунт против семьи, против ее пут и ограничений. Три четверти сломанных судеб обязаны своими скорбями семье. Считанные единицы из нас (мужчины и женщины) не питают ненависти к институту брака, висящего гирей на человеке. Бунты против правительств не идут ни в какое сравнение с бунтом против семьи.

И многие уверены: научится человек жить без этой социальной ячейки – институту брака придет конец. Советы упраздняют семью, если уже не упразднили. Появись в будущем авангардные государства, нет сомнения – и они последуют примеру Советов. Попытаются изобрести какой-нибудь социальный суррогат, уничтожив ненавистные супружеские узы. Государственная помощь матери, государственная помощь детям, женская независимость – это пункты в программе любой новой великой реформы. И это означает, конечно, гибель семьи.

Остается ответить на вопрос: мы что, действительно хотим этого? Хотим абсолютной независимости женщин, государственной поддержки материнства и детства, а стало быть, упразднения семьи? Мы хотим этого? Ведь мужчины и женщины будут делать то, что они действительно хотят, и это главное. Но тут надо помнить одно: и в этом случае, как во всех остальных, человеком руководят два набора желаний – глубоких и мелких. Мелкие – это личные, поверхностные, временные же-

лания; глубокие – надличностные, исконные, великие, для исполнения которых требуются столетия. Сиюминутные желания легко распознать, но те, другие, долгосрочные, – трудно. Дело Главных мыслителей втолковать их нам, а то прожужжали все уши ничтожными, несобстоящими желаниями.

Вместе с тем согласимся: Церковь зиждется в том числе на признании величайших, глубинных желаний человека, для осуществления которых требуются годы, целая жизнь и даже столетия. И она, сторонница целибата, возведенная, кажется, на одиноком камне Петра или Павла, жива до сих пор нерасторжимостью брака. Утрать семья прочность, постоянство, незыблемость, и Церковь рухнет. Подумайте об упадке Англиканской церкви.

Это понятно, ведь Церковь держится идеей союза, единством человечества. И первая ступень этого единства – семейные узы. Семейные узы, семейные пути – как угодно – основное связующее звено христианского сообщества. Разружьте семью, и вы вернетесь ко все подавляющему господству государства, какое существовало до христианской эры. Римское государство было всемогуще. Его олицетворяли римляне – отцы семейства, римская семья была вотчиной отца, наследником которой в какой-то степени было само государство. То же мы видим и в Греции, там, правда, собственность не столь долговечна, скорее это яркие вспышки сиюминутного владения. Семья в Греции была куда менее устойчива, чем в Риме.

Но главой семьи был мужчина, представлявший государство. Есть государства, где семьей правила женщина, вернее сказать, были. Есть государства, где семья как бы не существует, государства, где главенствуют жрецы, надзирающие за порядком в семьях. Есть еще Советы – там семья, кажется, не существует вообще, государство механически контролирует все личные начинания, как было в великих жреческих государствах прошлого, например в Египте, где контролировались все действия и поступки посредством поголовного надзора и ритуалов.

Вопрос сводится к тому, хотим ли мы двигаться вперед или вспять, к существовавшим прежде формам государственного контроля? Хотим добровольно уподобиться римлянам, жившим при императорах или даже под республиканским правлением? Хотим ли быть в отношении семьи и собственности чем-то вроде древних греков из городов-государств Эллады? Согласны ли, подобно древним египтянам, выполнять странные ритуалы по указке жрецов? А может, мы завидуем замороченным жителям государства Советов?

Что касается меня, то я могу дать однозначный ответ. Ничего подобного я не хочу. И призываю еще раз поразмыслить над знаменитым утверждением, что, пожалуй, величайший вклад христианства в социальную жизнь человека – институт брака. Христианство дало миру семью, ту семью, которую мы сейчас знаем. Христианство учредило автономию крошечной ячейки – семьи – внутри обладающего сильной властью государства. Христианство в каком-то смысле оградило человека от государственного произвола. Пожалуй, именно семья гарантировала человеку свободу, дала ему собственное крошечное королевство внутри громадного королевства – государства, обеспечила плацдарм для защиты от него. Муж и жена, король и королева с одним или двумя подданными, несколько квадратных метров собственной территории – это и есть семья. И это истинная свобода, потому что внутри семьи полностью себя осуществляют все ее члены – муж, жена, дети.

И вот теперь мы хотим уничтожить семью? Если мы ее уничтожим, мы все станем жертвами прямого диктата государства. Хотим ли мы погибнуть под пятой государства? Я бы не хотел. Церковь устроила семью, объявив ее таинством, соединяющим мужчину и женщину в брачный союз, который может разрушить только смерть. И даже разлученные смертью, они все равно не свободны от брачных уз. Брак для человека – вечен. Брак объединяет двух уязвимых существ в одно совершенное, дает простор гармоническому развитию души

мужчины в унисон с женской на протяжении жизни. Брак, священный и неприкосновенный, – великий путь совместного совершенствования мужчины и женщины под неустанным водительством Церкви.

Это и есть величайший вклад христианства в человеческую жизнь, о чем мы так легко забываем. Действительно ли семья – великий шаг вперед на пути к самосовершенствованию? Да или нет? Помогает ли брак становлению человека или, напротив, заводит его в тупик? Это очень важный вопрос. Мужчина и женщина должны ответить себе на него.

Если встать на точку зрения протестантов, считающих, что каждый человек – индивидуальная душа и главное дело жизни – спасение своей души, то тогда, конечно, брак только мешает человеку. Если я живу только затем, чтобы спасти собственную душу, то о браке надо забыть. Это хорошо понимают монахи и отшельники. И опять то же самое – если я живу, чтобы спасти души других, то и мне лучше забыть о браке, как учат апостолы и святые отцы.

Ну а если я не склонен спасать ни свою, ни чужие души? Допустим, для меня непостижима сама идея спасения, между прочим, так и есть. Допустим, я просто не понимаю, что значит «Спаситель» и вся эта канитель со спасением, а считаю, что душу надо не спасать, а совершенствовать на протяжении жизни, беречь, питать, развивать и осуществлять ее возможности. Что тогда?

А тогда то, что семья становится необходимым инструментом жизни. Старая Церковь очень хорошо понимала непреходящие нужды человека, умела отличать их от повседневных нужд. И она установила институт нерасторжимого брака, чтобы человек мог осуществить потенциальные возможности души не на небесах, а здесь, на земле.

Старая Церковь знала, что земная жизнь человека должна быть прожита как осуществление. Суровые правила Бенедикта, бурные всполохи Франциска Ассизского – все это лишь вспышки на устойчивом небосводе

Церкви. Самый ритм жизни человеческой соблюдался Церковью ежечасно, ежедневно, от лета к осени, от зимы к весне, из года в год, от эпохи к эпохе, а внезапные вспышки к нему приноравливались. На юге Европы мы ощущаем это, слушая звон колоколов на заре, в полдень, на закате, сверяя часы по мессам и молитвам. Это ритм дневного движения Солнца. Мы ощущаем его в дни карнавалов, в праздники Рождества, Трех Волхвов, Пасхи, Пятидесятницы, Всех Святых, в День поминовения. Таков ежегодный круговорот, смена времен года, движение Солнца от равноденствия к солнцестоянию. И таков внутренний ритм мужчины и женщины; печаль Поста, ликование на Пасху, восхищение чудом Пятидесятницы, огни Ивана Купалы, свечи на могилах в День поминовения, зажжение свечей на рождественской елке – все это вторит эмоциональным ритмам в душах мужчин и женщин. У мужчин свой ритм, у женщин – свой, и только их союз рождает всю полноту великого эмоционального ритма.

Августин сказал, что Бог ежедневно творит мир заново; для живой, чувствующей души это правда. Каждая зря проливает свет на новую землю. Каждая Пасха славит новый мир, распустившийся в совершенно новый цветок. Точно так же обновляются души мужчин и женщин, благодарно ощущая бесконечную радость и новизну жизни. Так что мужчина и женщина каждый день и час заново открывают друг друга, следуя брачному ритму, который в свою очередь повторяет ритмический рисунок годового коловорота.

Секс поддерживает равновесие мужского и женского начал во Вселенной: притяжение, отталкивание, переходное время безразличия. Новая тяга, новое отдаление, всегда по-иному, всегда внове. Долгий покой Великого поста, когда кровь медленно течет по жилам, восторг пасхального поцелуя, весеннее пробуждение плоти, горячие ласки лета, медленное затухание, протест, печаль, серый мрак осени, а следом – жаркое вожделение долгих зимних ночей. Секс мужчин и женщин, постоянно меняясь, проходит красной нитью сквозь циклические

ритмы года, диктуемые движением Солнца. Для человека трагичен отрыв от природных годовых ритмов, ему нельзя рвать связь с Землей, Солнцем, Вселенной. Человек сегодня любит эгоистической, однодневной любовью. Жалкая, увечная любовь, оторванная от восходов и закатов, не знающая мистической связи с равноденствием и солнцестоянием. Вот в чем наша беда. Человек подсечен под корень, потому что оторван от Земли, Солнца, звезд. И любовь стала для него циркачкой, насмешницей, ведь мы сорвали этот бедный цветочек с древа жизни, поставили в вазу у себя в цивилизованном доме и думаем, что он никогда не завянет.

Супружество – ключ к человеческой жизни, его нельзя отделить от движения Солнца, земного тяготения, от блуждающих планет и великолепия неподвижных звезд. Разве на заре мужчина тот же, что на закате? А женщина? И разве гармония и противоречие этих вариаций не составляют тайную музыку жизни?

И разве не относится это ко всему течению жизни? Мужчина в тридцать лет совсем не то, что в сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят. Так же меняется женщина, идущая рядом. Но разве эти параллельные перемены не согласуются между собой? Разве не существует особой гармонии между мужчиной и женщиной в каждый период жизни? Младые годы, рождение детей, расцвет, взрослые дети, женский критический возраст, болезненный, но несущий возрождение, период угасания страсти, радость тихой привязанности, неясное дыхание приближающейся смерти, смутный страх разлуки, которая, в сущности, и не разлука, – разве во всем этом не ощущаешь невидимую, неведомую гармонию, лад, завершение, точно жизнь – это беззвучная симфония, ритмично развивающаяся от одной части к другой, такая разная на всем протяжении и все-таки цельная, рожденная беззвучным пением двух изначально обособленных жизней мужчины и женщины?

Таков брачный союз, таинство, которое осуществляется здесь, на земле. Какое нам дело до того, что будет на

небе! Все должно осуществиться здесь – здесь или нигде. Великие святые, и даже Христос, жили и живут для того, чтобы внести в это таинство новое наполнение и новую красоту.

Но – и это «но» пронзает наши сердца, как пуля, – истинным может быть только брачный союз, в основе которого – фаллос, и, конечно, если он связан с Землей и Солнцем, планетами и звездами, дневными, месячными ритмами, сезонной, годовой и вековой цикличностью. И еще союз должен быть созвучен с кровью. Ведь кровь – самая суть души, глубин подсознания. Кровь – это жизнь, мы движемся, дышим, живем работой сердца, печени. В крови знание, чувствование, бытие неслиянны и нераздельны. Никакой Змей, никакое яблоко не могут разрушить это единство. Истинный брак держится на союзе крови. Кровь мужчины и кровь женщины – два извечно разных потока, им никогда не смешаться. Даже наука с этим не спорит. И эти два потока кольцуют жизнь. В половом акте потоки касаются и обновляют друг друга, но не смешиваются, не сливаются. Фаллос – это столбик крови, и он наполняет собой долину крови женщины. Великий поток мужской крови устремляется к самым истокам великого потока женской крови, не вторгаясь, однако, в его пределы. Брачный союз – сильнейший из всех союзов, это ведомо всем религиям мира. Одна из самых великих тайн, даже, пожалуй, величайшая, как явствует из всех инициаций, утверждающих верховенство брачного таинства.

Половой акт – это союз, касание двух рек, употребляя древнее сравнение, Евфрата и Тигра, кольцующих Месопотамию; там находился Рай, или Сад Эдема, где началось человечество. Вот что такое брачный союз – кольцо двух рек, союз двух кровяных потоков, и ничего более, это известно всем религиям.

Два потока крови – это мужчина и женщина; две извечные, раздельные реки, касаясь друг друга, обновляются, вступают в союз. Но никогда не рушат они хрупких преград, не смешиваются, не сливаются. Связует их

Фаллос, нерасторжимо замыкающий два потока в одно кольцо. И это единство, осуществляемое на протяжении жизни двумя «Я», есть величайшее достижение времени и вечности. Им рождается все – дети, красота, произведения искусства, все достойное называться истинным творением человечества. Одно, что мы знаем о Промысле Божьем, – Он заповедал: пусть будет это единство, создаваемое двойным кровотоком, длиною в жизнь.

Мужчина умирает, женщина умирает, разлученные души возвращаются к Творцу. Так ли это? Кто знает? Но одно верно: брачное единство кровотоков мужчины и женщины восполняет по части человечества Вселенную, течение звезд, движение Солнца.

Но всему этому есть антимир. Это – современный фальшивый брак, а нынче почти все браки фальшивые. Современные мужчины и женщины сплошь личности, и в брак вступают именно личности, у которых общие вкусы на мебель, книги, развлечения, спорт; их восхищает в партнере ум, способность вести беседу – словом, одна от другой в восторге. Это сходство умов и вкусов – прекрасная основа для дружбы между мужчиной и женщиной, но оно губительно для брака. Ведь в браке неизбежна сексуальная активность, а сексуальная активность есть, была и будет в каком-то смысле враждебна интеллектуальной, личностной близости. Почти аксиома, что брак между двумя личностями рано или поздно кончается необъяснимой взаимной ненавистью. Люди, в начале преданные друг другу, кончают тем, что люто ненавидят друг друга, они не понимают себя, им стыдно, они тщетно прячут ненависть от себя и других, причиняя всем боль, а главное – самим себе. Люди сильных чувств доходят в ненависти до неистовства, как будто не имея на то причины.

Но причина есть. Родство ума, нервной системы, духовных интересов, увы, враждебно родству кровотоков, осуществляемому в сексе. Современный культ личности – превосходная основа для дружбы между мужчиной и женщиной, но он фатален для супружества. Лучше бы

современному человеку не жениться. Тогда бы ничто не мешало ему оставаться самим собой, личностью.

И вот фатальный акт (в браке или вне его) совершился. Если вас связывает только личностная симпатия и родство душ, рано или поздно в сердце у вас поселятся гнев и ненависть, и причина этому – отсутствие близости между кровотоками, отсутствие родства по крови. В безбрачии вообще рядом нет сексуально близкого кровотока, что высушивает, парализует чувства, в браке же такое отсутствие рождает агрессивную ненависть. И ее нельзя отменить, как нельзя отменить грозу. Такова особенность человеческой психики. Замечательно то, что секс сам способствует сексуальной активности мужа и жены, связанных только родством душ. Секса в фальшивом браке больше, чем в истинном, но он не приносит удовлетворения ни мужчине, ни женщине. Мечта женщины о любовнике, способном бесконечно предаваться любви, находит воплощение в фальшивом браке. Но как же спустя время она ненавидит его и его ненасытное желание, которое ей ничего не дает!

Говоря о сексе, я всегда утверждал, что секс – это близость и родство кровотоков, и в этом моя ошибка. Практически так оно и есть. Но дело в том, что почти весь современный секс – это нервы, холод, бескровие. Таков «личностный секс». И этот бледный, нервный «поэтический» секс, а только его и знают современные пары, производит на человека удивительное психо-физиологическое воздействие. Разумеется, и тут соприкасаются два кровотока, мужской и женский. Но если на мужчин и женщин, связанных истинной страстью, половой акт оказывает положительное действие, обновляет кровь, то осуществление нервного, «личностного» желания производит изнуряющий, разрушительный эффект: кровь бледнеет и обедняется. «Личностный», нервный, духовный секс – опасен для крови. Он вредно сказывается на обмене веществ, тогда как истинный секс усиливает в соитии процессы метаболизма. Катаболизм «нервной» сексуальной активности может вызвать экстаз, временно возбудить

сознание. Но это – результат распада кровяных телец (так действует алкоголь или наркотики), что оказывает на человека губительное воздействие. Это – одна из причин, почему у нынешнего человека так мало жизненной энергии. Сексуальная активность, призванная освежать и обновлять организм, становится, напротив, вредной и разрушительной. Когда юный джентльмен сказал, что не верит в возрождение Англии с помощью секса, я с ним согласился. Ведь фактически весь современный секс – нервный, «личностный», и значит – изнуряющий и губительный. Вредность современного секса не подлежит сомнению. Страшнее его только мастурбация.

Так я и пришел к пониманию критиков, которые издеваются над моим поклонением сексу. Но им ведом только один вид секса, для них действительно существует всего один вид – нервный, «личностный», губительный – «белый» секс. В их сексе есть что-то кричащее, фальшивое, не дающее надежды. Согласен. И еще я согласен: такому сексу не возродить Англии.

Вместе с тем я вижу: не вселяет надежд и асексуальная Англия. Англии, потерявшей секс, не возродиться. На нее нельзя возлагать надежд. И хотя с моей стороны глупо отстаивать секс, раз я не приемлю нынешний, но я не отрекусь от своих взглядов и никогда не поверю, что спасение Англии в полном отсутствии секса. Англия без секса! Эти слова не обнадеживают меня.

Но есть другой секс, теплый, освященный кровью, который строит живую, обновляющую связь между мужчиной и женщиной, – как же его-то вернуть обратно? Не знаю. Но вернуть – наш долг, иначе конец. Ибо мост в будущее – фаллос, этим сказано все. Но, разумеется, не бедный, нервный, вымученный фаллос современной нервной любви. Нет, конечно, не он.

Ибо не забьется новый пульс жизни без касания цветков, истинного, с положительным знаком, а не холодного и губительного. Истинное касание было, есть и пребудет. Касание живительного секса. Гомосексуальный контакт вторичен, если не просто суррогат, как

следствие абсолютного неприятия холодного, не приносящего радости традиционного секса.

Если Англии суждено возродиться – употребляю фразу молодого человека, который, судя по всему, чувствует необходимость возрождения (его слово), – то это произойдет по возрождении нового контакта, нового супружества. И это будет скорее фаллическое, чем сексуальное возрождение. Поскольку фаллос – единственный великий символ божественной витальности человека, унаследованный от древних.

Возродится истинный фаллический брак. И будет следовать циклическим ритмам космоса. Отторгнув себя от космических ритмов, мы чудовищно обеднили свои жизни. Ранние христиане пытались убить языческие ритмы космического ритуала и в какой-то мере преуспели в этом. Они убили планеты и знаки Зодиака; им это удалось, возможно, потому, что астрология превратилась в примитивное предсказание будущего. Они хотели уничтожить языческие ежегодные праздники. Но Церковь, которая знала, что человек жив не хлебом единым, но и Солнцем, Луной, Землей в их кружении, восстановила священные дни и праздники по языческим образцам. Христианские крестьяне, как и языческие земледельцы, творили молитву на рассвете, в полдень, на закате – в эти три главные точки дневного солнцестояния; отдыхали в день седьмой по правилу древней магической семерки; праздновали Пасху – смерть и Воскресение Бога, Пятидесятницу, огни Ивана Купалы, отводили мертвый ноябрь с привидениями, вышедшими из могил; а там уже Рождество и Двенадцатая ночь с тремя волхвами. Столетиями люди жили, подчиняясь этому ритму, освященному Церковью. Корни религии извечно скрыты в глубинах народной жизни. Народ, забывший религиозные годовые ритмы, умирает без надежды воскреснуть. Протестантизм нанес сокрушительный удар религиозным и ритуальным ритмам, организующим человеческую жизнь. Нонконформисты почти завершили дело. И мы живем сейчас среди несчастных, слепых, разобщенных

людей, чье развлечение – политика и банковские нерабочие дни: единственно этим удовлетворяют они исконную человеческую потребность жить в ладах с космосом в его преобразованиях, подчиняясь предвечным законам. Брак, будучи предвечной потребностью, тоже претерпел ущерб из-за того, что эти законы утратили верховенство. Человечество обязано вернуться назад, к ритмам Вселенной и незыблемости брака.

Все написанное – постскрипtum, дополнение к моему роману «Любовник леди Чаттерли». У людей имеются мелкие потребности и глубокие. Мы живем, по ошибке удовлетворяя мелкие, отринув глубокие, будучи на грани помешательства. Для отдельной личности, ее мелких потребностей, существует крошечная мораль – увы, мы живем только этой моралью. Но есть большая мораль, касающаяся всех женщин, всех мужчин, всех народов, рас, сословий и классов. Эта большая мораль влияет на судьбы человечества на протяжении очень долгого времени, касается глубинных потребностей и зачастую идет вразрез с крошечной моралью и мелкими потребностями. Древнее трагическое сознание учит, кроме всего прочего, что одна из самых великих потребностей человека постичь смысл смерти и уметь принимать ее. Каждый человек должен телом своим прочувствовать смерть. Но более мощные сознания, дотрагическое и посттрагическое (правда, до посттрагического мы еще не дожили), утверждают, что величайшая потребность человека – безвозвратное восстановление полного ритма жизни и смерти, ритма солнечного движения, земного срока человеческой жизни, бесконечно длинного срока звезд, ритма бессмертия человеческой души. Такова наша потребность, наша настоятельная потребность. Это потребность ума и души, тела, духа и секса – всего. Бесполезно молить Слово удовлетворить эту потребность. Ни Слово, ни Логос не помогут. Слово уже сказано, много Слов, надо было только внимать им. Но что же тогда призывает нас на Великие Действа: Действо сезонов и года, цикла души, женской жизни, звучащей в унисон с муж-

ской, меньшее Действие лунного странствия, большее – солнечного движения и самое крупное – Действие великих неподвижных звезд? Нам предстоит заново изучить Драмy жизни; принято считать, что мы уже постигли смысл Слова, но, увы, взгляните на нас. Может, мы и совершенны по части Слова, но что касается действия, тут мы круглые идиоты. Давайте готовиться к смерти в крошечной жизни, чтобы воскреснуть в великой – причастной к движениям космоса.

Практически это зависит от нашей способности к общению. Мы должны вернуться к живому, плодоносному общению с космосом и Вселенной. Путь к нему – ежедневный ритуал и новое пробуждение. Нам следует заново упражняться в ритуале рассвета, полудня, вечерних зорь, в ритуале разжигания огня и омовения водой, ритуале первого вздоха и последнего. Это действия хозьяев и домочадцев, ежедневный жизненный ритуал. Вернуться к ритуалам утренней звезды и вечерней, Луны с ее фазами – отдельно для мужчин и женщин. Вспомнить ритуал времен года – Драмy и Страсти души, воплощенные в процессиях и танце, для сообщества мужчин и женщин, всего сообщества в целом. Ритуал великих событий в межзвездном пространстве для народов и государств. Вот к чему мы должны вернуться, вернуться творчески, чтобы удовлетворить высшие потребности. Мы ведь и гибнем потому, что ритуалы забыты, – в этом беда. Мы отрезаны от великих вечных родников космоса, которые питают и обновляют наше внутреннее «я». Род человеческий чахнет, не имея притока жизненных сил. Он как могучее дерево, вырванное из почвы, корни которого обнажились. И мы обязаны вернуть самих себя в космос.

Это означает возвращение к древним устоям. Их придется создавать заново, а это труднее, чем проповедовать Благою весть. Евангелие явилось нам, чтоб сообщить: вы спасены. Но оглянитесь окрест себя: человечество, увы, не спасено, что бы это ни значило. Жизнь для него потеряна, род людской на грани полного уничтожения. Надо

вернуться назад – путь предстоит долгий, – в эпоху, когда не было идеалистов, Платона, не родилось еще трагическое понимание жизни, и тогда мы опять встанем на ноги. Евангелие спасения через Идеалы и бегство от своего тела совпало с возникновением трагической концепции человеческого существования. Спасение и трагедия – одно и то же, и теперь им пора покинуть историческую сцену.

Итак – обратно, во времена, где не было еще идеалистической религии и философии, пославших человека в великое трагическое странствие! Последние три тысячи лет человечество плутало в пустыне идеалов, бесчеловечности и трагедии, теперь это плутание кончилось. Точь-в-точь конец трагедии на театре. Сцена усыпана мертвыми телами, жертвы бессмысленны, и это особенно страшно. Занавес падает.

Но в жизни занавес не опускается. Лежат мертвые тела, действительно мертвые, кое-кому придется их выносить, другие будут играть дальше. Но это завтра. А это завтра – нынешний день, эпоха идеалов и трагедий окончилась. Уцелевшие герои застыли в немой сцене. Но жизнь продолжает идти своим чередом.

Сегодня нам выпало восстановить заветные связи, разрушенные великими идеалистами и пессимистами прошлого, верящими, что жизнь – всего лишь бессмысленный конфликт и лучший выход – бежать его, даже ценой смерти. Будда, Платон, Иисус – все трое с глубоким пессимизмом воспринимали жизнь; учили, что человек обретает счастье, только уйдя от жизни, от сезонных, годовых циклов рождения, смерти, плодоношения, приобщившись к вечной, незыблемой жизни духа. И вот теперь, после трехтысячелетнего отчуждения от космоса, мы понимаем, что отчуждение не есть ни свобода, ни благостыня, это – ничто, пустота. Величайшие мыслители и учителя отсекали нас от дерева жизни. И это наша трагическая вина.

Космос мертв, как же вновь ощутить его живое дыхание? «Знание» убило Солнце, оно для нас раскаленный,

газовый – запятнанный – шар. «Знание» убило Луну, она теперь круглый кусок суши в мертвых кратерах, как лицо в оспинах; Земля, убитая автомобилями, больше не Земля, а место для езды, более или менее ухабищенное. Как возвратить величественные сферы небесного свода, что наполняют нас ликованием? Как возвратить Аполлона, Атгиса, Деметру, Персефону, подземные пещеры Плутона? Как снова узреть Венеру, Бетельгейзе?

Мы обязаны вернуть человечеству мир, в каком вольготно существует высшее сознание человека. Мир разума и науки, где Солнце – газовый шар, Луна – мертвый осколок Земли, – это сухой стерильный мирок абстрактных мыслей ученого; мелкотравчатый мир низшего сознания, куда мы загнаны униженным отчуждением. Таким он видится нам, отчужденным от самих себя и всего остального. Человек, связанный со Вселенной, мир воспринимает иначе. Он для него то прекрасный Гиацинт, то мрачное подземное царство Плутона. Луна наполняет нас то восторгом, то грустью; Солнце или грозно рычит, выпускающая когти, как большой рыжий лев, или, точно львица детенышей, ласково лижет живительными лучами. Существует много способов познания мира, много видов учения. Человек обладает, среди прочих, двумя: логическим, научным, рациональным – способ человека, отчужденного от космоса, и противоположным, который я бы назвал религиозным, поэтическим постижением мира.

Христианская религия с победой протестантизма окончательно утратила близость со Вселенной: близость тела, секса, чувств, страсти с Землей, Солнцем, звездами.

Между людьми существует три вида отношений. Во-первых, отношение к живому космосу, во-вторых, отношения между мужчиной и женщиной. И затем – отношения между мужчинами. И все три вида – кровные отношения, не просто отношения ума или духа. Но мы разложили Вселенную на материю и энергию, мужчины и женщины – личности, самодостаточные особи, не способные к единению. Стало быть, все три вида отношений бестелесны, мертвы.

И хуже всего дело обстоит с отношениями мужчин. Думаю, если честно исследовать, какие чувства питают сегодня мужчины друг к другу, обнаружится, что каждый видит в другом угрозу. Странная вещь, чем более умен и духовен мужчина, тем сильнее его страшит физическое присутствие собрата: подошедший ко мне мужчина – угроза моей жизни, моему естеству.

Этот прискорбный факт – подоплека европейской цивилизации. Как сказано в одной заметке, рекламирующей военный роман: это эпопея «о дружбе и надежде, о грязи и крови», что значит, конечно: дружба и надежда кончаются грязью и кровью.

Когда Платон начал свой великий крестовый поход против секса, он воевал за идеи, «духовное» знание в отчужденности. А секс – мощная связующая сила. Два сердца – объединенные его неспешной вибрацией, счастливы со–единением. Идеалистическая философия и религия именно единение избрали мишенью, вознамерились его убить. И преуспели в этом. Последний всплеск надежды и дружелюбия был затоплен грязью и кровью войны. И вот теперь человек – крошечная, замкнутая в себе особь. И хотя доброта сегодня – поветрие (добрым может быть каждый), под доброй улыбкой прячется холодное, бесчувственное сердце. Каждый мужчина – угроза другому мужчине. И это страшно.

Все держат за пазухой камень. Торжествует индивидуализм. Если я как личность отчужден от всех, то все, особенно мужчины, против меня, от них исходит угроза. Такова отличительная черта эпохи. Все мы внешне добры, приветливы – из-за того, что в душе у каждого за тайлся страх.

Обособленность, рождающая чувство страха и опасности, усиливается по мере того, как слабеют единение и чувство локтя, а индивидуализм и отчуждение растут. Первыми встают на путь индивидуализма так называемые культурные слои общества, и они же первые чувствуют угрозу и страх. Простолюдины дольше сохраняют старое теплокровное чувство единения и единства.

Но спустя десятилетия и они все теряют. И тогда возникает классовое сознание и классовая ненависть. Классовая рознь – лишь свидетельство того, что старые родовые связи окончательно порвались и человек ощущает себя отчужденной личностью. В обществе возникают враждебные группировки, которые затевают между собой борьбу. Столкновение классов становится условием самоутверждения.

Это еще одна трагедия современной общественной жизни. В старой доброй Англии сословия объединялись старинными связями кровной близости. Сквайры были грубы, несправедливы, высокомерны, отличались буйством натуры, но они были плоть от плоти народа, частью общего кровотока. Мы чувствуем это, читая Дефо, Филдинга. А у Джейн Остин, посредственной писательницы, ничего этого больше нет. Старая дева изображает личности вместо характеров, она остро чувствует рознь и ничего не знает о единении; мне она весьма неприятна – англичанка в плохом, недостойном, высокомерном значении этого слова. Тогда как Филдинг – англичанин в самом лучшем, благородном его значении.

В «Любовнике леди Чаттерли» есть сэра Клиффорд, герой, полностью потерявший связь со своими сородичами, мужчинами и женщинами – исключение составляет только прислуга. В нем нет тепла, сердце мертво, домашний очаг остыл. Это чистейший продукт нашей цивилизации, смертельно опасный для всего человечества. Сэр Клиффорд добр согласно правилам и понятия не имеет, что значит сердечное сострадание. Он всегда остается тем, что есть. И теряет женщину, свою избранницу.

Второй герой пока еще не утратил добрых мужских чувств. Он гоним, уничтожен. Еще неизвестно, будет ли женщина, потянувшаяся к нему, всегда рядом, разделит ли его помыслы.

Меня много раз спрашивали, намеренно ли я сделал Клиффорда паралитиком, если конфликт – аллегория? Друзья литераторы пеняли, что он инвалид; дать бы ему

отменное мужское здоровье, и пусть женщина все равно от него уйдет.

Начну по порядку. Намеренна ли аллегория? Не знаю. В начале, конечно, нет, когда Клиффорд только обдумывался. Когда я писал Клиффорда и Конни, я понятия не имел, что они такое и для чего. Они сразу родились почти такие, какие есть. Роман был три раза переписан от начала до конца. И когда я прочитал первый вариант, я понял – увечье Клиффорда символизирует паралич, глубокий чувственный и сексуальный паралич, которым поражены большинство мужчин его типа и сословия. Я понимал: сделав его инвалидом, я, пожалуй, ставлю Конни в невыгодное положение. Одно дело уйти от здорового мужа, другое – покинуть инвалида в коляске. Но их отношения развивались сами собой, и я не стал вмешиваться. Символична увечность или нет, роман неизбежно должен был вылиться в то, что он есть.

Эти страницы, что я пишу два года спустя после того, как роман окончен, задуманы не затем, чтобы объяснить что-то или добавить. Мне бы хотелось сказать несколько слов о моем понимании эмоций, что, по всей вероятности, необходимо для такого романа. Он, очевидно, написан как вызов условностям, и посему я, наверное, должен пояснить его суть, ведь не писался же он для того чтобы *épater le bourgeois*, шокировать добропорядочную публику. Я употребляю непечатные слова, тому есть причина. Мы никогда не расстанемся с фаллическим культом, если не научим поклонников фаллоса его языку, то есть неприличным словам. Самое большое кощунство в отношении фаллоса – возведение на пьедестал. Похоже обстоит дело и с Конни: леди у меня выходит замуж (еще не вышла) за лесничего не из классовой ненависти, а вопреки ей.

И последнее, кое-кто жалуется в письмах, что я подробно описываю пиратские издания (некоторые), но ни слова не говорю об оригинальном издании. Первое оригинальное издание вышло во Флоренции – в твердой обложке тусклого темно-красного цвета, на переднем

листе мой вензель – феникс (символ бессмертия, птица, вновь рождающаяся из огненного гнезда), оттиснутый черным, на последнем белая бумажная наклейка. Бумага в книге отличная, итальянская, цвета слоновой кости, ручное внесение знака. Набор хороший, но обычный, переплет, какой делают в небольших флорентийских типографиях. Издал книгу не самый большой профессионал, но ее приятно держать в руках, чем она отличается от многих шикарных изданий.

Что до большого количества опечаток, а их действительно много, дело объясняется просто. Книжку набирали в маленькой итальянской типографии, в этом семейном заведении никто не знал ни одного английского слова. Английский язык для них – китайская грамота, не будем уж их стыдить. Верстка была ужасная. Сделает наборщик несколько приличных страниц – и идет выпить или еще куда. После чего слова пляшут макавейские пляшущие, не английские. В общем, ошибок – тьма, одно утешение: могло быть больше.

Одна газета пожалела бедного итальянца–наборщика, не знавшего ни слова по-английски и втянутого, по-видимому, в этот скандал обманным путем. Никакого обмана не было. Маленькому седоусому итальянцу, только что женившемуся второй раз, было сказано: «В этой книге имеются такие-то и такие слова, и она описывает кое-какие вещи. Если вы боитесь неприятностей, можете отказаться от этой работы». Наборщик спросил, что это за вещи, а узнав, сказал с типичной невозмутимостью флорентийца: «Ну и что, мы этим занимаемся каждый день». И вопрос был исчерпан. А поскольку в книге нет ничего политического, ничего вредного, то и говорить больше было не о чем. Дела житейские, так сказать.

И однако это было сражение; даже удивительно, что книга получилась такой хорошей. Литер хватило всего на половину; набрали, напечатали тысячу экземпляров и на всякий случай отпечатали еще двести, на простой бумаге (второе маленькое издание); затем набор рассыпали и набрали вторую половину.

И началась битва за распространение. Книгу сразу же задержали на американской таможне. К счастью, в английской книготорговле случился простой. И почти все издание – по меньшей мере восемьсот экземпляров – было отправлено в Англию.

И тут разразилась буря всеобщего негодования – ничего неожиданного. «Мы этим занимаемся каждый день», – сказал маленький итальянский печатник. «Чудовищно! Ужасно!» – вопила одна часть английской прессы. «Спасибо за настоящую эротическую книгу о сексе, наконец-то! Мне так надоели все эти асексуальные книги», – сказал видный флорентиец-итальянец, разумеется. «Не знаю, не знаю... не слишком ли это сильно, – заметил вежливый флорентийский критик, тоже итальянец. – Послушайте, синьор Лоуренс, вы находите, что действительно это необходимо сказать?» Я ответил – «да», и он, ничего не прибавив, задумался.

А некая американка, прочитав книгу, изрекла: «Муж – интеллектуальный вампир, любовник – сексуальный маньяк. Конни не из чего было выбирать, обычная история!»

Ноттингем и шахтерский край

Я родился почти сорок четыре года назад в Иствуде – шахтерском селении, насчитывавшем около трех тысяч душ, в восьми милях от Ноттингема и одной миле от маленькой речушки Ируош, что отделяет Ноттингемшир от Дербишира. Это холмистая местность, с западной стороны обращенная к Кричу и Мэтлоку, находящаяся в шестнадцати милях, а с восточной и северо восточной – к Мэнсфилду и округу Шервудского леса. Мне она казалась – и до сих пор кажется – краем редкостной красоты, выросшим на пограничье красного песчаника и дубовых рощ Ноттингема и холодного известняка, ясеней и каменных изгородей Дербишира. В пору моих детства и юности она еще воплощала в себе старую лесную и сельскую Англию: поездов не было, шахты выглядели некой случайной помехой пейзажу, а Робин Гуд и его веселая ватага явно бродили где-то неподалеку.

Цепь угольных разработок акционерно-государственной компании вступила в действие лет за шестьдесят до моего рождения; в результате на свет появился Иствуд. В начале XIX столетия он, должно быть, представлял собой маленькую деревушку – ряд коттеджей и хаотично разбросанных крошечных четырехкомнатных домиков, где обитали горняки XVIII века, работавшие в карьерах, в шахтах с боковым входом, сквозь который они проникали внутрь и выходили наружу, а также в шахтах с лебедочным спуском, когда людей, по одному в клетки, по очереди спускали вниз на лебедке. В пору детства моего отца такие шахты еще действовали, а я, в пору моего детства, успел еще увидеть и лебедки.

Однако около 1820 года компания, судя по всему, пробурила первую большую скважину – не очень глу-

бокую – и установила первое подлинно промышленное оборудование. Тогда наступила очередь моего деда – молодого человека, освоившего портновское ремесло и пожившегося в этих краях после скитаний по югу Англии; он нанялся портным на шахту Бринсли. В те времена компания снабжала своих служащих, работавших под землей, толстыми фланелевыми жилетами или фуфайками и молескиновыми штанами, отделанными сверху фланелью. С ранних лет запомнились мне огромные рулоны грубой фланели и брезента, стоявшие в углу дедушкиной пошивочной мастерской, и громоздкая, допотопная, ни на что не похожая швейная машина, на которой он тачал необъятные штаны для работы в забое. Но когда я был еще ребенком, компания перестала обеспечивать рабочих спецодеждой.

Дед мой обосновался в старом коттедже возле каменистом ручейке в Олд Бринсли, по соседству с шахтой. На расстоянии мили, в Иствуде, выросли первые дома, построенные компанией для шахтеров, – это было, должно быть, около ста лет назад. И ныне Иствуд господствует на вершине холма, крутым склоном обращенного к Дербиширу, а положим – к Ноттингему. Холм увенчала новая церковь, которая, несмотря на безликость архитектуры, прекрасно смотрится над убогой Ируошской долиной, как бы переглядываясь с церковью в Хиноре, также стоящей на холме, по другую сторону. Какие возможности, какие возможности! Эти горняцкие селения могли бы радовать глаз не меньше, чем восхитительные горные городки Италии, нарядные и живописные. И что же?

Большую часть немногочисленных построек, в которых жили шахтеры былых времен, снесли, и вдоль Ноттингем-роуд начали появляться унылые маленькие лавчонки, а на северной стороне компания возвела то, что получило название Новые Дома, или Квартал. Новые Дома – это два огромных прямоугольных, полых внутри жилых массива, прикнопленных к неровному склону холма; это неказистые четырехкомнатные до-

мишки, обращенные фасадом на пустынную, неприветливую улицу, с крошечными, вымощенными кирпичом прямоугольными двориками, туалетом и угольной ямой, огражденные сзади низкой стеной, за которой простирается неровная, каменистая, обрывающаяся крутыми уступами черная земля, всюду расчерченная квадратами задних двориков и проходов по краям. Эти жилые массивы были обширны и совершенно пустынно, если не считать столбов для сушки белья, прохожих и детей, игравших прямо на жесткой земле. И каким-то непостижимым образом они казались замкнутыми извне, подобно баракам.

Даже полсотни лет назад в округе их не жаловали. Жить в Квартале считалось «вульгарным». Не столь вульгарно было обитать в Проеме, состоявшем из шести блоков менее стандартных построек, возведенных компанией уровнем ниже, в долине, в два ряда по три блока в каждом с улочкой посредине. Верхом же вульгарности, пределом падения было жить в Дэйкинз Роу – одном из двух рядов старых, очень старых, почерневших четырехкомнатных крошечных домишек, тоже примостившихся на холме, невдалеке от Квартала.

Так рождался городок. В конце Скарджилл-стрит – крутой улочки, спускавшейся между квадратами, – возвели уэслианскую* часовню, а я родился в небольшом угловом доме, стоявшем чуть выше нее. По другую сторону Квартала сами шахтеры выстроили огромную, похожую на сарай первометодистскую** часовню. Вдоль вершины холма бежала Ноттингем-роуд с разбросанными по

* Уэслианская – относящаяся к методистской церкви, течению, обособившемуся от англиканской церкви в конце XVIII в.; название восходит к имени основателя методизма Джона Уэсли (1703–1791).

** Первометодисты – религиозная секта, отколовшаяся от методистской церкви в 1810 году в связи с разногласиями по теологическим и организационным вопросам.

обеим сторонам уродливыми постройками средневикторианского периода. Со стороны Дербишира селение кончалось небольшой рыночной площадью, с которой открывался чудесный вид, и все на ней было как на ладони: трактир «Сан Инн» – с одной стороны, аптека с позолоченными ступкой и пестиком на вывеске – напротив, а лавка на перекрестке Элфретон-роуд и Ноттингем-роуд – с другой.

В этом причудливом хаосе примет старой и новой Англии началась моя сознательная жизнь. Насколько я помню, мелкие спекулянты местного происхождения уже начинали застраивать поля рядами – непременно рядами – жилых построек: мерзких красных кирпичных домишек с приплюснутыми фасадами и темной шиферной крышей. Мода на дома с окнами фонарем только еще зарождалась, когда я был ребенком. И все-таки большая часть края оставалась еще нетронутой.

В прямоугольниках жилых массивов и на окружавших их, как стену громадного барака, улицах насчитывалось, должно быть, три-четыре сотни домов, построенных компанией. В Проеме компании принадлежало, наверное, домов шестьдесят-восемьдесят. Старый Дэйкинз Роу вмещал от тридцати до сорока крошечных нор. С учетом давнишних коттеджей и домов с садами, протянувшимися вниз по склонам, вдоль оврагов и местами, даже выходившими на середину самой Ноттингем-роуд, жилья хватало всем, и в большом строительстве не было необходимости. И в годы моего детства мало что строилось.

Мы жили в Проеме, в угловом доме. Из-под высокой живой изгороди боярышника тянулась тропинка. По другую сторону бежал ручей, через который был переброшен ветхий мостик для овец, пасшихся на лугах. У ручья кусты боярышника сравнялись высотой с деревьями, и мы часто купались там же, где обычно купали овец, – неподалеку от старой мельничной дамбы, с которой сбегала вода. Лишь в пору моего детства эта мельница перемалывала местное зерно. А моего отца,

всю жизнь проработавшего на шахте Бринсли и всегда встававшего в пять – если не в четыре – утра, рассвет уже заставал шагающим через поля в Кони Грей – за грибами, росшими в высокой траве; а порой ему случалось подобрать отбившегося от дома кролика, которого вечером он приносил к ужину за подкладкой своей горняцкой куртки.

Таким образом, в этой жизни странно перекрещивались индустриализм и старая сельская Англия Шекспира и Мильтона, Филдинга и Джордж Элиот. Говорили на широком дербиширском диалекте; в разговорах то и дело слышалось «ты» и «тебе»*. Люди жили, почти безраздельно повинувшись инстинкту; ровесники моего отца толком не умели читать. И шахта отнюдь не превращала их в безликие механизмы. Наоборот, в условиях подрядной системы труда их, работавших под землей, спаивали узы теснейшего товарищества, они чувствовали друг друга с полуслова, и эта общность между ними приобретала странный, интимный характер, а темнота и глубина забоя, ни на миг не покидавшее их сознание опасности до предела обостряли в них ощущение физического, инстинктивного и интуитивного контакта – контакта удивительно реального и прочного, неподдельного, как прикосновение. В условиях шахты это физическое самоощущение и интимное чувство единства проявлялись с наибольшей силой. Когда горняки поднимались из забоя, глаза их растерянно мигали от дневного света. В какой-то мере им приходилось менять весь свой жизненный ритм. И все-таки им удавалось вынести с собой на поверхность таинственную инстинктивную общность, спаивавшую их на глубине, какую-то обнаженность инстинктивного контакта; и когда я думаю

* Архаическое, с точки зрения современных норм английской разговорной речи, употребление личных местоимений, сохранившееся на рубеже XIX–XX веков в трудящихся слоях населения некоторых уголков провинциальной Англии.

о своем детстве, мне всегда представляется нечто вроде светящейся изнутри тьмы, напоминающей блестящую черноту угля, – тьмы, в которой мы жили, двигались и в которой заключалось наше подлинное бытие. Мой отец обожал шахту. Не раз становился он жертвой несчастных случаев и все же ни за что не переменял бы профессии. Он жизни себе не представлял без контакта, без чувства инстинктивной общности с себе подобными, как участники войны не могли жить без ощущения спаянного мужского товарищества тревожных фронтовых дней. Ощущение это оставалось безотчетным до тех пор, пока не утрачивалось. И, думается мне, присуще оно и молодым шахтерам в наши дни.

Но было у горняков и инстинктивное стремление к красоте. Этого стремления не было у их жен. В глубинах души, инстинктивно шахтеры жили удивительно полной жизнью. Но у них не было «дневных» амбиций, «дневного» интеллекта. Рациональная сторона жизни, по существу, была им чужда. Они предпочитали воспринимать ее инстинктивно и интуитивно. Даже проблема заработка не так уж их волновала. Эта проблема, естественно, не давала покоя их женам. В годы моего детства огромная пропасть разделяла шахтера, заставшего в лучшем случае несколько коротких часов дневного света (а в зимние недели зачастую вовсе не видевшего его), и его жену, весь день, пока ее муж находился в забое, предоставленную самой себе.

Было бы, однако, непростительной ошибкой жалеть рабочего человека. Ему самому и в голову не приходило жалеть себя, пока агитаторы и сентиментальные филантропы не приучили его к этому. Он был счастлив или, что еще важнее, удовлетворен собой. Только его удовлетворенность собой заключалась в восприятии, а не в самовыражении. Стремясь продлить ощущение своей общности с товарищами, после смены горняк заглядывал в трактир и пил. Застольные беседы лились бесконечно, но касались больше чудес и небылиц (даже в области политики), нежели конкретных предметов и об-

стоятельств. Ибо именно эти беспощадные конкретные обстоятельства, воплощенные в облике жены, в деньгах и в осточертевших домашних заботах, побуждали его сбегать – из дома в трактир и из дома в забой.

Из дома, подальше от набившей оскомину вечной сосредоточенности жены на проблемах быта, шахтер сбегал при первой же возможности. От жены он всегда слышал одно и то же: вот это сломалось, вот это нужно починить. Или: нам нужно то, нам нужно другое, а откуда взять денег? Шахтер этого не знал, да это и не особенно его волновало – его жизнь текла в ином ритме. Поэтому он устранился. Вместе с собакой он инспектировал окрестные уголки – в поисках то птичьих гнезд, то кроликов, то грибов. Он обожал окрестности: ему импонировало исхудавшее от них ощущение нестесненной свободы. Любил он и другое: просто сидеть и смотреть – на что либо или ни на что в частности. Интеллектуальная любознательность была чужда ему. Жизнь для него воплощалась не в конкретных фактах и проявлениях, но в ритме ее течения. Очень часто он бывал искренне привязан к своему саду. И очень часто умел по-настоящему ценить красоту цветов. Много, много раз случилось мне видеть шахтеров, любивших цветы.

Однако любовь к цветам – вещь крайне обманчивая. Большинство женщин обожают цветы как вид собственности и как украшение. Они просто не могут взглянуть на цветок, полюбоваться им и идти дальше. Если цветок привлек их внимание, им необходимо тут же сорвать, приобщить его. Собственность! Вид собственности! На мне появилось что-то новое! Ведь вся так называемая теперешняя любовь к цветам в действительности есть не что иное, как проекция собственнического инстинкта и эгоизма: нечто, что есть у меня, нечто, что украшает меня. А между тем, мне не раз доводилось видеть, как шахтер на своем заднем дворежке наклоняется к цветку со странным, отвлеченно-созерцательным выражением, демонстрирующим подлинное осознание красоты. Наклоняется не с восторгом, радостью или восхищени-

ем – одной из тех эмоций, в основе которых так часто лежит инстинкт обладания, – а именно с особым оттенком созерцания – чувства, безошибочно выделяющего рождающегося художника.

Подлинная трагедия Англии, какой я ее вижу, – это трагедия безобразия. Природа ее так прекрасна; все в Англии, что сотворено человеческими руками, так уродливо. Я знаю, что у самого обыкновенного шахтера времен моего детства было особое ощущение красоты, бравшее начало в его интуитивном и инстинктивном сознании, пробуждавшемся в темноте забоя. И то обстоятельство, что, поднимаясь на поверхность, и особенно у себя дома, в Квартале или в Проеме, за собственным столом, он сталкивался лишь с ледяным безобразием и неприкрытой озабоченностью всем материальным, в каком-то смысле убивало в нем человека. Женщина почти неизменно приходила к нему со своими бытовыми заботами. В этом духе ее воспитывали; к этому ее стимулировали. В обязанность матери входило позаботиться о том, чтобы сыновья были одеты-обуты; в обязанность мужчины входило приносить в дом деньги. Во времена моего отца, когда за спинами шахтеров по-прежнему простиралась старая, дикая Англия и грамотность была исключением, дух мужчины не был еще укрощен. Но головы людей моего поколения, мальчишек, с которыми я учился, сегодняшних шахтеров, не выдержали натиска оглушительной трескотни, исходившей из начальных школ, книг, кинотеатров, из уст священнослужителей, общими усилиями которых вся полнота сознания – национального и человеческого – оказалась сведена к примату материального преуспеяния.

Но вот люди укрощены, их несвободу на время увенчало преуспеяние, – а впереди обозначаются признаки близящейся катастрофы. Корень всех катастроф – в утрате мужества. Это мужество утрачено. Англичане, и в частности английские шахтеры, утратили мужество. Их предали и поработили.

Но – хотя, быть может, никто тогда не отдавал себе в этом отчета – именно безобразие нанесло предательский удар человеческому духу в XIX столетии. Страшное преступление, совершенное имущими классами и столпами индустрии в цветущие дни викторианства, заключалось в том, что они приговорили рабочих к безобразию, безобразию, безобразию: к убожеству, бесформенному и безобразному окружению, безобразным идеалам, безобразной надежде, безобразной религии, безобразной любви, безобразной одежде, безобразной мебели, безобразным жилищам, безобразным отношениям между рабочими и работодателями. Душе человеческой подлинная красота даже нужнее, чем хлеб насущный. Представители средних классов усмеваются, когда шахтеры покупают пианино; но что такое пианино – по крайней мере для некоторых из них, – как не слепой порыв к прекрасному?

Для женщины это предмет обладания, предмет домашней обстановки, нечто, побуждающее чувствовать собственное превосходство. Но взгляните на пожилых шахтеров, пытающихся научиться играть, взгляните, с какими непривычно одухотворенными лицами внимают они «Молитве девушки», исполняемой их дочерьми, – и вы увидите слепой, неудовлетворенный порыв к прекрасному. Порыв этот гораздо глубже в мужчинах, нежели в женщинах. Женщинам необходима видимость. Мужчинам необходимо прекрасное – в них все еще живет потребность в прекрасном.

Если бы вместо того, чтобы на этом живописном месте, на самой вершине холма, строить мрачные и убогие кварталы, компания возвела в центре маленькой рыночной площади высокую колонну и окружила ее с трех сторон просторной галереей, под сводами которой могли бы не спеша прогуливаться люди, и если бы за арками этой галереи просматривались фасады красивых домов! Если бы служащие компании спроектировали большие, вместительные, с пяти- и шестикомнатными квартира-

ми, жилые дома с нарядными входами! Если бы, наконец, их благосклонных взоров удостоился интерес рабочих к танцам и пению (ибо в те времена шахтеры еще танцевали и пели!) и для занятий тем и другим нашлись благоустроенные помещения! Если бы они уделили хоть немного внимания красоте одежды, красоте интерьера – мебели, драпировкам! Если бы учреждались призы за искуснее всего сработанный стул или стол, за искуснее всего связанный шарф, за лучше всего обставленную комнату! Если бы только об этом подумали вовремя, не было бы и никакой «индустриальной проблемы». Ведь индустриальная проблема возникает, когда вся человеческая энергия оказывается грубо и неуклонно устремлена в одно русло – русло бескрыло потребительского соревнования.

Бы, возможно, возразите, что рабочий никогда не принял бы такого образа жизни: ведь «дом англичанина – его крепость», иными словами, речь идет о «его собственном уютном домике». Но что проку говорить о крепости, когда вы слышите каждое слово, произносимое вашими соседями. И каждый в квартале, кому вздумается выйти в туалет, у вас как на ладони! Ну а если единственное владеющее вами желание – выйти за пределы вашей «крепости», вашего «уютного домика», тогда уж и подавно говорить не о чем. Как бы то ни было, видеть в «собственном уютном домике» венец творения свойственно лишь женщинам – и притом худшим из них, наиболее приземленным, наиболее мелочным, в наибольшей мере одержимым низменным инстинктом накопления. Мерзкий отпечаток скаредного убожества, оскверняющий лицо земли, – вот единственное определение, достойное «уютного домика».

В сущности говоря, до 1800 года англичане были сельским населением – в строгом и буквальном смысле слова. Города в Англии существовали на протяжении веков, но, оставаясь клубками деревенских улочек, они так и не развились в настоящие *urbes**. О городах как та-

* Города (*лат.*).

ковых не было и речи. В недрах английского характера так и не выкристаллизовалась подлинно урбанистическая природа человеческой индивидуальности, природа человека-горожанина. Сиена невелика, но это настоящий город, жители которого тысячью тончайших нитей связаны с местом их рождения. Ноттингем огромен, его население приближается к миллиону, и, однако, он не более чем бесформенное, хаотическое скопище людей. В том смысле, в каком есть Сиена, Ноттингема просто нет. Менталитет англичанина как городского жителя и поныне остается до нелепости незрелым – отчасти благодаря синдрому «уютного домика», отчасти в силу притягивающего им безнадежной посредственности как естественной среды обитания. Новые города Америки несравненно ближе к идеалу подлинного города, в римском смысле этого слова, нежели Лондон или Манчестер. Даже Эдинбург – подлиннее в большей степени, чем все города, какие произвела на свет Англия.

Нелепый провинциальный индивидуализм речений типа «дом англичанина – его крепость» или «мой собственный уютный домик» анахроничен. Так могло быть почти до 1800 года, пока каждый англичанин оставался еще деревенским жителем, обитавшим в коттедже. Индустриализм принес с собой разительные перемены. Англичанину, правда, до сих пор импонирует выглядеть в собственных глазах жителем коттеджа («мой дом, мой сад»). Однако это не более чем старческое слабоумие. Сегодня даже батрак на ферме в психологическом смысле слова городская птица. Все сегодняшние англичане – городские птицы в прямом и переносном смысле; таков неизбежный итог полной индустриализации страны. И тем не менее у них нет ни малейшего представления о том, что такое город, как его построить и как в нем жить. Все они – жители предместий, самозванные обитатели несуществующих коттеджей; ни одному из них не ведомо, что значит быть настоящим горожанином – в том смысле, в каком горожанами были римляне, или афиняне, или даже парижане довоенного времени.

Причина этого в том, что мы вытравили из своих сердец ростки того общественного инстинкта, который мог бы воодушевить нас честно и благородно объединиться под эгидой городского сознания – сознания более масштабного, нежели присущее жителю коттеджа. Большой город – это красота, благородство, это несомненное величие. Это та сторона натуры англичанина, которую постыдно предали и безнадежно извратили. Англия – низменное и убогое вместилище крохотных нор, именуемых «домиками». Я верю, что в глубине души все англичане (исключая женщин) презирают свои ничтожные домишки. Нам необходимо другое – большой размах, большой масштаб, подлинное великолепие, подлинное величие и красота, необъятная красота. По части всего этого американцам повезло гораздо больше, чем нам.

Сто лет назад один из столпов индустрии, вторгшийся в пределы моей родной деревушки, сделал ее облик еще более уродливым. Ныне процесс обезображивания продолжается: столпы сегодняшней индустрии бороздят уродливыми шрамами лицо Англии, миля за милей застраивая ее рядами кирпичных «домиков». А запертые в этих красных мышеловках люди все острее и острее ощущают свою беспомощность, свою униженность, свое бессилие – бессилие вольных животных, пойманных в капкан. И лишь самые недостойные из женщин по-прежнему любят маленькие домишки, ставшие капканом для их мужей.

Так покончите же со всем этим. Постарайтесь изменить такое положение вещей, чего бы это ни стоило. Забудьте о денежных неурядицах и цеховых раздорах. Обратитесь взором в другую сторону. Снесите мою родную деревушку до последнего камня. Расчистите площадку. Наметьте центр. Широким, свободным жестом проведите окружность. А затем возводите большие, просторные дома, которые потянутся к центру нового города. Заполните их прекрасным. А потом начните заново – на пустом месте. Один за другим выстройте города. Возве-

дите новую Англию. Долой маленькие домишки! Долой эти памятники мелочности и убожеству. Вглядитесь в рельеф земли и стройте, сообразуя ваши чертежи с его благородством. В интеллектуальном и духовном отношении англичане, может быть, и достигли зрелости. Но как граждане сияющих городов они все еще невежественнее кроликов. Подобно тупым, ограниченным домохозяйкам, они только судачат, судачат, судачат без конца – о политике, деньгах и тому подобном.

(1929)

Порнография и непристойности

Представления о порнографии и непристойностях, как правило, исключительно индивидуальны. То, что одному кажется порнографией, для другого – милые проказы.

Как известно, само слово означает «имеющее отношение к публичным женщинам» – изображение распутниц. Но во времена нынешние – что такое распутница? Если это женщина, которая берет у мужчины деньги за то, что ложится с ним в постель, – право же, большинство жен продавали себя во все времена, а множество блудниц отдавались за так, коль это было им по душе. Если в женщине нет ни капли распутства, она обычно бесчувственна. И по всей вероятности, почти во всякой распутнице есть своего рода женская щедрость. К чему все эти шаблоны? Закон – вещь скучная, и параграфы его с реальной жизнью не имеют ничего общего.

То же самое со словом «непристойность»: никто не ведает, что это такое. Предположим, происходит оно от латинского *obscena*: то, что неприлично выставлять «на сцену», – ну и что же дальше? А ничего! То, что кажется непристойным Тому, вовсе таковым не является для Люси или Джо, и уж в самом деле – пусть большинство решит, что за слово это и каково его значение. Когда пьеса шокирует в аудитории человек десять, а на остальных полтысячи не производит такого впечатления, она, стало быть, непристойна для десятка и безобидна для пятисот; таким образом, по мнению большинства, пьесу не назовешь непристойной. Но «Гамлет» смущал всех пуритан времен Кромвеля и никого не смущает сегодня, а кое-что у Аристофана ныне ужасает каждого, хотя, очевидно, вовсе не возбуждало эллинов. Человек – животное эво-

люционирующее, и слова меняют свои значения вместе с ним, и понятия уже не те, какими казались прежде, и черное становится белым, и если мы полагаем, будто нам ведомо истинное положение вещей, то это лишь в силу стремительности наших переходов во все новые состояния. Мы вынуждены всегда уступать большинству, все – этому большинству, все – толпе, толпе, толпе. Она решает, что непристойно, а что нет, только она. Коль скоро десять миллионов внизу не ведают того, что знает десяток наверху, – что-то не так с математикой. Давайте проголосуем! Поднимите руки, и пусть их сочтут! *Vox populi – vox Dei. Odi profanum vulgus! Profanum vulgus**.

Итак, мы приходим к следующему: когда говоришь с толпой, значение слов твоих, обращенных к ней, определяется большинством. Нечто подобное написал мне один человек: американские законы в отношении непристойностей совершенно ясны, и Америка собирает-ся навести с их помощью порядок. Так–так, милый мой, так–так! Толпа знает о непристойностях все. Скромные выражения из нескольких букв, рифмующиеся со словами «оно» и «ба», – верх порнографии! А вдруг печатник ошибся и поставил одну-две лишние буквы? И вот уже великая американская публика узнаёт, что человек этот вел себя непристойно, неприлично, что действия его бесстыдны и что набрал он порнографию. Не связывайтесь с великой публикой, английской или американской. Ну разве не сказано: *Vox populi – vox Dei*. А не знаете – мы вам подскажем. И в то же время этот *vox dei* кричит-заливается от восторга при виде кинофильмов, и книг, и газетных сообщений, которые мне, грешному, кажутся абсолютно отвратительными и непристойными. И, как настоящий ханжа и святоша, я не могу от них не отвернуться. Когда непристойность становится приторной и потому для публики приемлемой, когда *vox populi – vox Dei* осип от сентиментальных нескромностей, тогда

* Глас народа – глас Божий. Презираю темную толпу! Темную толпу (*лат.*).

я вынужден бежать, словно фарисей, боясь запачкаться. Есть некий липкий универсальный деготь, к которому не прикоснусь ни в жизнь.

Итак, мы вновь приходим к следующему: либо принимать большинство, толпу, ее решения, либо отвергать их. Либо склоняться перед *vox populi – vox Dei*, либо затыкать уши, чтобы не слышать его непристойного воя...

Публика всегда невежественна, потому как управляется не изнутри, собственными убеждениями, а извне, путем обмана. Толпа всегда непристойна, потому что всегда – уже не первой свежести.

Вот мы и вернулись к предмету нашего разговора – порнографии и непристойности. Реакцией на любое слово у любого человека может быть либо реакция толпы, либо реакция личности. И каждый вправе спросить самого себя: это мое личностное побуждение или мною попросту движет стадное чувство?

Когда речь заходит о так называемых непристойных выражениях, следует признать, что вряд ли хоть один из миллиона оторвется от стада. Первая реакция – почти наверняка стадная: толпа негодует, толпа клеймит. И дальше этого толпа не идет. Но настоящая личность задумается и усомнится: действительно ли меня это шокировало? Что я, *в самом деле* возмущен и оскорблен? И нет для личности другого ответа, кроме отрицательного, – не шокирован я, не оскорблен и не возмущен. Слово это мне знакомо, воспринимать его надо соответственно, и никто не заставит меня обманом сделать из мухи слона – никакие законы в мире.

Ну, а если, *употребив* несколько так называемых неприличных слов, мужчину или женщину напугают так, что они, забыв о толпе, станут личностями, – что ж, прекрасно. А выражение «притворная стыдливость» настолько ассоциируется с толпой, что давно пора испугать нас так, чтобы, заикаясь, мы не могли его выговорить.

И все же мы пока коснулись непристойностей, а проблема порнографии еще сложнее. Когда человек содрогнется и станет самим собой, он все-таки вовсе не

обязательно будет в состоянии решить для себя, порнографичен Рабле или нет, а уж что до Аретино или даже Боккаччо – тут он может зайти в тупик, застрять, раздраемый противоречивыми чувствами.

В одном эссе о порнографии, как помню, делается вывод: порнография в искусстве – это то, что заранее рассчитано на стимулирование сексуального желания или сексуального возбуждения. И упор делается на то, *стремился* ли автор или художник вызвать сексуальные ощущения. Этот старый больной вопрос надуман и давно всем наскучил – особенно сегодня, когда каждый знает, как могучи, как неистребимы силы нашего подсознания. И я не понимаю, почему человека следует винить за сознательные намерения, но оправдывать за подсознательные – ведь в каждом из нас подсознательного больше, чем сознательного. Я – то, что я есть, а не только то, чем мне хотелось бы быть.

И тем не менее! Мы, полагаю, исходим из того, что *порнография* – это нечто низменное, нечто неприятное. Короче говоря, нам она не нравится. А почему мы ее так невзлюбили? Потому что она вызывает сексуальные ощущения?

Не думаю. Как бы там ни притворялись, большинство из нас не против испытать чувство некоторой сексуальной возбужденности. Это согревает, стимулирует – как солнце в пасмурный день. После столетия (а то и двух) пуританства такое все еще можно утверждать о большинстве людей. Просто стадная привычка клеймить любое проявление секса чересчур сильна, чтобы открыто признали это. И конечно, достаточно еще людей, у которых искреннее отвращение вызывают самые простые и естественные проявления разбуженного сексуального чувства. Но это люди извращенные, падшие, ненавидящие своих собратьев, – это не желающие никого слушать, разочарованные, неудовлетворенные людишки, которых, увы, в нашей цивилизации хватает. И почти всегда они тайно наслаждаются далекими от простоты и естественности формами сексуального возбуждения.

Даже вполне передовые искусствоведы делают попытки уверить нас, будто любая картина или книга, содержащая «сексуальный призыв», является *ipso facto** книгой или картиной плохой. Это просто-напросто лицемерие, притворство. Половина великих поэм, картин, музыкальных и литературных произведений всех стран и народов черпают величие в своей сексуальной привлекательности. Тициан и Ренуар, «Песнь Песней» и «Джейн Эйр», Моцарт и «Энни Лори» – везде очарование сплетается с сексуальной привлекательностью, сексуальным стимулом, назовите это как угодно. Даже Микеланджело, который секс скорее ненавидел, не удержался и наполнил свой «Рог изобилия» фаллическими желудями. Секс – это мощный, целительный и необходимый стимул человеческой жизни, и все мы испытываем чувства самые благодатные, когда пронизывает нас его теплое и вольное, как солнечный свет, течение.

Таким образом, мы отмечаем мысль о том, что сексуальная привлекательность в искусстве есть порнография. Эдак может думать святоша-пуританин, но унылый пуританин – человек больной, больной телесно и духовно, – так что нам за дело до его галлюцинаций? Конечно, сексуальная привлекательность – понятие многообразное. Несть числа вариантам, и в каждом – бесконечное множество разновидностей. Вероятно, можно спорить о том, что слабая доза сексуальной привлекательности порнографией не является, а большая – именно такова. Но это заблуждение. Боккаччо в самой своей «клубничке» представляется мне менее порнографическим, нежели «Памела», или «Кларисса Харлоу», или даже «Джейн Эйр», или множество современных книг и фильмов, которых не касается рука цензуры. В то же время вагнеровская опера «Тристан и Изольда», по мне, – почти порнография, а равно – что делать? – даже некоторые известные христианские гимны.

В чем же тогда дело? Одной только сексуальной привлекательностью здесь не обойтись: суть вовсе не

* В силу самого факта (*лат.*).

в стремлениях автора или художника, вознамерившихся подстрекать нас к сексуальному возбуждению. У Рабле иногда подобная преднамеренность проявлялась; возникала она по-своему и у Боккаччо. И, да простит мне бедная Шарлотта Бронте или авторница «Шейха», уверен – им и в голову не приходило намеренно пробуждать у читателя сексуальные эмоции. И все-таки, по моему, «Джейн Эйр» близка к порнографии, а Боккаччо видится мне вечно цветущим и пышущим здоровьем.

Бывший британский министр внутренних дел, который с гордостью причислял себя к истинным пуританам, святошам до мозга костей, заявил с гневной скорбью, понося некое предосудительное издание: «И эти двое молодых людей, чистые и непорочные до того момента, прочтя эту книгу, уединились и совокупились!!!» *И дай им Бог еще!* – что ж тут ответить. Но строгий блюститель британских моральных устоев, по-видимому, считает, что если бы они умертвили друг друга или довели до полного нервного истощения, все было бы лучше. Воистину болезнь святош!

Так что же такое, в конце концов, порнография? Это не сексуальная привлекательность или сексуальный стимул в искусстве. Это даже не преднамеренное желание художника пробудить сексуальные ощущения. Сами по себе сексуальные ощущения безобидны, если они носят характер открытый, не тайный, не двусмысленный. Правильный сексуальный стимул бесценен для человека в повседневной жизни. Без него нет в мире радости. Я бы каждому давал читать озорную прозу эпохи Возрождения, это помогло бы изрядно встряхнуть то самомнение святош, которым заражена наша цивилизация.

Но даже я подвергал бы цензуре – и со всей суровостью – настоящую порнографию. Чего уж проще. Во-первых, настоящая порнография почти всегда на нелегальном положении, она таится, не рекламирует себя, во-вторых, ее можно отличить по тем наглым выпадам, которые она постоянно позволяет себе в отношении секса и духовности человека.

Порнография – это попытка оскорбить секс, очернить его. Такое прощать нельзя. Приведем пример самый примитивный – продажа подонками из-под полы, во многих городах, известных открыточек. Кое-какие я видел, они были настолько уродливы, что хотелось плакать. Это надругательство над телом человеческим, издевательство над живыми человеческими отношениями! Они превращают наготу человека в безобразное и дешевое зрелище, сексуальный акт – в чудовищное и постыдное действие, все выхолощено, низменно и мерзко.

Аналогичная история с продаваемыми из-под полы книгами. Они либо настолько безвкусны, что вас вот-вот стошнит, либо так глупы, что трудно даже представить себе, кто читает или пишет их – разве кретин какой-то или умалишенный.

Почти то же – со скабрёзными стишками, кои рассказывают, сытно пообедав, или – с неприличными анекдотами, которыми обмениваются в поездах коммивояжеры в курительной комнате. Бывает, попадают презабавные – в качестве исключения. Но, как правило, все они вызывают отвращение, а так называемый юмор – просто фокус, позволяющий пачкать секс.

Действительно, нагота человеческая у великого множества наших современников уродлива и убога, так же уродливы и убоги их сексуальные отношения. Но нечем здесь гордиться. Это катастрофа для нашей цивилизации, уверен, что никакая другая – даже римская – не производила в таких масштабах наготу унижительную и позорную, а секс такой убогий и нездоровый. Ибо ни одна цивилизация не загоняла секс в подполье, а наготу – в сортир.

Умные молодые люди, слава богу, кажется, полны решимости поправить сложившееся положение. Они отказываются прятать юную наготу свою в душном, порнографическом, закрытом мире старших, все делающих украдкой; они не скрывают, что связаны сексуальными отношениями. Такая перемена, конечно, огорчает старых святош, но на самом деле перемена эта великая, это настоящая революция.

Однако нельзя не удивляться тому, насколько сильно в людях примитивных, пошлых желаний замарать секс. В юности я наивно полагал, что нормальные, на вид здоровые типы, которых встречаешь в поезде или в курительных комнатах отелей, разумны в чувствах своих и к сексу относятся как к полезному, волнующему занятию. Вовсе нет! Какое там! Обычно человек такого склада секс воспринимает с отвращением, презрительно и испытывает желание пнуть свои чувства грубо и с омерзением. Когда такие люди вступают в связь с женщиной, они считают, торжествуя, что унизили ее, что теперь она хуже, чем была, не достойна внимания, что теперь она еще более презренна.

Именно такие типы рассказывают грязные истории, носят с собой непристойные открытки и знают наизусть неприличные издания. Это великий порнографический класс – самые что ни на есть обычные обыватели. У них не меньше ненависти и презрения к сексу, чем у самого истового пуританина, и когда раздается трубный глас, всегда они на стороне ангелов. Они хотят, чтобы настоящие сексуальные отношения были уделом лишь отрицательных персонажей, похотливых злодеев. Тициана и Ренуара они находят бесстыдными и своих жен и дочерей от них оберегают.

Почему? Да потому, что они заражены вульгарным вирусом ненависти к сексу, да вдобавок подцепили панельную болезнь нечистоплотной похоти. В человеческом организме функция сексуальная и функция фекальная тесно связаны, и все же они, как бы это выразиться, – диаметрально противоположны. Секс – это поток созидательный, а испражнения – поток разрушительный, распад, если можно так сказать. В человеке по-настоящему здоровом разграничение этих двух функций неизбежно, наши самые глубинные инстинкты, вероятно, – это силы противодействия двух названных потоков.

Но в человеке деградирующем глубинные инстинкты угасли – и тут же два потока слились в один. Вот в чем секрет воистину вульгарных людей: для них нет разли-

цы между потоком секса и потоком экскрементов. Такое происходит, когда душа погибает, а основные инстинкты, осуществляющие контроль, отказывают. И вот уже секс – это грязь, а грязь – секс, и сексуальное возбуждение превращается в непристойную забаву, и любое проявление секса в женщине становится доказательством ее распутного поведения. Так рождаются на свет заурядные вульгарные человеческие существа, и имя им – легион, именно они поднимают голос, и именно они – vox populi, vox Dei. И именно они, а не кто иной, – источник всяческой порнографии.

И в силу этого должны мы признать, что «Джейн Эйр» или вагнеровский «Тристан» ближе к порнографии, чем Боккаччо. И Вагнер, и Шарлотта Бронте находились в том состоянии, когда наиболее сильные инстинкты исчезли, а секс стал чем-то неприличным – в нем можно было погрязнуть, но его следовало презирать. Сексуальные порывы г-на Рочестера «несносны» до тех пор, пока г-н Рочестер не обгорел, не ослеп, не обезображен и низведен до беспомощного, зависимого положения. И лишь впоследствии, когда порывы эти становятся робкими и униженными, с ними можно как-то мириться. Все предшествовавшее чуть-чуть непристойно, как в «Памеле», или «Мельнице на Флоссе», или в «Анне Карениной». Как только сексуальный порыв вызывает желание посрамить сексуальное чувство, обидеть, унижить – сразу же появляются элементы порнографии.

Потому-то налет порнографии присущ едва ли не всей литературе XIX века, и очень многие так называемые чистюли являются носителями отвратительных порнографических черт, и никогда еще тяга к порнографии не была так сильна, как сегодня. Это признак болезненного состояния организма. Но метод лечения болезни – только в открытом признании секса и сексуального стимула. Настоящая порнография искренне ненавидит Боккаччо, так как неиспорченная, здоровая естественность итальянского сказителя заставляет современное порнографическое ничтожество почувствовать, сколь

грязным червем оно является. Сегодня читать Боккаччо надо давать каждому юнцу и старцу, если они этого хотят. Только непринужденная, чистая открытость в отношении секса принесет пользу, сейчас же нас затопила скрытая, почти потайная порнография. И вполне вероятно, что новеллисты эпохи Возрождения, Боккаччо, Ласка и другие, – это лучшее противоядие, которое мы можем нынче сыскать, а припарки пуриганства – как раз средство, которое может дать обратный эффект.

Вся проблема порнографии, как мне кажется, сводится к фигуре умолчания, была бы гласность – не стало бы порнографии. Но скрытность и скромность – два абсолютно разных понятия. Скрытность всегда таит в себе страх, нередко вырастающий до размеров ненависти. Скромность деликатна и сдержанна. Сегодня скромность не в чести, несмотря на надзор блюстителей–святош. Но скрытность – этот порок – лелеют. А отношение святош следующее: милые девицы, пока спите в обнимку с собственной пошлой сокровенностью, можете наплевать на скромность.

Названная «пошлая сокровенность» стала сегодняшней толпе бесконечно дорога. Это своего рода большое место, которое тщательно скрывают, это зуд, который при почесывании и даже легком прикосновении дает острейшие ощущения, кажущиеся восхитительными. И вот пошлую сокровенность скребут и чешут все сильней и сильней, пока тайный зуд не начинает распространяться дальше, а нервное состояние и психическое здоровье человека не оказываются ему подверженными. Можно с полным основанием утверждать, что успех доброй половины нынешних любовных романов и фильмов о любви зависит исключительно от тайного почесывания пошлой сокровенности. Если хотите, называйте это сексуальным порывом – на самом деле такое сексуальное возбуждение, скрываемое, вороватое, носит особый характер. Чистый и простой порыв, вполне открытый и искренний, какой находишь в некоторых историях Боккаччо, никак нельзя путать с вороватым желанием,

возникающим при почесывании пошлой сокровенности в обстановке полной секретности, которая царит на страницах современных бестселлеров. Это незаметное, воображаемо пикантное почесывание зудящего места исподтишка есть суть современной порнографии, и это мерзко и исключительно опасно...

Как же избежать этого? Есть только один путь: пусть тайное станет явным! Больше никаких тайн! Единственный способ унять ужасный душевный зуд в отношении секса – отнести к нему открыто, просто и естественно. Это страшно трудно, ибо скрытность – коварная ловушка. Но рано или поздно начинать надо. Человек, сказавший своей несносной дочери: «Дитя мое, единственная радость, которую ты мне принесла, было удовольствие, полученное при твоём зачатии», – уже многое сделал, чтобы избавить и себя, и ее от пошлой сокровенности...

Можно выставить секс напоказ всему свету – и все же не избавиться от пошлой сокровенности. Можно проштудировать все романы Марселя Пруста, где обо всем сказано в подробностях. И все равно пошлая сокровенность останется неистребима. Вероятнее всего, вы лишь разовьете ее способность к выживанию. Можно даже вызвать состояние полного безразличия и сексуальной пассивности – пошлая сокровенность вынесет и это. Наконец, можно прослыть самым искусным из соблазнительей, новым Дон Жуаном – и все же в душе вашей будет царить лишь пошлая сокровенность...

Величайшая ложь сегодняшнего мира есть ложь о невинной чистоте и пошлой сокровенности. Святоши, доставшиеся нам в наследство от девятнадцатого века, – воплощение этой лжи. Они правят обществом, руководят прессой, заправляют литературой, они вездесущи. И естественно, ведут за собой толпу обывателей.

Это, конечно, означает постоянную цензуру всего, что восстает против лжи о невинной чистоте и пошлой сокровенности, в сочетании с постоянным поощрением того, что можно назвать дозволенной порнографией, – чистенькой, однако щекочущей под тончайшим ниж-

ним бльем пошлую сокровенность. Святоши пройдут и восславят потоки прикрытой порнографии и заглушат каждое откровенно сказанное слово...

Пока общественность поддерживает святош, каждая новая книга, обрушивающаяся на сладкоречивую ложь девятнадцатого века, будет изничтожаться, едва успев появиться на свет. Но пусть святоши поостерегутся. На общественность в наши дни полагаться нельзя, да и относится она к своим некогда столь обожаемым святым и их застарелой лжи без прежнего раболепия. И появились уже люди иного склада – их пока немного, ненавидящие ложь и святош, которые пытаются эту ложь увековечить; такие люди неординарно относятся к порнографии и непристойностям. Даже невинной чистотой и пошлой сокровенностью невозможно бесконечно дурачить всех.

И эта немногочисленная пока публика отлично понимает, что в книгах многих современных писателей, как крупных, так и помельче, куда больше порнографии, нежели в самой озорной истории из «Декамерона»: ибо они мусолят пошлую сокровенность и толкают к мастурбации в укромном уголке, чего пышущий здоровьем Боккаччо никогда не делает. И прекрасно знает немногочисленная та публика, что наиболее непристойное изображение на греческой вазе – «О строгая невеста тишины...»* – не столь порнографично, как преподносимые в фильмах крупным планом поцелуи, побуждающие мужчин и женщин к тайной и раздельной мастурбации.

И вполне вероятно, что однажды даже общество в целом выразит желание взглянуть правде в глаза и узреть разницу между тайными потугами порнографических мастурбаций прессы, кинематографа, нынешней популярной литературы и прежним, полным созидательной силы изображением сексуального порыва, который мы находим у Боккаччо, или на греческой вазе, или в искус-

* Джон Китс. «Ода греческой вазе». Перевод Г.Кружкова.

стве Помпеи и который так необходим для нашего душевного удовлетворения.

В данный момент общественное сознание как такое сбито с толку, доведено в этом плане до идиотизма. Когда полиция совершила налет на мою выставку, она и понятия не имела, что же, собственно, надо конфисковать. И потому изъяли каждую картину, где проглядывала хоть тень мужского или женского полового органа. Независимо от сюжета, смысла – да наплевать им на все: они, эти взыскательные полицейские, могли позволить выставить в галерее что угодно, кроме изображения хоть частички стыдных мест человеческих. Это была полицейская проверка. И в большинстве случаев, дабы умиловить «общественное мнение», достаточно было бы прикрыть эти места ярлычком зеленого цвета, чтобы смахивал на фиговый листок.

Это, можно лишь повторить, положение идиотское. И ежели ложь о невинной чистоте и пошлой сокровенности будет по-прежнему торжествовать, подавляющая часть членов общества действительно превратится в идиотов, причем идиотов опасных. Ибо общественность состоит из отдельных людей. Каждый человек связан с сексом, замешан на сексе. И если с помощью чистой непорочности и крошечных секретиков загнать человека в угол самоизолирующей мастурбации и держать там, то в таком случае действительно восторжествует состояние всеобщего идиотизма. Ибо в мастурбирующей самоизоляции рождаются идиоты. Впрочем, коль мы все станем идиотами, так, наверное, этого и не осознаем. Но не дай нам Бог.

Почему важен роман

У нас любопытные представления о самих себе. Мы мыслим себя как тело с живущим в нем духом, тело с живущей в нем душой, тело с живущим в нем умом. *Mens sana in corpore sano**. Годы выпивают вино и в конце концов вышвыривают бутылку вон, при этом бутылкой, естественно, оказывается чело.

Это странная разновидность суеверия. С какой стати, глядя на свою руку, с таким знанием дела выводящую эти строки, я должен считать, что она абсолютное ничто по сравнению с направляющим ее умом? Есть ли на самом деле сколько-нибудь существенное различие между моей рукой и моим мозгом? Или моим умом? Моя рука жива, в ней бьется пульс ее собственной жизни. Прикосновением она встречает всю чуждую вселенную и познает неизмеримое множество вещей. Моя рука, пишущая эти строки, весело скользит вдоль листа, подпрыгивает, как муравей, ставя точку над «i», ощущает холод стола, слегка утомляется, если я пишу слишком долго, обладает собственными рудиментами мысли и в не меньшей мере является частью моего «я», чем мой мозг, мой ум или моя душа. С какой стати должен я воображать, что у меня есть некое большее «я», нежели моя рука? Поскольку моя рука абсолютно жива, живо мое «я».

В то же время, поскольку это касается меня, мое перо вовсе не живо. Мое перо *не есть* мое живое «я». Мое живое «я» кончается кончиками моих пальцев.

Я – это все живое во мне. Любая мельчайшая клетка моих ладоней, любая крохотная веснушка, волосок, складка кожи. И все живое во мне – это «я». Мои ногти,

* В здоровом теле здоровый дух (*лат.*).

эти десять маленьких посредников между мной и неодоушевленной вселенной, переходят таинственный Рубикон, отделяющий меня живого от вещей наподобие моего пера – с моей точки зрения, неживых.

Но коль скоро моя рука, вплоть до последней клеточки, живет, коль скоро живет мое «я», что же тогда остается на долю «бутылки», или «сосуда», или «консервной банки», или «сосуда скудельного» и прочей чепухи в том же роде? Верно, если я порежу руку, она будет сочиться кровью, как вскрытая жестянка с вишнями. Но тогда окажется, что и рассеченная кожа, и задетые вены, и кости, которые никогда не должны выходить на поверхность, – все это столь же живо, как и льющаяся кровь. И обнаружится, что все разговоры о консервных банках или глиняных сосудах – полнейший вздор.

Вот что вы узнаете, если вы – романист. И вот чего вы, скорее всего, *не* знаете, если вы проповедник, или философ, или ученый, или просто недалекий человек. Если вы проповедник, вы разглагольствуете о душах, витающих в небесах. Если вы романист, вам ведомо, что рай уместается на вашей ладони или на кончике вашего носа, ибо и та, и другой живут, живут и составляют часть живого человеческого «я» – а это больше, чем можно с определенностью сказать о рае. Рай – нечто следующее за жизнью, а меня, откровенно говоря, не занимает ничего из того, что находится вне ее пределов. Если вы философ, вы рассуждаете о бесконечности и всеведающем чистом духе. Но, взяв в руки роман, вы немедленно убеждаетесь, что бесконечность не более чем ручка к пресловутому сосуду человеческого тела: что же до знания, то, сунув палец в огонь, постигаешь истину, что огонь обжигает, посредством опыта столь бесспорного и всепроникающего, что по сравнению с ним нирвана кажется всего лишь догадкой. О да, мое тело, мое живое «я», *постигает*, и постигает чувственно. А что касается суммы всех знаний, то она не может быть чем-то большим, нежели вместительнице всего, что я познаю моим телом, а вы, дорогой читатель, постигаете своим.

Эти проклятые философы вещают с таким видом, будто на них снизошло откровение и они воспарили умом и телом, почему стали несравненно важнее, нежели прежде, когда они скрывали под рубашкой только земную наготу. Чепуха. «Я» каждого человека, не исключая и философа, кончается кончиками его пальцев. Таков предел его живого «я». Что же до слов, мыслей, вздохов и откровений, слетающих с его уст, они суть лишь определенное число колебаний в эфире, отнюдь не способных к самостоятельной жизни. Но если эти колебания достигнут другого человека, он сможет включить их в ритм своей жизни, и жизнь его, может статься, примет новую окраску, подобно хамелеону, перескочившему с бурого камня на зеленый лист. Все это прекрасно. Но ни на йоту не меняет того, что так называемый дух, или завет, или учение, исходящие от философа или святого, сами по себе вовсе не живут в пространстве; подобно радиограмме, они лишь колебания в эфире. Все эти разговоры о духе – простое сотрясение воздуха. Если вас, живого человека, оно побуждает к новой жизни, то лишь благодаря тому, что вы живы и ваше живое «я» вбирает в себя неисчислимое множество стимулов и побудителей. Но утверждать, что завет или дух, к которому вас приобщили, важнее вашего живого тела, нелепо. То же можно было бы сказать о картофеле, поданном к обеду.

Ничто не имеет значения, кроме жизни. А я со своей стороны не нахожу жизни ни в чем, кроме как в живущем. Жизнь с большой буквы – это только человек живущий. Даже кочан капусты под дождем – это живой кочан. Все живущее изумляет. А все мертвое второстепенно по отношению к живущему. Лучше живая собака, чем мертвый лев. Но лучше живой лев, чем живая собака. *C'est la vie!**

Заставить считаться с этой простой истиной святого, или философа, или ученого, кажется, невозможно.

* Такова жизнь! (*фр.*)

Все они в известном смысле отступники. Святой жаждет обратить самого себя в духовную пищу для многих. Даже Франциск Ассизский – и тот превратил себя в подобие какого-то ангельского торта, от которого каждый может отрезать себе кусочек. Но ангельский торт – это гораздо меньше, чем живое «я». И у бедного святого Франциска были основания просить на смертном одре прощения у собственного тела: «О тело мое, прости все зло, что я причинял тебе все эти годы моей жизни!» Ведь его тело не было облаткой, которую вкушают во храме.

Философ же, со своей стороны, коль скоро он наделен способностью мыслить, заключает, что не имеет значения ничто, кроме мысли. Совсем как кролик, который, убедившись, что может оставлять на земле маленькие шарики, вдруг решил бы, что ничто, кроме этих шариков, неважно. Что касается ученого, то для меня как живого человека его интеллект совершенно бесполезен. В глазах ученого я мертв. Он кладет под микроскоп частицу моего мертвого «я» и называет ее мной. Он расчленяет меня на куски и объявляет мной то один, то другой кусок. Мое сердце, печень, желудок – все это с научной точки зрения было равнозначно мне, если поверить ученому; а ныне «я» – это мой мозг, или мои нервы, или мои железы, или нечто более новомодное из области тканей.

Итак, я категорически отрицаю, что «я» – это душа, или тело, или ум, или интеллект, или мозг, или нервная система, или связка желез, или любая другая из частей моего существа. Целое больше, чем часть. И потому мое живое «я» необъятнее, нежели моя душа, дух, тело, ум, сознание или что бы то ни было, являющееся всего лишь одной из частей моей личности. Я – человек, и я жив. Я – живой человек и намерен оставаться живым человеком, пока смогу.

По этой причине я – романист. И, будучи романистом, я чувствую свое превосходство перед святым, ученым, философом и поэтом, каждый из которых в совершенстве изучил одну из сторон живого человека, но не способен объять его целиком.

Роман – ясная книга жизни. Книги не есть жизнь. Они только колебания в эфире. Но роман – это колебание, которое может заставить затрепетать всего живого человека. Что больше, чем могут сделать поэзия, философия, наука или любое другое колебание, производимое книгой в эфире.

Роман – книга жизни. В этом смысле Библия – огромный беспорядочный роман. Вы можете сказать: она о Боге. Но в действительности она о живом человеке. Адам, Ева, Сарра, Авраам, Исаак, Иаков, Самуил, Давид, Вирсавия, Руфь, Эсфирь, Соломон, Иов, Исайя, Иисус, Марк, Иуда, Павел, Петр – кто все они, как не живой человек, с начала до конца? Живой человек, а не отдельные его части. Даже Господь Бог – еще один живой человек, бросающий в пламенных куцах каменные скрижали Моисею.

Надеюсь, вы уже постигаете мою мысль о том, почему роман как вид колебания в эфире обладает ни с чем не сравнимой важностью. Платон будит во мне совершенное, идеальное существо. Но оно лишь часть меня. Совершенство – только часть личности в непривычном гриме живого «я». От Нагорной проповеди трепещет мой альтруистический дух. Но он тоже лишь часть моего существа. Десять заповедей пробуждают во мне ветхого Адама, напоминая, что где-то в глубине я – вор и убийца и что мне следует быть начеку. Но даже ветхий Адам – всего лишь часть моего «я».

Меня не может не волновать, когда все эти стороны моего существа оживают, приходят в трепет, переполняются мудростью жизни, но я хочу, чтобы когданибудь во мне затрепетало все мое «я», в его полноте и целостности.

И этот трепет, разумеется, должен всколыхнуть глубины моего живого существа.

Однако если трепет рождается из общения с книгой, это происходит лишь тогда, когда целостный роман раскрывает мне себя. Библия – но *вся* Библия, а кроме того, и Гомер, и Шекспир – вот непревзойденные старые ро-

маны. В них есть все для всех людей. А это значит, что в своей целостности они затрагивают все живое «я», которое и есть сам человек, высящийся над любой из его частей. Они заставляют все дерево трепетать от нового прилива жизни, а не просто способствуют росту в одну сторону.

Я не хочу больше расти только в какую-нибудь одну сторону. И если я могу этого избежать, не хочу побуждать еще кого либо двигаться в некоем заданном направлении. Заданное направление кончается *тутиком*. В настоящее время мы и находимся в *тутике*.

Я не верю ни в блистательное откровение, ни в боговдохновенное Слово. «Трава иссохнет, цветок увянет, но Слово Господне пребудет вовеки». Вот какими вещами мы забили себе головы. Трава действительно высыхает, но оттого и становится еще зеленее после дождя. Цветок увядает, и оттого раскрывается новый бутон. Но Слово Господне, изреченное человеческими устами и не переставшее быть обычным колебанием в эфире, все больше и больше утрачивает свежесть, звучит все более и более монотонно, и наконец мы обращаем к нему неслышащее ухо, и оно перестает существовать – безвозвратнее, нежели любая высохшая трава. Ведь это трава, а не Слово, подобно орлу, рождается заново.

Мы не должны искать абсолютов или абсолюта. Покончим раз и навсегда с мерзкой тиранией абсолютов! Нет ни абсолютного добра, ни абсолютной правоты. Все течет и меняется, и даже самая смена вещей не абсолютна. Целое – это странный набор по видимости не связанных частей, скользящих одна вдоль другой.

Например, я, живой человек, представляю собой любопытнейший набор несвязанных частей. Мое сегодняшнее «да» причудливо отличается от вчерашнего. У моих завтрашних слез не будет ничего общего со слезами, пролитыми мною год назад. Если та, кого я люблю, всегда будет неизменной, я перестану любить ее. Ведь я и продолжаю ее любить лишь потому, что она все время меняется, побуждая меня преодолевать инерцию непод-

вижности, и сама в свою очередь неустанно перерождается под воздействием перемен во мне. Застынь она в неподвижности, я мог бы с равным успехом влюбиться в перечницу.

В процессе всех этих перемен во мне остается нечто цельное. Но упаси меня боже пытаться конкретизировать это нечто. Скажи я о себе: «Я такой-то и такой-то» и останься я верен данному определению, я немедленно превращусь в стабильный и неодушевленный предмет вроде фонарного столба. Мне никогда не узнать, в чем именно заложены моя цельность, моя индивидуальность, мое «я». Мне *не дано* узнать этого. Распространяться о моем «я» бессмысленно: это всего лишь означало бы, что я составил какое-то *представление* о самом себе и теперь пытаюсь выстроить и выровнять себя согласно данной модели. Что заведомо обречено на неудачу. По мерке готового костюма можно выкроить ткань, но нельзя срезать с вашего живого тела выступающие куски, с тем чтобы оно вполне отвечало заданным меркам вашего представления о нем. Можно, правда, затянуть себя в тиски идеального корсета. Но даже у идеальных корсетов со временем меняются фасоны.

Давайте учиться у романа. В романе персонажи могут только *жить*. Если они продолжают быть хорошими согласно модели, или плохими согласно модели, или даже способными к перерождению согласно модели, они перестают жить и роман умирает. Персонаж в романе должен жить; в противном случае он – ничто.

Мы в реальной жизни аналогичным образом должны жить, или мы – ничто.

Разумеется, то, что мы подразумеваем под словом «жить», столь же не поддается описанию, сколь и то, что мы подразумеваем под словом «быть». Заложив в голову представление о том, что они понимают под Жизнью, люди начинают затем выкраивать свои жизни по меркам. Они бегут в пустыню то в поисках Бога, то в поисках золотого тельца; они жаждут то вина, женщины и песен, то воды, политической реформы и голосов на выборах.

Никогда не угадаешь, что взбредет им на ум: от истребления ближних с помощью смертоносных бомб и раздирающего легкие газа до основания дома для подкидышей, проповеди вечной Любви и выступления в качестве соучастника на бракоразводном процессе.

Во всем этом чудовищном сумбуре необходимо что-то вроде ориентира. Нет смысла изобретать разные «Ты не должен!».

Что же остается? Искренне, непредвзято взглядеться в роман и увидеть, в чем вы живой человек, а в чем – живой труп. Вы можете любить женщину как живой мужчина, а можете обладать ею как мертвец. Вы можете и обед ваш поглощать как живой человек или как механически жующий труп. Будучи живым человеком, вы можете выстрелить в вашего врага. Но, будучи пугающе жизнеподобным манекеном, вы можете швырять бомбы в людей, которые вам не враги и не друзья, а всего лишь существа, по отношению к которым вы мертвы. Что преступно, когда существа эти оказываются живыми.

Быть живым, быть живым человеком, быть цельным живым человеком – вот в чем суть. И в лучших своих образцах роман, и прежде всего роман, может помочь вам. Он может помочь вам не быть мертвецом в вашей жизни. То-то и то-то в мужчине сегодня сохраняет лишь видимость жизни, бродит по дому и улице ожившим скелетом; то-то и то-то окончательно умерло в женщине. Как у фортепиано, половина клавишей которого онемела.

Но в романе вы отчетливо видите, когда мужчина превращается в живой труп, когда женщина внутренне мертвеет. Вместо теорий о правом и неправом, добре и зле вы можете, если захотите, развить в себе инстинкт к постижению жизни.

В жизни всегда существуют правое и неправое, доброе и злое. Но то, что право в одном случае, неправо в другом. И в романе вы видите, как один персонаж на глазах становится трупом в силу так называемой «нравственности» его натуры, а другой – по причине так называемой «безнравственности» ее. Ощущение правого

и неправого инстинктивно, но это инстинкт целостного человеческого сознания: телесного, интеллектуального и духовного одновременно. И только в романе все эти стороны находят полное развитие или, по крайней мере, могут получить полное развитие, когда мы осознаем, что сама жизнь, а не инертная безопасность, есть первопричина существования. Ибо из полного развития всех этих сторон кристаллизуется то единственное, что имеет значение: цельность мужчины, цельность женщины, живой мужчина и живая женщина.

Мораль и роман

Призвание искусства – демонстрировать, в конкретный момент жизни, отношение между человеком и вселенной, в которой он обитает. Подобно тому, как человечество всегда рвется из оков сложившихся отношений, искусство неизменно забегает вперед «времени», которое само по себе всегда плетется в хвосте конкретного момента жизни.

Рисуя подсолнухи, Ван Гог демонстрирует – или выявляет – текучую связь между собою как человеком и подсолнухом как таковым в данный бысролетный момент. Его полотно отнюдь не воплощает самого подсолнуха. Нам не дано узнать, каков он сам по себе. И *внешний облик* подсолнуха камера *запечатлеет* гораздо совершеннее, чем это по силам Ван Гогу.

Образ на холсте – нечто третье, абсолютно непостижимое и необъяснимое, плод таинственного союза между подсолнухом как таковым и Ван Гогом как художником. Образ на холсте радикально несводим ни к холсту, ни к краске, ни к Ван Гогу как представителю рода *homo sapiens*, ни к подсолнуху как представителю определенного вида флоры. Образ на холсте не поддается ни взвешиванию, ни измерению, ни даже описанию. По правде говоря, существует он лишь в весьма проблематичном четвертом измерении. В трехмерном геометрическом пространстве для него нет места.

Он – не что иное, как отображение установившейся на конкретный момент связи между человеком и подсолнухом. Отнюдь не зеркальное отражение человека, не зеркальное отражение цветка, не надзеркальное, не подзеркальное, не поперек–зеркальное. Пребывая в чет-

вертом измерении, оно существует по ту сторону всех прочих.

В глазах всего человечества эта связь, установившаяся между человеком и вселенной, в которой он обитает, и есть не что иное, как сама жизнь. Субстанция, каковой в полной мере присущи такие характеристики четвертого измерения, как непреходящее и совершенное. И в то же время незримо связанная с конкретным моментом бытия.

От этого момента отталкиваются, вступая между собой в новые связи, и человек, и подсолнух. Отношение между всем сущим подвержены неостановимой, подчас незаметной глазу смене. Оттого-то искусство, демонстрирующее – или выявляющее – очередной образец совершенной связи между предметами, никогда не останавливается в развитии.

В то же время пребывающее в пространстве этой, чуждой геометрическим препонам, связи не подвержено разрушительному действию времени. Иными словами, оно дарит нам *иллюзию* пребывания по ту сторону жизни и смерти. Говоря о фигуре ассирийского льва или голове сокола, изваянной египетским скульптором, мы привычно говорим: как живые. На самом деле, мы имеем в виду, что и та, и другая неподвластны тлению, а потому и бессмертны. Обе фигуры пробуждают в нас это ощущение. Да и в нашей натуре наверняка есть что-то, лежащее по ту сторону жизни и смерти: ведь в ином случае то «ощущение», какое дарит ассирийский лев или египетский сокол, не было бы нам так бесконечно дорого, бесконечно драгоценно для нас. Как, скажем, вечерняя звезда – это искра незамутненной связи между ночью и днем, символизировавшая для человека нечто непреходящее с самого начала времен.

Размышляя над этим, приходишь к заключению, что наша жизнь *сводится к* достижению совершенной связи между нами и живой вселенной, которая нас окружает. Таким образом, я спасаю мою душу, достигая совершенной связи между мною и другим, мною и нацией, мною и родом человеческим, мною и животными, мною и де-

ревьями или цветами, мною и землей, мною и небесами, и солнцем, и звездами, мною и луной: такова бессчетность совершенных связей в большом и малом, подобно звездам в небе; и эта бессчетность для каждого из нас складывается в вечность, объемлющую меня с деревом, которое я пилю, меня с тестом, которое я замешиваю для хлеба, меня с силовыми линиями, которым я слеую; меня и с тем самым движением руки, какой я пишу, меня с маленьким кусочком золота, который у меня есть. В этом-то, как дано нам познать, в тонкой, совершенной связи между мной и всей вселенной, что меня окружает, и заключается наша жизнь и наша вечность.

А мораль – это то тонкое, всегда дрожащее и меняющееся *равновесие* между мной и окружающей меня вселенной, которое предшествует и сопутствует подлинной соотнесенности.

Итак, теперь мы видим красоту и несравненную ценность романа. Философия, религия, наука, – все они озабочены пригвождением вещей, чтобы достичь стабильного равновесия. Религия, с ее пригвожденным Единым Богом, говорящим: *«Ты должен, ты не должен»*, сопрождающая каждую заповедь ударом молотка; такова философия с ее застывшими идеями; такова наука с ее «законами»: все они неизменно стремятся пригвоздить нас к одному или другому дереву.

Но роман, нет. Роман – это высочайший пример утонченной взаимоотношенности, открытой человеком. Все правдиво в свое время, на своем месте, в своих обстоятельствах и неправдиво вне своего места, времени, обстоятельств. Если вы пытаетесь пригвоздить что-то в романе к заданному месту, роман либо гибнет, либо поднимается и уходит, унося в себе гвоздь.

Мораль в романе – это зыбкая неустойчивость равновесия. Когда романист кладет палец на чашу весов, чтобы сместить равновесие в сторону собственного пристрастия, – это аморально.

Современный роман обнаруживает тенденцию ко все большей и большей аморальности, ибо романист

стремится все сильнее и сильнее своим пальцем склонить чашу весов: либо на сторону любви, чистой любви, либо на сторону фривольной «свободы».

Как правило, роман не аморален, потому что романист имеет какую-нибудь доминирующую *идею* или *цель*. Аморальность лежит в беспомощном бессознательном пристрастии романиста. Любовь – великая эмоция. Но если вы садитесь писать роман и сами при этом находитесь в тенетах великого пристрастия к любви, любви как высшей, единственной эмоции, ради которой стоит жить, тогда вы напишите аморальный роман.

Ибо *ни одна* эмоция не является высшей, исключительно заслуживающей, чтобы жить ради нее. *Все* эмоции идут к достижению живой связи между человеком и другим человеком, или существом, или вещью, в которой он оказывается в чистой связи. Все эмоции, включая любовь и ненависть, гнев и нежность, идут к установлению зыбкого, неустойчивого равновесия между двумя людьми, которые чего-либо заслуживают. Если романист кладет палец на чашу весов, в пользу ли любви, нежности, сладости, мира, он совершает аморальный поступок: он *предотвращает* возможность чистого взаимоотношения, чистой соотнесенности, единственной вещи, имеющей значение; и он неизбежно дает ужасную реакцию, которая наступит, как только он снимет палец с чаши весов: реакцию ненависти и грубости, жестокости и разрушения.

Жизнь устроена так, что противоположности колеблются вокруг трепещущего центра равновесия. Грехи отцов падают на детей. Если отцы смещают равновесие в сторону любви, мира и создания, то в третьем или четвертом поколении равновесие резко сместится к ненависти, гневу и уничтожению. Мы должны устанавливать равновесие в ходе нашей жизни.

И изо всех форм искусства роман более всего требует трепета и колебания равновесия. «Сладкий» роман более фальсифицирован и потому более аморален, нежели роман «крови и грома».

То же самое с бравым и грязно циничным романом, заявляющим: «Неважно, что ты делаешь, ибо все в итоге одинаково, и проституция – настолько же жизнь, как и все остальное».

Это совершенно неправильно. Вещь не является жизнью только потому, что кто-то ее делает. Это художник должен понимать совершенно отчетливо. Обыкновенный банковский клерк, покупающий новую соломенную шляпу, – это отнюдь не «жизнь»: это всего-навсего существование, такое же, как ежедневные обеды, но отнюдь не «жизнь».

Под жизнью мы имеем в виду нечто, что сияет, что обладает качеством четвертого измерения. Если банковский клерк проявляет какие-либо особые чувства, покупая себе шляпу, если он устанавливает с ней живое взаимоотношение и выходит из магазина с новой соломенной шляпой на голове, изменившимся человеком, в новом ореоле, тогда это жизнь.

То же самое и относительно проститутки. Если человек устанавливает с ней живое взаимоотношение, пусть даже на один момент, тогда это жизнь. Но если это *не так*, если это только деньги и функция, тогда это не жизнь, а убожество и предательство жизни.

Если роман раскрывает правдивые и живые взаимоотношения, это моральное произведение, в чем бы ни заключались описываемые взаимоотношения. Если романист *почитает* отношение само по себе, это будет великий роман.

Но существуют так много взаимоотношений, которые не являются реальными. Когда герой в «Преступлении и наказании» убивает старуху за гроши, хоть это и достаточно *актуально*, это никогда не становится вполне реальным. Равновесие между убийцей и старухой совершенно утрачивается; это только беспорядок. Это актуальность, но это не «жизнь», в живом смысле слова.

С другой стороны, популярный роман подает блюдо из смеси старых взаимоотношений: «Если придет зима».

А старые взаимоотношения, сваленные в кучу, в равной мере аморальны. Даже такой великолепный художник, как Рафаэль, всего лишь одевает в пышные новые одежды старые, уже испытанные отношения. И это доставляет новое наслаждение прожорливым массам: чувственность, валянье в луже. Веками мужчины говорят о своих идеально чувственных женщинах: «Она – рафаэлевская мадонна». И женщины только теперь начинают воспринимать это как оскорбление.

Новое взаимоотношение, новая взаимоотношенность причиняет некоторую боль в тот момент, когда она достигается; и она всегда будет причинять боль. Так и жизнь будет всегда причинять боль. Ибо подлинная чувственность лежит в новом проигрывании старых взаимоотношений, и в лучшем случае, получении из этого своего рода наркотического, слегка унижающего, наслаждения.

Каждый раз, когда мы прорываемся к новому взаимоотношению с кем-либо или чем-либо, оно обречено на причинение некоторой боли. Ибо оно означает борьбу и вытеснение старых отношений, а это никогда не бывает приятным. И более того, по крайней мере, среди живых существ, приспособление также означает борьбу, ибо каждая сторона неизбежно должна «искать себя» в другом и испытывать поражение. Когда каждая из этих сторон ищет своего до конца, тогда это смертельная борьба. И это относится к тому, что мы называем «страстью». С другой стороны, когда из двух сторон одна безраздельно подчиняется другой, это называется самопожертвованием, и это тоже означает смерть. Так Постоянная Нимфа умерла от восемнадцати месяцев постоянства.

Постоянство – не в природе нимф. Она должна была бы быть верной своей природе нимфы. И принимать жертвы – немужественно. Он должен был бы оставаться верным своей мужской природе.

Однако есть и третий путь, когда ты не являешься ни жертвой, ни борцом до смерти: когда каждый ищет толь-

ко подлинного взаимоотношения с другим. Каждый должен быть верен себе, он – своей мужской природе, она – своей женской природе, и позволить взаимоотношению утвердиться самой собой. Помимо всего прочего, это требует самоотверженности и затем – дисциплины. Самоотверженности принять нить жизни изнутри самого себя и от другого человека. Дисциплины для того, чтобы не превосходить самого себя больше, чем это требуется. Отваги, чтобы, когда превзошел себя, принять этот факт и не стелать.

Очевидно, чтение по-настоящему нового романа всегда до какой-то степени *вызывает боль*. Всегда будет сопротивление. То же самое с новыми картинами, с новой музыкой. Вы можете судить об их реальности по тому факту, что они вызывают определенное сопротивление и обязывают, пусть и на некоторое время, к молчаливой покорности.

Величайшим для человечества отношением всегда будет отношение между мужчиной и женщиной. Отношения между мужчиной и женщиной, женщиной и женщиной, родителем и ребенком, всегда будут второстепенными.

И отношение между мужчиной и женщиной будет вечно меняться и всегда будет новым центральным ключом к человеческой жизни. Центр и главный ключ к жизни – в этом самом отношении, не в мужчине, не в женщине, не в детях, которые происходят из этого взаимоотношения как случайный результат.

Бесполезно думать, что можно наложить печать на отношение между мужчиной и женщиной, с тем, чтобы сохранить его *status quo*. С таким же успехом можно было бы попытаться наложить печать на радугу или дождь.

Что же касается уз любви, то лучше освободиться от них, если они начинают натирать кожу. Говорить, что мужчины и женщины *должны любить* – нелепость. Мужчины и женщины вечно будут неуловимо и изменчиво связаны друг с другом; вовсе нет необходимости обременять их какими бы то ни было узами. Единственная

мораль состоит в том, чтобы мужчина был верен своей мужской природе, женщина – своей женской природе, и пусть взаимоотношение возникнет само по себе. Ибо оно, для каждого из них, *сама жизнь*.

Если мы собираемся быть моральными, давайте не станем протягивать связующих нитей через что бы то ни было, либо через нас самих, либо через третье – отношение, которое есть наш призрак. Каждое жертвенное распятие состоит из пяти кольшков, четырех коротких и одного длинного, каждый из них мерзок. Но когда вы пытаетесь пригвоздить самое отношение и написать на нем «*Любовь*» вместо «*Вот царь евреев*», тогда вы можете вечно забивать гвозди. Даже Иисус называл его Святым Духом, чтобы показать нам, что нам не удастся насыпать соли ему на хвост.

Роман – прекрасное средство для раскрытия изменчивой радуги наших живых взаимоотношений. Роман может помочь нам жить, как ничто другое; во всяком случае, помочь больше, чем дидактический Завет. Если только романист не станет класть палец на чашу весов.

Но когда романист кладет палец на чашу весов, роман становится ни с чем не сравнимым совратителем мужчин и женщин. Пожалуй, его можно сравнить лишь с этой чумой сентиментальных гимнов, вроде «Веди нас, добрый свет», которые до мозга костей извратили теперешнее поколение.

Меня никто не любит

В прошлом году мы сняли на лето маленький домик в горах Швейцарии. К нам на чашку чая пришла приятельница, дама лет пятидесяти или около того, с дочерью: наши старые знакомые.

– Как поживаете? – поинтересовался я, когда она села; после подъема в гору лицо ее пылало, она была вне себя от бешенства: крутая дорога вверх по солнцепеку – дело не легкое; она стала вытирать лицо крошечным платочком.

– Не представляю, как вы-то живете – в этих горах! – ответила она, почти с яростью глядя в окно на неподвижные склоны и вершины. – Что до меня, я сейчас рассталась с моим космическим мироощущением и любовью к человечеству.

Не приходилось сомневаться – поскольку она родом из Новой Англии, приверженка старых традиций, то обычно она воплощает трансцендентальное спокойствие. Поэтому неожиданное бешенство, которое кипело в ней в ту минуту, – действительно кипело! – в сочетании с лексикой и легким акцентом, присущими выходцам из Новой Англии, показалось мне забавным. Я не сдержался от смеха и сказал бедняжке:

– Ничего страшного! Может, отдохнете от своего космического мироощущения и любви к человечеству.

Потом я частенько вспоминал этот эпизод, хотелось понять, что же на самом деле она имела в виду. И всякий раз испытывал легкое угрызение совести, понимая, что обошелся с ней нехорошо, недоброжелательно. Признаюсь, ее трансцендентальная привычка любить космос *en bloc** и человечество *en masse*** всегда действуют мне

* вместе (*фр.*)

** совместно (*фр.*)

на нервы. Но ее так воспитали. А тот факт, что она любит космос, не мешает ей любить свой сад, хотя все-таки немного мешает, а любовь к человечеству не мешает ее привязанности к друзьям, только она постоянно помнит, что должна любить их бескорыстно, как все вокруг, а это меня раздражает. Как бы то ни было, думаю, глупые фразы насчет космического мироощущения и любви к человечеству кажутся ей чем-то высокоинтеллектуальным. Они означают для нее, я это позднее понял, особое ощущение мира, ее единение со всей Вселенной и отдельно взятым человеком. И без этих ощущений она не мыслит себя. Кто-то воюет с обществом, а с человечеством сохраняет прочный мир. Не очень-то приятно находиться в состоянии войны с обществом, но порой это единственный способ сохранять душевное спокойствие, а значит, быть в ладу с подлинным, терпящим бедствия, реальным человечеством. Такой индивид не может позволить себе проигрывать. Так что у меня не было права сказать моей приятельнице, что она может отдохнуть от своей любви к человечеству. Она и не способна на это, да и никто из нас не способен, если под любовью к человечеству мы понимаем единство со страдающей душой, или с духом, или со всем прочим наших собратьев.

Вот что меня удивляет: молодежь спокойно обходится без «космического мироощущения» и «любви к человечеству». Она избавилась от интеллектуальной шелухи обобщений в своих эмоциях – космос и человечество ее нисколько не волнуют. Но сдается мне, что вместе с шелухой, оболочкой она теряет и сам цветок. Конечно, вы можете услышать, как какая-нибудь девица восклицает:

– На самом деле, шахтеры такие милашки, какой ужас, что с ними так обращаются!

И девица помчится на избирательный пункт и отдаст свой голос в защиту милых шахтеров. Но, по сути, ей наплевать на них – а ведь она способна вызвать в ком-то симпатию. Эта забота о страданиях незнакомых людей стала слишком навязчивой. Тем не менее, хотя шахтеры, сборщики хлопка и многие другие работяги живут вдали

от нас, и мы ничем не можем им помочь, где-то в глубине души мы понимаем, что связаны невидимыми нитями с шахтерами, сборщиками хлопка, мы подспудно осознаем, что человечество – это одно, почти одно целое, единый организм. Это абстракция, но также и физическая данность. В том или ином плане, сборщики хлопка из Каролины или крестьяне, выращивающие рис в Китае, связаны со мной и в какой-то малой, но реальной степени они – часть меня. Импульсы жизни, исходящие от них, достигают и меня, влияют на меня, меняют меня, хотя мне это и неизвестно. Потому что мы связаны друг с другом в той или иной степени, все мы в той или иной степени в контакте: все человечество. И так есть и будет, пока мы не утратим в себе способность откликаться, реагировать, но подобное происходит нынче слишком часто.

Неосознанно моя трансценденталистка, говоря о своей «любви к человечеству», подразумевает именно это, а ведь она норовит убить подлинное чувство, награждая его штампами – с позиции филантропа и босса. Неосознанно она подразумевает свою сопричастность к жизни всего человечества. Мы тоже испытываем это чувство, только оно в глубине нашей души, мы не афишируем его, коли мы в ладу сами с собой. Но стоит потерять душевное равновесие – и тотчас на смену нашему скрытому, не афишируемому чувству соучастия в жизни всего человечества придет нечто другое – громогласное волеизъявление, согласно которому мы готовы нести добро всему человечеству, а на самом деле, – это форма самоутверждения и эпатажа. Спаси нас, Господи, от такой любви!

И спаси бедное человечество. Моя приятельница – скромный образец индивида, испорченного комплексом полноценности, как впрочем, все трансценденталисты. Если бы горы способны были своей суровостью отнять у нее эту ее испорченную любовь, я бы только поблагодарил их. Но моя дорогая Рут – я буду ее называть Рут – отличалась не только этим. Она, пятидесятилетняя женщина, считает, как наивная девочка, что пребывает

в гармонии, подлинной гармонии со своими собратьями. И ни за что на свете она не расстанется с этим убеждением. А благодаря своим испорченным умозаключениям и целеустремленности она никогда не изменится, даже на те полчаса, что она находится в горах Швейцарии. Она действительно была убеждена, что «космос» и «человечество» находятся в гармонии с ее целеустремленностью и чувствами, а горы заставили ее понять, что космос вовсе не стремится быть с ней в гармонии. Когда вы восстаете против космоса, ваше сознание испытывает шок. А когда снисходите до человечества, оно чаще всего дает отменного пинка вашей «любви». Но что можно поделать.

А что касается молодежи, то, как мы убеждаемся, «космическое мироощущение» и «любовь к человечеству» просто-напросто выпали из их системы ценностей. Они, словно яркие стекляшки, испытывают какие-либо эмоции, только когда ударяются друг о дружку, когда их начинают трясти. Они случайно пересекаются с другими людьми и случайно сближаются с ними, а об остальных ничего знать не знают и равнодушны к ним.

Так что космическое мироощущение и любовь к человечеству, если использовать абсурдные термины Новой Англии, – мертвы. Их испортили. Космос и человечество превратились в Новой Англии в фабричные продукты. Они – не реально существующие понятия. Чаще всего они лишь благозвучные фразы, которыми прикрывают самоутверждение, комплекс полноценности и злобу. Они – всего лишь проявление уродливого себялюбивого эго людей, решивших, что человечество и космос имеют право быть, но только такими, какими их смастерили в Новой Англии, или же не быть вовсе. Их испортил пугающий эгоизм, а молодежь, остро чувствующая нездоровый запах, предпочитает обходиться без этих понятий.

Если хотите убить любое чувство – культивируйте его, настаивайте на нем, играйте на нем, преувеличивайте его. Будете культивировать любовь к челове-

ству – и можете быть уверены: скоро вы возненавидите всех на свете. Потому что, если вы настойчиво требуете любить человечество, значит, вы требуете, чтобы оно было достойно вашей любви, а оно очень часто бывает недостойно ее. То же самое происходит с культом любви к собственному мужу – в глубине души вы не в состоянии побороть свою ненависть к нему. Потому что, конечно же, никто не достоин постоянной любви, а если вы упорствуете, то проявляете насилие, и ваш предмет любви становится еще меньше достоин любви. А начнете насиловать себя, заставляя любить своего мужа – или притворяться, что любите, тогда как он не достоин любви, значит, вы обманываете сами себя и начинаете его ненавидеть. Результат насилия над любым чувством ведет к гибели этого чувства. На смену ему приходит нечто прямо противоположное. Уитмен призывал нас испытывать ко всем и вся сочувствие, а мало-помалу он стал верить лишь в смерть, причем не только в то, что сам он смертен, но и в то, что человечество стоит на пороге гибели. Точно так же призыв: «Улыбайтесь!» – вызывает, в конечном счете, дикую ярость в груди улыбающихся, а знаменитое «веселое утреннее приветствие» провоцирует в весельчаках злобу.

Это нехорошо. Всякий раз, когда вы насилуете свои чувства, вы причиняете себе вред и вызываете прямо противоположную реакцию. Попробуйте заставить себя любить кого-нибудь, в результате вы будете питать к нему отвращение. Единственный выход – чувствовать то, что на самом деле чувствуете, и не «перестраиваться». Это единственный способ предоставить другому свободу. Если вы готовы убить своего мужа, не говорите: «Ах, но ведь я так его люблю! Я предана ему!» Подобные слова бьют не только вас, но и его. Он не хочет, чтобы вы проявляли к нему насилие, даже в любви. Просто скажите сами себе: «Я могла бы убить его, это правда. Но лучше не стану этого делать». И тогда ваши чувства обретут гармонию.

То же самое относится и к человечеству. Два предыдущих поколения требовали любить человечество. Они

ужасно переживали из-за бедных, страдающих ирландцев, армян, негров Конго, добывающих каучук, и подобных им. В их переживаниях – фальшь, самообман, комплекс полноценности. В корне всего – эгоистичная мысль: «Я такой хороший, я превосходный, исключительный, я преисполнен добрых намерений, меня чрезвычайно волнует судьба бедных ирландцев, мучеников армян, угнетенных негров, я хочу спасти их, даже если я очень огорчу этим англичан, турок и бельгийцев». Подобная любовь к человечеству – наполовину следствие комплекса полноценности, а наполовину – желание вмешаться, вставить спицу в чужое колесо. Юное поколение, почуяв крысу под овечьей шкурой христианской благотворительности, говорит себе: «Никакой любви к человечеству мне не надо!»

Оно, на самом деле, чувствует отвращение ко всем униженным и оскорбленным, которым нужна помощь. Оно просто ненавидит этих «бедных шахтеров», «бедных сборщиков хлопка», «бедных страдальцев России» и прочих. Если бы снова началась война, оно бы прокляло «чертовых бельгийцев»!

Мы переборщили с сочувствием, особенно с любовью к человечеству, нам пора отделаться от этих чувств. Молодые не испытывают ни к кому подобных чувств, да и не хотят испытывать. Они эгоисты, откровенные эгоисты. Говорят совершенно искренне: «Да плевать мне на униженных и оскорбленных, на всяких там таких-сяких-и-прочих». И кто вправе винить их за это? Их человеколюбивые предки породили Мировую войну. Если любовь к человечеству закончилась Мировой войной, посмотрим, к чему приведет откровенный, честный эгоизм. Спорим, что ни к чему ужасному не приведет.

Беда в том, что откровенный, осмысленный эгоизм оказывает пагубное действие на самого эгоиста. Честность – отличное качество, и отлично, что фальшивое сочувствие и прочие лживые эмоции довоенного времени были развенчаны. Но отказ от фальшивого сочувствия и лживых эмоций не должен убивать способность

сочувствовать и испытывать глубокие, искренние чувства, как это произошло с молодежью. Молодежь изображает чувства.

– Дорогуша, как ты прелестна сегодня! Я балдею, глядя на тебя! – И тут же в собеседницу летит ядовитая стрелка.

Или молодая жена говорит мужу:

– Любовь моя, я испытываю блаженство, когда ты меня вот так обнимаешь! Сделай мне коктейль, ангел мой. Мне нужно встряхнуться, мой ангел!

Сейчас молодежь получает огромное удовольствие, нажимая на клавиши эмоций и сочувствия, позвякивая выспренними фразами, изображая восхищение и нежность, обожание и восторг, а сама ничего не испытывает, ничего, кроме удовольствия от своей детской игры. Это же так шикарно и очаровательно бросаться самыми сокровенными словами любви и нежности шутки ради, просто шутки ради, вроде как слушать звуки мелодии в музыкальной шкатулке.

И молодые люди возмущаются, если о них скажут, что они не любят человечество. Англичане, например, испытывают поразительную, неестественную любовь к Англии.

– Не считая моего Филиппа, я дорожу только Англией, нашей драгоценной Англией. Мы с Филиппом готовы умереть за нее в любую минуту.

Англии нынче ничего не грозит, она не призывает нас к алтарю, а значит, молодежь вне опасности. А если вы вежливо спросите кого-то:

– Какой вы представляете себе Англию?

Он с жаром ответит вам:

– Англия страна великих традиций, великих идей, – что, в сущности, звучит весьма обтекаемо и уклончиво.

А юная леди любит восклицать:

– Я всем готова пожертвовать во имя свободы. Мы с Хоупом рыдаем, наше супружеское ложе погружается в печаль, когда мы начинаем думать об испытаниях, выпавших на долю нашей Англии в ее борьбе за свободу. Но

сейчас мы собрались с духом и настроились решительно сражаться до победного конца.

Эта мужественная и решительная борьба ограничивается очередной порцией коктейля и взволнованным письмом к кому-нибудь, от кого ничего не зависит. Потом – конец, о свободе забыто, на повестке дня – может, религия, а может, какая-нибудь фраза в заупокойной службе, которая не на шутку взбесила автора письма.

Такова современная продвинутая молодежь. Признаюсь, это забавляет, пока подобный фейерверк остроумия продолжается. Потом, когда фейерверк гаснет, а он недолго пылает, даже с коктейлями, наступает пора отрезвления, серые будни. Потому что для продвинутой молодежи нет теплых дней и безмолвных ночей. Только фейерверки возбуждения и пустота серых будней; потом снова фейерверки. И скажем неприятную правду – это весьма утомительно.

И в серые будни жизни современной молодежи становится очевидным факт во всей его неприглядности – и для нее самой, и для стороннего наблюдателя. Молодежь пуста, она не способна ни о ком и ни о чем заботиться: даже развлечения ее не заботят, хотя она так рьяно ими увлечена. Конечно, не следует извлекать этот скелет из шкафа.

– Милый, ангел мой, не будь противным, точно мерзкий муравей. Играй, милый, играй, не говори о противных вещах! Расскажи нам что-нибудь приятное, что-нибудь забавное. Или давай поговорим на действительно серьезные темы – о большевизме или о *la haute finance**. Улыбнись, повесели нас. Ну же, милый, мой пушистый котик!

На самом деле, молодежь начинает бояться своей пустоты и никчемности. Классно выбрасывать барахло и старье из окна. Но когда ты все выбросишь и два-три дня просидишь на голом полу, у тебя начнут болеть кости и ты начнешь с тоской вспоминать о старой мебели,

* Финансовая олигархия (*фр.*).

мечтать, чтобы у тебя появилось хоть что-то, хотя бы уродливое викторианское кресло-качалка.

Мне кажется, по крайней мере, молодые женщины так думают. После того, как они все выбросили в окно, они пугаются пустоты в доме их жизни. А их юные Филиппы, Питеры и прочие пальцем не пошевелинут, чтобы обзавестись каким-нибудь предметом мебели в своем доме. Единственные их приобретения – шейкер для коктейля и телефонный аппарат. А в остальном – пустота.

И молодым особам становится немного не по себе. Женщины не любят ощущать внутри и вокруг себя пустоту. Женщине ненавистна мысль, что она ни во что не верит и ничем не дорожит. Пусть она самая глупая на свете, она, тем не менее, хоть к чему-то должна относиться серьезно: к своей внешности, к нарядам, к дому, к чему-то. А если она не безнадежно глупа, она стремится к большему. Интуитивно хочет ощущать, что она чего-то стоит и что-то для нее дорого. Женщины так часто сердятся на мужчин из-за того, что те не способны «просто жить», что у них вечно какая-то «цель» в жизни; думаю, причина потребности мужчин искать цель в жизни кроется в самих женщинах. Мне кажется, что в женщине потребность ощущать, что ее жизнь что-то значит, что она чем-то дорожит и чего-то стоит, гораздо сильнее, чем в мужчине. Сама женщина может с горячностью это отрицать, потому что, естественно, найти для нее «цель» – долг мужчины. А мужчина может быть беспечным бродягой и быть счастлив. Женщины не такие. Очень, очень редко женщины счастливы, если они чувствуют, что они «в стороне» от великих жизненных целей. Тогда как – я в этом убежден – огромное число мужчин, прожигателей жизни, с радостью смотались бы куда глаза глядят, если бы у них было, где встать на якорь.

Женщина не может чувствовать себя опустошенной, жить бесцельно. А мужчина способен получать от этого подлинное наслаждение. Он способен испытать гордость и удовлетворение от самого процесса отрицания:

– Я абсолютно ничего не чувствую, я полый, мне на всех и все в этом мире наплевать, кроме себя любимого. Да, я люблю себя и собираюсь выстоять в поединке со всем миром, я непременно добьюсь успеха, а на своем пути к успеху не буду думать о других. Потому что я умнее всех, хитрее всех, даже если я слабак, я придумаю, как защититься, окопаться – и ничто мне не будет угрожать. Засяду в своей стеклянной башне, ничегошеньки не буду чувствовать, ни на что не буду реагировать, а моя сила воли будет действовать и сквозь стеклянные стены моего «эго».

Вот таково, в общих словах, состояние мужчины, выбравшего для себя образ жизни законченного эгоиста, полого человека. Он даже испытывает гордость, выбрав для себя такую модель, потому что, будучи внутри абсолютно полым, способен лелеять лишь собственную гордыню, добиваться только эгоистических целей и успеха.

Сомневаюсь, что женщина чувствует нечто подобное. Большинство женщин-эгоисток, если не способны любить, то способны ненавидеть. Подлинный эгоист мужского пола не испытывает ни ненависти, ни любви. Он внутри просто-напросто полый. Его чувства – поверхностны, неглубоки, но он упорно старается избавиться от них. А в глубине души он ничего не чувствует. Раз он ничего не чувствует, он упивается своим «я», помня, что он в безопасности. В безопасности – в своей крепости, в своей стеклянной башне.

Сомневаюсь, что женщины способны хотя бы понять это состояние мужчин. Они ошибочно принимают их пустоту за глубину. Принимают мнимое спокойствие бесчувственного эгоиста за силу духа. Воображают, что эти защитные укрепления, которые убежденный эгоист воздвигает вокруг себя, эта непроницаемая стеклянная башня – ширма, за которой прячется настоящий мужчина, положительная личность. И они в безумии бросаются на эти укрепления, стремятся сломить их и добраться до настоящего мужчины, не понимая, что настоящего мужчины нет, укрепления воздвигнуты, чтобы скрыть зияющую пустоту, эгоизм, а не человека.

Но молодежь начинает подозревать подвох. Молодые женщины проникаются уважением к этим защитным укреплениям, потому что больше боятся наткнуться на бесконечную никчемность эгоиста, чем оставить его в его крепости. Пустота, никчемность пугают женщин. Они не способны быть истинными нигилистками. А мужчина способен. Мужчина испытывает дикое удовлетворение, отрицая все чувства и все связи с окружающим миром, пребывая в состоянии всеотрицающей пустоты, где ничего уже не осталось, что можно было бы выбросить в окно, да и окно наглухо закрыто.

Женщины стремились к свободе. Результат – та же пустота, зияющая дыра, пугающая самое отважное сердце. И женщины превратились в женщин, рожденных любить. Но невозможно долго находиться в состоянии любви. Невозможно. Потому что пустота наступает и наступает.

Любовь к человечеству приказала долго жить, оставив после себя брешь. Космическое мироощущение потерпело фиаско, обернувшись вакуумом. Эгоист тайно празднует победу в своей пустоте. А что же теперь делать женщине? Дом жизни пуст, она выбросила все в окно, освободилась от всех чувств; дом жизни, ее вечная обитель, опустел, как могила, что же делать теперь нашей одинокой бедняжке?!

Книги

Книги – просто игрушки? Игрушки ума?

А что тогда человек? Вечный умный ребенок?

Человек – всего лишь умный ребенок, постоянно развлекающийся напечатанными игрушками, которые называются книгами?

И это тоже. Даже самые великие люди своего времени мастерили замечательные игрушки. Такие как «Пиквикский клуб» и «Двое в башне».

Но к этому следует добавить еще кое-что.

Человек – мысленный искатель приключений, открыватель.

Он великий открыватель в собственном воображении.

А когда этот процесс начинается и когда кончается – никто не знает. И вот к чему мы пришли – пройден уже долгий путь, но даже намек на конец пути нет. Вот к чему мы пришли: подобно бедному Израилю, заплутали в непроходимой чаще мирового хаоса, посмеиваясь, болтая, готовимся устроиться на привал. Мы не собираемся двигаться дальше.

Ладно, разобьем лагерь и посмотрим, что нас ждет. А когда произойдет катастрофа, тогда наверняка появится Моисей с медным змием. И после этого сможем снова двинуться в путь.

Человек – искатель, открыватель в собственном воображении. Он способен мысленно уйти в далекое прошлое. В те времена он мыслил миниатюрными образами, запечатлевал их в дереве и камне. Потом в иероглифах на табличках, глиняных дощечках и папирусе. А теперь он мыслит книгами, зажатými в переплете.

Самое плохое в книге – то, что она зажата переплетом. Когда человек должен был писать на скалах и табличках, ему трудно было лгать. Слишком ярким был дневной свет. Но вскоре он укрылся в пещерах, тайных узилищах и храмах, там он стал придумывать иной мир на свой вкус и начинал лгать сам себе. А книга – яма, под земелье, зажатое двумя крышками. Отменное местечко для вранья.

И это привело нас к подлинной дилемме человека, с которой он отправился в свое долгое путешествие в воображении. Он стал лжецом. Он лжет сам себе. А, солгав себе единожды, он ходит кругами вокруг этой лжи, словно она – факел перед его носом. Столп дыма и столп огня ждут, когда он снова соврет. В молчании ждут в стороне, когда он сотрет *ignis fatuus** с кончика носа. Но чем дольше человек остается в плену своей лжи, тем увереннее он в том, что видит свет.

Жизнь человека – бесконечное путешествие в воображении. А перед ним постоянно маячит днем столп дыма, а ночью столп огня в непроходимой чаще времени. И это происходит, пока человек обманывает себя – один раз, другой. Ложь маячит перед ним и манит его, как морковь перед ослом.

В человеке уживаются два типа знания: то, в чем он сам себя убеждает, и то, что он узнает опытным путем. То, в чем он сам себя убеждает, обычно вещи приятные, но это обманные вещи. А то, что он узнает опытным путем, – прежде всего горькие истины.

Человек – искатель, открыватель в собственных мыслях. Под мыслью мы, естественно, подразумеваем открытие. А не голые факты и фальшивые наставления, которые, как правило, выдают за мысль. Мысль – это приключение, а не трюк.

И, безусловно, человек всем своим существом ищет приключения, и не только в мыслях. Поэтому мы не верим ни Канту, ни Спинозе. В мыслительном процессе

* Бессмысленный огонь (*лат.*).

Канта задействованы его ум и дух, но он никогда не мыслил всем существом, всей своей кровью и плотью. А ведь плоть тоже мыслит – тайно и мощно. Она распоряжается его страстями, толкает его на самые неожиданные поступки и мысли. Умом и сердцем я уверен, что, если бы люди любили друг друга, все было бы в этом мире прекрасно. А плоть и кровь говорят мне – чушь все это, фокус не удастся. Кровь моя говорит мне: не может быть все прекрасно. Вот так и происходит это бесконечное путешествие в воображении по долине дней, полной опасностей.

Человек понял, что его ум и душа вели его по ложному пути. Сейчас мы совсем сбились с пути, следуя зову нашей души, убеждавшей нас, что как было бы мило, если бы все было идеально, и, внимая нашему рассудку, убеждавшему нас, что стоит нам отрешиться от серой реальности нашего существования, как все станет распрекрасно.

К сожалению, мы сбились с пути, мы оказались в неправедном храме, как всякий заблудший. И мы говорим: «Мне наплевать. Пусть судьба укажет мне верный путь».

А судьба не указывает нам верный путь. Человек – искатель в собственном воображении, верный путь может указать ему только его мысленный поиск.

Обратимся к нашей цивилизации. Мы вне себя от гнева, потому что нам не нравится то, что мы имеем. Мы создали ее надолго, на тысячелетия такой громоздкой, что не в силах изменить ее. И в результате – мы ненавидим ее.

Из рук вон плохо! Так что же теперь делать?

Да ничего не поделаешь! Мы превратились в недовольных детей, мы дуемся, потому что нам не нравится игра, в которую мы играем, мы понимаем, что нас заставили играть в нее против нашей воли. И мы продолжаем играть, плохо играть, у нас все время дурное настроение.

Мы плохо играем, естественно, все хуже и хуже. И все происходящее вокруг все хуже и хуже.

Что ж, ну и пусть! Пусть все хуже. *Après moi le déluge.**

Любой ценой! Но если есть потоп, значит, должен быть Ной и его Ковчег. Старый искатель старого приключения.

Стоит об этом задуматься – и Ной начинает обозначать больше, чем потоп, а Ковчег – больше, чем фиаско, которое потерпел весь мир.

И вот мы, обиженные на весь белый свет, ждем, когда потоп смост наш мир и поглотит нашу цивилизацию. Что ж, подождем. Но кто-то должен подготовить Ноев Ковчег!

К примеру, мы полагаем, что если в Европе произойдет катастрофа и случится кровавая бойня, то после катастрофы и кровопролития непременно уцелеют и воскреснут чьи-то души.

Мы ошибаемся: посмотрите на тех, кто выжил в тяжкие времена в России, вы не найдете среди них много воскресших душ. Люди стали еще более испуганными и бесчувственными, чем раньше. Вместо того, чтобы вернуть им человеческий облик величайшая катастрофа отняла у них остатки человечности.

Что же делать? Если новая величайшая катастрофа сделает нас еще более бесчеловечными, чем мы уже стали, тогда ничего хорошего от нее не стоит ждать. Да и вообще нам не на что надеяться – наши бедные души в ловушке, в огромной ловушке нашей цивилизации.

Катастрофа не спасет человечество. Единственное, что всегда спасает, – живая, смелая искра в душах людей. А если нет живой, смелой искры, тогда смерть и разрушение так же бессмысленны, как завтрашняя газета.

Вспомните о падении Рима. На протяжении Темных веков – пятого, шестого, седьмого века н.э., катастрофы, обрушившиеся на Римскую империю, нисколько не изменили его граждан. Они продолжали жить как ни в чем не бывало: когда могли – развлекались, когда могли – ни

* После меня хоть потоп (*фр.*).

о чем не думали, так и мы живем нынче. А тем временем гунны, вандалы, вестготы и прочие выгнали их с насиженных мест.

И каков результат? Варвары захватили и заполонили всю Европу – от края до края.

Но слава тебе, Господи, – в те времена был Ной со своим Ковчегом и живностью. Я имею в виду раннее христианство. Христиане построили в разных местах монастыри, укрепили их. Они, словно маленькие ковчегги, держались на поверхности и помогли продолжать поиск, совершать открытие. В сознании открывателей способность к великим открытиям не погибла. Уцелел в величайшем потоке, некоторые храбрые души увидели Ковчег в сиянии радуги.

Монахи и священнослужители Церкви раннего христианства спасли душу и дух человека, они уцелели, не стали немощными, не скужились в величайшем потоке Темных веков. Потом этот дух бессмертного мужества ослаб среди варваров, населявших Галлию и Италию, и началась история новой Европы. Но завязь, зерно никогда не гибнет.

Мир погибнет, как только человечество потеряет мужество и способность возрождаться. Древние иудеи тоже так считали: человечество погибнет, если в мире, говорили они, не останется ни одного иудея, способного самозабвенно молиться.

Итак, мы начинаем осознавать наше положение. Нельзя полагаться на судьбу. Человек – искатель, открыватель. Он не должен отказываться от поиска. Поиск – это поиск, Судьба – это обстоятельства, которые возникают на пути искателя. Искатель, находясь в вечном поиске, – живое зерно в хаосе обстоятельств. Если бы не живое зерно Ноя и его Ковчег, мир утонул бы в хаосе потопа. Но хаос оказался не способен на это, потому что Ной со всей живностью держался на поверхности.

То же самое произошло и с христианами после падения Рима. В маленьких укрепленных монастырях они защищались от сокрушительных набегов завоевателей,

которыми двигала отнюдь не жажда наживы – христиане были слишком бедными. Когда волки и медведи начали рыскать по улицам Лиона, а дикий кабан с рычанием вгрызался в кладку храма Августа, священники христиане, подобно их бедным предшественникам, бесстрашно и упорно искали на разрушенных улицах своих единоверцев, чтобы спасти их. Это был великий поиск, испытание, и они не сдались.

Но Ной, конечно, всегда был непопулярен, был в меньшинстве. Естественно, и христиане оказались в меньшинстве во время падения Рима. А нынче христиане в устрашающем большинстве, так что теперь настал их черед проиграть.

Для меня величие христианства – это величие в прошлом. Я понимаю это, но если бы не ранние христиане, мы никогда не спаслись бы в хаосе и ужасающей бездне Темных веков. Если бы я жил в 400 г.н.э., помилуй мя Господи!, я был бы истинным, убежденным христианином. Искателем.

Но я живу в 1924 году, христианский поиск исчерпал себя. В христианстве больше нет ничего нового. Мы должны начать новый поиск пути к Богу.

Создаю картины

Беру свои слова обратно. Помню, я полагал, может, даже записал где-то: «Все, что можно нарисовать, уже нарисовано, каждый мазок кисти, который предназначен для холста, уже положен. Изобразительное искусство на краю гибели». А потом неожиданно в сорок лет я сам начал рисовать, и мне это пришлось по душе.

И все-таки, прохаживаясь в этом году по парижским магазинам картин и разглядывая Дюфи, Кирико и прочих художников, невыразительные ню с перламутровыми пуговицами глаз японца Фужита, я вдруг почувствовал усталость. Все они такие усердные, так старались быть совершенными. Им, прежде всего, нечего было рисовать. И по сравнению с ними висящие там же изящный цветок кисти Фриеза, картина на акварельной бумаге Лорансен казались шедеврами. Они, по крайней мере, являли собой образец естественной живописи. Они достаточно тривиальны, если их сравнивать с великими художниками, но, тем не менее, они настоящие.

А что сказать обо мне? Что я делаю, «вломившись» в живопись? Ведь я писатель, и мне надлежит не забывать о чернилах. Я нашел свой способ выражения; почему же тогда в возрасте сорока лет мне захотелось попробовать себя в другом виде искусства?

Жизнь решает все за нас, у нас нет выбора. Если бы Мария Хакли не пришла к нам – мы тогда жили близ Флоренции – со свернутыми рулонами четырех больших холстов, один из которых она успела испортить, и не отдала их мне (кто-то забыл их у нее), я, может, никогда бы в жизни не начал рисовать по-настоящему. Но эти развернутые холсты буквально манили меня к себе! Перед этим мы красили двери и оконные рамы, и у нас

осталось немного масляной краски, скипидара и сухой краски, обычно их покупают здесь в местных бакалейных лавках. Еще после ремонта у нас осталось несколько кистей. На одном холсте незнакомый нам владелец начал работать – изобразил нечто грязно-серое с силуэтом рыжеволосого человека. Очень мрачная и уродливая зарисовка, видно молодой человек, приступивший к работе над своей картиной, принял разумное решение не продолжать ее. Безусловно, у него не было никакой внутренней тяги к живописи, а если что-то и было, то осталось где-то глубоко в нем, и было явлено миру грязно-серое пятно.

Так вот, исключительно ради забавы я решил закрасить холст, чтобы уничтожить эту серую грязь, я сел на пол, прислонив холст к стулу, взял кисти для краски дверей, краски, разведя их в маленьких кастрюльках. И я пропал в этом холсте! Для меня это самый волнующий момент – перед тобой нетронутый холст, большую кисть ты только что окунул в краску, и ты ныряешь! Это подобно ощущению, какое испытываешь, когда бросаешься в пруд – и начинаешь стремительно плыть. Что касается меня, то мое состояние сродни тому, какое со мной бывает, когда я плыву против течения, я страшно пугаюсь, меня переполняет волнение, я задыхаюсь и изо всех сил сопротивляюсь течению. Опытный, острый, как игла, взгляд следит за работой руки, но моя картина – целиком детище интуиции и чисто физической работы. Как только к кончику кисти прикасаются мои инстинкт и интуиция, рождается картина, если это можно назвать картиной.

Во всяком случае, так появилась моя первая картина – та, что я назвал «Святое семейство». За пару часов она была готова: мужчина, женщина, ребенок, голубая рубашка, красная шаль, комната в блеклых тонах – все не прорисовано, но, насколько я могу судить, это была картина. Потом начинаются муки. Но рождается картина в наброске, или же она мертворожденная. Только после ее рождения ее создатель начинает сражаться за нее, доводит до совершенства.

Наш век чрезмерно здравомыслящий, интеллектуальный. Мы так много знаем и так мало чувствуем. Я много жил среди художников, бывал в их студиях, я сыт по горло их бесконечными теориями – до чего же они сумасбродные! У человека должен быть второй желудок, как у страуса, чтобы переваривать разные там латунные шурупы и острые гвозди современных теорий искусства. Может все теории, абсолютно неудобоваримые теории, как гвозди во втором желудке страуса, на самом деле помогают измельчить и переварить весь эмоциональный и эстетический «корм», который залег в душе художника? Никакой другой цели они не служат. Даже не направляют твой поиск. С помощью современных теорий искусства настоящее полотно не создашь. А только сможешь устроить экспозицию, или написать критическое исследование о живописи, или научиться отрицать все и вся. А тот небольшой процент фантазии, который заложен в отрицании, – как у Дюфи и Кирико – тот самый процент, который сохранился в их работах вопреки различным теориям, именно он, думаю, спасает их произведения. Теоретизируй, теоретизируй сколько хочешь, но когда начинаешь рисовать, забудь о всех теориях и работах, начинаясь на инстинкт и интуицию.

Что до меня, то я всегда любил живопись, изобразительное искусство. Никогда не учился живописи, за всю жизнь один раз посещал уроки рисования. Но, конечно же, я очень увлекался процессом рисования, похожего скорее на планиметрию, лепку в гипсе и работу с проволокой. Думаю, что планиметрия с ее основными законами перспективы весьма полезны. А работа с проволокой и лепка в гипсе только вредят, когда приходится постигать секреты светотени. Линии в гипсовых фигурах и проволочный каркас скульптуры всегда вызывали во мне отвращение, поэтому я очень рано решил, что «не умею рисовать». Я не умел рисовать, поэтому никогда не был способен изобразить что-нибудь самостоятельно. Когда я рисовал кувшины с цветами, или хлеб с картошкой, или коттеджи на лужайке, копируя их с натуры,

результат получался слабенький. Натура для меня все равно что гипс – как те гипсовые головы Минервы или фигуры умирающих гладиаторов, которые так ужасоюще действовали на меня в юности. «Объект» – неважно, какой именно – всегда вызывал во мне почти отвращение, когда я садился перед ним и пытался нарисовать. Естественно, я поверил, что я не способен к рисованию. Может, и не способен. Но я убежден, что я умею создавать картины, а это для меня самое важное. Искусство живописи заключается в умении создавать картины – а ведь на свете так много художников, которые что-то изображают на своих полотнах, но даже с натяжкой это нельзя назвать творчеством, живописью.

Я учился рисовать, копируя другие картины, – обычно репродукции, иногда даже фотографии. Когда я был мальчишкой, с каким усердием занимался я этим! Копировал репродукцию абсолютно бездарной сценки, напечатанной в журнале. Я рисовал почти высохшей акварелью, делал мазок за мазком, размером в полдюйма в квадрате, каждый дюйм получался великолепным и законченным, я словно работал в технике мозаики, у меня и в мыслях не было класть широкие мазки. Долгие часы напряжения и сосредоточенности, когда двигаешься дюйм за дюймом, – это совсем не верный метод, и, тем не менее, законченные копии получались вполне сносными, в них что-то было: искра жизни, а это для меня самое главное. Картина живет благодаря той частичке жизни, которую ты даришь ей. Если никакой искры жизни не даришь – ни вдохновения, ни восторга, никакой экзальтации от открывшегося тебе образа, – тогда картина мертва, как многие работы, независимо от того, сколько усердия и грамоты вложено в нее. Даже если ты просто копируешь банальное изображение старого моста или стремишься передать искреннее, восторженное настроение, которое возникает, когда смотришь на старый мост или на атмосферу, окружающую его, или передать образ, который родился в тебе при виде этого моста, можешь смело браться за бумагу, и искра жизни загорится в этом банальном сюжете.

Чтобы быть художником, неважно каким, надо быть чистым в своих помыслах. Над дверями всех школ живописи надо повесить плакат: «Благословенны чистые духом, Царство Небесное с ними». Под чистотой духа я подразумеваю именно чистоту духа. Художник может быть развратным и – с социальной точки зрения – хулиганом. Но если он способен нарисовать обнаженную женщину или два яблока так, чтобы в них была искра жизни, значит, он чист духом, и отныне с ним Царство Небесное. Это исток любого искусства – изобразительного, или литературного, или музыкального: быть чистым в душе. Это не то же самое, что быть добродетельным. Чистота духа дается с гораздо большим трудом, она приближает к божественному. Божественное не только добродетель, это все и вся.

Кто-то видит божественное в творениях природы; сегодня я увидел это в хрупких, маленьких, прелестных камелиях на длинных стеблях в цветочном киоске на бульваре в Барселоне. Они не похожи на обычные крупные камелии, скорее на изящные гардении, они показались мне чем-то нереальным, возникшим во мне образом. И теперь я смог бы их нарисовать. Но если бы я купил букет и стал рисовать его, как «в натуре», я бы потерял их образ. Пристально разглядывая их, я бы потерял их. Я знаю это по собственному опыту. Это исключительно мой опыт. Некоторые способны создать образ, не отрываясь от объекта, тупо разглядывая его, как, к примеру, Сезанн. Но если я упрусь во что-то взглядом, образ погибнет. Вот почему я никогда не мог рисовать в школе. Там считалось, что рисовать можно только то, что пристально разглядываешь.

Единственное, во что можно пристально вглядываться, пристально всматриваться и видеть только образ – это сам образ: образ, который возникает в воображении. Вот почему я рад, что ничему не учился у кого-то, только сам учился, копируя работы других. По мере того, как становился более честолюбивым, я начал копировать пейзажи Лидера и картины, напоминающие карикатуры Фрэнка Брэнгвина, а потом акварели Питера Де Уинта

и Гертина. Я не очень ценил английских художников, авторов акварелей, которые публиковались в восьми номерах журнала «Студия», когда я был молодым. У меня было только шесть из восьми выпусков, а ведь они принесли мне огромную пользу. Я копировал их с величайшей радостью. Некоторые оказались для меня очень трудными. Без преувеличения, я вложил в это занятие столько усилий и труда, сколько большинство нынешних студентов тратят за все годы учебы. Благодаря им я добился очень многого. Не только овладел техникой акварели – пускай кто-нибудь попробует скопировать английских художников, мастеров акварели от Поля Сендби и Питера де Уинта и Гертину до Фрэнка Брэнгвина и импрессионистов барбизонской школы, и он убедится, какое для этого требуется мастерство, но я развил в себе способность создавать образ. Убежден, научиться создавать образ можно только в тесном контакте с самим образом: то есть, изучая шедевры, шедевры истинной мощи воображения, поселившись подле них, даже внутри них. Это величайшее наслаждение – жить в картине.

Но для этого необходимо, чтобы твой дух был чистым, надо подавить в себе вульгарные эмоции, прежде всего контакты с вульгарным окружением, а это дано лишь считанным единицам. Эх, если бы в художественных школах учили только этому! Если бы вместо слов: «Этот рисунок не удался, он неграмотно, плохо нарисован» и т.д. и т.п., учителя бы говорили: «Это плохой вкус, верно? Эта линия просто неживая, в ней намек на жизнь нет, вы согласны?» К искусству неверно относятся. К нему относятся как к науке, а оно не наука. Искусство – одна из форм религии, только без Десяти заповедей, которые насаждают нам социологи, как прочие свои азбучные истины. Искусство – форма исключительно тонкого осознания и искупления – единение, состояние полного слияния с предметом.

Это высочайшая форма восторженного искупления, потому что я всегда относился к искусству как к одной из форм восторга.

Всю свою жизнь я то и дело начинал рисовать, потому что это занятие вызывало во мне такой восторг, какой никогда не дарили мне слова. Может, радость от слов кроется где-то глубже в человеке, поэтому она неосознанная. Осознанный восторг, безусловно, гораздо сильнее в живописи. Я снова начинал рисовать в поисках подлинной радости – под рисованием я имею в виду копирование – маслом или акварелью. Самое большое удовольствие я испытывал, когда срисовывал «Полет в Египет» Фра Анджелико и большое полотно Лоренцетти «Фиваида»; в обоих случаях у меня были только фотографии, а раскрасил я рисунки по своему усмотрению; но еще большее удовольствие я получил от картины Карпаччо, хранящейся в Венеции. Тогда я по-настоящему понял, какую искру жизни, какую мощную энергию вложил художник в каждую линию, в каждое движение на своем великом полотне. Чистота духа, эмоциональное осознание, напряженное стремление запечатлеть глубинный образ – вот что требуется, чтобы картина состоялась. Английские акварелисты сравнительно слабые, а французы и голландцы – поверхностные. Я никогда не осмеливался копировать великого Рембрандта, хотя я безмерно любил его, раньше даже сильнее, чем сейчас. И Рубенса не пытался копировать, хотя он всегда мне очень нравился, просто казался мне слишком масштабным. Но я копировал Питера де Хооха и Ван Дейка, и много кого еще, теперь уже забыл кого именно. И ни один из них не внушал мне такого глубокого волнения, как итальянцы, как Карпаччо, как прекрасная «Смерть Прокриды», которая висит в Национальной галерее, или «Свадьба» – в Уффици, или Джотто в Падуе. Я сделал очень много копий в своей жизни и получал от них безмерную радость.

И вдруг, заполучив чистый холст, я обнаружил, что готов сам создать картину. В этом суть – на чистом холсте создать картину. Мне исполнилось сорок лет, прежде чем я набрался храбрости попытаться. Потом началась оргия – я стал создавать картины!

Я понял теперь, что не надо начинать работать с натурой, не владея техникой. Иногда, когда я рисовал акварели, я начинал сразу работать с натурой. Но это всякий раз портило картину. Я решался приступить к натуре только после того, как картина готова; тогда я поглядывал на нее, чтобы найти какую-нибудь деталь, которую упустило мое воображение или чтобы что-нибудь улучшить – то, что я чувствовал: не получилось, а я не понимал, почему не получилось. Тогда натура подсказывала мне. Но в начале работы над картиной натура только мешает ее рождению. Картину надо создавать собственным чутьем, изнутри, из представления художника о форме и линии. Мы можем назвать это памятью, но это больше, чем память. Это образ, возникший в воображении, живой, как видение, но еще не знакомый. Уверен, в воображении многих людей живут образы, если бы они выпустили их на свет божий, они испытали бы величайшую радость. Но они не знают, как к этому подступиться. А обучение мешает им. Для меня картина – источник восторга, иначе это не картина. Самые печальные картины Пьеро делла Франческа, или Содома, или Гойи дарят тот не поддающийся описанию восторг, который способен вызвать лишь подлинный шедевр. Нынче критики очень много распространяются об уродстве, но мне не довелось увидеть шедевр, который был бы уродливым. Сюжет может быть отталкивающим, ужасающим, повергающим в уныние, форма – тоже отталкивающей, как у Эль Греко²³. И тем не менее, как ни странно, восхищение, которое вызывает в вас картина, все прочие эмоции поглощает. Ни один великий художник, даже самый мрачный, никогда не создавал картину, образы которой не вызывали бы восторга.

Приложение





Олдос Хаксли

Пророк в пустыне одиночества

«Я всегда говорю: мой девиз “Искусство для *меня*”». – Это слова одного из довоенных писем Лоуренса. – «Если мне хочется писать, я пишу, если не хочется – не пишу. Труднее всего найти форму, в какую ты хочешь облечь свою страсть, ведь для меня произведение, как и поцелуи, порождается страстью, – а как по-вашему?»

«Искусство для *меня*». Но, хоть и для меня, все же искусство. Лоуренс был всегда и неизбежно человеком искусства. Да, «неизбежно» – самое точное слово; потому что были моменты, когда ему хотелось избежать своей судьбы. «В глубине души я хотел, чтоб судьба не клеймила меня словом “писатель”. Это отвратительное занятие». Но от приговора судьбы мольбы не спасут. Да и совсем не всегда хотелось Лоуренсу просить об этом. Его жалобы возникали лишь временами и объяснялись не ненавистью к искусству как таковому, а ненавистью к тем мукам и унижениям, которые он временами испытывал, будучи художником. Письмо к Эдварду Гарнетту: «Почему, ну почему, – спрашивает он, – мы должны отравлять себе жизнь литературой и прочими безделицами? Почему не можем мы жить как достойные, добропорядочные люди, без этих докучливых критиков из Литтл тиетр?» Публикация произведения искусства – это всегда самообнажение, это значит бросить что-то хрупкое и ранимое «ослам, обезьянам и псам» на съедение. Однако чаще всего Лоуренс не роптал на судьбу, любил искусство и был великим мастером, а какой же мастер не любил его? Кроме того, искусство, как он его понимал и как в глубине души это делает каждый художник, даже самый фарисейский «пурист», – всегда «искусство для себя». Это было полезно Лоуренсу, это помогало. «В книгах человек выпле-

скивает свое отвращение – повторяет, переживает свои чувства вновь и вновь, чтобы научиться управлять ими». Однако любовь или нелюбовь – это в конце концов не так уж и важно в свете того, что Лоуренс был буквально одержим своим творческим гением. Он был не в силах с ним совладать. «Я пишу роман, – говорится в одном из его ранних писем, – роман, который я никогда не смогу толком представить себе. Черт подери, я уже на 145-ой странице, а я понятия не имею, о чем идет речь. Я ненавижу его. Ф. говорит, что это хорошо. Это как роман на чужом языке, которым ты плохо владеешь – я могу лишь смутно разбирать, о чем идет речь». Оставалось только покориться этой странной силе, владеющей им, этой мощи, порождающей его художественные произведения. И Лоуренс покорялся, полностью, с чувством благоговения. «Я часто думаю, что надо молиться перед работой, а потом полагаться на Создателя. Легко ли прийти к согласию с собственным воображением, выбросить все за борт? Я всегда чувствую себя так, будто стою нагишом перед пронзающим меня огнем Всевышнего, – и это ужасное чувство. Нужно быть по-настоящему религиозным, чтоб оставаться художником». Он мог бы добавить обратное – нужно быть по-настоящему художником, по-настоящему ощущать «вдохновение» и всепобеждающую силу гения, чтобы быть таким религиозным, каким он был.

О Лоуренсе можно писать только как о художнике. Он был прежде всего художником, и это объясняет его жизнь, которая, если вы забудете о том, что он прежде всего художник, может показаться необъяснимо странной. В «Сыне женщины» мистер Миддлтон Мюрри почти полностью пренебрег тем, что объект (я чуть было не сказал «жертва») его описания – тот, кого «судьба заклемила словом “писатель”». Его книга – это книга о Гамлете без принца Датского, несмотря на всю ее метафизическую дотошность и фрейдистскую изощренность, по большей части неубедительную. Абсурдность его метода становится тем более очевидной, как подумаешь, что

никто и никогда не услышал бы ни о каком Лоуренсе, не будь тот художником.

Художник становится таким художником, как Лоуренс, потому что ему дано обладать определенными дарованиями. И он ведет жизнь, какую Лоуренс действительно вел, потому что он художник, художник, наделенный особым духовным предназначением. Так вот, есть обычные способности и есть особые таланты. Человек, от рождения обладающий выдающимися особыми талантами, быть может, менее зависит от условий жизни, чем тот, кто обладает обычными способностями. Дар дан ему судьбой, и он следует предназначенным ему путем, с которого никакая сила его не свернет. Несмотря на никакую степень образованности, – включая в это слово все, от Эдипова комплекса до системы английских средних школ, – не могла бы воспрепятствовать Моцарту стать композитором, а музыке стать центральным фактором в его жизни. И как бы иное образование повлияло, к примеру, на дарование Блейка? Разумеется, невозможно ответить на этот вопрос. Можно только выразить неколебимую уверенность, что такое глубоко индивидуальное, оригинальное искусство, так явно «вдохновленное» в основах своих осталось бы неизменным, в каких бы (разумеется, до определенных границ) условиях Блейк ни был воспитан. Лоуренс, как утверждает мистер Ф.Р. Ливис, во многом похож на Блейка. «У него был тот же дар понимания, что именно представляет для него интерес, та же смелость отличать собственные взгляды и чувства от общепринятых, та же “ужасающая честность”». Как у Блейка и любого, обладающего этими особыми талантами, дар Лоуренса был предопределен самой судьбой. Рассмотрение его в свете фрейдистских гипотез, пусть даже интересных, связанных с условиями жизни, не объясняет ничего. Что для Лоуренса много значила его любовь к матери и чрезмерная любовь матери к нему, очевидно любому, кто читал «Сыновей и любовников». Тем не менее, почти так же очевидно, во

всяком случае для меня, что, даже если б его мать умерла, когда он был младенцем, Лоуренс в чем-то самом важном, основополагающем остался бы Лоуренсом. Его биография не объясняет его достижений. Наоборот – достижения Лоуренса, вернее, его дарование, которое сделало возможными его достижения, объясняют почти все в его биографии. Он жил так, как он жил, потому что он внутренне, от рождения был тем, чем он был. Если мы хотим что-то вразумительное написать о Лоуренсе, мы должны максимально полно и недвусмысленно ответить на два вопроса: первый – каким дарованием он обладал, и второй – как обладание этим дарованием повлияло на его поведение в жизни?

Особым характерным дарованием Лоуренса была необычайная восприимчивость к тому, что Вордсворт называл «неизвестные нам формы бытия». Лоуренс всегда живо ощущал тайну мира, и эта тайна неизменно была для него божественным *покровителем*. Он никогда не забывал, как почти все мы обычно забываем, о присутствии темной *нездешности*, которая лежит вне границ нашего рационального сознания. Эта особая чувствительность сопровождалась удивительно мощной способностью немедленно претворять прочувствованную нездешность в термины литературного произведения.

Таков был уникальный дар Лоуренса. Обладание им объясняет многое. Начать с того, что оно объясняет его отношение к сексу. Его особый жизненный опыт сына и любовника мог бы усилить поглощенность этой темой, но явно дело не в нем. Каким бы ни был его жизненный опыт, Лоуренс все равно был бы поглощен сексом; его дар делал это неизбежным. Для Лоуренса важность сексуальных отношений заключалась в том, что в них, так сказать, фокусировалось мгновенное иррациональное знание божественной нездешности, – фокусировалось во тьме.

Пародируя знаменитую формулу Мэтью Арнольда, можно сказать: секс – это нечто, что не является нами и что не ведет к добродетели, потому что сущность ре-

лигии – не добродетель; Кьеркегор настаивает, что над этическим существует духовный мир, который ведет к жизни, к божественному, к слиянию с мистическим. Парадоксально, но это нечто, что не является нами, все же находится внутри нас, эта квинтэссенция нездешности является в то же время и квинтэссенцией нашего истинного «я». «И Бога Отца, Непостижимого, Непознаваемого мы познаем во плоти, в Женщине. Она – это дверь и нашего проникновения вовнутрь и нашего выхода наружу. Через нее мы возвращаемся к Создателю, но, подобно свидетелю Преображения, незрячими и лишенными сознания». Да, незрячими и лишенными сознания, ибо иначе это было бы явлением не божественной нездешности, а очень даже мирского зла. «Объятия любви, которые должны дать тьму и забвение, у этих любовников [у героя и героини одного из рассказов Эдгара По] становятся дневным занятием, приносящим более обостренное сознание, видения, призматические видения призраков. Это дневное занятие любовью, эта болтовня о сексе – все это зло!». Как ненавидел Лоуренс Элеонору, Лигею, Родерика Эшера и тому подобных миссис Шенди, и мужчин, и женщин! Какой ужас внушали ему все Дон Жуаны, всезнающие сенсуалисты и сознательные развратники! (В то время, когда он работал над «Любовником леди Чаттерли», он читал мемуары Казановы и был глубоко возмущен.) И какое живейшее отвращение вызывало у него Вильгель-мейстерское понимание любви как самообразования, как инструмента культуры, упражнения для души! Сознательно и обдуманно использовать любовь таким образом представлялось Лоуренсу дурным, почти святотатственным. «Мне кажется странным, – пишет он своему коллеге по перу, – что вы предпочитаете описывать мужчин, будто женщины для вас интересны не сами по себе, а тем, что в них находят мужчины. Поэтому женщины в ваших произведениях как бы не существуют, они всего лишь проекции мужчин. Отказывая женщинам в *позитивности*, вы делаете их просто вспомогательными». Эта вспомогательность

Вильгельм-мейстерских женщин глубоко возмущала Лоуренса.

(Позвольте заметить в скобках, что доктрина Лоуренса часто провозглашается людьми, которых сам Лоуренс страстно осуждал бы, и провозглашается она в защиту такого поведения, которое сам Лоуренс считал бы прискорбным, если не отталкивающим. Однако это ни в коей мере не означает осуждения самой доктрины. Одна и та же философия жизни может быть хороша или плоха в зависимости от человека, который ее исповедует и живет, согласно ей, хорошо или дурно. В конце концов, доктрина у Тартюфа была та же, что и у Паскаля. Бывали благовоспитанные идолопоклонники и несказанно скотоподобные христиане. Для проповедника новой доктрины самое ужасное, разумеется, – добиться успеха. Потому что успех даст ему возможность увидеть, как те, кого он обратил, извращают, опошляют, превращают в недостойную пародию его учение. Доживи Франциск Ассизский до ста лет, какое горькое разочарование он испытал бы! К счастью для святого, он умер в сорок пять, лишь в преддверии величайшего успеха его ордена, и потому не очень разочарованным. Писатели влияют на читателей, проповедники – на своих слушателей, но всегда, в глубине души, они превосходят и тех, и других. Если случается, что читательское «я» внутренне близко писателю, тогда это именно то влияние, о котором мечтает писатель. Если же читатель внутренне не похож на писателя, он, скорее всего, превратит доктрину писателя в рациональную веру, в апологию собственного поведения, совершенно чуждую вере и поведению, исповедуемым писателем. На долю Лоуренса выпала судьба любого, чьи произведения оказали влияние на окружающих. Это было неизбежно. Это было в природе вещей).

Для того, кому дано чувствовать тайну нездешности, истинная любовь, в терминах Лоуренса, обязательно будет *«ночной любовью»*. Таким же должно быть и истинное знание. Ночным и осязаемым – прикосновением в ночи. Человек для собственного удобства селится в своей до-

машней вселенной, которая находится внутри гораздо большего, чужого мира внешних вещей и его собственной иррациональности. Из безграничной черноты этого мира свет привычных мыслей человека как бы выхватывает маленькую светлую пещерку – яркий тоннель, в котором от зарождения сознания и до его смерти человек живет, движется, существует. Для большинства из нас этот яркий тоннель и есть весь мир. Мы не замечаем окружающую тьму; либо, если ее нельзя не заметить, если она слишком сильно давит на нас, мы не доверяем ей, мы боимся ее.

Не так с Лоуренсом. Его глаза могли видеть поверх перегородок света, глубоко во тьме, его чувствительные пальцы все время говорили ему об окружающей его тайне. Он не мог довольствоваться домашним, человеческим тоннелем, не мог принять то, чем довольствовались все остальные. Более того – и в этом он отличался и от тех, для кого тайна мира постоянно присутствует, от великих философов и ученых, – он не хотел увеличивать освещенную область, он одобрял запредельную тьму, он чувствовал себя в ней как дома. Большинство людей живет в крошечной лужице света от тусклой лампочки их привычек и непосредственных интересов; но существует также мощное освещение бескорыстного научного интеллекта. Для Лоуренса оба эти света были подозрительны, оба, казалось, подменяют непосредственное восприятие реальности – тьму тайны. «Моя величайшая религия, – говорил он еще в 1912 году, – это вера в плоть и кровь, в то, что они мудрее, чем интеллект. Наш мозг может ошибаться. Но то, что чувствует, что говорит, во что верит кровь – всегда правда». Подобно Блейку, который молился, чтоб его не настигла «одномерность видения и Ньютонов сон», подобно Китсу, который готов был изничтожить Ньютона за то, что тот объяснил радугу, Лоуренс не доверял чрезмерному знанию, потому что оно ослабляло у людей чувство удивления и лишало способности ощутить великую тайну. Его неприятие науки выразилось в странных, фантастически нелепых фор-

мах. «Все ученые – лжецы, – твердил он, когда я приводил экспериментально подтвержденные факты, которые ему не нравились. – Лжецы, лжецы!» Это была наиболее удобная теория. Особенно запомнился долгий ожесточенный спор об эволюции, реальность которой Лоуренс всегда отрицал с особой страстностью. «Но взгляни на доказательства, Лоуренс, – настаивал я, – взгляни на все эти доказательства». И типичный для него ответ: «Но мне плевать на доказательства. Доказательства ничего для меня не значат. Я не чувствую этого *здесь*», – и он прижал обе ладони к солнечному сплетению. Я прекратил спор, и после этого, если была возможность, никогда не произносил ненавистное слово «наука» в его присутствии. Лоуренс мог дать так много, и то, что он давал, было столь ценно, что было бы глупо и жалко тратить время на дискуссии о вещах, к которым он категорически отказывался проявлять рациональный интерес. Но каковы бы ни были последствия для интеллекта, он оставался до мозга костей неколебимо преданным своему собственному гению. *Дух*, которым он был одержим, был, как он чувствовал, чем-то божественным; он никогда не стал бы отрицать или объяснять его, никогда не предложил бы и компромисса. Это доверие к своему «я», точнее, к своему дару, к загадочному и могущественному божественному покровителю, который, он чувствовал это, использует его как свою обитель, принципиально важно для Лоуренса и, как ничто иное, объясняет все то, что мир считал странным в его взглядах и поведении. Это не была неспособность понять, а потому и отвергнуть, те обобщения и абстракции, при помощи которых философы и ученые пытаются найти путь к человеческому духу в хаосе объектов чувственного восприятия. Повторяю: не неспособность. Потому что Лоуренс, помимо и сверх своего особого дара, имел острый ум. Он был и умным, и гениальным человеком. (В отрочестве и юности он с удивительной легкостью сдавал экзамены). Когда хотел, он мог прекрасно понять цели и методы науки. Он действительно прекрасно понимал их; и именно по

этой самой причине он их отвергал, потому что методы науки и аналитической философии были несовместимы с использованием его дара – мгновенным постижением и художественным воплощением божественной нездешности. И их цель – отодвинуть, насколько возможно, границы неизвестного – нельзя было примирить с его целью оставаться в максимально близком соприкосновении с окружающей тьмой. И вот, несмотря на их общепризнанность, он отвергал науку и аналитическую философию. Он оставался предан своему дару. Исключительно предан. Он не пытался определить или объяснить свое мгновенное постижение тайны, не пытался и дополнять его другим, отвлеченным знанием. «Эти ужасные рассудочные птички, вроде По и его Лигейи, отрицают ту самую жизнь, что в них заложена. Они хотят все превратить в разговор, в *знание*. И вот жизнь, которая не желает быть познанной, покидает их». Лоуренс отвергал отвлеченные знания. Он предпочитал жить и хотел, чтобы другие тоже жили.

Совершенных и универсальных людей от природы не бывает; невозможно обладать прирожденным знанием в области любого человеческого опыта. Универсальность может быть достигнута только теми, кто лишь мысленно воспроизводит жизненный опыт, короче, всезнайками, вроде Гёте (художника, к которому Лоуренс всегда испытывал сильнейшее отвращение).

Опять же, никто не рождается совершенным и никому не дано вдруг достичь совершенства. Величайший дар тоже чем-то ограничен. Совершенство, будь то этическое или эстетическое, должно стать результатом знаний и трудолюбивого применения этих знаний. Правильная эстетика – это свод правил и лучших классических образцов; правильная нравственность – это десять заповедей и подражание Христу.

Лоуренс никогда не допустил бы такого «неестественного» поведения и такого предательства по отношению к своему Богу-покровителю. Отсюда его эстетический принцип: искусство должно быть спонтанным и,

как и художник, несовершенным, ограниченным и изменчивым. Отсюда же и его этический принцип: первейшая обязанность человека – не пытаться жить выше своего общественного положения и превзойти унаследованные психологические возможности.

Великое произведение и памятник, прочнее бронзы, – в их совершенстве и нетленности есть что-то нечеловеческое, уж слишком они хороши. Лоуренс не одобрял их. Искусство, – думал он, – должно расцветать от мгновенного импульса самовыражения и коммуникации и увядать вместе с угасанием этого импульса. Из всех строительных материалов Лоуренсу больше всего нравилась глина; он ценил ее удивительную пластичность и недолговечность. В глине невозможны вечные пирамиды и математически выверенные парфеноны. Невозможны они, слава Богу, и в дереве. Лоуренс любил этрусков, помимо прочего еще и потому, что они строили деревянные храмы, которые до нас не дошли. Камень угнетал его своей нерушимой прочностью, своей способностью принимать и сохранять строгие, бескомпромиссно чистые геометрические формы. Великие сооружения были ему неприятны, даже если они и были красивы. Такую же неловкость чувствовал он рядом с любым идеально законченным произведением искусства. В музыке, к примеру, он любил народные песни – это было нечто легкое, рожденное мгновенным импульсом. Симфония угнетала его; она была слишком длинной, слишком изощренной, слишком старательно и сознательно сделанной, слишком, если употребить характерное для него выражение, «такой, как полагается». Лоуренс твердо решил, что ни одно его произведение не будет «таким, как полагается». Он позволял им расцветать, как им вздумается, из глубины его существа и никогда не стал бы прибегать к интеллекту, чтобы добиться от них сверхчеловеческого совершенства или сверхчеловеческой универсальности. Характерно, что он никогда не правил и не латал свои произведения. Я часто слышал от него, что он не способен исправлять. Если он был недоволен

тем, что написал, то, в отличие от нас, он никогда не сокращал, не переписывал, не вычеркивал, не делал вставок – он писал заново. Иными словами, он давал своему «Богу–покровителю» еще один шанс сказать то, что он хотел. Насколько я знаю, есть три законченных и отличных друг от друга рукописи «Любовника леди Чаттерли». И это отнюдь не единственный роман, который он переписывал. Он твердо решил, что все его творчество будет всплеском мистического иррационального источника мощи, живущей в нем. Сознательному интеллекту никогда не будет позволено навязывать этому творческому всплеску отвлеченную модель совершенства.

С этикой было то же, что и с искусством. «Они хотят, чтобы я работал над формой. Значит, они хотят, чтобы я принял *их* пагубную, окостенелую, худосочную форму, а я не хочу». Это писалось о его романах, но в полной мере это относилось и к его жизни. Каждый, настаивал Лоуренс, должен быть художником и в жизни своей, должен создать собственную форму нравственности. Искусство жизни труднее, чем искусство писательства. «Гораздо сложнее заниматься любовью и добиваться любви, чем рассуждать о любви». Тем больше оснований в таком случае отдаваться этому искусству с самой утонченной и обостренной чувствительностью, тем больше оснований не принимать эту «пагубную, худосочную» форму нравственности, которую *они* постоянно стремятся навязать нам. Дело чуткого художника принимать свою природу такой, какая она есть, и не стараться насильно впихнуть ее в чужую форму. Он должен принимать тот материал, который ему дан, – слабость и иррациональность в той же мере, как осознанность и добродетель; мистическую тьму и нездешность в той же мере, как свет разума и рациональное эго; он должен принять и переплести все это вместе взятое в удовлетворяющую его форму; *его*, а не чью-то еще. «Как-то я сказал самому себе: “Как могу я винить... На что гневаться?”... Теперь же я говорю: “Когда приходит гнев с горящими глазами, он может осуществить свою волю. Он едва ли ответит от меня

Божью десницу. Он один из архангелов с огненным мечом. Бог послал его – это выше моего понимания”». Это было написано в 1910 году. Даже на заре своего творческого пути Лоуренс представлял себе человека просто как вместилище многобожия. При его особом даре восприятия и самовыражения это было неизбежно. Так же неизбежно, как то, что такой человек, как Блейк, с его особой гениальностью, должен был сформулировать очень похожую доктрину независимости личности. Все общепризнанные философские и этические системы стремятся ограничить многобожие во имя некоего иеговианского интеллектуального и нравственного постоянства. Лоуренс считал такую позицию неоправданной. Одно божество имеет столько же прав на существование, как и другое, и темные боги не менее истинно божественны, чем светлые. Возможно (так как Лоуренс был особенно восприимчив к темной масти и столь талантливо отображал это в своем искусстве), возможно, даже более божественны. Во всяком случае, многобожие демократично. Такое понимание человеческой природы вылилось в создание двух довольно удивительных доктрин – онтологической и этической. Первую я мог бы назвать Доктриной Космической Бесцельности. «Нет никакой цели. Жизнь и Любовь – это только жизнь и любовь; букет фиалок – всего лишь букет фиалок, и притягивать сюда идею цели – значит все загубить. Живи и давай жить другим, люби и давай другим любить, расцветай и увядай, следуя естественной жизненной кривой, которая тянется безо всякой цели».

Онтологическая бесцельность имеет свое соответствие в Доктрине Безразличия. «Заботы буквально пожирают людей. Они полностью поглощены заботами о Лиге Наций, о фашизме, о том, права ли Франция, о том, под угрозой ли институт брака, – поглощены настолько, что вообще не представляют, где они находятся. Совершенно определенно, они не живут тем, что с ними в данный момент происходит. Они населяют абстрактное пространство, необитаемую пустоту политики, принципов,

добра и зла и тому подобного. Они обречены быть абстрактными. Беседовать с ними – все равно как пытаться установить человеческие отношения со знаком “х” в алгебре». Еще в 1911 году он советовал сестре: «Не лезь ты в религию. Будь я на твоём месте, я бы все это бросил и постарался бы жить полностью настоящим».

Когда читаешь такие пассажи – а их немало в любой книге Лоуренса, – всегда вспоминается одно место в «Мыслях», где Паскаль говорит о нелепых вещах, отвлекающих людей, о вещах, которые заполняют их досуг, так что в сознании не остается ни щелки для серьезных мыслей. Лоуренс тоже резко выступает против *«развлечений»*, но не тех, о которых говорит Паскаль. Согласно Лоуренсу, существуют две великих и преступных вещи, отвлекающих людей. Во-первых, работа, которую он рассматривал как нечто отупляющее, подобно опиуму. («Не слишком переутомляйся, – писал он одному трудолюбивому другу, – это аморально». Аморально, потому что, помимо прочего, это слишком просто, это увливание от первейшей обязанности человека – жить. «Подумайте об отдыхе и покое, благотворной лени и роскошестве безделья – это и есть работа». Лоуренс прямо-таки по-пуритански осуждал зло, проистекающее от работы. Он напал на Евангелие трудолюбия по той же причине, по какой Хрисипп напал на Аристотелево Евангелие чистого интеллекта, – по причине того, что работа, выражаясь словами древнего стоика, «всего лишь развлечение» и что жизнь – более серьезная штука, чем труд и отвлеченные рассуждения).

Другой непростительной отвлекающей вещью в глазах Лоуренса была «бесплотность», те пустые размышления о природе вещей, которые для Паскаля и составляли «достоинство и главное занятие человека». Лоуренс был не менее потрясен тем, что люди могут до такой степени забывать о радостях и трудностях сегодняшнего дня, чтобы помнить о вечности и беспредельности, не говоря уж о Лиге Наций и святости института брака. И Паскаль, и Лоуренс были великими художниками; и потому каж-

дый может убедить нас, что он до какой-то степени прав. Здесь не место обсуждать, до какой именно степени. Да, пожалуй, этот вопрос и не предполагает однозначного ответа. «Человеческое сознание, – писал Лоуренс, – совершенно индивидуальное дело. Некоторые рождены с возвышенным и тонким сознанием». А другие – нет. Более того, каждый возраст имеет подходящую для него философию жизни. (Я бы сказал, что философия Лоуренса не особенно подходила для старых и немощных). Кроме того, существует определенное стечение обстоятельств, когда сиюминутная жизнь тоже является «отвлечением», а в других обстоятельствах почти преступно отвлекаться на мысли о вечности или о Лиге Наций. Особый гений Лоуренса был таков, что он настаивал на сиюминутном проживании жизни вплоть до отрицания идеалов и твердых принципов, настаивал на интуиции вплоть до отрицания логического хода мысли. Паскаль, со своим совершенно иным даром, исповедовал, неизбежно, совершенно иную философию.

Нелюбовь Лоуренса к абстрактным знаниям и полной «бестелесности» превратила его в своего рода мистического материалиста. К примеру, на него очень влияла луна; и потому «она не могла быть каменным холодным миром, подобным тому, каким оказался бы наш мир, если бы лишился тепла. Чуть! Это небесное тело динамической субстанции, вроде радия или фосфора, сгустившихся над бурлящим полюсом энергии». Предмет внутренне должен быть столь же живым, как и ум, постигающий его и потрясенный этим постижением. Живые и сильные духовные последствия должны иметь не менее живые и сильные материальные причины. И наоборот – любое сильное чувство или желание должно быть способно произвести сильное влияние на внешний мир. Лоуренс не мог заставить себя поверить, что дух может быть потрясен, потрясен подчас до безумия, не отдавая при этом хоть самую малую толику своей потрясенности внешнему миру. Он был субъективистом в не меньшей степени, чем материалистом; другими словами, он верил

в возможность чуда в той или иной форме. Мистический материализм Лоуренса нашел характерное для него выражение в странной космологии и физиологии его теоретических очерков и в формулировке новой странной христианской доктрины воскрешения человеческого тела. Он считал, что бессмертия духа не достаточно, так как дух – это сознательная идентичность человека; а Лоуренс не хотел всегда быть идентичным самому себе; он хотел познать нездешность, познать так, чтобы стать ею, познать ее в живой плоти, которая всегда, по сути, нездешняя. Вот почему должно быть воскресение человеческого тела.

Верность своему гению не оставляла ему выбора; Лоуренс должен был настаивать на существовании тех мистических сил нездешности, которые рассыпаны вовне и темно сконцентрированы внутри тела и сознания человека. Да, должен был, хотя как романист он навязывал себе тем самым довольно серьезную проблему. Потому что, в соответствии с его взглядом на вещи, большинство сфер человеческой деятельности было в той или иной степени преступным отвлечением от единственно стоящего дела – жизни как таковой. Он отказывался писать о таких отвлечениях, тем самым он отказывался писать об основных видах деятельности в современном мире. И, как если бы эти суровые ограничения его тематики были недостаточны, он пошел еще дальше и в некоторых своих романах отказался описывать даже характеры людей в общепринятом смысле этого термина. «Радуга» и «Влюбленные женщины» (да, по правде сказать, в несколько меньшей степени и все остальные его романы) являют практическое применение той теории, которая была сформулирована им в интересном и важном письме Эдварду Гарнетту, датированном 5 июня 1914 года: «Однако в том, что касается лекарства – нечеловеческое в человечестве более интересно для меня, чем старомодные человеческие составляющие, которые заставляют художника задумывать характер в рамках определенной нравственной схемы, чтобы сделать

образ последовательным. Определенная нравственная схема – вот против чего я возражаю. В Тургеневе, и в Толстом, и в Достоевском нравственная схема, в которую втиснуты характеры (и она почти всегда одна и та же), она, как бы необычны ни были характеры, – скучна, стара, мертва. Когда Маринетти пишет: “Прочность стального клинка интересна сама по себе – это нечеловеческое, непостижимое соединение молекул в их, если можно так выразиться, противостоянии пуле. В раскаленном железе, в куске горящего дерева для нас больше страсти, чем в смехе женщины или в ее слезах”, – я знаю, что он имеет в виду. Как художник он туповат, ибо *противопоставляет* жар железа и смех женщины. Потому что то, что интересно в смехе женщины, ничем не отличается от строения молекул стали и их реакции на нагревание: это нечеловеческая воля, назовем ее физиологией, или, как называл ее Маринетти, физиологией предмета, – вот что зачаровывает нас. Меня не так уж интересует, что женщина *чувствует*, в обыденном понимании этого слова. Для того, чтобы чувствовать, нужно *эго*. Мне только важно, чем она *является* – чем она является – нечеловечески, физиологически, материально – в моем понимании этого слова... Вы не должны рассматривать мои романы в свете этого старого, зачерстневшего *эго* характеров. Существует иное *эго*, и когда индивид действует в соответствии с ним, он становится неузнаваем и проходит все аллотропические состояния – для того, чтобы их понять, нужен более глубокий ум, чем тот, каким мы обычно пользуемся, – понять, что это состояния того же самого, по сути неизменного элемента. (Подобно этому, и алмаз и уголь – оба являются углеродом, если говорить об элементах. Обычный роман будет проследживать историю алмаза. Но я говорю: “Алмаз! Ха! Это же углерод!”)».

Опасность и трудность такого метода очевидны. Много позднее профессор Сейнтсбери, исследуя Стендаля, говорил о «том психологическом реализме, который, быть может, более отличен от психологической ре-

альности, чем наши умники последних двух поколений готовы были признать, а возможно, и осознать».

Психологическая реальность, подобно физической реальности, определяется нашим умственным и телесным макияжем. Здравый смысл, опираясь на свидетельства наших беспомощных чувств, постулирует мир, в котором физическая реальность состоит из массивных столов и стульев, из кусков угля, из воды и воздуха. Продвигаясь далее в своих исследованиях, наука открыла, что эти объекты физической реальности «реально» состоят из атомов различных элементов, а эти атомы, в свою очередь, «реально» состоят из более или менее бесчисленных протонов и электронов в самых разнообразных сочетаниях. Подобно этому, существует общедоступная прагматическая концепция психологической реальности; а также не общедоступная. Для обычных практических целей мы рассматриваем людей как создания с определенными характерами. Но анализ их поведения может быть столь углублен, что они потеряют характеры и обнаружат скопища психологических атомов, из которых они состоят. Лоуренс (чего и нужно было ожидать от человека, способного всегда разглядеть нездешность за самыми привычными феноменами) придерживался этого не общедоступного взгляда на психологию. Отсюда странность его романов, и отсюда же, надо признать, некоторые присущие им качества: дикая монотонность и сильнейшая туманность; качества, которые делают некоторые его произведения, несмотря на все их богатство и неожиданную красоту, такими до странности трудно-читаемыми. Большинство из нас больше интересуется алмазами и углем, а не нерасщепленным углеродом, как бы живо он ни был описан. Я знал читателей, чья реакция на книги Лоуренса была примерно такой же, как реакция самого Лоуренса на теорию эволюции. То, что он писал, их не трогало, потому что они «не чувствовали это здесь», в солнечном сплетении. (Может показаться странным, что Лоуренс, ненавистник научных знаний, мог применить к психологии методы, которые сам он

сравнил с методами, применяемыми при химическом анализе. Но надо помнить, что его анализ проводился не на уровне интеллекта, а при помощи мгновенной интуиции; и что он был способен *почувствовать* углерод в алмазе и в угле, *попробовать на вкус* водород и кислород в стакане воды.)

Таким образом, Лоуренс обладал даром (или, если хотите, можно сказать и иначе – дар обладал Лоуренсом) – даром, которому он был несокрушимо предан. Я попытался показать, как это обладание и эта преданность повлияли на его образ мыслей и его творчество. А как они повлияли на его жизнь? Отвечу, по возможности, его собственными словами. Однажды он написал Кэтрин Карсуэлл: «Думаю, вы единственная женщина из всех, кого я встречал, кто так подлинно независима, так полностью отделена, отъединена, что может быть настоящим писателем, или художником, или хроникером событий. Ваше общение с другими людьми – это лишь прогулки от себя самой. И хотеть детей или других человеческих свершений – это, я думаю, не для вас. Вы не созданы блистать в обществе, вам надо оставаться в полнейшей неприкосновенности, каким бы ни был ваш жизненный опыт».

Знание Лоуренса, каким должен быть «художник», было явно личным. Он знал из собственного опыта, что «настоящий писатель» – совершенно особое существо, у которого не должно быть желания «блистать в обществе», который предаст себя, когда слишком рьяно мечтает об обычных человеческих достижениях. Все художники знают это о людях своей профессии, и многие поведали об этом знании. Поведали подчас с огорчением. Быть подлинно независимым – это не шутка. Лоуренс несомненно всю жизнь страдал от полнейшего одиночества, на которое его дар обрекал его. «Что мучит меня, – писал он психологу, доктору Трайганту Бёрроу, – так это полная подавленность во мне первобытных общественных инстинктов... Я думаю, общественные инстинкты гораздо глубже, чем сексуальные – и подавление их го-

раздо более опустошительно. Никакое подавление сексуальной индивидуальности не сравнится с подавленностью общественного человека во мне моим личным эго, моим собственным и любимым другим... Что до меня, я страшно страдаю от этой отъединенности... Временами человек *вынужден* становиться сущим отшельником. Я не хочу этого. Но все остальное – это спор либо с самим собой, либо из-за денег. Огорчительно. Если, конечно, не считать обычных знакомых, которые и остаются просто знакомыми. У человека нет по-настоящему близких ему людей – это так огорчительно». «Нет по-настоящему близких людей», – это жалоба любого художника. Первейший долг художника – это долг перед своим гением, своим *Богом-покровителем*, художник не может быть слугою двух господ. Лоуренс как раз обладал редким даром вступать в близкие отношения почти со всеми, с кем сталкивала его жизнь. «Здесь (в пансионе Борнеманта, где он жил после болезни в 1912 году) я глубоко погрузился в человеческие жизни – это очень интересно; иногда немного больно, часто весело. Я достиг такой близости с народом, что это вносит некую путаницу. Однако я люблю находиться в таком клубке». Но его любовь к своему искусству была сильнее, чем любовь к клубку; и когда бы этот клубок угрожал подвергнуть риску его деятельность как художника, клубок был бы принесен в жертву. Он отступал. Единственные глубокие и прочные отношения связывали Лоуренса с его женой. («Для меня безнадежное дело, – писал он одному коллеге по цеху, – пытаться что-то делать, если за моей спиной не стоит женщина... Бёклин – или кто-то вроде него – не располагался в кафе, если за его местом не было стены. Я не решаюсь расположиться в мире, если за моей спиной нет женщины... Женщина, которую я люблю, как бы обеспечивает мне прямое общение с непознаваемым, без нее я бы там заблудился». В остальном он был обречен своим даром на полную изоляцию. Правда, нередко он винил мир в своей ссылке. «Все идет к этому, *целостность* человечества разрушено во мне [войной], я– это

я, а вы – это вы, и небо и ад бездной лежат между нами. Поверьте, я бесконечно огорчен, что вот так оторван от человечества в целом, но все же это есть, и это правильно». Это было правильно потому, что в действительности не война оторвала его от человечества в целом, это был его талант, странное божество, которому он прежде всего хранил верность. «Я больше не буду жить настоящим временем, – писал он по другому поводу. – Я знаю его. И я отвергаю его. Насколько смогу, я буду жить вне времени. Я буду жить собственной жизнью и, если возможно, буду счастлив. Хоть весь мир в ужасе и летит в бездну... я верю, что величайшая добродетель – быть счастливым, жить по правде, не поддаваться лживости этих личных времен». Это определение особо значимо. Изю всех уничтожительных определений, которые можно применить к нашему непростому веку, «личный», разумеется, будет одним из последних у большинства из нас. Для Лоуренса оно было первым. Его дар был даром чувствования и воплощения неизвестного, мистической нездешности. Для того, кто обладает таким даром, практически любой век будет казаться неоправданно и опасно личным. Он должен был отринуть его и пуститься в бегство. Но убежав, он не мог сдерживать жалоб на отсутствие «по-настоящему близких человеческих отношений». Временами он судорожно пытался достичь контакта с человечеством в целом. Неоднократно были проекты создания колоний в отдаленных уголках земли; все они провалились. Были попытки присоединиться к какой-либо политической партии, однако – «...я, похоже, полностью потерял связь с “прогрессивной” группировкой. В Кройдоне социалисты так глупы, а фабианцы так банальны». (Увы, и не только в Кройдоне.) Потом, во время войны, у него был план вместе с несколькими друзьями предпринять независимую политическую акцию; и однако – «...я хотел бы находиться в уединении, в Италии, и писать словами души своей. Для меня ораторствовать значит осквернять себя». И, в конце концов, он не стал себя осквернять; он остался в стороне, в уединении, «в полной изоляции».

«Не ради пейзажа живешь здесь,— писал он из Корнуолла в 1916 году,— а ради свободы гулять в одиночестве». Как же остро он страдал от свободы, в которой он жил! В «Кенгуру» описывается последняя стадия спора одинокого художника с человеком, стремящимся к социальной ответственности и контакту с человечеством в целом. Лоуренс, как и герой его романа, в конечном счете — против контакта. Он был по природе своей не лидером, а пророком, гласом, вопиющим в пустыне,— пустыне собственного одиночества. Пустыня была самым подходящим для него местом, и все же он чувствовал себя там, как в ссылке. Он писал Ролфу Гардинеру в 1926 году: «Хотел бы я быть связан с какой-нибудь небольшой группой людей и вместе с ними в чем-то участвовать. Что касается общих дел, я всегда был очень одинок и всегда сожалел об этом. Но я не могу быть членом клуба, общества, масонской ложи и тому подобной чертовщины. Так что, если у вас есть деятельность, к которой я мог бы примкнуть, я буду благодарить небеса. Но, разумеется, я буду крайне осторожен, беря на себя обязательства». Действительно, он был настолько осторожен, что так и не принял на себя обязательства и умер в таком же уединении, ни с кем не связанный, как и жил. Его Бог-покровитель не позволил бы ему поступить как-то иначе.

(Я не хочу обсуждать, был бы Лоуренс счастливее, если б послушался своего Бога-покровителя и заставил бы себя вступить во внешние отношения с человечеством в целом. Непосредственность — не единственный и не безошибочно верный путь к счастью; с другой стороны, и существование «как полагается» не обязательно ведет к краху. Но это к слову).

Думаю, именно чувство отъединенности подталкивало Лоуренса к беспокойным скитаниям по свету. Его путешествия были одновременно и бегством и поиском: поиском такого сообщества, с которым он мог бы достичь контакта, такого мира, где время не было бы «личным» и где головное знание не извратило бы жизнь; это был поиск и в то же время бегство от бед и зол общества, в котором

он родился и по отношению к которому, несмотря на всю свою отрешенность художника, чувствовал большую ответственность. Он ощущал себя «англичанином до мозга костей по отношению ко всему миру и даже по отношению к самой Англии», и именно поэтому он должен был ехать на Цейлон, в Австралию, в Мексику. Он не мог бы почувствовать себя до такой степени англичанином в Англии, пока не принял бы участия в корпоративных политических акциях, пока не был бы вовлечен во что-то и не стал принадлежать чему-то; но он никогда не смог бы заставить себя быть вовлеченным во что-то: живущий в нем художник воспринял бы это как осквернение. Он был слишком англичанином и слишком явно художником, чтобы оставаться дома. «Быть может, для меня необходимо побывать в этих местах, быть может, мне судьбой назначено повидать свет. Это лишь внешне возбуждает меня. Внутренне я остаюсь еще более отъединенным и стоически твердым, чем когда-либо. Именно так. Весь этот Дикий Запад и удивительная Австралия – лишь способ убежать от самого себя и от серьезных проблем. Но я стараюсь сохранить чистоту. Внутренне я не чувствую ни малейшей привязанности, особенно здесь, в Америке».

Его поиск был столь же бесплоден, сколь бессмысленно было его бегство; он не мог ускользнуть ни от тоски по дому, ни от чувства ответственности; и он так и не сумел найти круг людей, к которому мог бы принадлежать. В своего рода отчаянии он окунался все глубже в окружающую тайну, в темную ночь той нездешности, сутью и символом которой был сексуальный опыт. В «Любовнике леди Чаттерли» Лоуренс подвел итог своих путешествий и из долгих и бесплодных опытов побега и поиска извлек то, что было для него неизбежной моралью. Это удивительная и прекрасная книга; но невыразимо грустная. Однако такой же грустной, по существу, была и жизнь ее автора.

Психологическая изоляция Лоуренса проистекала, как мы видели, из его физической изоляции от человечества в целом. Эта физическая изоляция влияла на его

мысли: «Не обижайтесь на мое нахальство,— писал он одному из своих корреспондентов в конце довольно—таки догматического письма,— живя здесь, в одиночестве, человек становится совсем другим и вещает, будто *ex cathedra**. Жизнь в одиночестве, над схваткой, имеет свои преимущества; но она налагает и определенное наказание. Те, кто смотрит на мир с высоты птичьего полета, видят его с ясностью и пониманием; но они склонны не замечать массу мелких деталей, пренебрегать трудностями общественной жизни и из-за этого пренебрежения судить слишком стремительно и слишком легко выносить обвинительный приговор. Ницше провел самые плодотворные годы, забравшись высоко на вершины гор, либо нырнув в не менее бездонное одиночество средиземноморских пансионатов. Вот почему этот деликатный и чувствительный человек мог быть столь кроваважно критичным — таким неправым, несмотря на все свое дарование, и одновременно таким правым. Из пустыни Нью-Мексико, из сельских Тосканы и Сицилии, из непаханных земель Австралии Лоуренс и наблюдал, и судил, и давал советы отдаленному от него миру. И его суждения, как и следовало ожидать, зачастую бывали стремительными и резкими, а советы — восхитительные сами по себе — неуместными. Политические советы даже от самых гениально одаренных религиозных новаторов всегда неуместны, потому что, по существу, они никогда не бывают о политике; они всегда о чем-то другом. Разница в количестве (если она достаточно значительная) всегда влечет за собой разницу в качестве. К примеру, этот лист бумаги качественно отличен от электронов, из которых он состоит. Такая же разница отличает мир политика от мира художника, или моралиста, или религиозного проповедника. «Это дело художника,— писал Лоуренс, — довести ее [войну] до сердца каждого отдельного бойца — не говорить об армиях, нациях, цифрах, но привести ее в дом — дом — их война — и это в глуби-

* С амвона (*лат.*).

не сердца почти каждого англичанина – война – жажда войны – воля к войне – и в сердце каждого немца». Но обращение к каждому конкретному сердцу не производит никакого впечатления на политиков, это наука усредненного. Служащий страховой фирмы может сказать, какова вероятная цифра самоубийств в следующем году. И никакой художник, моралист или мессия не сможет, апеллируя к конкретному сердцу, опровергнуть его прогноз. Если то, что принадлежит кесарю, отличается от того, что принадлежит Богу, так только потому, что кесарево исчисляется тысячами и миллионами, а Божье – конкретными душами. А у темного бога Лоуренса это были даже не конкретные души, а психологические атомы, которые, соединившись в определенную фигуру, составляют душу. Когда Лоуренс давал политический совет, он относился к вещам, совершенно не связанным с политикой. Мир политики, мир огромных чисел, был для него кошмаром, и он бежал от него. Примитивные сообщества столь малы, что их политика была, по существу, совсем не политикой, и в этом заключалась одна из их привлекательных сторон для Лоуренса. Оглядываясь из какой-нибудь отдаленной малонаселенной горной местности на современный многолюдный мир, Лоуренс ужасался открывшимся видом. Он клеймил, он давал советы, но в конце концов в глубине души он чувствовал свое бессилие в общении с чуждыми ему бесчеловечными проблемами мира кесаря. «Хотел бы я, чтобы существовали чудеса», – таков был его окончательный, полный отчаяния вывод. «Я устал от старого, трудоемкого способа приводить вещи к их завершению». Но, увы, чудес не бывает, и вера, даже вера человека гениального, не сдвигает горы с места.

Довольно объяснений и интерпретаций. Для тех, кто знал Лоуренса, важно не почему он был таким, а то, что он был тем, кем он был. Я прекрасно помню свою первую встречу с ним. Время – 1915 год. Место – Лондон. Но страстная беседа с Лоуренсом была о географически отдаленном, а лично очень близком. Об ужасах

средней дистанции – войне, зиме, городе – он говорить не хотел. Потому что это было накануне (как он полагал) его отъезда во Флориду; во Флориду, где он собирался основать колонию беглецов, о которой мечтал вплоть до конца жизни. Иногда имя и место зародыша этого иного, более счастливого мира были чистой фантазией. Например, он назывался Рананим и был островом, вроде как у шекспировского Просперо. Иногда это было вполне определенное место на карте и называлось оно Флорида, Корнуолл, Сицилия, Мексика, или вновь, на какое-то время, сельская Англия. В тот зимний день 1915 года это была Флорида. Мы не успели допить чай, как он спросил меня, не присоединюсь ли я к колонии; и хотя я был очень осторожным юным интеллектуалом, вовсе не склонным к энтузиазму, и хотя Лоуренс смутит, даже напугал меня такой полной искренностью, к которой я не был приучен своим воспитанием, я ответил «да».

Несомненно к счастью, затея с Флоридой провалилась. Города Бога всегда разрушаются. И город Лоуренса – вернее, деревня, потому что Лоуренс ненавидел города – его Деревня Черного Бога распалась бы, как и все остальные. К лучшему, что она осталась, и оставалась всегда, лишь проектом и надеждой. И я знал это, знал даже тогда, когда сказал, что присоединюсь к колонии. Но в Лоуренсе было что-то, что делало это знание в его присутствии несущественным. Он мог предложить неосуществимый план, он мог говорить или писать совершенно неверные вещи, или даже (как в разговоре о науке) абсурдные. Но, по существу, это не имело значения. А имел значение всегда сам Лоуренс, тот огонь, который в нем разгорался, который озарял странным чудесным сиянием почти все, что он писал.

Следующая моя встреча с Лоуренсом произошла через несколько лет во время одного из его кратких выездов в послевоенную Англию, которую он стал так бояться и не любить. Потом в 1925 году, будучи в Индии, я получил письмо из Споторно. Он прочел мои эссе об

итальянском путешествии, сказал, что они ему понравились, предложил встретиться. На следующий год мы были во Флоренции, и он тоже там был. С тех пор и до его смерти мы часто встречались – во Флоренции, в Форте деи Марми, провели всю зиму в Дьяблеретсе, в Бандоле, в Париже, в Шексбресе, снова в Форте, и наконец в Вансе, где он умер. В дневнике, который я временами вел, под датой 27 декабря 1927 года я нашел такую запись: «Обедал и провел вторую половину дня с Лоуренсами. Д.Г. Л. в прекрасной форме, изумительно шутит и говорит. Он один из немногих, кто вызывает у меня настоящее уважение и восхищение. По отношению к большинству известных людей, с которыми я встречался в жизни, я чувствовал, что, во всяком случае, принадлежу к той же породе, что и они. Но этот человек принадлежит к принципиально иному и более высокому виду».

«К иному и более высокому виду», – думаю, все, кто знал Лоуренса, должны были это почувствовать. Существо иного порядка – более нежный, более возвышенно думающий, более глубоко чувствующий, чем самый одаренный из обычных людей. Конечно, у него были свои слабости и недостатки; у него была своя интеллектуальная ограниченность, – ограниченность, которую он, казалось, нарочно сам себе навязал. Но эти слабости, недостатки, ограниченность не влияли на присущую ему высшую нездешность. Они уменьшали его количественно, если можно так сказать, тогда как нездешность его была качественной. Отпейте полстакана вина – то, что останется, все равно будет вином. А вода, каким бы полным ни был стакан, все равно будет безвкусной и бесцветной.

Быть с Лоуренсом было своего рода приключением, путешествием в новизну и нездешность.

Потому что, будучи существом иного порядка, он обитал в иной вселенной, не той, где живут обычные люди, – в более ярком и красочном мире, и, пока он говорил о нем, он делал тебя тоже свободным. Казалось, он смотрел на мир глазами человека, который был на грани

смерти и которому, когда он выбрался из темноты, мир открылся в своей непостижимой красоте и тайне. Для Лоуренса существование было одним сплошным выздоровлением, как будто он ежедневно заново рождался после смертельной болезни. То, что открывалось этим выздоравливающим глазам, могли выдавать случайно брошенные фразы. Загородная прогулка с ним была прогулкой в окружении изумительно богатого и значительного пейзажа, который был одновременно и фоном, и главным героем всех его романов. Казалось, он по собственному опыту знал, что значит быть деревом, или маргариткой, или набегающей волной, или даже таинственной луной. Он мог влезть в шкуру животного и рассказывать, совершенно убедительно, что оно чувствует и как смутно, не по-человечески, оно думает. Например, о Черноокой Сьюзен, его корове на ранчо в Нью-Мексико, он мог говорить бесконечно, а я был готов бесконечно долго слушать его рассказы о ее характере и ее коровьей философии.

«Он видит больше, – сказала мне как-то Вернон Ли, – чем положено человеку. Быть может, поэтому, – добавила она, – он так ненавидит человечество». Но поэтому же он и любил его так сильно. И не только людей: он любил и природу, и даже сверхъестественное. Потому что, куда бы он ни взглянул, он видел больше, чем должен видеть человек; видел больше, а потому любил и ненавидел тоже больше. При нем человек как бы перемещался к границе человеческого сознания. Для тех, кто живет в стране безопасных мыслей и чувств, это было весьма волнующим переживанием.

Одним из величайших достоинств Лоуренса как товарища было то, что ему никогда не было скучно, и поэтому он сам никогда не мог наскучить. Он мог полностью погрузиться в то, что делал в ту минуту; не было такого занятия, чтобы оно оказалось ниже его достоинства или столь незначительным, что не заслуживало делать его, как следует. Он мог стряпать, мог шить, мог штопать чулки и доить корову; он был опытным лесоруб-

бом, мог делать прекрасные украшения, огонь, разведенный им, ярко горел, а пол после уборки Лоуренса был совершенно чистым. Более того, он обладал очень редким для такого нервного и интеллигентного человека качеством – он умел ничего не делать. Он мог просто сидеть и быть совершенно довольным. И его настроение, пока остаешься в его компании, было заразительным. Таки-ми же заразительными, как его благодушие и безмятежность, были его жизнерадостность и смех. Даже в последний год жизни, когда болезнь вцепилась в него мертвой хваткой и мало-помалу убивала его, Лоуренс временами смеялся с прежней буйной веселостью. Ближе к концу нередко, увы, смех был горьким, а хорошее настроение пугающе яростным. Мне приходилось слышать, как он иногда говорил о людях и их поведении с почти сатанинской издевкой; это больно было слышать, несмотря на всю необычайную яркость и глубину его слов.

Тайное осознание своего увядания окрасило последние годы его жизни неизбывной грустью. (Как трагично оскудевает обильный поток его писем по мере приближения к темноте!) Однако он предпочитал гневом прикрывать эту грусть. Эмоциональная несдержанность всегда глубоко шокировала его; и так как он считал гнев менее неприличной эмоцией, чем смирившаяся и жалобно скулящая меланхолия, он предпочитал гневаться. Он брал реванш над судьбой, которая сделала его грустным, яростно осмеивая все вокруг. А так как печаль медленно умирающего человека несказанно глубока, насмешки его были пугающе дикими. В смехе раннего Лоуренса, а иногда, как я уже говорил, и более позднего, не было горечи; он был совершенно восхитительным.

Витальность имеет привлекательность красоты; и в Лоуренсе постоянно бил фонтан витальности. Он еще долго продолжал бить, поднимаясь по временам взрывами пены и радужных брызг, когда по всем законам медицины человек должен был бы уже умереть. Последние два года он был подобен пламени, чудесным образом продолжающему гореть, хотя нет больше топлива, что-

бы его поддерживать. Несмотря на постоянно возникающую тревогу, настолько привыкаешь к тому, что пламя, питающая сама, полыхает в разбитом пустом светильнике, что кажется, будто чудо будет длиться и длиться. Но так не бывает. Когда после нескольких месяцев разлуки я увидел его снова в Вансе ранней весной 1930 года, чудо иссякало, пламя догорало. Несколькими днями позже оно погасло.

Прекрасные и захватывающе интересные сами по себе, письма Лоуренса имеют большое значение как биографические документы. В них Лоуренс описал свою жизнь и нарисовал автопортрет. Мало кто так рассказал о себе через письма. Лоуренс рассказал о себе почти все, потому что он послушался обоих предписаний Бёрнса:

Веди свободно свой рассказ,
Коль друга встретишь где-то,
Однако все же про запас
Держи свои секреты*.

Письма знакомят нас с Лоуренсом, каким он был в обыденной жизни. Мы видим все смены его настроений. (И это любопытно и увлекательно следить, как его настроения будут меняться в зависимости от адресата письма. «Моя доброта иногда заставляет меня быть немного фальшивым», – сердится он сам на себя. Другими словами, он умел приспособливаться. С одним из своих корреспондентов он весел, даже проказлив, потому что от него ожидали проказ. С другим – мрачно задумчив. С третьим говорит на языке пророчеств и откровений.) Мы следим за его продвижением от одного увиденного и живо нарисованного пейзажа к другому. Мы наблюдаем, как он ведет войну – субъективист и одинокий художник, отчаянно сражающийся против кошмара объективных фактов и всего множества бесчеловечных вещей, принадлежащих кесарю. Сражающийся и неизбежно

* «Послание юному другу». Перевод Юрия Князева.

проигрывающий битву. А после войны мы вместе с ним путешествуем по миру, когда он ищет то на одном континенте, то на другом какую-нибудь реально существующую пустыню, которая соответствовала бы его внутренней опустошенности, из которой он мог бы прокричать свое пророчество, или ищет какое-нибудь сообщество, членом которого он мог бы себя почувствовать. Мы видим, как его тянет к людям, а потом вновь они вызывают в нем неприязнь; как он заставляет себя породниться с обществом, а потом внезапно настроение меняется, и он плывет по течению в потоке обстоятельств и его собственных наклонностей. И наконец, по мере того, как болезнь брала над ним верх, мы видим, как его обволакивает темное облако грусти – ужасающей грусти, поддавшись которой, он пишет то мрачные «Колючки», то «Умершего», эту прекрасную и очень трогательную историю о чуде, на которое в глубине души он все еще надеялся, – надеялся, несмотря на твердое знание, что этого не может произойти...

Комментарии

Повести

Лис

Один из шедевров малой прозы Дэвида Герберта Лоуренса – «Лис» – был задуман и написан в период добровольного затворничества автора в Маунтин-Коттедж в городке Мидлтонбай-Уирксуорт, графство Дербишир, в ноябре 1918 года. Годом позже писатель сократил разросшийся до масштабов повести текст для публикации в виде короткого рассказа в журнале «Хатчинсонз стори мэгэзин», состоявшейся в ноябре 1920 года.

Сложный психологический замысел, вобравший в себя углубленные раздумья прозаика о природе человека и ее несоответствии рамкам регламентированного классового общества, однако, продолжал занимать Д.Г.Лоуренса, вернувшегося к работе над повестью в ноябре 1921 года уже в Таормине, на острове Сицилия, куда он переехал годом раньше вместе с Фридой.

С особой тщательностью Д.Г.Лоуренс отделявал трагический финал повести, свидетельствовавший, наряду с ростом стиливого мастерства автора, о его проникновении в неведомые ранее потаенные глубины духовной жизни индивидуума.

В полном варианте повесть была опубликована вместе с двумя другими образцами малой прозы Д.Г.Лоуренса – «Золотой медальон» и «Куколка капитана» – Мартином Секкером в марте 1923 года в Лондоне, а в ноябре того же года – Томасом Селтцером в Нью-Йорке. В позднейшие десятилетия многократно перепечатывалась.

Фабула повести, значительно осложнившись акцентированной во фрейдистском духе линией подсознательно-эротических отношений между обеими героинями, легла в основу одноименного фильма, снятого режиссером Марком Райделлом в 1968 году

Умерший

По сообщениям биографов Д.Г.Лоуренса, исходным стимулом к замыслу этой повести послужило забавное происшествие.

Проживавший на Вилле Миренда в окрестностях Флоренции писатель, погруженный в то время в работу над книгой путевых очерков «По следам этрусков», 10 апреля 1927 года направился с одним из друзей в Вольтерру, где увидел в витрине маленького магазинчика пасхальный сувенир – фигурку вылупившегося из яйца цыпленка. Его собеседник заметил, что «Сбежавший петух» вполне может оказаться иллюстрацией к библейскому мифу о Воскресении. Этот миф не раз побуждал задумываться о себе Лоуренса на данном этапе его творческих и мировоззренческих исканий; и неудивительно, что уже в конце месяца писатель сообщает тому же корреспонденту, что изложил свое, отчетливо неортодоксальное, видение Воскресения Христа и его последующей жизни в миру в рассказе под тем же названием*. Так с рекордной быстротой была написана первая часть повести, едва ли не впервые в истории мировой литературы запечатлевшей Спасителя в образе человека, чей экзистенциальный выбор однозначно делался в пользу земного, чуждого сверхчеловеческим амбициям существования.

Спустя тридцать лет в стихотворении русского поэта, едва ли знавшего о произведении английского прозаика, вновь обозначится образ Иисуса, который, как и герой Д.Г.Лоуренса,

...отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства
И был теперь как смертные, как мы.

Борис Пастернак. Гефсиманский сад.

* См. Sagar, Keith. D.H.Lawrence: a calendar of his works. Manchester, 1979, pp. 160–161.

Этот дерзкий замысел, неизбежно суливший очередную волну нападок обывателей всех мастей и охранительной критики на голову писателя, продолжал волновать Д.Г.Лоуренса и в дальнейшем. Уже в марте 1928 года он задумывается о продолжении повести, в котором последующая жизнь Иисуса должна была бы протекать в плотском союзе с женщиной и пантеистическом слиянии с окружающим миром. Итогом стала вторая часть «Сбежавшего петуха», о завершении которой прозаик сообщил еще одному эпистолярному корреспонденту в конце июня того же года.

Сознавая, что о публикации повести на родине не может быть и речи, Д.Г.Лоуренс вступает в переговоры с частным французским издателем, который и выпускает книгу небольшим тиражом в 1929 году. В Англии повесть выходит – под заглавием «Умерший» – уже после смерти автора в 1931 году. Спустя почти тридцать лет она, под одним переплетом с коротким романом «Сент-Мор», публикуется в США (1959) и впоследствии неоднократно перепечатывается.

На русском языке публикуется впервые.

С. 119. *Как пророк Илия – он поднимется в огненном облаке.* – Аллюзия к 4-й Книге Царств (2:11).

С. 121. *Женщина, служившая Изиде...* – *Изида* – в древнеегипетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, покровительница семьи, сестра и супруга верховного божества египтян Озириса. Культ Изиды получил широчайшее распространение в разных уголках римской империи в период эллинизма. Рисуя встречу снятого с креста Иисуса с жрицей Изиды в Иудее I в.н.э., Д.Г.Лоуренс не только акцентирует символический подтекст повествования (отыскав тело своего злодейски умерщвленного мужа, Изиды зачала от него, мертвого, сына Гора), но демонстрирует незаурядное знание античных авторов – от Плутарха до Апулея.

С. 124. *Это была Изиды, но не Изиды – мать Гора.* – *Гор* мстит его убийце Сету и воскрешает отца; одно из главных божеств в пантеоне древнего Египта, обычно изображаемое с головой сокола.

С. 125. *Ибо она была Изида таинственного лотоса... – Лотос* – священный цветок у древних египтян, символизирующий соединение женского и мужского начал, зарождение и полноту жизни.

Так как ее отец был одним из военачальников и товарищей Антония, сражался рядом с ним и стоял с ним, когда был убит Цезарь... – Антоний, Марк (82–30 гг. до н.э.) – римский полководец, соратник Цезаря, один из членов триумvirата в эпоху гражданских войн; *Цезарь, Гай Юлий (100–44 гг. до н.э.)* – римский полководец и государственный деятель эпохи конца Республики, обусловивший переход к Империи; убит в результате заговора.

Его вдова, не надеясь на милость Октавия... – Октавий (27 г. до н.э.–14 г. н.э.) – внучатный племянник Юлия Цезаря, после убийства последнего ставший одним из членов триумvirата, а в результате победы в гражданской войне явившийся первым императором Рима под именем Октавиана Августа.

Я принес за тебя двух голубей в жертву Венере... – Венера – богиня любви в римской мифологии, рожденная из морской пены дочь Юпитера, покровительница влюбленных.

Рассказы

Рассказ занимает особое место в ряду жанровых форм, в которых воплотилось мастерство Д.Г. Лоуренса-прозаика. Наряду с написанными в девятнадцать лет первыми стихами и амбициозным замыслом романа «Летиция» (в персональный актив автора и современную английскую литературу он войдет под названием «Белый павлин»), именно с попыток утвердить себя на художественном пространстве короткой жанровой зарисовки, моментального «снимка» неостановимо движущегося бытия, с его взлетами и падениями, явными и тайными конфликтами, берет старт в первом десятилетии XX века творческая деятельность писателя, его упорное, сопряженное с постоянным преодолением враждебного непонимания соотечественников служение литературе.

Интенсивное «освоение» Д.Г.Лоуренсом этого художественного пространства объемлет, по сути, всю четверть века, в какую укладывается его писательский путь: начиная с публикации на страницах журнала «Инглиш ревью» в феврале 1910 года новеллы «Гусиная ярмарка» до последних месяцев жизни. Иначе, нежели впечатляющими, трудно назвать и его итоги: наследие Д.Г.Лоуренса–новелиста – около семидесяти рассказов, собранных самим автором и исследователями его творчества в три прижизненных и три посмертных сборника. К этому следует добавить значительное число граничащих с жанром рассказа эссеистических этюдов, вошедших в посмертный свод лоуренсовских произведений «Феникс» (1936).

Широким кругам наших читателей наследие Д.Г.Лоуренса-новелиста по большому счету оставалось незнакомо вплоть до 1985 года, когда, в ознаменование столетия со дня рождения писателя, в серии «Библиотека журнала «Иностранная литература» в свет вышла небольшая книжечка его рассказов*. А в начале 1990-х годов представительная подборка его новелл появилась в книге избранных произведений писателя, выпущенных издательством «Прогресс»**.

В настоящий том вошли наиболее характерные образцы лоуренсовской новеллистики, включенные в авторские сборники.

Из сборника «Прусский офицер»

Первая же новеллистическая книга Д.Г.Лоуренса, выпущенная издательством «Дакуорт» в ноябре 1914 года, продемонстрировала незаурядную широту охвата жизненных явлений и своеобразие художественной манеры

* Дэвид Герберт Лоуренс. Дочь лошаdnика. Рассказы. М.: Известия, 1985 (далее: Д.Г.Лоуренс. Дочь лошаdnика. 1985).

** Дэвид Герберт Лоуренс. Любовник леди Чаттерли. Роман, новеллы, повесть. М.: Прогресс, 1992 (далее: Д.Г.Лоуренс. Роман, новеллы, повесть. 1992)

молодого прозаика. В ней нашли яркое и оригинальное выражение его юношеские умонастроения: от инстинктивной привязанности к существованию людей своего социального круга (новеллы о быте шахтерского городка) до страстного неприятия военщины и милитаризма (заглавная новелла). В большинстве рассказов сборника явственно прослеживается и та эмоциональная тональность, которая впоследствии во многом определит природу лоуренсовского художественного новаторства: ненасытный интерес писателя к «шести седьмым айсберга человеческой личности, которые никогда не выходят на поверхность».

Запах хризантем

Фабула этого рассказа, по данным биографов писателя, восходит к реальному случаю – трагической гибели в шахте одного из родственников Д.Г.Лоуренса по отцовской линии. Написан в конце 1909 года. Опубликовано в «Инглиш ревью» в июне 1911 года.

Перевод Ю.Жуковой впервые напечатан в книге: Д.Г.Лоуренс. Дочь лошади. 1985.

Прусский офицер

Рассказ, первоначально называвшийся «Честь и оружие», написан в июне 1913 года в Баварии, в период романтического бегства с Фридой фон Рихтхофен (будущей м-с Лоуренс) на континент и, возможно, вдохновлен нравами ее «юнкерского» семейного окружения. Прозаик был удовлетворен результатами своего труда: «Пожалуй, я только что закончил лучший из своих рассказов», – пишет он одному из своих корреспондентов 10 июня*. Осенью рассказ заново переработан и отослан в журнал «Инглиш ревью», где впервые опубликован в сокращенном виде (август 1914 года; полностью он напечатан в США, в журнале «Метрополитен» в ноябре того же года). По мысли Д.Г.Лоуренса, «Честь и оружие» должны были заключать первый сборник рассказов. Изме-

* См. Keith Sagar. D.H.Lawrence: A calendar of his work. Manchester, 1979, p. 40..

нение заглавия рассказа (перешедшего в заглавие книги) – инициатива редактора Эдварда Гарнета, отнюдь не встретившая одобрения автора.

В нашей стране впервые опубликован в переводе П.Охрименко на страницах журнала «Знамя» (1935, №8). Перевод М.Кореневой напечатан в книге: Д.Г.Лоуренс. Дочь лошади. 1985.

Из сборника «Англия, моя Англия»

В десяти рассказах, составивших второй авторский сборник Д.Г.Лоуренса (выпущен в США Томасом Селцером в 1922, в Англии – Мартином Секкером в 1924 году), явственно отразился глубочайший внутренний перелом, произошедший в сознании писателя в годы Первой мировой войны, ознаменованные позорным судебным процессом над романом «Радуга», ощущением террора среды (проживавших в эти годы в стратегической зоне Великобритании – Корнуолле – прозаика и его жену-немку местные жители не раз третировали как «германских шпионов»), постоянным страхом перед призывом на фронт и нарастающим чувством тотальной несостоятельности существующего государственного строя в целом. В произведениях этого периода – и прежде всего титульном рассказе сборника, по объему и широте охвата явлений действительности приближающегося к повести или даже короткому роману, – углубляющийся социальный пессимизм Д.Г.Лоуренса-философа парадоксальным образом сочетается с укрупнением масштаба критического видения судеб собственной отчизны и европейской цивилизации в целом. Растет и психологическое мастерство прозаика, рождая взволнованно-поэтические по образности и колориту любовные картины вроде «Дочери лошади».

Англия, моя Англия

Название рассказа, первый набросок которого был сделан в июне 1915 года (опубликован в октябре того же года в «Инглиш ревью», в слегка переработанном виде был напечатан в журнале «Метрополитен» в апреле 1917,

а в декабре 1921 года подвергнут новой корректировке с целью включения в сборник), восходит к строкам из патриотического стихотворения Уильяма Эрнеста Хенли (1849–1903):

Что сделал для тебя я,
Англия, моя Англия?

Непосредственным импульсом к рассказу явилось реальное происшествие с близкими Виолы Мейнел – владелицы коттеджа в Грейтхеме, графство Сассекс, где чета Лоуренсов провела первую половину 1915 года. Сильвия, маленькая племянница Виолы, серьезно повредила ногу в результате небрежности отца; а последний, не в силах преодолеть углубившееся между супругами после несчастного случая с ребенком разобщение, записался добровольцем в действующую армию. «Домысливший» роковую и бессмысленную гибель своего героя на фронте прозаик оказался невольным пророком: в июле 1916 года Перси Лукас – прототип лоуренсовского Эгберта – погиб в битве на Сомме.

Перевод М.Кан впервые опубликован: Английская новелла XX века. М.: Художественная литература, 1981. Перепечатан: Д.Г.Лоуренс. Дочь лошади. 1985; Д.Г.Лоуренс. Роман, новеллы, повесть. 1992.

С. 209. *...изучая тонкости морриса и старых английских обрядов.* – Моррис – восходящий к эпохе английского средневековья театрализованный народный танец.

С. 217. *Ведь у Христа сказано: «Посмотрите на лилии, како растут».* – Аллюзия к Новому Завету (Матфей 6:28; Лука 12:27).

С. 222. *Сказано: «...и малое дитя будет водить их».* – Цитата из Ветхого Завета (Исайя 12:26).

С. 231. *И точно у матери Божьей с семью клинками в груди...* – Аллюзия к образу церковного искусства: семь клинков, вонзенных в грудь Богоматери, символизируют семь ее печалей.

С. 235. *...а отец, подобно Измаилу, скитался за его пределами...* – Еще одна ветхозаветная иллюзия: намек на сына иудея Авраама и египтянки Агарь Измаила, обреченного на пожизненное изгнание (Бытие 16:12).

С. 237. *Как же можно было им изменить, поклоняясь его Ваалам и Астартам?* – Перефразированная цитата из Ветхого Завета: «Оставили господа и стали служить Ваалу и Астартам» (Книга Судей 2:13). Ваал и Астарта – языческие божества западных семитов, воплощающие верховную власть, военное могущество, любовь и плодородие.

С. 237. *...и слова «Правь, Британия!» вызывали у него разве что усмешку.* – «Правь, Британия!» – слова национального гимна Британской империи.

С. 243. *Куда ты пойдешь, туда и я.* – Слегка перефразированная цитата из Нового Завета (Матфей 8:19; Лука 9:57).

Дочь лошадника

Маленький шедевр любовной прозы Д.Г.Лоуренса, эта новелла была начата в Корнуолле в январе 1916 года, однако финал ее был написан только в ноябре; тогда же, в соответствии с ее преобладающей эмоциональной тональностью, у прозаика родилось ее первоначальное название – «Чудо». В октябре 1921 года, окончательно отделявая текст, он счел целесообразным дать новелле более «приземленное» заглавие. Под этим заглавием она и была опубликована в «Инглиш ревью» в апреле 1922 года, а затем вошла в сборник.

Перевод М.Кан публиковался в одноименном сборнике рассказов Д.Г.Лоуренса (М.: Известия, 1985), а затем был перепечатан в книге: Д.Г.Лоуренс. Роман, новеллы, повесть. 1992.

Из сборника «Женищина, которая исчезла»

Последний новеллистический сборник, вышедший при жизни автора (Лондон, Хейнеман, 1928), стал отчетливым свидетельством преобладания язвительно-

сатирических красок в поздней палитре Д.Г.Лоуренса-художника. Из десяти отобранных для книги прозаиком рассказов по крайней мере семь демонстрируют ироническое развенчание социальных и культурных институтов послевоенной Европы, в гротескных тонах рисуя поработанных своекорыстием, погоней за материальным благополучием и иными фетишами торжествующей буржуазности интеллектуалов, всерьез мнящих себя столпами прогресса и цивилизации. На этом фоне контрастнее высвечиваются яркие импрессионистические фантазии – вроде «Солнца» или титульной новеллы сборника – на излюбленную Д.Г.Лоуренсом тему эмоционального возрождения современной женщины, ее возвращения к таинственным животворным истокам, таящимся вдали от больших городов, но никогда не иссякающим.

Солнце

Новелла, представляющая собой один из шедевров Д.Г.Лоуренса-прозаика, создана в декабре 1925 года в городке Споторно, на острове Сицилия. Осенью следующего года опубликована, с изъятиями наиболее откровенных описаний, в журнале «Нью Котери». (Журнальный текст лег в основу редакции, включенной в сборник.) В том же году в Лондоне выходит – как можно предположить, без ведома автора – малотиражное частное издание полного текста новеллы. Как бы то ни было, 29 апреля 1928 года Д.Г.Лоуренс по просьбе владельца небольшого американского издательства Гарри Кросби «Блэк сан пресс» посылает ему оригинал «нецензурированного» текста для публикации ограниченным тиражом, а 13 сентября, отбывая из Швейцарии, возвращает ему гранки. В октябре того же года книга выходит в США тиражом 165 экземпляров*.

В современных изданиях прозы Д.Г.Лоуренса бытует то одна, то другая редакция этой новеллы.

Перевод М.Кореневой впервые публиковался в книге: Д.Г.Лоуренс. Дочь лошади. 1985.

* См. Keith Sagar. A calendar of D.H.Lawrence: A calendar of his work. Manchester, 1979, p. 148.

Стихотворения

Стихотворное наследие Д.Г.Лоуренса, ныне составляющее неперемный компонент любой из антологий англоязычной поэзии XX века, при жизни автора по большей части оставалось достоянием сравнительно узкого круга его друзей и почитателей. Тем не менее оно весьма обширно (стихи Д.Г.Лоуренса составили восемь прижизненных и два посмертно вышедших сборника, а их полное собрание – *Complete Poems of D.H.Lawrence*, вышедшее, с минимальными дополнениями и изменениями, в 1964, 1967 и 1972 годах в издательстве «Хейнеманн» в Лондоне, – насчитывает более 1100 страниц) и значимо как в содержательном, так и в формальном плане, воплотив в себе многие повороты художественной эволюции его создателя.

По свидетельству биографов, первые стихотворные строки, обращенные к юной сверстнице Мейбл Терлби, Д.Г.Лоуренс набросал в неполные двенадцать лет*, в неполные двадцать осознал поэзию как полноценную сферу своего художественного творчества («Свои первые стихотворения – если их можно назвать таковыми – я написал, когда мне было девятнадцать»**), – констатировал он в предисловии к прижизненному «Собранию стихотворений», 1928), а самые поздние – и, быть может, наиболее совершенные (отлившиеся в вышедшую посмертно в 1932 году книгу «Последние стихотворения») – создавал на протяжении последних недель и месяцев своей жизни.

Проблематическая широта и богатство спектра художественных тональностей, нашедших воплощение в этой стороне творческой индивидуальности писателя, убеждают: картина современной англоязычной поэзии

* См. Keith Sagar. *D.H.Lawrence: A calendar of his works*. Manchester, 1979, p. 2.

** См. *The Complete Poems of D.H.Lawrence*. Lnd., Heinemann, 1972, p. 27.

оказалась бы существенно неполной, не будь в ней отмеченных редкими по глубине и ясности мысли прозрениями и смелыми, порою на грани эксцентрики, экспериментами в сфере версификации стихотворений Д.Г.Лоуренса. Больше того: при всей исключительной значимости, какую он как мыслитель и художник придал жанру романа, именно лирическая поэзия, являющая собой область непосредственного художнического высказывания о времени и о себе, предстает наиболее органичной сферой, в которой находит выражение завораживающее многообразие обуревавших его мировоззренческих, этических и эстетических идей. Отнюдь не случайно, акцентируя принципиальное несходство воплощенного в стихах художнического «я» Д.Г.Лоуренса с поэтическими «я» представителей так называемой интеллектуальной поэзии первых десятилетий XX века, автор вступительной статьи к уже упоминавшемуся «Полному собранию» лоуренсовских стихотворений Вивиан де Сола–Пинто, обыгрывая критическое определение, некогда присвоенное Уильяму Блейку, называет Д.Г.Лоуренса «поэтом без маски»*.

Знакомство российского читателя с поэтическим наследием Д.Г.Лоуренса началось с долголетним запозданием: если первые публикации переводов его романов относятся к 1925 году, то подборка из шести лоуренсовских стихотворений нашла себе место в нашей печати лишь в 1937 году** – в период отечественной культуры, отмеченный, мягко говоря, не самым объективным отношением к иноязычным художественным ценностям. Исчерпывающе характеризует этот период косвенная, но красноречивая деталь: имя переводчика всех включенных в данную антологию стихов Д.Г.Лоуренса – павшего к тому времени, подобно многим другим представителям отечественного литературного цеха, жертвой

* Там же, с. 1.

** См. Антология новой английской поэзии. Вступительная статья и комментарии М.Гутнера. Л.: Гослитиздат, 1937, с. 321–337.

сталинских репрессий Валентина Стенича – на ее страницах опущено. В комментарии же к ней Д.Г.Лоуренс однозначно характеризуется как «типичный представитель распада буржуазной культуры»*.

Справедливость по отношению к обоим – поэту и его расстрелянному переводчику – отчасти была восстановлена лишь полвека спустя: в первой половине 1980–х, когда в СССР вышла масштабная антология «Английские поэты в русских переводах. XX век», составленная Л.Аринштейном, Н.Сидориной и В.Скороденко (М.: Радуга, 1984). В состав этого двуязычного издания вошло несколько стихотворений Д.Г.Лоуренса, два из которых – «Набережная ночью, до войны» и «Змея» – воспроизведены в переводах В.Стенича. Помимо указанных, в этой антологии нашли себе место еще два стихотворения поэта – «Птица колибри» и «Баварские генцианы» в новых переводах Владимира Британишского. Начало перестройки в разных областях отечественной общественной и культурной жизни – и, соответственно, давно назревшей трансформации издательской и критической позиций по отношению к поэзии Д.Г.Лоуренса – ознаменовалось публикацией в журнале «Иностранная литература» двух развернутых подборок его стихов – в переводах С.Сухарева (ИЛ, 1986, №3) и А.Грибанова (ИЛ, 1990, №1). Можно констатировать, что этими журнальными публикациями было положено реальное начало процессу творческого освоения поэтической музыки Д.Г.Лоуренса отечественными мастерами художественного перевода.

Рояль

Одно из любимых стихотворений Д.Г.Лоуренса, неоднократно перерабатывавшееся. Во второй, состоящей из трех строф, редакции включено в сборник «Новые стихотворения» и в той же редакции – в «Собрание стихотворений».

Перевод В.Стенича впервые публиковался в «Антологии новой английской поэзии» (1937).

* Там же, с. 441.

Из книги «Анютины глазки» (1929)

Эта книга стихотворений, чаще всего представляющих собой выполненные верлибром афоризмы по широчайшему кругу морально-этических, социально-политических, а подчас и откровенно бытовых проблем, контрастно отличается от всего, что создавалось раньше Д.Г.Лоуренсом-поэтом. Ее кричащее своеобразие на фоне лоуренсовского творчества – и англоязычной поэзии того времени в целом – обусловлено как субъективно-биографическими факторами (резкое ухудшение здоровья, постигшее писателя начиная с середины 1928 года, побуждает его с особой остротой ощущать каждое прожитое мгновение), так и радикальностью происходящей в его сознании художественно-мировоззренческой эволюции, усиливающимся неприятием ненавистной ему буржуазности во всех ее проявлениях, придающим его новым произведениям эпатажно-эксцентрический, вплоть до социальной мизантропии, колорит. Едва ли удивительно, что лондонский издатель Д.Г.Лоуренса Мартин Секкер, с которым писатель переписывается относительно перспективы публикации новой книги стихов, создаваемой в ноябре-декабре 1928 года, когда он живет в Бандоле, на юге Франции, настаивает на изъятии из корпуса наиболее острых и непримиримых из них по отношению к господствующему строю.

В итоге в мае-июне следующего года книга выходит в двух вариантах – одобренном лондонским издателем и полном, выпущенным флорентийским публикатором Д.Г.Лоуренса Джузеппе Ориоли.

В написанном в марте 1929 года предисловии к первому из этих изданий – лондонскому – автор так определяет происхождение их заглавия и жанровую специфику составивших книгу лапидарных стихотворений-афоризмов:

«Эти стихотворения называются “Анютиными глазками” (в оригинале: “Pansies” – *Н.П.*), поскольку они больше, чем что-либо другое, напоминают «Мысли» (в оригинале: “Pensées” – так озаглавлена знаменитая книга афо-

ризмов Блеза Паскаля. – *Н.П.*). Паскаль или Лабрюйер запечатлевали свои “Мысли” в прозе, но мне всегда казалось, что подлинная мысль, завершенная мысль, не являющаяся доводом в споре, может с легкостью жить только в стихе или каком-либо поэтическом воплощении. /.../

Поэтому мне хотелось бы, чтобы эти “Анютины глазки” воспринимались скорее как мысли, нежели еще что-нибудь: те самые случайные мысли, которые сохраняют подлинность, пока они в голове, и оказываются бессмысленны и безотносительны, как только настроение и ситуация меняются. Мне хотелось бы, чтобы они были легкими, как анютины глазки – так быстро увядающие и такие прекрасные со своими разноцветными головками, пока цветут./.../

Как бы то ни было, я адресую публике букет анютиных глазок, а не бессмертников. Вечнозеленых растений и цветов я не приемлю и не собираюсь преподносить их кому бы то ни было».

Все стихотворения этой книги созданы в последние месяцы 1928 года.

Стихотворение «Сумерки» в переводе Ю.Фокиной впервые было опубликовано в книге Д.Г.Лоуренса «Тень в розовом саду». – М. Вагриус. – 2006. Стихотворение «Память Луны» в переводе Ю. Фокиной публикуется впервые

Из книги «Еще анютины глазки» (1932)

Эта – и следующая – книги явились первыми посмертными собраниями позднейших поэтических произведений Д.Г.Лоуренса, не публиковавшихся при жизни автора, составленными на основании изучения его рукописного архива собратом писателя по перу Ричардом Олдингтоном.

Просматривая записные книжки Д.Г.Лоуренса, он утвердился во мнении, что в ходе своих последних полутора лет, насыщенных перемежающимися приступами легочной болезни и разного рода житейскими неурядицами (впрочем, как ни парадоксально, лишь стимулировавшими в 1929 – начале 1930 года его поразительную творче-

скую энергию), писатель продолжал работать над стихами принципиально разной тональности: едкосатирическими, на грани шаржа, в манере уже завершенных «Анютиных глазок» и «Колючек», и, напротив, философски медитативными. Это обстоятельство убедило Р.Олдингтона в необходимости жанрового подразделения составивших посмертное собрание лоуренсовской лирики произведений на две части. Обе части (экзистенциально-метафизическая, в которую вошло несколько шедевров Д.Г.Лоуренса – поэта: «Последние стихотворения», – и гротескно-ироническая: «Еще анютины глазки») были озаглавлены самим Р.Олдингтоном. Итогом стали выпущенные во Флоренции в 1932 году под одним переплетом издателем Джузеппе Ориоли два стихотворных сборника Д.Г.Лоуренса, носившие общее название «Последние стихотворения».

Эта классификация, с минимальными коррективами и уточнениями, была сохранена в «Полном собрании стихотворений» под редакцией Вивиан де Сола–Пинто и Уоррена Робертса. Как и в книге Р.Олдингтона–Дж.Ориоли, «Еще анютины глазки» представлены в нем 205, «Последние стихотворения» – 67 стихотворениями, собственноручно вписанными Д.Г.Лоуренсом в толстую записную книжку в твердом переплете.

Вошедшие в настоящую подборку стихотворения «Счастье быть одному» и «Поиски истины» в переводе С.Сухарева публиковались в журнале «Иностранная литература» (ИЛ, 1986, №3), и в книге Д.Г.Лоуренса «Тень в розовом саду». М. Вагриус, 2006.

Из книги «Последние стихотворения» (1932)

По мнению биографов, начать заполнять записную книжку стихами Д.Г.Лоуренс мог на рубеже 1928–1929 годов. Большая их часть была написана весной–летом 1929 года; около 16 последних – в ноябре, когда чета Лоуренсов живет в Бандоле. Р.Олдингтон в упомянутом «Предисловии» высказывает предположение, что 67-ое стихотворение, венчающее записную книжку –

«Феникс», – фактически оказалось последним из созданного Д.Г.Лоуренсом – поэтом.

Книга художественных и мировоззренческих итогов, вобравшая в себя предощущение надвигающегося конца, «Последние стихотворения», как ни странно, не производят на читателя пессимистического впечатления. Но нет в них и столь характерных для «финальных» произведений многих литераторов интонаций примиренности. Напротив, то и дело встречающийся на их страницах образ Смерти вырастает до символа таинственной, неподвластной разуму эстафеты от века присутствующего в природе круговорота материи и духа, суть которого – неизменное возрождение жизни.

Стихотворения «Аргонавты» и «Греки идут!» в переводе Юлии Фокиной публикуются впервые. «Баварские генцианы» в переводе В.Британишского публиковались в книге: «Западноевропейская поэзия XX века». М.: Художественная литература, 1977 («Библиотека всемирной литературы»). Воспроизведены в двуязычной антологии «Английские поэты в русских переводах. XX век». М.: Радуга, 1984. «Сотворение» в переводе В.Минушина было опубликовано в книге Д.Г.Лоуренса «Тень в розовом саду». М. Вагриус, 2006.

Баварские генцианы

Одно из самых совершенных и прочувствованных стихотворений в сборнике. По данным биографов, написано в сентябре 1929 года. Существует в нескольких вариантах, включенных в «Приложение III» к «Полному собранию стихотворений».

Мемуаристы вспоминают, что темно-синие цветы, увиденные Д.Г.Лоуренсом в местечке Роттах-ам-Тегернзее в Баварии, вызвали у него ассоциации с этрусскими катакомбами, которые он посетил в 1927 году и описал в книге «По следам этрусков».

Корабль смерти

Наряду с «Баварскими генцианами», итоговая поэма сборника, начатая в сентябре 1929 года в Роттах-ам-

Тегернзее и упорно перерабатываемая (в архиве писателя сохранилось три ее редакции; все они вошли в «Полное собрание стихотворений»). Ряд исследователей – в частности, Вивиан де Сола-Пинто* – полагают, что побудительным стимулом для нее явилась увиденная Д.Г.Лоуренсом в гробницах этрусков в Черветери в 1927 году сакральная бронзовая фигурка. В книге путевых очерков «По следам этрусков» сам писатель пишет об этом так:

«Через эту внутреннюю дверь попадаешь в последнюю камеру, маленькую, темную, самую важную. Напротив двери стоит каменное ложе, на котором, вероятно, возлежал лукомон, а рядом – сакральные украшения усопшего: маленькая бронзовая ладья смерти, которая должна была перенести его из этого мира в мир иной, сосуды с драгоценностями для того, чтобы он надел их, отправляясь в дальний путь, маленькие блюда, миниатюрные бронзовые статуэтки, инструменты, оружие, доспехи, все эти забавные предметы, составляющие богатство знатного покойника». (Перевод *Альы Николаевской*).

Путевые очерки

Из книги «Сумерки Италии»

«Сумерки Италии» – первая из четырех книг, написанных Д.Г.Лоуренсом в жанре так называемых путевых заметок, в немалой мере способствовавших утверждению его художественной репутации в читательском сознании по обе стороны Атлантики.

Став итогом предвоенного путешествия автора вместе с Фридой по Германии, Австрии и Северной Италии в 1912–1913 годах, эта книга продемонстрировала как несомненную зоркость Д.Г.Лоуренса-очеркиста, натуралиста, внимательного, а подчас и язвительно-ироничного наблюдателя нравов, так и никогда не оставлявшую прозаика страстную тягу к философско-психологическому осмыслению и обобщению пред-

* См. The Complete Poems of D.H.Lawrence. L., 1972, p. 19.

стававших ему жизненных конфликтов и парадоксов, что изначально выделяло его путевые очерки из ряда других произведений этого жанра, традиционно популярного в Англии.

Составившие книгу очерки писались по свежим следам в январе-октябре 1913 года, когда чета Лоуренсов путешествовала по Ломбардии, перемежаясь упорной работой над романом «Сестры», из которого впоследствии предстояло вырасти двум масштабнейшим созданиям писателя – «Радуге» и «Влюбленным женщинам».

Два года спустя, уже на родине, в Грейтхеме и Сассексе, в июле-октябре 1915 года, прозаик тщательно переработал все очерки книги, дав некоторым из них – в частности, вступительному – новые названия. В январе-феврале 1916 года в Корнуолле он закончил работу над гранками. Позднее в том же году «Сумерки Италии» вышли в издательстве «Дакуорт». Неоднократно перепечатывались массовыми тиражами.

Стоит заметить, что лоуренсовские «книги путешествий», как их иногда называют в критике, органично сочетающие непосредственность «моментальных» зарисовок посещаемых местностей, нравов и обычаев с глубиной и тонкостью навеянных их историей и культурой интуитивных прозрений, оказали заметное влияние на целый ряд англоязычных авторов, работавших в этом жанре на протяжении XX столетия. В числе наиболее ярких примеров заложенной Д.Г.Лоуренсом традиции – путевая эссеистика его соотечественника Лоуренса Даррелла (1912–1990) и автобиографическая проза американца Генри Миллера (1891–1980), признававшего, заметим в скобках, свое ученичество у английского прозаика и посвятившего размышлениям о его творчестве прочувствованную книгу.

Театр

С. 308. *Берсальеры* – стрелки в итальянской армии.

С. 312. «*Привидения*» – драма норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828–1906), автора всемирно известных пьес «Кукольный дом», «Пер Гюнт», «Катилина» и др.

С. 315. *Даннуцио* Габриеле (1863–1938) – итальянский писатель, автор поэтических сборников, романов, драматических произведений..

С. 317. *Гретхен* – Маргарита, возлюбленная Фауста в трагедии Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832) «Фауст». *Дездемона* – героиня трагедии Уильяма Шекспира «Отелло». *Ифигения* – героиня трагедии Еврипида (480 – 406 до н.э.) «Ифигения в Авлиде». Ифигения, дочь царя Агамемнона, добровольно отдает жизнь во имя спасения родины. *Дама с камелиями* – героиня одноименного романа Александра Дюма-сына (1824–1895). *Лючия ди Ламмермур* – героиня романа Вальтера Скотта (1771–1832) «Ламмермурская невеста» и оперы Гаэтано Доницетти по мотивам романа. *Мария Магдалина* – равноапостольная. Она была исцелена Господом от злых духов, присоединилась к числу тех немногих благочестивых жен, которые всюду сопровождали Господа во время Его земной жизни. При крестных страданиях Господа Мария Магдалина стояла при кресте Его и присутствовала при Его погребении. *Мелисанда* – героиня пьесы бельгийского драматурга, лауреата Нобелевской премии Мориса Метерлинка «Пеллеас и Мелисанда». *Баттерфляй* – героиня оперы Джакомо Пуччини (1858–1924) «Чио-Чио-сан». *Федра* – в греческой мифологии дочь критского царя Миноса и Пасифаи, внучка солнца Гелиоса. Федра страстно любила своего пасынка Ипполита. Она – героиня одноименной драмы Жана Расина (1639–1699). Это вершина поэтического творчества Расина. *Миннегага* – возлюбленная Гайаваты в поэме американского поэта Генри Лонгфелло (1807–1882) «Песнь о Гайавате».

Риголетто – герой одноименной оперы Джузеппе Верди (1813–1901). *Электра* – в греческой мифологии дочь Агамемнона и Клитемнестры, сестра Ореста. Ей посвящены трагедии Софокла (ок. 496 – 406 до н.э.) и Еврипида. *Изольда Белокурая* – дочь короля Ирландии в легендах о короле Артуре, возлюбленная Тристрама (Тристана). *Зиглинда* – героиня народного немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах». *Маргарита* – героиня оперы Мария Гуно «Фауст».

Спаси меня, Господь! О Боже, я твоя! – слова Маргариты в трагедии Иоганна Гёте «Фауст». Часть первая. Сцена 25. Перевод Н.Хлодковского.

С. 318. *Бернс Роберт* (1759–1796) – великий шотландский поэт, стихи которого стали народными песнями его страны.

С. 319. *Галахад* – сын рыцаря Ланселота и дочери короля Пелеса Элейн. Герой поэмы Мэлори «Смерть Артура». Он наделен непорочной чистотой, отправляется на поиски Грааля. *Ланселот* – Ланселот Озерный, доблестный рыцарь Круглого стола, персонаж легенд Артуровского цикла, один из самых романтических образов англосаксонского фольклора. Герой поэмы Мэлори «Смерть Артура».

С. 322. *Королева Виктория* (1819–1901) – королева Великобритании с 1837 г., последняя из Ганноверской династии.

С. 323. *Сэр Робертсон Форбс* (1853–1937) – английский драматический актер, считавшийся лучшим исполнителем роли Гамлета.

С. 324. *Орест* – в греческой мифологии сын Агамемнона и Клитеместры. Агамемнон был убит Клитеместрой и Эгисфом. Орест по приказу дельфийского оракула убивает мать. Эсхил и Еврипид на материале этого мифа написали трагедии: Эсхил – «Орестея», Еврипид – «Электра» и «Орест».

С. 327. *Савонарола Джироламо* (1452–1498) – настоятель доминиканского монастыря во Флоренции. Обличал папство, призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру, организовал сожжение произведений искусства. В 1491 г. был отлучен от церкви, по приговору приората казнен.

Лютер Мартин (1483–1546) – основоположник лютеранства, крупнейшего по численности направления протестантизма. Крупнейший деятель Реформации, автор 95 тезисов против индульгенций. Перевел на немецкий язык Библию.

Кромвель Оливер (1599–1658) – лидер Английской революции XVII века, руководитель индепендентов

(приверженцы одного из течений протестантизма). В 1640 г. был избран в Долгий парламент. Одержал во главе парламентской армии победу над королевской армией в ходе 1-й и 2-й гражданских войн. Был инициатором казни короля и провозглашения республики.

Карл I (1600–1649) – английский король из династии Стюартов. В ходе Английской революции низложен и казнен «как тиран, изменник, убийца и враг государства».

С. 328. *Шелли* Перси Биши (1792–1822) – великий английский поэт, чьи философские воззрения свидетельствуют о том, что он унаследовал взгляды французских мыслителей-революционеров 1790-х. Наиболее значительные произведения – трагедия «Ченчи» и лирическая драма «Освобожденный Прометей».

Годвин Уильям (1756–1836) – английский писатель, священник, разошедшийся во взглядах с англиканской церковью и ставший атеистом и философом анархического толка. Считал, что разумному человеку не нужны законы и государственные институты.

Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, один из основателей «философии жизни». В своих сочинениях о «сверхчеловеке» – «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла» – проповедовал культ сильной личности, эстетический имморализм.

...соответственно вести себя, à la Sanine. – Санин – герой одноименного романа М.Арцыбашева (1878–1927), проповедовавший аморализм, сексуальную свободу. Этот роман не приняли ни прогрессивно настроенные соотечественники, ни революционеры, ни церковь. Против Арцыбашева по инициативе Синода было начато уголовное дело по обвинению его в порнографии и кощунстве. Роман был переведен на все европейские языки, Д.Г.Лоуренс, естественно, откликнулся на него, ибо судьба его романов была аналогичной.

С. 331. *О, если б этот плотный сгусток мяса...* – Цит. по: Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Акт 1. Сцена 2. Перевод М.Лозинского. М., 1960.

С. 332. *Иосиф* – обручник Пресвятой Девы Марии Богоматери, сын Иакова, муж праведный и благочестивый, жил в Назарете в бедности, был плотником.

Итальянцы в изгнании

С. 339. *Мейстерзингеры* – в Германии XIV–XVII веков члены профессиональных объединений (гильдий) поэтов и певцов из числа горожан, преемники миннезингеров. Миннезингеры, поэты-певцы при германских дворах XII–XIII веков, в свою очередь переняли традиции трубадуров. Темой их песен были рыцарская доблесть и беззаветное служение избраннице.

С. 344. *...чем-то напоминать Карузо*. – Карузо Энрико (1873–1923) – знаменитый итальянский певец. Великий мастер бельканто, выступал во многих театрах мира.

С. 354. *...сражаться в Киренаике...* – Киренаика – провинция Ливии. С 1912 по 1943 год была в составе итальянской колонии Ливия. Синуситы, члены мусульманского религиозно-политического ордена, сражались против итальянского колониального режима. В конце Второй мировой войны оккупирована англичанами.

Из книги «Утро в Мексике»

Корасмин и попугаи

С. 362. *...Но головы пред нею не склоняю*. – Стихотворение У.Е.Хенли «Invictus. In Memoriam R.T.H.V.»

С. 363. *Ацтеки* – крупнейший народ в Мексике, язык ацтекский (науатль), католики. До XVI века на территории современной Мексики существовало государство ацтеков со столицей Теночтитлан. Создали уникальную культуру, уничтоженную испанскими конкистадорами.

С. 369. *...место остролиста*. – Из веток остролиста плетут рождественские венки и гирлянды.

...кактусы-канделябры... – Имеется в виду карнегия гигантская, достигающая 10–12 м в высоту, растение-

долгожитель: живет до двухсот лет. Огромные, толщенной до 70 см канделябровидные ветви, как гигантские свечи, видны издалека.

С. 372. *Zapotec* – сапотеки (исп.), индейский народ в Мексике, язык – отоми–миштеко–сапотекской семьи.

Mixtecas – микстеки (исп.) – индейское племя, населяющее Мексику.

С. 375. *Бернал Диас* – солдат Кортеса. Сопровождал его в походе на ацтекскую столицу в 1519 г.

Кортес Эрнан (1485–1547) – испанский конкистадор. В 1504–1519 гг. служил на Кубе. В 1519–1521 гг. возглавлял завоевательный поход на Мексику, приведший к установлению там испанского владычества. В 1522–1528 гг. – губернатор, в 1529–1540 гг. – генерал-капитан Новой Испании (Мексики).

Эссе

По поводу романа «Любовник леди Чаттерли»

Спровоцированное цензурными преследованиями и критическими нападками на одноименный роман (и в меньшей мере – развернувшейся в разных странах коммерческой вакханалией неавторизованных перепечаток), это эссе, написанное в октябре 1929 года в Бандоле, на юге Франции, впоследствии получило широкую популярность как исчерпывающая иллюстрация философско-мировоззренческой и творческой позиции Д.Г. Лоуренса.

На русском языке фрагменты этого эссе публиковались в приложении к первому книжному изданию романа «Любовник леди Чаттерли» (М.: Книжная палата, 1991) в переводе М. Литвиновой; его полный текст был опубликован в книге «Любовник леди Чаттерли» – М. Вагриус, 2006.

С. 379. ...как есть капитан Кидд с зачерненным лицом, творящий молитву для несчастных, которых вот-

вот сбросят в океанскую пучину. – Кидд, Уильям (ок. 1650–1701) – вошедший в легенду своей дерзостью английский пират конца XVII века.

С. 384. *Безумие, погубившее великий ум Свифта, можно, пожалуй, в какой-то мере свести именно к этой причине.* – Намек на то, что создатель «Путешествий Гулливера», великий английский сатирик, прозаик, поэт, эссеист и общественный деятель Джонатан Свифт (1667–1745) окончил свои дни в доме для умалишенных. Под именем Силии в некоторых произведениях Свифта фигурирует одна из его реальных знакомых, с которой писателя связывало чувство любовной привязанности.

С. 388. *...мечутся между кинематографом и радио, между Истборном и Брайтоном.* Истборн и Брайтон – небольшие городки на юге Англии, популярные курортные места.

С. 391. *Они видели все картины и статуи, изображающие Афродиту.* – К скульптурным и живописным воплощениям образа богини любви в древнегреческой мифологии Афродиты, многочисленным в античном искусстве (древнейшие восходят к VI в. до н.э.), не утратили интереса и мастера европейского Возрождения: Боттичелли, Тициан и другие.

Послушайте Бернарда Шоу, одного из величайших хулителей цивилизации. – Полемически апеллируя к имени и творчеству одного из наиболее именитых своих современников – Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950), которого он иронически именуется «Великим Драматургом» эры отчуждения, – Д.Г. Лоуренс, думается, несколько упрощенно и односторонне трактует нередко парадоксальные высказывания последнего и самый дух его произведений, дезавуирующих, по сути, те же общественные институты и ту же охранительную мораль, какие вызывают страстное неприятие художника.

С. 392. *Так обезумел Давид, увидев могущую Вирсавию.* – Имеется в виду много раз обыгранная в европейском искусстве библейская притча о царе Давиде

и встреченной им в зрелые годы красавице Вирсавии, впоследствии ставшей матерью царя Соломона (2-я книга Царств, 11:2).

С. 397. *...Советы упраздняют семью, если уже не упразднили.* – Данное и ряд последующих высказываний Д.Г. Лоуренса (см. также главу IV романа «Любовник леди Чаттерли») исчерпывающе характеризуют критическое отношение Д.Г. Лоуренса к направленности общественно–политических реформ – в частности, в сфере гражданского и семейного законодательства, – проводившихся в Советской России на протяжении первого десятилетия ее существования.

С. 398. *И она, сторонница целибата, возведенная, кажется, на одиноком камне Петра или Павла...* – Целибат (сексуальное воздержание), согласно одной из христианских догм, является одним из важнейших показателей святости – т. е. приобщения к Богу; легендарные авторы двух из составивших книгу Нового Завета Евангелий Петр и Павел – первые апостолы Христа и проповедники его учения, принявшие мученическую кончину в императорском Риме.

С. 400. *Суровые правила Бенедикта, бурные всполохи Франциска Ассизского – все это лишь всполохи на устойчивом небосводе церкви.* – Св. Бенедикт (ок.480 – после 547 гг. н.э.) – один из наиболее почитаемых в католичестве святых, основатель отличавшегося крайней строгостью устава монашеского ордена бенедиктинцев.

Августин сказал, что Бог каждый день творит мир заново... Августин Блаженный (354–430 гг. н.э.) – один из самых авторитетных богословов и философов раннего христианства, автор знаменитой «Исповеди», впоследствии положившей начало одноименному жанру – духовной автобиографии – в европейской литературе.

С. 403. *Половой акт – это союз, касание двух рек... Евфрата и Тигра, кольцующих Месопотамию...* – Евфрат и Тигр – главные реки ближневосточного региона на территории нынешнего Ирака.

С. 410. *Надо вернуться назад – в эпоху, когда не было идеалистов, Платона, не родилось еще трагическое понимание жизни.* – Ассоциировать трагическое понимание жизни с учением Платона Д.Г. Лоуренса, как можно предположить, побудило знакомство с сочинениями Фридриха Ницше (1844–1900), в частности, с его работой «Рождение трагедии», в центре которой – образ современника и учителя Платона Сократа.

С. 411. *Как возвратить Аполлона, Аттиса, Деметру, Персефону, подземные пещеры Плутона?* Аполлон – бог солнца, покровитель наук и искусств в древнегреческой мифологии; Аттис – популярный персонаж античной мифологии, нарушивший обет безбрачия юный жрец древней богини Кибелы; в наказание богиня лишила его рассудка и в припадке безумия он оскоспил себя; Деметра – богиня плодородия у греков; Персефона – дочь Зевса и Деметры, богиня подземного царства; Плутон – в мифологии древних римлян бог подземного царства.

Он для него то прекрасный Гиацинт, то мрачное подземное царство Плутона. – Гиацинт – согласно античному мифу, сказочно красивый юноша, случайно убитый Аполлоном в ходе соревнования по метанию диска, а после смерти вознесенный на Олимп; сюжет, многократно обыгранный в произведениях европейской литературы и искусства.

С. 413. *Мы чувствуем это, читая Дефо, Филдинга. А у Джейн Остин, посредственной писательницы, ничего этого больше нет.* – Дефо, Даниэль (1660–1731) – виднейший прозаик, журналист и общественный деятель эпохи Просвещения в Англии, автор бессмертного романа «Жизнь и необыкновенные приключения Робинзона Крузо» (1719); Филдинг, Генри (1707–1754) – английский прозаик и драматург, один из выдающихся новаторов романного жанра эпохи Просвещения. Остин, Джейн (1775–1817) – яркая и самобытная романистка начала XIX столетия, положившая начало «женскому роману» в английской реалистической прозе. Ее художественное

новаторство долгое время оставалось в тени британской литературной критики. Впрочем высокомерно-снисходительная оценка, какую дает ее произведениям Д.Г. Лоуренс, как можно судить, связана не с ее индивидуальным талантом, а с тем, что писала она в эпоху рокового, по мысли писателя, отрыва ее соотечественников от «общего кровотока».

Ноттингем и шахтерский край

Это позднейшее из автобиографических эссе Д.Г. Лоуренса, проливающее свет на социальную и духовную атмосферу его детства и отрочества, было написано в середине 1929 года, отмеченного резким ухудшением физического состояния писателя и, как следствие, постоянными переездами из одного курортного места в другое (так, в январе-марте он живет в Бандоле, Франция, в апреле-июне – на о. Майорка, в июле, после непродолжительного пребывания во Флоренции, переезжает в Баден-Баден, а оттуда – в Роттах-ам-Тагернзее, где останавливается до середины сентября. В последнюю декаду сентября, проведя несколько дней в Мюнхене, чета Лоуренсов возвращается в Бандоль, оставаясь в этом курортном местечке до конца года).

Опубликовано в июне 1930 года на страницах литературного журнала «Нью Адельфи». Впоследствии вошло в посмертное собрание эссеистики писателя «Феникс» (1936) и неоднократно перепечатывалось.

Настоящий перевод его на русский язык впервые был опубликован в одномомнике избранных произведений писателя, вышедшем в 1992 году в издательстве «Прогресс»; в 2006 – в книге Д.Г. Лоуренс «Любовник леди Чаттерли». М., Вагриус.

С. 421 *...старая сельская Англия Шекспира и Мильтона, Филдинга и Джордж Элиот.* – Элиот, Джордж (1819–1880) – виднейшая представительница английского реалистического романа викторианской поры, оказавшая заметное воздействие на ранние произведения Д.Г. Лоуренса.

Порнография и непристойности

Ставшее одним из наиболее известных публицистических выступлений Д.Г.Лоуренса против лицемерия и ханжества буржуазной общественной морали и охранительной цензуры эссе «Порнография и непристойности» было вызвано к жизни усилившимися нападка на литературное и живописное творчество автора. Завершенное в конце апреля 1929 года, оно впервые было опубликовано в августе-сентябре в парижском журнале *This Quarter*, а затем, в более расширенном варианте, отдельной брошюрой в лондонском издательстве «Фейбер энд Фейбер». Спустя год тот же вариант эссе вышел в издательстве «Альфред А.Нопф» в Нью-Йорке.

Вошло в антологическое собрание эссеистики и прозы писателя «Феникс. Посмертные рукописи Д.Г.Лоуренса» (Лондон, Хейнеманн, 1936). В послевоенные десятилетия неоднократно перепечатывалось в сборниках литературно-критических произведений писателя.

С. 430. *Аристофан* (446 – 385 гг. до н.э.) – величайший древнегреческий комедиограф, впоследствии прозванный «отцом комедии».

С. 433. *Рабле* Франсуа (1494–1553) – французский писатель-гуманист эпохи Возрождения, автор бессмертного романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Аретино Пьетро (1492–1556) – итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения, вошедший в поговорку фривольностью своих сюжетов и образов.

Боккаччо Джованни (1313–1375) – итальянский поэт и прозаик, создатель знаменитого «Декамерона» – собрания новелл, сатирически рисующих быт и нравы своего времени.

С. 434. *Тициан* Вечеллио (ок. 1480–1576) – итальянский живописец позднего Возрождения, глава венецианской школы живописи.

Ренуар Огюст (1841–1919) – ведущий представитель импрессионизма во французской живописи.

«*Песнь Песней*» – «Книга Песни Песней Соломона» – одна из книг Ветхого Завета, пронизанная вдохновенной чувственностью образов и метафор.

«*Джейн Эйр*» (1847) – наиболее известный из романов английской писательницы Шарлотты Бронте (1816–1856), сыгравший заметную роль в развитии движения за эмансипацию женщины в обществе.

«*Памела, или Вознагражденная добродетель*» (1740) – снискавший шумную и неоднозначную известность роман английского прозаика Сэмюэля Ричардсона (1689–1761).

«*Кларисса Харлоу*» (1749) – роман Сэмюэля Ричардсона.

...*вагнеровская опера «Тристан и Изольда»* (1859) – созданная по мотивам кельтских средневековых преданий опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883).

...*авторница «Шейха»*... – Эдит Мод Холл, дебютировавшая в 1919 году остросюжетным романом о похищении в пустыне английской аристократки арабским шейхом; с пренебрежением отвергнутый критикой роман стал бестселлером и в 1921 г. был экранизирован с Рудольфом Валентино в главной мужской роли.

С. 438. «*Мельница на Флоссе*» (1860) – роман виднейшей представительницы английской реалистической прозы викторианской поры Мэри-Энн Эванс, писавшей под «мужским» псевдонимом Джордж Элиот (1819–1880).

С. 440. *Марсель Пруст* (1871–1922) – французский прозаик, виднейший представитель экспериментального романа в XX столетии, автор романа-эпопеи «В поисках утраченного времени».

С. 442. *Когда полиция совершила налет на мою выставку*... – Писатель имеет в виду налет лондонской полиции на его персональный вернисаж летом 1929 г., в ходе которого под предлогом «недопустимо эротического» содержания было конфисковано тринадцать его полотен.

Почему важен роман

Эссе, в наиболее полной форме воплощающее мировоззренческий взгляд Д.Г.Лоуренса на роман как литературный жанр, его идейно-художественные потенции и перспективы в жизни общества*, было создано, по мнению биографов писателя, в июне 1925 года в Куэсте, штат Нью-Мексико.

Наряду с другими эссе-манифестами автора, созданными в это время («Искусство и мораль», «Мораль и роман», «Роман», «Роман и чувства»), оно должно было предположительно войти в пронизанную пафосом язвительного неприятия буржуазных эстетических стандартов книгу эссе «Размышления о смерти дикобраза» (вышла в Филадельфии в 1925 году), однако впоследствии писатель отказался от этого намерения. При жизни Д.Г.Лоуренса не публиковалось.

Первая публикация: «Феникс. Посмертные рукописи Д.Г.Лоуренса» (Лондон: Уильям Хейнеманн, 1936).

На русском языке впервые напечатано в книге: Писатели Англии о литературе. М.: Прогресс, 1981; в 2008 – в книге Д.Г. Лоуренс «Сумерки Италии» М., Вагриус.

С. 448. *«Трава иссохнет, цветок увянет, но Слово Господне пребудет вовеки».* – Исаия, 40 (6–8).

Мораль и роман

Эссе написано в июне 1925 года. Первая публикация в периодике – Calendar of Modern Letters (декабрь 1925 года). Впоследствии вошло в посмертный сборник эссеистики Д.Г.Лоуренса «Феникс» (Лондон: Уильям Хейнеманн, 1936). На русском языке публикуется впервые.

* Подробнее о лоуренсовской концепции романного жанра см.: Пальцев Н. Проблема романа в литературно-критических работах Д.Г.Лоуренса. В сб.: Проблемы английской литературы XIX и XX вв. Под ред. проф. В.В.Ивашевой. Издательство Московского университета, 1974, с. 69–114.

Меня никто не любит

Эссе написано в 1929. Опубликовано в издательстве «Хейнеманн» в посмертном сборнике «Феникс. Посмертные произведения Дэвида Герберта Лоуренса» в 1936 г. На русском языке публикуется впервые.

С. 460. *Новая Англия* – исторический район на северо-востоке США, включает штаты Мэн, Нью-Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд.

Трансцендентализм – американское философско-литературное движение 1830–1860-х годов (манифест-эссе Р. У. Эмерсона «Природа», 1836; Г. Торо, Э. Б. Олкотт, М. Фуллер, Т. Паркер, частично Н. Готорн). Название и ряд идей взяты от «трансцендентального идеализма» И. Канта, а также Ф.Шеллинга. С позиций романтизма критиковало просветительский сенсуализм и современную цивилизацию. Основные идеи: социальное равенство «равных перед Богом» людей, духовное самоусовершенствование, близость к природе, очищающая человека от «вульгарно-материальных» интересов, интуитивное постижение макрокосма через микрокосм. Корни трансцендентализма лежат в трансцендентальном идеализме И. Канта. Представители: Р. У. Эмерсон (основоположник и глава трансцендентализма), Г. Д. Торо, Сара Уитмен и др.

С. 464. *Уитмен Уолт* (Walt Whitman, 31 мая 1819, Уэст-Хилс, Хантингтон, Нью-Йорк, США – 26 марта 1892, Кэмден, Нью-Джерси, США) – американский поэт, публицист.

Книги

Эссе написано в 1924 г. Опубликовано в издательстве «Хейнеманн» в посмертном сборнике «Феникс. Посмертные произведения Дэвида Герберта Лоуренса» в 1936 г. На русском языке публикуется впервые.

С. 471. «*Пиквикский клуб*» – «Посмертные записки Пиквикского клуба» – роман Чарльза Диккенса (1812 – 1870).

«*Двое в башне*» – роман Томаса Гарди (1840–1928), английского романиста, новеллиста и поэта.

Израиль – имя, по-разному употребляемое в Ветхом Завете. Означает «Бог борется» (или «борющийся с Богом»), было получено Иаковом после того, как тот боролся с ангелом Господним и победил (Быт 32:28).

Моисей (13 в. до н. э.?) – в Ветхом Завете пророк, который вывел израильтян из Египта, где они пребывали в рабстве; через Моисея Бог сообщил свой Закон, содержащий условия союза-завета Бога с Израилем, заключенного на горе Синай. «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть (нам) в пустыне?.. И послал Господь на народ ядовитых змеев», и когда они раскаялись, повелел Моисею воздвигнуть медного змия на древе для их уврачевания (Чис. 21:5–9).

С. 474. *Темные Века* – период в европейской истории VI, VII и VIII веков. Характерной чертой этого времени называют разительное в контексте последующей истории отставание западного региона от Византии, мусульманского мира и Китая.

С. 475. *Раннее христианство* – период в истории христианства со смерти Иисуса (примерно в начале 30–х годов I века) до Первого Вселенского Собора в Никее (325 г.).

Галлия – в древности территория, соответствующая современной Франции, части Бельгии и Северной Италии.

С. 476. *...храм Августа* – строительство храма в честь 1–ого римского императора Августа начал строить Тиберий, закончил строить Калигула, Гай Цезарь Клавдий.

Создаю картины

Эссе написано в апреле 1929 году, впервые опубликовано в июльском номере за 1929 год журнала «Креатив Арт». На русском языке публикуется впервые.

С. 476. *Дюфи* – Дюфи, Рауль (Dufy, Raoul) (1877–1953), французский художник, график, декоратор и керамист; известность ему принесли изображения курортов, пляжей, скачек и регат.

Кирико – Де Кирико, Джорджо (De Chirico, Giorgio). (1888 – 1978). Итальянский живописец. Вошел в историю искусства как ведущий представитель направления метафизической живописи.

Фудзита, Цугухару – (Tsuguharu Fujita, также Леонард Фужита (Léonard Foujita), (1886 – 1968, Цюрих) – французский живописец и график парижской школы, выходец из Японии.

Фриез, Отон – (Friesz, Othon). (1879 – 1949). Французский живописец. Учился в гаврской Школе изящных искусств (1896–1900). В 1900 приехал в Париж, где продолжил образование в Школе изящных искусств под руководством Л. Бонна.

Лорансен, Мари (Laurencin, Marie). (1883 – 1956). Французский живописец, график, художник театра. Посещала вечерние классы рисунка, но систематического профессионального образования не получила.

С. 481. *Сезанн* – Поль Сезанн (Paul Cezanne), (1839 – 1906), французский художник, яркий представитель постимпрессионизма. Вместе с Камилем Писсарро, Пьер-Огюстом Ренуаром, Клодом Моне и Альфредом Сислеем, участвовал в первой выставке импрессионистов в 1874 году в фотографическом ателье Надар в Париже. Однако, холодная реакция публики по отношению к работам Сезанна на этой и на последующей выставке импрессионистов 1877 года заставили его порвать с этой группой художников. Признание пришло к Сезанну уже около 1900 года. Его картины были представлены на Всемирной выставке в Париже. Он пользовался особенно большой популярностью у молодого поколения художников.

Лидер, Бенджамин Уильямс – (1831–1923), английский художник викторианской эпохи, мастер пейзажа.

Брэнгвин, Фрэнк – (Sir Frank William Brangwyn) сэра Франк Уильям Брэнгвин (1867 –1956). Английский художник мастер акварели, книжный иллюстратор.

Питер де Винт – (Peter De Wint), (1784–1849), считался лучшим акварелистом своего времени.

С. 482. *Гертин Томас* – (Girtin, Thomas). (1775 – 1802). Английский живописец, мастер акварельного пейзажа. Учился у Э. Дейеса, вместе с которым работал в 1792 для антиквара Дж. Мура.

Поль Сендби (1725–1809) – английский художник-аквалерист.

Барбизонцы – барбизонская школа 30–60-х годов 19 века, группа французских художников, объединивших мастеров пейзажа.

С. 483. *Фра Анджелико* – Фра Беато Анджелико (1400–1455), итальянский живописец флорентийской школы Раннего Возрождения.

«*Фиваида Египетская*» *Лоренцетти* – картина итальянского живописца сиенской школы Лоренцетти Амборджо (1295 – 1348).

Карпаччо – Карпаччо Витторе (ок.1465–1526), итальянский живописец Раннего Возрождения, ученик Дж.Беллини, мастер венецианской школы.

Питер де Хоох (1629–1684) – голландский живописец, мастер бытового жанра.

Ван Дейк Антонис (1599–1641) – фламандский живописец, мастер портрета.

«*Смерть Прокриды*» – картина итальянского художника Раннего Возрождения флорентийской школы Пьеро ди Козимо. Прокрида – дочь первого афинского царя Эрехвея, случайно погибла от стрелы, который выпустил в лань ее муж.

«*Свадьба*» – неизвестно, полотно какого художника имеется в виду: Питера Брейгеля Старшего, Франческо Гварди...

С. 484. *Пьеро делла Франческа* (1420–1492) – итальянский художник эпохи Раннего Возрождения.

Содома – итальянский художник Джованни Антонио Бацци (1477 – 1549)

Гойя – Франсиско Хосе де Гойя (1746 – 1828), испанский художник, гравер.

Эль Греко (1541–1614) – испанский художник.

*Олдос Хаксли. Пророк в пустыне
одиночества*

Критико–биографическое эссе о Д.Г.Лоуренсе, принадлежащее его собрату по перу и одному из ближайших друзей Олдосу Хаксли (1894–1963), было предпослано в качестве предисловия к первому изданию собрания писем автора: *The Letters of D.H.Lawrence*. Ed. by A.Huxley. Lnd., Heinemann, 1932 и в позднейшие десятилетия неоднократно перепечатывалось. На русском языке публикуется впервые.

С. 487. *Письмо к Эдварду Гарнету...* – Гарнет, Эдвард (1867–19??) – один из первых издателей и редакторов Д.Г.Лоуренса.

С. 488. ...*Ф. говорит* – жена писателя Фрида.

В «Сыне женщины» мистер Миддлтон Марри почти полностью пренебрег... – Марри, Джон Миддлтон (1889–1957) – литературный критик и обозреватель, муж писательницы Кэтрин Мэнсфилд (1888–1923), в 1910–1920–е годы связанный с Д.Г.Лоуренсом и его женой Фридой крайне противоречивыми отношениями, своеобразно откликнувшись в романе «Влюбленные женщины». Вскоре после кончины Д.Г.Лоуренса опубликовал мемуарную книгу «Сын женщины: история Д.Г.Лоуренса» (1931), где высказал глубоко субъективную и по большей части неприязненную оценку его творчества и роли в литературе.

С. 489 *Несмотря на Гельвеция и доктора Ватсона, совершенно очевидно...* – Гельвеций, Клод Адриан (1715–1771) – французский философ, один из ведущих представителей эпохи Просвещения; доктор Ватсон – постоянный персонаж-рассказчик новелл Артура Конан Дойла (1859–1930) о Шерлоке Холмсе, друг и советчик гениального детектива с Бейкер–стрит.

...*Дарование Блейка* – Блейк, Уильям (1757–1827) – английский поэт-визионер и график, предтеча и один из основоположников эстетики романтизма, в немалой мере повлиявший на формирование индивидуального вероучения Д.Г.Лоуренса.

...Как утверждает мистер Ф.Р.Ливис – Ливис, Фрэнк Реймонд (1895–1978) – один из крупнейших представителей британской литературно-критической мысли в XX столетии, автор, в частности, одного из фундаментальных трудов о творчестве писателя «Д.Г.Лоуренс-романист» (1955), в котором прозаику отведено магистральное место на завершающем этапе «великой традиции» английской литературы, восходящей к рубежу XVIII–XIX веков.

...Вордсворт называл... – Вордсворт, Уильям (1770–1850) – английский поэт-романтик, один из представителей «озерной школы».

Пародируя знаменитую формулу Мэтью Арнольда... – Арнольд, Мэтью (1822–1888) – поэт и теоретик литературы эпохи викторианства, чьи культурологические концепции оказали существенное влияние на формирование школ и направлений в британской критической мысли XX века.

С. 491. *Кьеркегор настаивает...* – Кьеркегор, Сёрен (1813–1855) – датский философ и теолог, во многом предвосхитивший философию экзистенциализма.

...У героя и героини одного из рассказов Эдгара По... – По, Эдгар Аллан (1809–1849) – американский поэт и прозаик, виднейший представитель романтического направления в США.

Как ненавидел Лоуренс Элеонору, Лигейю, Родерика Эшера и тому подобных миссис Шенди... – Элеонора, Лигейя – героини одноименных «готических» новелл Эдгара По; Родерик Эшер – персонаж новеллы того же автора «Падение дома Эшеров»; миссис Шенди – вошедшая в поговорку героиня многотомного романа Лоренса Стерна (1713–1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1759–1767), сатирически обрисованная дама пуританских нравов.

...вильгельм-мейстерское понимание любви... – имеется в виду тяготеющая к просветительству концепция любовного чувства, нашедшая выражение в философском романе Иоганна Вольфганга Гете (1749–1832) «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1795–1796).

...Он читал мемуары Казановы и был глубоко возмущен... – Имеется в виду снискавшая скандальную известность посмертно изданная автобиография венецианского авантюриста Джакомо Казановы (1725–1798) «История моей жизни», живописавшая, в числе прочего, необыкновенные эротические подвиги автора, находившего прибежище при дворах разных европейских монархий.

С. 492. *В конце концов, доктрина у Тартюфа была та же, что и у Паскаля.* – Тартюф – герой одноименной комедии Жана-Батиста Мольера (1622–1673), лицемер и пройдоха; Паскаль, Блез (1623–1662) – французский философ, математик, физик и теолог, автор книги афоризмов «Мысли» (1669).

Доживи Франциск Ассизский до ста лет... – Франциск из Ассизи (1181–1226) – основатель одного из главных орденов римско-католической церкви – ордена францисканцев, один из наиболее почитаемых католических святых.

С. 493. *...Подобно Китсу, который готов был изничтожить Ньютона...* – Китс, Джон (1795–1821) – английский поэт, один из ведущих представителей романтизма.

С. 497. *Насколько я знаю, есть три завершённых и отличных друг от друга рукописи «Любовника леди Чаттерли».* – Долгая и драматичная история создания последнего романа Д.Г.Лоуренса занимает особое место в прижизненной и посмертной биографии писателя. Книга создавалась в 1925–1928 годах. Ее первый вариант был в целом готов к концу 1926 года; однако не вполне удовлетворенный достигнутым Д.Г.Лоуренс почти сразу же приступил к его радикальной переработке. Она была завершена к началу весны 1927 года и тоже подверглась принципиальной переделке. Итогом явился вполне самостоятельный третий вариант, который был закончен годом позже и опубликован во Флоренции издателем Джузеппе Ориоли летом 1928 года.

Однако спустя несколько месяцев на родине автора и в США на третий, в полной мере воплотивший гумани-

стическое кредо Д.Г.Лоуренса вариант романа был наложен цензурный запрет, просуществовавший вплоть до 1960 года. Предыдущие же редакции романа оставались неопубликованными до середины 1950-х (в 1954 году первый из них вышел под симптоматичным заглавием «Первая леди Чаттерли»; второму же варианту книги, озаглавленному «Джон Томас и леди Джейн», оставалось ждать до 1972 года).

В годы после Второй мировой войны, когда творчество и философское мироощущение Д.Г.Лоуренса стало знаменем неконформистской молодежи, а сам писатель с почти полувековым запозданием зачислен в классики английской прозы XX века, ранние редакции книги привлекли заинтересованное внимание специалистов-лоуренсоведов, однако в читательском сознании уже прочно отложился позднейший вариант «Любовника леди Чаттерли».

Стоит, впрочем, заметить, что уже в 2006 году ко второй редакции книги обратились французы в лице кинорежиссера Паскаль Ферран, снявшей по мотивам «Джона Томаса и леди Джейн» фильм «Леди Чаттерли», удостоенный пяти национальных кинопремий «Сезар» (французского аналога голливудского «Оскара»). Летом следующего года фильм был показан вне конкурса на Московском международном кинофестивале.

С. 499. *...по какой Хрисипп напал на Аристотелево Евангелие чистого интеллекта...* – Хрисипп (280–204 гг. до н.э.) – древнегреческий философ школы стоиков, важнейшей из наук считавший этику; Аристотель (384–322 гг. до н.э.) – величайший из философов античности, давший универсальное обоснование законам существования материи и человеческого бытия.

С. 502. *Когда Маринетти пишет...* – Маринетти, Филиппо Томмазо (1876–1944) – итальянский писатель, глава и пропагандист футуристического движения в итальянской культуре.

Много позднее профессор Сейнтсбери, анализируя Стендаля... – Сейнтсбери, Джордж Эдвард Бейтман

(1845–1933) – английский критик и литературный обозреватель, авторитетный в среде академического литературоведения первой половины XX века; Стендаль (настоящее имя Анри Бейль, 1783–1842) – французский романист, один из ведущих представителей критического реализма.

С. 504. *Однажды он написал Кэтрин Карсуэлл...* – Карсуэлл, Кэтрин (1870–1946) – шотландская писательница и литературный критик. С Д.Г.Лоуренсом ее свела несчастная случайность: опубликовав в 1915 году в газете «Глазго геральд» хвалебную рецензию на его роман «Радуга», она лишилась работы. В дальнейшем Кэтрин Карсуэлл оставалась в числе ближайших сподвижников Д.Г.Лоуренса в его творческих и философских поисках вплоть до кончины писателя, а после его смерти опубликовала прочувствованные мемуары о нем «Дикое паломничество» (1932), остающиеся одним из наиболее глубоких и примечательных отзывов о писателе, принадлежащих современникам.

С. 511. *Например, он назывался Рананим и был островом, вроде как у шекспировского Просперо.* – Рананим – часто встречающееся в переписке Д.Г.Лоуренса название колонии-заповедника, где, подобно Ван Гогу и Гогену в Арле, могли бы свободно творить поэты и художники, увы, так и оставшееся только в мечтах писателя; Просперо – центральное действующее лицо драмы Шекспира «Буря», маг и чародей, повелевающий природными стихиями.

Содержание

Николай Пальцев.
Многоликий Лоуренс 5

Повести

Лис
Перевод Майи Кореневой 11
Умерший
Перевод Майи Кореневой 96

Рассказы. Стихотворения

Запах хризантем
Перевод Юлии Жуковой 155
Прусский офицер
Перевод Майи Кореневой 179
Англия, моя Англия...
Перевод Марии Кан 206
Дочь лошадника.
Перевод Марии Кан 247
Солнце.
Перевод Майи Кореневой 268
Печаль в раздумии.
Перевод Валентина Стенича 290
Рояль.
Перевод Валентина Стенича 291
Сумерки.
Перевод Юлии Фокиной 292
Память Луны.
Перевод Юлии Фокиной 293
Счастье быть одному.
Перевод Сергея Сухарева 294
Поиски истины.
Перевод Сергея Сухарева 295

<i>Сотворение.</i>	
Перевод Валерия Минушина	296
<i>Баварские генцианы.</i>	
Перевод Владимира Британишского	297
<i>Корабль смерти.</i>	
Перевод Александра Грибанова	298
<i>Аргонавты.</i>	
Перевод Юлии Фокиной	303
<i>Греки идут!</i>	
Перевод Юлии Фокиной	304

Путевые очерки. Эссе

<i>Из книги «Сумерки Италии»</i>	
<i>Театр.</i>	
Перевод Аллы Николаевской	307
<i>Итальянцы в изгнании.</i>	
Перевод Аллы Николаевской	337
<i>Из книги «Утро Мексики»</i>	
<i>Корасмин и попугаи.</i>	
Перевод Аллы Николаевской	359
<i>Базарный день.</i>	
Перевод Аллы Николаевской	368
<i>По поводу романа</i>	
<i>«Любовник леди Чаттерли».</i>	
Перевод Марины Литвиновой	378
<i>Ноттингем и шахтерский край.</i>	
Перевод Николая Пальцева	417
<i>Порнография и непристойности.</i>	
Перевод Юрия Комова	430
<i>Почему важен роман.</i>	
Перевод Николая Пальцева	443
<i>Мораль и роман.</i>	
Перевод Николая Пальцева	452
<i>Меня никто не любит.</i>	
Перевод Аллы Николаевской	460
<i>Книги.</i>	
Перевод Аллы Николаевской	471
<i>Создаю картины.</i>	
Перевод Аллы Николаевской	477

Приложение

Олдос Хаксли. Пророк в пустыне одиночества.

Перевод Ксении Агаровой 487

Комментарии Аллы Николаевской

и Николая Пальцева 517

Литературно-художественное издание

*Дэвид
Герберт
Лоуренс*

*Меня
никто
не любит*

Ответственный редактор

А.Г. Николаевская

Выпускающий редактор

Г.С. Чередов

Художественный редактор

Т.Н. Костерина

Технолог

С.С. Басипова

Оператор компьютерной верстки

А.Ю. Бирюков

Оператор компьютерной верстки переплета

В.М. Драновский

Обработка иллюстраций

Е.В. Мелентьева

Корректор

Л.А. Скитальцева

ВГБИЛ им. М.И. Рудомино

109189, Москва, ул. Николаямская, д. 1

Отдел реализации издательства: (495) 915-35-18

e-mail: synkova@libfl.ru

Подписано в печать 15.03.2011

Формат 84x108/32

Тираж 1000 экз.

Заказ № .

Отпечатано в полном соответствии
с предоставленными файлами заказчика
в ОАО ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14.